1 р. 90 к. Индекс 70331

ISSN 0130-1616. Знамя. 1991. № 1. 1—240.

ISSN 0130-1616

ЗНАМЯ

1991

Январь

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

Выходит с января 1931 года

Содержание

1

ЯНВАРЬ
1991

Москва
Издательство
«Правда»

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Знамя»

Ольга Постникова

ЛИРИКА

* * *

В глумленье продавцов
    ты ль очередью кроткой,
Россия, ты ль стоишь,
    мечтаешь о еде?
И радуешься в крик —
    с прокуренною глоткой,
В красе одутловатой
    и беде...

Как перепел, живешь
    меж пахотой и жатвой,
А над страной повис
    войны призывный марш.
Успеть ли песню спеть!
    Суметь бы продержаться,
Пока машин
    не выведет Тяжмаш.
Бежишь-бежишь-бежишь,
    с тринадцатого года
Ты вечно на ногах,
    с испугу — на крыло.
Но подан знак уже
    великого исхода
И впереди
    до ужаса светло.

Не спрятаться уже
    в картофельные тропы,
В твой торфяной покой,
    в серебряный овес,
Но, может быть,
    в лучах вселенской катастрофы
Отвергнутого Бога
    призовешь?

1980

Глазная больница

Ну, что, слепыня, много ль нажила?
На паперти кусков не собирала,
Ты гордо, независимо хворала,
Но не видéнья — вúденья ждала.

Нам честный труд спасения не дал.
Безумный от метилового спирта,
Лимитный сварщик, много ль ты видал
Любви и солнца до того, как спиться?

А ты, терпя очей и чувств разлад,
Искусственные слезы лей из ампул
И зеленью лечи нечистый взгляд,
Зеленую тебе включили лампу.

Неси, Василий Темный, слéпый князь,
Единокровьем прорванные веки.
О, родина, ты каждого из нас
Рублем и страхом обрекла в калеки.

Незрячие вели учителя,
Невидящие лекари лечили...
Не оттого ль предательства и зла
Мы в собственной судьбе не различили?

Нам шьют сетчатку лазерным лучом,
Но сердце, что истерлось от презренья,
И дно глазное жаждет озаренья,
И взор больной, не знающий смиренья,
Что бельмами безверья заточен,
Прозренья просит, господи, — призренья!

* * *

Ты плечьми подпираешь разваленный дом,
Ты в отчаянье бьешься слепом.
Эти пальцы порезаны старым серпом.
Ты себя убиваешь трудом.

И на черством суглинке, весну торопя,
Родовым предрассудком ведом,
Все чужие грехи ты берешь на себя
И себя убиваешь стыдом.

Ты не хочешь здесь выжить, ты гибнуть спешишь,
Но для этого нету войны.
И затянет страшней, чем вино и гашиш,
Этот бред самозванной вины.

Ты себя убиваешь, не смея любить,
Отказавшись от счастья стиха,
Ты, в поденщину прячась, решаешь не быть.
Не бывало тяжеле греха.

* * *

Эти белые фаянсы, ангобы Леже
С красными, зелеными, желтыми пятнами
Я как будто видела где-то уже,
Показались родными, смешными, понятными.

Помню чистую, чванную, чудную весну.
Яблоки-китайки стояли розоватые.
Их цветенье так боялась прозевать я,
Все дергала штору, бегала к окну.

Эта грязь, эта вечная стройка в Москве,
Где газоны от стрижки пахнут фосгеном.
Мы не знали о родстве, лишь сидели на траве
В монастыре Донском, под ясенем согбенным.

Теплою булкой кормили скворцов,
Они не клевали, были пугливы.
Мы задирали головы к блеску изразцов,
Фряжскому глянцу зеленой поливы.

Этот оклик стеклянный, блик на стене —
На белой стене, на шероховатой —
Через столько лет отсветился во мне
Молодостью невыспавшейся,от счастья придурковатой.

* * *

Люби свою старость,
бессилье, бесправье люби,
Отрепья здоровья,
опорки судьбы,
Опоры последнего вúденья —
до катаракты.
Какая свобода,
ведь больше не надо стараться
Красивою быть...

Люби, ведь она
искупительной боли полна,
Она не введет уже в грех
прелюбодеянья.
А руку протянут при сходе с трамвая —
вот подаянье.
И это сияние возле лица, —
седина...

И радость — весна!
(а уж лето я переживу)...
А листья сопревшие,
новую грея траву,
Когда она снизу иголками
пласт подымает,
Свежо, бальзамически пахнут,
и юность не знает,
Как трудно бессмертие это
нести наяву.

Люби это время покоя,
величья, тоски,
Последней любви — бескорыстной —
«до самыя смерти»...
И детской руки,
что погладит унылые меты
В рельефе лица —
о, дождись этой детской руки!

Люби эту пору,
красу угасанья, нищанья.
Озноб аритмии —
как дороги сердца удары!
И где ты услышишь еще
над собою рыданья, —

Лишь в этом последнем прощанье,
предсмертном свиданье.
Такою любовью
лишь старость одарит.

Маме

Ангел мой, ангел, златые власы!
Не до любови, не до красы...
Ангельской силы надобно тут,
Кончен досрочно мединститут.
Не до дипломов, не до балов, —
Рваные раны да переломы,
Красные нимбы у бритых голов.

Ангел мой, кос темно-русый венок...
Лампы военной горит волосок
Слабым накалом, красным каленьем.
Помню: прижалась я к теплым коленям,
Тьма над Москвою и ты надо мной
В позе Оранты. Как же я рада
Первому зренью, улыбке родной...

Снова судьба раскачала весы.
Пение времени — смерти басы.
Справки затертые (чуть не с небес)
Не понесешь ни в райздрав, ни в собес.
Лишь одинокие нижешь часы,
Бедный мой ангел, седые власы.

Фридрих Горенштейн

КОЙКО-МЕСТО

Лисицы имеют норы,
И птицы небесные — гнезда;
А Сын Человеческий
Не имеет где преклонить голову.

Евангелие от Луки

Всякий раз, когда наступала весна, вот уже три года подряд, я испытывал душевную тревогу, ожидая повестки о выселении. Собственно говоря, меня пугала не столько опасность выселения, сколько хлопоты по оставлению за мной койко-места в общежитии треста «Жилстрой». Выселения быть не могло, в это я твердо верил, так как у меня были знакомства в руководстве треста, которому принадлежало общежитие. Покровитель мой, Михаил Данилович Михайлов был единственный человек, оказавший мне помощь, так как родители мои давно мертвы, а я в этом городе совершенно одинок и не могу нигде рассчитывать на длительное пристанище. Тем не менее я Михаила Даниловича не любил и не знал, о чем с ним разговаривать, помимо просьб посодействовать и помочь. Впрочем, меня он действительно третировал и, помогая мне, относился ко мне небрежно и унизительно.

Это был близкий товарищ моего покойного отца, которого, судя по всему, очень любил, считал выдающейся личностью и безвременно погибшим талантом. Меня же считал по сравнению с отцом человеком мелким, ничтожным, чуть ли не туповатым. И дело даже дошло до того, что Михайлов как-то раз позволил себе в моем присутствии без стеснения сказать об этом одной из сотрудниц своего отдела, которая из жалости также начала принимать участие в моей судьбе.

— Отец его был редкий человек, удивительно талантливый человек, — сказал Михайлов, — а он... — и, странно усмехнувшись, Михайлов сделал эдакий пренебрежительный жест рукой.

Случилось это в прошлом году, когда в очередной раз стал вопрос о моем выселении и с помощью телефонных звонков и личных разговоров Михайлов улаживал дело. И если до того я его недолюбливал, то после этого унижения я его попросту возненавидел.

Поблагодарил я его тогда за хлопоты каким-то злобным тоном, и он это, кажется, заметил не без удивления. Помню, выйдя тогда от Михайлова с головной болью, сел на трамвай и уехал к самой отдаленной окраине, где не мог встретить ни одного знакомого лица. В тот день я пораньше отпросился с работы и рассчитывал, потратив на Михайлова с полчаса, остальное время просидеть в читальном зале библиотеки республиканской Академии наук либо в газетном архиве. Это лучшее мое времяпрепровождение. Работу свою, на которую меня также устроил Михайлов, я ненавидел и в то же время боялся ее потерять, так как не мог рассчитывать ни на что другое и не мыслил себе, как приду к Михайлову сообщать о своем увольнении и просить его посодействовать об устройстве на новое место. Я знал, что, несмотря на все ·вое влияние, он устроил меня с трудом. Хотя теперь опасность увольнения меня меньше пугала. За три года, живя экономно, я накопил немного денег на сберкнижке, и с присланными мне дедом деньгами на пальто получалась довольно приличная сумма, на которую можно было прожить с полгода. Поэтому я решил не сопротивляться

Публикуем главы из романа «Место», который в полном виде выходит в издательстве «Ex Libris» (издание книжной редакции совместного советско-британского предприятия «Слово» («Slovo»).

грозящему мне увольнению и приступить к подготовке на филологический факультет университета. Я понимал, что в случае неудачи мое положение станет отчаянным и безнадежным, которое неизвестно, смогу ли как-то поправить ценой даже самых глубоких унижений перед Михайловым.

Дело в том, что как ни тяжела моя нынешняя жизнь, она попросту блестяща по сравнению с тем, что довелось мне пережить в этом городе ранее, пока Михайлов не принял участия в моей судьбе. Но об этом скажу потом и подробнее... В ту прошлогоднюю весну, когда я испытал нескрываемые уже унижения от Михайлова, мне исполнилось двадцать восемь лет (теперь мне, следовательно, двадцать девять).

Как-то быстро и бесплодно пробежали эти восемь-девять лет, в течение которых юноши добывают себе положение в обществе, а также, утратив горячечную мечтательность, достигают мужских взаимоотношений с женщиной. Я же превратился в «стареющего юношу», и то, что восемь лет назад было приятным и естественным, теперь становилось стыдным, а нужда в помощи и опеке, которой я обременял в сущности чужого и несимпатичного мне человека, становилась мучительной и озлобляла меня.

Этот перелом во мне и эти мысли появились как бы вдруг в прошлом году, когда Михайлов меня публично унизил. До того я прожил два года довольно спокойно и тихо, почти не нервничал и хоть уставал, но был доволен судьбой, считал, что все идет хорошо и по плану. Тогда, два года назад, живы и ярки еще были мои мытарства без жилья и работы, теперь же мое положение было более устойчивым и к тому же мне удалось завести кое-какие знакомства, приобщившие меня к любимому поприщу, о котором я мечтал. Дело в том, что возмутило меня до головной боли, до слез, до покалывания сердца прошлогоднее поведение Михайлова потому, что я был о себе весьма высокого мнения. Случалось, оставшись один, я брал зеркало и смотрел на себя с таинственной улыбкой. Я мог сидеть долго, глядя себе в глаза. Скрытое тщеславие и внутренняя, постоянно живущая во мне самоуверенность в неком временном моем «инкогнито», скрывающем нечто значительное, укрепляли мне душу, особенно когда я постарел, и не давали отчаянию овладеть мной.

Однажды, увлекшись собой перед зеркалом, я не заметил одного из жильцов комнаты, который спал на своей койке. Это был Саламов, семнадцатилетний мальчишка, натура,. по всей вероятности, испытывающая одни лишь физиологические потребности. Очевидно, я что-то сказал вслух и звук моего голоса разбудил его.

— Ты чего? — спросил он удивленно.

Я вздрогнул и испугался, точно меня поймали на непотребном и стыдном пороке. К счастью, Саламов был усталый после смены, он тут же вновь захрапел. А я сидел с колотящимся сердцем, с мокрым от испарины лбом и досадовал на себя за подобное неосторожное поведение. Будь вместо Саламова Петров или Береговой, я мог бы опозориться по-настоящему и даже стать предметом насмешки. Особенно в этом смысле опасен был Пашка Береговой, так как в нем имелись какие-то зачатки духовности, и он, пожалуй, мог бы если не понять, то хотя бы ощутить подлинную причину моего поведения, а это было бы особенно ужасно и позорно. С Береговым мы одно время часто беседовали, и было у нас нечто похожее на коммунальную комнатную дружбу. Теперь же он подружился с новым жильцом Петровым, а мне стал в комнате злейший враг.

Как ни случайны люди, которые сходятся вместе жить в общежитиях, все ж в каждой комнате складывается что-то вроде особого «семейного» быта и даже некоторой «семейной» иерархии. В нашей тридцать второй комнате было шесть коек, два платяных шкафа, три тумбочки и стол. Если смотреть со стороны двери, моя койка была в самом углу у стены справа. Ноги мои сквозь прутья упирались в платяной шкаф. С противоположной стороны шкафа, также у стены, было место Саламова. На расстоянии протянутой руки, отделенной лишь тумбочкой, стояла койка Берегового. Еще со времен наших хороших отношений тумбочка у нас была общая: верхняя полка моя, нижняя — его. Далее, у противоположной стены, обитал Юрка Петров, сибиряк, сменивший несколько общежитий в разных концах Союза, кстати при родителях и очень большой родне где-то под Омском, т. е. бродяга не по нужде, а по натуре. Это был скуластый, с татарщиной в лице парень, но светловолосый. Сам по себе был он неплохой и, кажется, с совестью, может, и не постоянно в нем присутствующей, во всяком случае, с порывами совести, если позволено так выразиться. Но интересно, как только он появился в нашей комнате и как только Береговой с ним подружился, так сразу Береговой расторг дружбу со мной и начал совершенно неожиданно проявлять ко мне неприязнь, хотя со стороны самого Петрова я неприязни не замечал, разве что изредка поддержит усмешкой Берегового. Правда, я мог бы составить в комнате союз с Жуковым, жильцом, койка которого располагалась за вторым платяным шкафом слева у самой двери, но я Жукова недавно обидел глупо и нелепо.

Родом Жуков был из Грузии, из Кутаиси. Родился и вырос он в общежитии, в комнате, где жили четверо матерей-одиночек, то есть иного быта он в жизни и не знал. Вот Жуков этот был парень совестливый уже без оговорок. Мы с ним, случалось, довольно интересно беседовали. Правда, совесть он понимал по-своему, я в этом как-то убедился. Работал Жуков монтажником, заработок имел небольшой, но каждый месяц аккуратно высылал часть денег матери. За три года моей жизни в этой комнате мать приезжала к нему два раза и жила у него по нескольку месяцев, вместе спали на одной койке. Жуков на это время оставлял учебу в вечерней школе и работал в две смены, чтоб создать матери условия и снабдить ее деньжатами на обратную дорогу. Как-то после ее отъезда я заговорил с Жуковым. И вдруг, к моему удивлению, оказалось, что он недоволен тем, что приходится слать ей деньги и принимать ее у себя.

— Пьявка,— сказал он и вздохнул.

Я был так ошеломлен и обманут в своих приятных чувствах, которые я всегда испытываю, видя со стороны людей поступки честные и великодушные, что запомнил этот разговор даже в отдельных бытовых деталях.

Был вечер, я сидел у стола и ужинал сладким кипятком с теплым свежим хлебом. Жуков сидел на своей койке, говорил негромко, задумчиво поблескивая металлическими протезными зубами, из которых у него состояла вся верхняя челюсть, хотя было ему не более двадцати пяти лет.

— Пьявка,— говорил он.— Камень на шее.

— Как же так,— сказал я,— ведь она тебя родила, растила... Вот я один, у меня матери давно нет... Чего хорошего...— и тут я, не зная, как продолжить, и не желая более ничего говорить о своей матери, замолчал, не доверяя Жукову, боясь, что он каким-либо нелепым словом оскорбит память моей матери и тогда придется с ним драться, а он был сильнее меня и, как я предполагал, в гневе не разборчив в ударах, мог и покалечить.

Мы сидели некоторое время молча. Я доел последние куски теплого хлеба и запил кипятком.

— Все это верно,— сказал Жуков, прервав молчание,— но если разобраться, то мать мне камень на шее.

— Так что ж ты ей деньги посылаешь, раз ты так думаешь,— спросил я уже просто из любопытства,— и принимаешь мать у себя, вкалываешь по две смены.

И тут он меня вновь ошеломил ответом.

— А совесть,— сказал он,— как же иначе, иначе не по совести.

Причем сказал он, не раздумывая, и как-то удивленно посмотрел на меня. Я в этом разговоре не понял правоту подобных суждений, но ныне она кажется мне все более очевидной. Он понимал совесть и добро не как личные сердечные чувства, к которым, возможно, не был способен, а как закон. Закон пусть временами и неприятный, но неоспоримый, раз данный с рождения, вместе со способностью дышать, возвышающийся над чувствами высокими ли, низменными ли. Лишь позднее я понял, как опасно иное понимание совести и добра по сердцу, добра и совести эгоистически приятных, ставящих незыблемые ценности человека в зависимость от личных качеств, душевной зрелости и преходящих эмоций. К такой совести по сердцу способны лишь немногие...

Тогда же, после разговора, у меня остался на душе неприятный осадок, разочарование мое в Жукове вызвало к нему раздражение. Он же, будучи натурой грубой и простой, не замечал этого и по-прежнему обращался ко мне с вопросами или с просьбой о помощи в учебе. Я в свое время окончил строительный факультет металлургического техникума и, хотя кончил его по нужде, а не по любви, тем не менее математику я знал неплохо. Жуков же поставил себе задачу получить образование, и в матема-

тике я ему помогал. Усваивал он материал тяжело, но с какой-то вдохновенной, наивной радостью, как глухонемой, который вдруг слышит смутные неясные шумы, и из этих шумов у него начинают складываться его собственные членораздельные звуки речи. Эта чрезмерная наивная радость познания, к несчастью, направила его энергию по ложному пути. Жуков увлекся изобретательством, приняв элементарные познания в физике и механике за необычные озарения. Подобные искажения буквальных познаний в литературе именуются графоманией. В технике оно, возможно, встречается реже, но тем не менее также довольно распространено. Это одно из опасных побочных явлений зачаточной духовной зрелости. Все свободное время Жуков чертил какие-то конструкции, трубы, зубчатые сцепления... Причем делал он это не совсем бескорыстно и по вдохновению, а интересовался и у меня, и у нашего «воспитателя» Юрия Корша, как оплачиваются изобретения.

Юрий Корш, выпускник пединститута, ведал в общежитии культмассовой работой. Ко мне он относился хорошо, старался по возможности помочь, но возможности его были незначительные. Вообще круглолицый, молодой воспитатель мне казался человеком с добрыми намерениями, но красота (он был красив, хоть и начинал уже лысеть), красота и внимание женщин развратили его, и, по-моему, он воспринимал все вокруг подобно мистику, то есть как призрачный мираж к чему-то единственно подлинному, а подлинным в жизни для него были только взаимоотношения с женщинами. Его вдохновенные, полные эротических подробностей рассказы, признаюсь, я слушал с нездоровым интересом, но старался спрятать чисто юношеское удивление и зависть, порожденные ущербной жизнью, которая придавала чувственности стыдливость и форму горячечной мечты.

Как-то я зашел почитать газеты в «ленинский уголок», которым Корш заведовал. Он как раз крепил свежие номера к подшивкам.

— Гоша,— сказал он мне, улыбаясь,— тут Жуков из твоей комнаты передал мне какие-то чертежи. Раз я местный городской житель, значит, у меня должны быть знакомства с инженерами. Так он решил.... Просит познакомить, но чтоб инженер этот был мне хорошо известен, иначе стащит изобретение... Ты посмотри...

На листе изображалось производство труб из металлических болванок. Я глянул мельком и сказал небрежно:

— Полная глупость... Вообще этот парень с приветом...

Я не заметил, что Жуков стоит в дверях и слушает... Мне стало ужасно неприятно, когда он вдруг явился из-за наших спин и разорвал чертежи.

— А я тебя человеком считал,— сказал он мне с горечью, и кажется, даже слезы мелькнули у него на глазах.

С тех пор я полностью потерял в комнате авторитет и опору. Саламов был малоавторитетной личностью и не мог составить сильную партию, тем более что Жуков, который ранее недолюбливал Берегового, теперь объединился с ним на общей антипатии ко мне. Правда, существовал еще и шестой жилец, Володька Федорчук, но большую часть времени пропадал он и даже иногда ночевал в женском общежитии у своей «девахи», на которой собирался жениться, и потому влияние на комнатные взаимоотношения не оказывал. Володька этот, здоровенный парень с плоским рябым лицом и маленьким носиком, успел уже отслужить во флоте, как он рассказывал, на торпедных катерах, тем не менее краснел, как девушка и по любому поводу. Помню, залил он вином Береговому брюки и так покраснел, что тот, вместо того, чтоб озлиться, расхохотался. Был еще случай. Каким-то образом попал в комнату кирпич. Кто его принес, неизвестно. Выясняли, выясняли, так и не выяснили.

— Да что там мозги ломать,— сказал Володька с некоторой, разумеется, шутливостью,— брось его, Пашка, в окно... Убей кого-нибудь... Какого-нибудь жида убей...

А в это время как раз ко мне зашел Сашка Рахутин из соседней комнаты. Фамилия у него русская, но он был еврей и с еврейской внешностью. Петров как толкнет локтем Володьку и на Рахутина незаметно показывает. Володька покраснел, прямо пятна какие-то влажные на лбу выступили, и из комнаты вышел...

Но особенно смешно проявил себя Володька во время чисто, правда, анекдотического случая. Недели за три до событий, к описанию которых я намерен приступить, где-то в феврале, когда мы уже лежали в постелях и собирались погасить свет и запереть дверь, в комнату вошел какой-то неизвестный нам, пьяный мужчина. Даже не осматриваясь и ничего не говоря, он пошел к койке Федорчука, которая по обыкновению пустовала, не снимая пальто, улегся на нее и тут же захрапел. Мы поняли, что Володька прислал на свое пустующее место какого-то знакомого проспаться. Саламов погасил свет и запер дверь. Мы уснули. Однако часа в два ночи раздался стук и явился сам Володька, которого в этот раз комендантша женского общежития погнала от своей «девахи».

— А это что? — спросил он с искренним удивлением и даже растерянностью, указывая пальцем на мужчину.

— Мы думали, Володька, ты его прислал,— сказал я.

Володька подошел к своей койке, взял незваного гостя за плечо, и тут все мы почувствовали дух, не оставляющий сомнения в том, что произошло и как гость отблагодарил хозяина. Всякий, кто знает, что такое ночной воздух рабочего общежития, где спят шестеро наработавшихся за день парней, питающихся грубой, несвежей пищей, тот поймет, почему мы не обратили внимания первоначально на некоторое усиление духоты. Но теперь, когда Володька, весь красный от стыда, рвал упирающегося гостя с койки, даже мы, привычные к грубым запахам, вынуждены были несмотря на мороз распахнуть окно.

— Как же так,— плачущим голосом говорил Володька,— ты же опозорился, сволочь... Зачем же так жидко ты опозорился...

Это прозвучало грубо, но наивно и искренне. Володька, хоть был он ни в чем не виноват, так как гость мог лечь на любую свободную койку, испытывал подлинные муки глубокого позора. Он вытащил гостя, довольно грузного мужчину, в коридор, разбил ему в кровь лицо, сволок вниз по лестнице и выбросил на мороз. Дежурная сменила матрац и постель, но Володька ночевать не стал и вскоре поменялся комнатами с Кулиничем, сорокапятилетним, тихим, вежливым и глупым мужиком, в свободное от работы время либо готовящим себе пищу, либо наигрывающим на баяне «Перепелочку».

Так что расстановка сил в комнате получалась такая, что мне и самому надо было меняться, тем более что в двадцать шестой комнате у меня появились друзья: Саша Рахутин, о котором я уже говорил, и Витька Григоренко, крановщик с башенного крана. Познакомился я с этими ребятами как-то само собой, кажется, «на телевизоре». (Все свободные обычно вечером спешили в «ленуголок» занять места «на телевизор».) Чем-то эти ребята, Григоренко и Рахутин, были ближе к тому обществу, к которому я стремился. Мне понравилось, что они сами меня нашли, то есть выделили из других, и со мной заговорили, кажется, Витька, а Сашка Рахутин его поддержал. Разумеется, я болезненно-нервно скрывал свое «инкогнито» и никогда б его не раскрыл даже намеком перед людьми, имеющими хоть какое-то касательство к моей насущной жизни, то есть работе и общежитию. Но тем не менее мне нравилось, когда меня «ощущали». Витька Григоренко, видя, какая хамская атмосфера складывается вокруг меня в тридцать второй, предложил мне перейти в двадцать шестую, где он жил. Эта комната была моей давней мечтой. Маленькая, уютная, где на ночь выключалось радио и рано гасился свет. Пока я пользовался авторитетом в тридцать второй, мне также удавалось добиться выключения радио в двенадцать часов ночи, так как оно работало до двух, а потом включалось в шесть, то есть у меня оставался промежуток для сна всего в четыре часа. Но потом Береговой, при поддержке общественности комнаты, решил, чтоб радио не выключать, мол, в противном случае он опаздывает на утреннюю смену. Я пытался приучить себя спать при звуках радио так же безмятежно, как и остальные жильцы, но то самое «инкогнито», самоуверенность и тщеславие, которые ранее в трудную минуту поддерживали мою душу, теперь также в трудную минуту терзали ее обидами, не давая покоя. Еще год назад, до случая с Михайловым, я умел терпеть обиды, и подобные изменения значили, что с возрастом организм начинает сдавать, а то, что самоуверенность и тщеславие мое начинают реагировать на бытовые обиды, говорило о том, что самоуверенность эта утрачивает идею, возвышающую ее над повседневностью, и организм мой, истощив жизненные плотские силы, садится в своей повседневной борьбе на неприкосновенный за-

пас моих духовных сил. Это были опасные и неприятные для меня признаки близящегося предела. Для победы в жизни мне нужна была уже не просто удача, которая могла мне помочь еще год назад, а чудо. Об этом я думал по ночам, когда смолкало, наконец, ненавистное радио, и тишину нарушал лишь храп и сонное бормотание моих сожителей. Сашка Рахутин был парень начитанный и добрый, но легкомысленный. Витька же Григоренко был более чуткий, очевидно, от природы, и я несколько раз ловил на себе его тревожные взгляды, что было мне даже неприятно, так как я, разумеется, при всем при том не хотел его пускать к себе далее отведенной черты и разрешать ему прикоснуться, не дай бог, к моему «инкогнито». Места в их двадцать шестой комнате не было, но Витька, человек вообще несколько авантюрного склада, предложил просто перетащить мою койку и, подвинув шкаф в самый угол, установить ее четвертой. С третьим же жильцом, тихим старичком, доживающим свой век в общежитии, он обещал либо договориться, либо его запугать. Конечно, подобный выход был бы великолепен, но я отнекивался по разным причинам, будучи не вправе объяснить, что я живу здесь незаконно, занимаю место по знакомству и всякое перетаскивание коек и нарушения привлекут ко мне дополнительное внимание, что было не в моих интересах, тем более перед ежегодным весенним выселением. Главное, я это знал по опыту, было продержаться до конца мая, когда все затихало, а зимой вообще нельзя было выселять по закону. Еще с конца февраля я начал обдумывать план борьбы. У меня было дерзкое желание обойтись в этот раз без Михайлова, ибо обращаться к нему после прошлогоднего унижения было попросту мучительно. Но с другой стороны, борясь самостоятельно, я рисковал остаться без места, а с этим местом я связывал все свои дальнейшие жизненные планы, поскольку, теряя это место, я терял город, который любил, и принужден был бы ехать неизвестно куда без средств и опоры где бы то ни было. В моем возрасте это означало бы превратиться в провинциального неудачника, а я жил в провинции и знаю, что это означает для человека с моими планами и надеждами. «Поэтому, — думал я, лежа в бессоннице, — мое место в углу за платяным шкафом, моя железная койка с панцирной сеткой в этой шестикоечной комнате, среди грубых сожителей означает сейчас для меня слишком много... Койко-место это то, что закрепляет мою жизнь в общем определенном порядке жизни страны. Потеряв койко-место, я потеряю все». Так мне думалось. Рушился мир, а умирать мне не хотелось. Я чувствовал себя полным неистраченных жизненных соков, хотелось жить, и в бессоннице я перебирал тех, кто угрожает моему существованию. Прежде всего это была комендантша Софья Ивановна, грузная женщина с бородавкой на щеке. Она добросовестно и настойчиво в течение трех лет вела со мной борьбу в период весеннего выселения, но когда этот период проходил, она относилась ко мне довольно доброжелательно, даже приятно, поскольку я не пьянствовал, не производил никаких нарушений и платил аккуратно за койко-место. Начальника жилконторы Маргулиса я видел лишь издали, а он меня не знал в лицо вовсе. Бумажки о выселении приходили за его подписью, но, кажется, именно через него действовал Михайлов, договариваясь частным путем об оставлении койко-места за мной. Однако был у меня среди этих причастных к моему месту людей страшный враг, причем враг не столько по служебному положению, сколько по личному вдохновению. По сравнению с этим моим врагом не на жизнь, а на смерть мой комнатный враг Пашка Береговой просто шутник. Да если б был я человеком не гордым, поговорил бы с ним... Так мол и так, Пашка... С чего это ты?.. Вроде тебе я ничего плохого... Мы с тобой два года жили нормально, даже выпили раз вместе, когда отец твой приезжал... На стадион вместе ходили... А если есть какие обиды, скажи... Думаю, Петров меня бы поддержал. Он иногда, когда мы наедине оставались, пробовал заговаривать... Положение мое в комнате уладилось бы наверняка. Другое дело, что я этого не сделаю, мне отвратительно выяснять отношения, тем более подобным образом и по моей инициативе... Мне с моим тщеславием и «инкогнито» приходится унижаться, если наступает крайняя нужда, как, например, с Михайловым, но не менее... И то с Михайловым подобное происходило, пока здоровы были мои нервы. Теперь же мысль о том, что снова придется пожертвовать своим достоинством, попросту приводит меня в ужас, в тупик, сердечную тоску... Но перед административным этим своим врагом я бы, может, и унизился, потому что тут не то, что крайняя нужда, а попросту самое больное место в моей борьбе за крышу над головой, поскольку ведется эта борьба в обход закона, опираясь на знакомство, на бюрократическое исполнение своих обязанностей причастными к делу лицами, на их безразличное отношение ко мне, как к личности. В таком шатком деле человеческая, а не административная страсть может оказаться для меня гибельной, так как она может раскопать знакомства и нарушения и призвать на помощь закон.

Более всего я боялся, что кто-либо, находящийся вне сферы знакомств Михайлова, заинтересовался бы мной, а не вакансией койко-места и принялся бы выяснять, кто я, собственно, такой, откуда здесь взялся и на основании каких прав... И пошел бы по цепочке от незаконного занятия койко-места в общежитии организации, в которой я не работал, к первоначальному фиктивному оформлению меня на должность баяниста в пригородном санатории «Победа», где директором был приятель Михайлова, что дало мне право на пригородную прописку, и еще далее по цепочке к длительному проживанию без прописки в городе, а оттуда уже рукой подать до некоторых фактов моей биографии, которые я тщательно скрывал. Лгать, кстати, я научился очень рано, чуть ли не в раннем детстве, шести-семи лет, причем лгать не по-ребячьи, путанно и мило, а по-взрослому, твердо и хитро, и мать моя меня в этом поощряла, дабы скрыть факт об арестованном отце. Факт, который я утаивал первоначально в ребячьих играх, спорах и рассказах, а повзрослев, не упоминал ни в одном из служебных листков: военкомата ли, отделов кадров ли, ни в одной биографии — и не из страха одного, а также и стыда.

* * *

Были, правда, случаи, когда на неком душевном подъеме, например, поступая в комсомол, я хотел выложить все честно и прямо. Уже тогда, человек необычайной фантазии, я весьма ярко представил себе, как встаю и говорю всю правду, прямо глядя ребятам в глаза, и честностью покрываю душевную муку и стыд. Я даже вдохновлялся этим и представил, что это украсит торжественность момента и привлечет ко мне внимание, и благодаря этому я выделюсь из общей среды поступающих. Но в то же время меня беспокоили несколько сомнения и даже легкий страх. Поскольку посоветоваться мне было не с кем, я посоветовался с теткой, личностью грубой и малограмотной. Она посмотрела на меня сердито и сказала:

— Молчи, дурак, — и постучала пальцем по лбу.

Я обругал ее в ответ, но тем не менее это «Молчи, дурак» подействовало на меня нехорошо, и в последний момент я струсил. Но поскольку вдохновение мое не было истрачено в честном и смелом направлении, я утешил свое тщеславие чересчур громкой ложью, изобразив своего отца крупнейшим деятелем и героем Отечественной войны. Я был глуп тогда и молод и бездумно вступал на путь, чреватый помимо неприятностей стыдными разоблачениями, которых я страшился более, чем неприятностей. Но даже став постарше, я придерживался этой версии, я как бы сжился с ней. Самым близким друзьям я рассказывал именно эту версию, и постепенно в моем воображении она приобрела силу правды, я сам в нее поверил. Поэтому я не любил тех немногих, кто знал подлинную историю моего отца и, еще даже не видя Михайлова, испытывал к нему неприязнь. Я обратился к нему три года назад, лишь когда положение мое стало безвыходным. Интересно, что эта детская ложь, выдуманная экспромтом, по-детски наивно и сложившаяся в случайную картину, росла вместе со мной, приобрела надо мной власть и даже создала некий дополнительный нравственный тупик в моей жизни. Я мог бы уйти от острого больного вопроса моего происхождения, распространив версию, что отец мой просто и обыденно умер. Тем более, что это была бы не совсем ложь, а скорее полуправда, так как я не сомневался, что он давно мертв. Я же всем, кто знал меня, сообщал эту мою детскую версию героической гибели отца, несколько, правда, повзрослевшую и лишенную очевидных наивностей. Более того, я вдруг без всякой инициативы с их стороны сообщал людям, мнением которых обо мне я дорожил, что, например, получил письмо от фронтового друга отца и должен встретить его на вокзале... Или нечто подобное... В не-

которых обществах я распространялся и о героической фронтовой жизни матери, которая между тем обыденно умерла от малярии... Но здесь я сумел, к счастью, обуздать себя и замять эту легенду где-то на задворках, среди случайных знакомств и людей, с которыми я либо встречался редко, либо вовсе перестал встречаться. Подобные легенды в детстве нередки, вполне объяснимы и даже обаятельны, пока молодая жизнь находится скорее в области игры, чем подлинности. Но с годами в этом проявляется нечто патологическое, неприятное. Порок, за который приходится платить беспокойством и напряжением. Меня постоянно терзали нелепые страхи... Я боялся, что Михайлов вдруг окажется в обществе моих друзей, хоть это было исключено... Или приедет тетка и сболтнет то, что не надо... Вообще у меня не было ясности на душе, и я не любил, когда два человека, не знающих друг друга, но знающих меня, встречаются.

В последнее время пошли слухи, что некоторые аресты были произведены неправильно, подобно аресту врачей, о реабилитации которых публично сообщили в газетах и по радио... Я начал иногда задумываться в этом направлении, но как это ни нелепо звучит, мне трудно было менять легенду моей жизни, которую я сам же придумал и под власть которой я попал. Вся эта разномастная ложь, незаконные махинации Михайлова, на которых держался мой быт, нелепые мои выдумки личного характера, весь этот сонм неправд, полуправд, закулисных деяний, наслаивающихся с годами, лежал так близко и был так плохо скрыт, что не разоблачен он был, мне кажется, лишь благодаря моему ничтожному положению, не могущему вызвать зависть, а лишь жалость, насмешку или безразличие у людей, обладающих административной властью. Правда, у некоторых, например, у администрации по месту моей работы я вызывал неприязнь, но это была некая насмешливая, несерьезная неприязнь, неприязнь к слабому, и она, по-видимому, вызывала желание не уничтожить меня, а попросту отмахнуться и освободиться от меня. Враг же, о котором я говорил, испытывал ко мне самую настоящую, серьезную неприязнь, лишенную насмешки. Правда, он занимал чрезвычайно низкую административную ступеньку, но что с того? Он был причастен к порядку, к закону, и его интересовало не лишнее койко-место, а я, которого без поддержки Михайлова он давно бы уничтожил. Враг мой была женщина. Я ее помню ясно, во всех подробностях. Была она невысокого роста, несколько сутуловата, лицо круглое, говоря объективно, была не лишена внешней привлекательности. О возрасте сказать затрудняюсь, возможно, тридцать с небольшим, а может, и все сорок. Фамилия ее была Шинкаренко, имя Татьяна. Но произносила она свое имя «Тэтьяна», может, потому, что родом была из Белоруссии.

— Надя,— кричала она уборщице,— пойди принеси ведомость из прачечной, скажи, Тэтьяна велела.

Работала она зав. камерой хранения, где содержались вещи жильцов, а также раз в неделю производила обмен белья. Должность ее как будто чисто техническая, тем не менее она занимала третье место в административной иерархии, во время отпуска комендантши заменяла ее и активно вмешивалась в судьбу жильцов. Я не знаю, откуда берет начало глубокая полнокровная ненависть Тэтьяны ко мне. Впрочем, комендантша Софья Ивановна, по-моему, ее тоже недолюбливала и немножко побаивалась.

Помимо Тэтьяны определенную роль в расстановке сил играли трое дежурных, посуточно сменявших друг друга, и даже две уборщицы. Двое дежурных были сестры. Меня они из общей массы не выделяли. Третья, Дарья Павловна, выделяла даже в хорошую сторону, всегда мне улыбалась и вежливо здоровалась, так как я единственный из жильцов ласкал и кормил кошку, ее любимицу, живущую при общежитии. Однако из-за этой кошки отношения у нас испортились. Кошка постоянно была беременна, и уборщицы топили ее котят в помойном ведре. Была она маленькой, тощей, хоть уже старой и опытной, понимала с полуслова, когда ей должно перепасть съестное, а когда надо убегать. Спала она в кубовой, а во время дежурства Дарьи Павловны рядом с ней на диванчике у входа. Я говорю так много о кошке, потому что и она, бессловесная тварь, оказалась втянутой в события и сыграла роль в моей судьбе. Однажды, когда я по обыкновению подошел и принялся ласкать ее, она вдруг подпрыгнула, вонзила мне зубы в пальцы, а когтями задних ног глубоко распорола ладонь. Дарья Павловна, при этом присутствовавшая, даже вскрикнула от испуга. Я тут

же ушел, держа раненую руку на весу. В комнате я залил рану, из которой сочилась кровь, тройным одеколоном и обмотал ладонь носовым платком. Помимо боли меня терзала обида. Конечно, глупо и смешно обижаться на животных, скажи я об этом, меня б в комнате засмеяли. Но это была опытная и старая кошка, и она знала, я в это верю, как надо вести себя, если без прав хочешь прожить среди людей. За три года я не помню, чтоб она кого-нибудь укусила, хоть ее били, пинали, отнимали котят и таскали за хвост. «Значит, она ощутила мое бесправие»,— думал я, лежа на койке... Как это ни смешно и глупо, но думал я именно так. У меня начала болеть голова (это случалось в последнее время все чаще), и к тому же сильно болела рука, не только ладонь, но и выше, до самого локтя. Я встал и пошел вниз. Кошка мирно и спокойно умывалась, сидя у ног улыбающейся и беседующей с ней Дарьи Павловны. Злоба стиснула мне грудь. Я подошел и изо всех сил ударил кошку здоровой рукой по спине, так что внутри у нее что-то екнуло. Она тут же забилась под диван, однако я, став на четвереньки, принялся ее оттуда выгонять.

— Разве же можно так зверя,— сказала Дарья Павловна, тоном, который я от нее не слыхал,— зверь, ты ему хоть голову оторви, он тебе ничего не скажет...

На следующий день я слыхал, как Дарья Павловна говорила обо мне с Тэтьяной. У меня появился еще один серьезный враг, так как именно у дежурных были ключи от входной двери и они контролировали вход. Я понимал, что подобные отношения с Дарьей Павловной затруднят мне тактику, которую я довольно успешно применял в прошлые годы, в период весенних выселений. Я уходил в шесть утра, а после работы шел к кому-либо, если была возможность, но так как знакомых у меня было мало и ходить к ним часто было неудобно, то я разрабатывал график: в понедельник, например, к школьному товарищу, жившему ныне в этом городе, во вторник в кино, потом просто побродить по городу, а если плохая погода, пойти на вокзал, среда удачный день, к Бройдам, в приятное общество, в которое я стремился и где можно было хорошо пообедать, четверг опять кино, гуляние, вокзал... Так всю неделю... Чаще всего именно гуляние и вокзал, куда я брал с собой книги. Была, правда, еще старушка Анна Борисовна, дальняя родственница, адрес которой дала мне тетка в надежде, что там по приезде я смогу остановиться. Остановиться у нее я не смог, но иногда заходил, вроде проведать, это даже Анну Борисовну радовало. Там можно было просидеть несколько часов, попить чай, согреться, так как вечера ранней весны в нашем городе холодные, почти зимние.

Был еще дом, где три года назад меня приняли по-родственному хорошо и где я жил месяц. Но туда я ходил уж из крайней нужды, потому что, во-первых, в конце этого месяца меня все-таки почти что выгнали, так как я засиделся свыше обещанного и стеснял их, а во-вторых, сейчас там меня принимали за нищего и угощали не чаем с печеньем, а позавчерашним супом, который я ел с отвращением и из вежливости. Впрочем, это были даже не родственники, а какие-то знакомые тетки, которые чем-то ей были обязаны. Фамилия их была странная — Чертог. Туда я ходил, когда уж очень уставал от вокзального своего пристанища. К тому же у Чертогов допоздна оставаться нельзя было, так как они рано ложились спать, и все равно приходилось ехать на вокзал. Согласно тактике мне надо было возвращаться в общежитие не раньше ночи, поскольку комендантша иногда задерживалась в общежитии до десяти вечера, а Тэтьяна и до половины двенадцатого. Тактика моя состояла в том, чтобы, получив повестку, исчезнуть и избегать словесных предупреждений и вообще контактов до тех пор, пока Михайлов не улаживал дело. Теперь же, когда из-за проклятой кошки Дарья Павловна перешла в стан моих врагов, тактика моя, которая в прошлые годы давала хороший результат, становилась под угрозу. Конечно, подобная тактика меня довольно сильно изматывала, но это продолжалось не более двух, от силы двух с половиной месяцев. Остальные же десять месяцев жизнь моя была более приятна и спокойна.

Вот так-то усложнилась обстановка в тот год, когда я решил отказаться от услуг моего покровителя Михайлова из-за того, что, помогая мне в предыдущий раз, он меня попросту откровенно унизил... Помню, когда я уехал тогда от него униженный и впервые по-настоящему ощутивший свои нервы, был прекрасный день, первый по-настоящему весенний день,

двадцать третье апреля, я запомнил число. Я доехал до загородного лесопарка и сел на одной из дальних просек. Остро пахло молодой хвоей, возбуждая почему-то у меня чувство голода, хоть перед посещением Михайлова я успел пообедать в столовой. То тут, то там мелькали белки. Эти зверьки были здесь почти ручными и ласковыми. Двое зверьков оказались передо мной, ожидая орехов. Они сидели, доверчиво подняв мордочки. Я нашел у скамейки прошлогоднюю шишку и с силой запустил в них. Я целил в голову той, что покрупней, но промахнулся. Я погнался за ними, ища глазами какую-нибудь палку или камень. Что творилось у меня тогда в душе, понять трудно. Это была душа злодея, порожденная дикой обидой на жизнь. В те страшные мгновения стыда, отчаяния и злобы я мог бы убить ребенка... Я осыпал проклятиями моих покойных родителей... Лицо мое было залито слезами, а правый кулак расшиблен в кровь, кажется, я ударил им о спинку скамьи, либо о ствол дерева... Потом наступило новое состояние... Не могу сказать, что я чувствовал... Помню позор... Мне было стыдно перед собой за свою жизнь... Я закрыл глаза от стыда, мне захотелось исчезнуть и вдруг стало легче, а затем совсем легко... Кажется, я забыл тогда такие земные мучительные слова, как самоубийство, смерть, сырая могила... Поэтому я не отношу этот случай к тем двум-трем нелепым приступам, когда я хотел убить себя (позднее, значительно позднее, уже совсем в другой жизни подобное состояние возникло опять). Передо мной явилась не смерть, которой оканчивается жизнь, а то, что бывает после смерти, легкое «ничто», которое сродни жизни и из которого рождается жизнь... Возможность исчезнуть вселила в меня успокоение, и это успокоение вернуло меня в жизнь. Вскоре я занялся своими обычными земными мыслями. То есть обычными в том смысле, что я избавился от нахлынувшего на меня безумия. Но были они все-таки новы и связаны с моим недавним состоянием. В частности, я с неприязнью подумал о своем отце. Не с проклятием в порыве безумия, что относилось не столько к родителям, сколько к моей судьбе, рожденной ими. Я подумал о своем отце, как о человеке, совершенно независимо от факта моего рождения. Я никогда не знал его, и он являлся для меня всего лишь отцом-идеей, вне меня и без меня не существующей. Но Михайлов был его другом детства, юности и молодости. В студенческие годы они вместе спали на одной койке, о чем рассказывала мне тетка, давая адрес Михайлова. Таким образом, рассуждал я, это были люди душевно близкие друг другу, наверное, искренне любившие друг друга... Михайлов же человек глупый, да, я в этом убедился, любит, когда ему льстят сотрудники его отдела, к тому ж не без пошлинки... Например, застав меня раз в отделе разговаривающим с Вероникой Анисимовной Кошеровской, той самой сорокашестилетней сотрудницей, которая сочувствовала мне и приняла посильное участие в моей судьбе, он както неприятно засмеялся и выразился достаточно скользко, намекнув на странную ее привязанность ко мне, так что и мне, и Веронике Анисимовне стало неловко... И этого-то пошляка мой отец любил.

Подобное направление мыслей придало моему духу унылое, подавленное состояние, но это уже не опасно для жизни, так как это состояние случалось у меня всякий раз после неприятных разговоров в комнате, выговоров по работе, или стычек с комендантшей. Я знал его и потому не пугался, так как оно всегда кончалось через несколько часов. Так что разочарование в моем отце, событие, казалось бы, серьезное, влилось в общий ряд бытовых неурядиц, думаю, благодаря именно тем предшествующим этому разочарованию минутам безумия, ненависти и желания потерять жизнь, минутам, отнявшим себе всю свежесть и остроту восприятий, так что разочарование в отце пришлось как бы уже на похмелье и было маловыразительным и необразным.

Постепенно все забылось, вернее, поблекло. Наступило лето. Я отдыхал в провинции, окреп, загорел... Потом зима... Тяжелые ночные смены на строительных объектах... Я отморозил ухо, так что оно время от времени распухало, становилось липким и чесалось... В свободное время сидел в библиотеке. Раз, иногда даже два раза в неделю бывал у Бройдов, в обществе мне приятном, где шла совсем иная, заманчивая жизнь... В конце февраля подули теплые весенние ветры, и у меня тоскливо сжалось сердце. Кончалась моя защитница-зима, начинался новый цикл моей борьбы за койко-место. С начала марта я начал с тревогой поглядывать на тумбочку

у входа в общежитие, где оставляли почту. Я страшился повестки о выселении и в то же время ждал ее, чтобы исчезла последняя нелепая надежда на то, что меня, вопреки закону, в этом году выселять не будут... Подобная надежда вселяла смуту и неуверенность в мои планы... Как это ни глупо звучит, такая надежда вопреки здравому смыслу возникала у меня каждый год и каждый год она не сбывалась, так как у меня не было на койко-место никаких прав. Мысль же о том, что придется вновь обращаться к Михайлову, лишала меня покоя, и с конца февраля именно мысль о новых унижениях перед Михайловым первой приходила мне всякий раз после пробуждения ото сна. Правда, мой друг Григоренко обещал разузнать насчет возможности «сунуть в лапу», то есть дать взятку кому-то в жилконторе. Это меня очень обрадовало. Денег, конечно, маловато, но в конце-то концов это лучший выход.

День, когда прибыла повестка, был совершенно зимний, падал снег, от беспокойных февральских оттепелей и намека не осталось. Может, потому, а может, оттого, что давно ждал эту повестку, особого волнения я не испытал. Просто взял и положил в боковой карман, не читая, так как знал содержание наизусть, оно повторялось из года в год.

* * *

В повестке значилось: «Гражданин Цвибышев Г. М. На основании параграфа... постановления Совета Министров о проживании в общежитиях и ведомственных домах государственных учреждений и организаций предлагаю вам в двухнедельный срок, то есть до 21 марта 195... года освободить занимаемое вами койко-место. В противном случае к вам будут приняты административные меры. Зав. ЖКК треста «Жилстрой» Маргулис».

Моя фамилия Цвибышев какая-то неживая и явно придуманная. У деда моего другая фамилия, и он до сих пор относится к этой фамилии с возмущением. Но я-то здесь ни при чем, мне-то она досталась от отца. В обиходе зовут меня Гоша, хоть и это неточно. По паспорту я Григорий, а Гоша видоизменение другого имени — Георгий. Так что не только в жизни, но и в обычном наименовании у меня путаница и отсутствие порядка.

В то утро, когда прибыла повестка, проснулся я позже обычного, забывшись внезапным крепким сном, что случалось со мной редко. Даже радио, включенное на полную громкость, не смогло меня разбудить в шесть часов. Первым делом я, разумеется, подумал о Михайлове, о том, что если идея Григоренко со взяткой в жилконторе провалится, придется унизиться опять перед Михайловым. Но подумал без боли и стыда то ли потому, что начал привыкать к мысли, то ли потому, что радость мешала этим дурным мыслям, так как сегодня был четверг, а я еще не использовал на этой неделе свою возможность посетить Бройдов, и это мне сегодня предстояло. Собственно, Бройды рады были мне всегда и ограничивал свои посещения я сам, так как считал, что редкие мои посещения более ценны и не переводят наши взаимоотношения в быт, я видел, как эти люди радуются моему приходу, и частыми посещениями боялся эту радость потерять. Кроме того, редкие посещения поднимали мой престиж человека разностороннего и неодинокого, а таковое впечатление я чрезвычайно боялся произвести на Бройдов и боялся дать им понять, что они мои единственные друзья. Помимо всего прочего, меня сегодня должны были уволить с работы, мне о том уже намекали, а сегодня предстояла планерка, так что я должен был ехать не на объект, а прямо в управление, где, вероятно, я это предчувствовал, мне и должны были все объявить официально. Откровенно говоря, по этому поводу я испытывал сложное чувство. Еще год назад мысль об увольнении вызывала во мне панику, как и потеря койко-места. Теперь же я был даже рад. Немного денег у меня есть, я начну интенсивно готовиться в университет, а там моя жизнь круто изменится, придет другое общество, интеллектуальная женщина, черный двубортный костюм. То есть я, может, и не так мелко думал, но в мечтах и это мелькало... Однако сам я бы никогда не собрался с духом пойти на такой опасный шаг, как увольнение, и сам бы не подал заявления, хотя работа эта отнимала у меня силы, не давала никаких перспектив, и я сам чувствовал, что не на месте. Начальство же это чувствовало давно и давало мне о том понять в течение трех лет довольно грубо, но уволить меня не решалось, поскольку я уст-

роился здесь также по знакомству, через приятеля Михайлова, занимавшего высокий пост. Причем относилось начальство ко мне одинаково грубо, не делая разницы и тогда, когда два года подряд, боясь быть уволенным, я работал со рвением, и теперь, когда я действительно начал работать спустя рукава. Два года подряд я с утра до ночи, иногда по две смены, не уходил с объектов, в дождь, в мороз, больным... Я так уставал, что, вернувшись в общежитие, иногда по полчаса сидел в сушилке, не будучи в силах стащить грязные резиновые сапоги... Но поощрили меня всего раз небольшой денежной премией, когда вместе с экскаваторщиком я сутки без сна возился у провалившегося в котлован экскаватора. Правда, это быстро забылось. Кроме того, генподрядчики на объектах, которые обслуживали наши механизмы, были мной недовольны, поскольку работы требовали не столько знаний, сколько «человеческих отношений». Так говорили мне те прорабы нашего управления, которые относились ко мне хорошо: Свечков, Шлафштейн и Сидерский. Но как я ни старался, у меня эти отношения не получались, взаимоотношения на стройках требуют какого-то особого выражения лица, как мне казалось, умения понять друг друга и нарушить закон. Я этого не умел и боялся, поскольку, нарушив закон, я мог лишиться работы и вообще могла выясниться вся моя личная незаконная жизнь. Поэтому я хоть и уставал, но должность свою так и не освоил и работал плохо. Думаю, освой я работу, начальство переменилось бы ко мне в лучшую сторону, о чем свидетельствует отношение к Свечкову... Но мало того, что работать я не умел, рвение мое основывалось на страхе быть уволенным и больше ни на чем... В нынешний же год и рвение угасло, благодаря небольшим денежным накоплениям... И мысль о том, что сегодня меня должны уволить, не вызывала страха, и наоборот, как-то приятно соединялась с мыслью о посещении Бройдов. Увольнение, на которое сам бы я тем не менее не решился, было помощью извне и толкало меня на новый путь, к новой жизни, борьбу за которую, судя по возрасту, откладывать более нельзя было...

Итак, проснувшись позднее обычного, я потянулся и, просунув ступни меж прутьев койки, почесал пятки о шкаф. Ни Петрова, ни Жукова, ни Кулинича уже не было. На столе валялись неприбранные остатки завтрака: куски хлеба, кожура колбасы, вскрытые, вкусно пахнущие банки из-под каких-то томатных рыбных консервов. Все это мокло в луже остывшего кипятка, очевидно, жестяной комнатный чайник снова распаялся. Из-за шкафа я слышал храп Саламова, а рядом на одной койке спали Береговой и его брат Николка, молодой парнишка, учащийся железнодорожного техникума. В отличие от Пашки был он парень более добрый, но расхлябанный, ленивый, учиться не хотел, и отец, наезжавший из села, поручил его попечению Пашки. Уже некоторое время Николка оставался ночевать каждый раз в день выдачи стипендии. Стипендию Николка не получал, но в тот день в общежитии бывали гулянки, и он пропивал присланные отцом деньги. За это Пашка бил его сложенным втрое электрическим проводом, бил сильно и до крови. Между ними якобы даже существовал полюбовный договор на этот счет, составленный в присутствии отца, который тратил на младшего сына деньги, пытаясь вывести его в люди. И Николка согласился, что в случае нарушений добровольно будет принимать от Пашки наказания...

Я встал осторожно, стараясь не разбудить братьев, так как не любил, когда кто-либо присутствует во время моего завтрака. Не то чтоб из жадности, жили мы все самостоятельно, а не коммуной, и по молчаливому уговору едой не делились. В некоторых комнатах, особенно среди молодых, только прибывших, существовали коммуны и дележ в еде, но этого я не люблю... И даже ушел из такой комнаты жить в другую. Одно дело угостить, другое — когда это норма...

У каждого свои вкусы, свои запасы, свое распределение средств... Я, например, научился вкусно и экономно питаться и, тратя деньги скупо, редко бывал голоден. Рыбные и мясные консервы, любимое блюдо молодежи, я давно не покупал. Дорого, а съедается в один присест. Не покупал я также дешевых вареных колбас, хоть они вкусны, спору нет, но быстро сохнут и съедаются в большом количестве... Сто граммов копченой сухой колбасы можно растянуть на четыре-пять завтраков или ужинов, двумя тонкими кружочками колбасы покрывается половина хлеба, смазанного маслом или животным жиром, на закуску чай с карамелью. Иногда к хлебу и колбасе что-нибудь остренькое. Сегодня к завтраку у меня, например, запечатанная еще банка томат-пасты — домохозяйки покупают ее как приправу к борщу. Но намазанная тонким слоем поверх масла, она придает бутерброду особый аромат, такая банка, в зимних условиях поставленная на окно, может быть хороша всю неделю...

Отбросив одеяло, я начал торопливо, почти судорожно натягивать брюки, опасливо поглядывая на спящих братьев. Несмотря на мою долгую жизнь в общежитии, я стыдился стоять в белье, к тому ж давно не стиранном и лопнувшем в нескольких местах. Большинство холостяков отдавали стирать белье уборщицам, однако я почему-то этого стеснялся, да и средства требовались. Я предпочел бы стирать самостоятельно, как некоторые, в специально отведенной для этого комнатке, в подвале, рядом с душевой. Но роли прачки я стеснялся еще более, разве что улучу момент, когда в прачечной никого, а такое случалось редко. Если и стирал, то с оглядкой, вдруг войдет Надя или из семейных кто-нибудь... Но особенно Надя... Так что занашивал я белье ужасно, пока оно не начинало рваться и лосниться.

Я почти уже застегнул брюки, когда неожиданно открылась дверь и вошел Кулинич с дымящейся кастрюлей в руках. Я даже вздрогнул, у меня екнуло сердце. Я думал, что Кулинич на работе, а он, оказывается, варил, и теперь мне нельзя будет позавтракать в одиночестве. Кулинич был высокого роста, голубоглазый, с большим, но вздернутым кверху носом, что придавало его лицу вид Иванушки-дурачка. Он был со всеми, даже с мальчишкой Саламовым и Николкой Береговым на вы.

— Что ж это вы заспали,— громко сказал он, улыбаясь, и я понял, что своим поведением он разбудит и Саламова, и братьев Береговых. Придется завтракать среди сонных потягиваний, зевков и прочих неприятных звуков и видов.

— Мне попозже надо сегодня,— сказал я и, взяв полотенце, вышел в коридор. Здесь было довольно пусто, так как часы пик, приходящиеся на 6—7 часов утра, уже прошли, и царил особый, привычный утренний запах из кухни, где готовили еду жены семейных, и из двух туалетов в концах коридора. Я пошел к дальнему туалету, так как против него находилась 26-я комната, где жили мои друзья, но двери были заперты, значит, Григоренко и Рахутин на смене, а старик где-то гулял. Умывшись, я по обыкновению, если рядом никого не было, осмотрел свое лицо и нашел его выспавшимся, а после умывания довольно свежим. Возвращаясь, я встретил Надю из 30-й, молодую солдатку. Муж ее газосварщик, бывший жилец общежития, служил в армии, а она жила в комнате для семейных. Вообще все жильцы общежития были уродливы, провинциальны и старомодны. Надя же была смазлива, одета по столичной моде, и раз я даже встретил ее с какой-то девушкой на главной улице в районе Главпочтамта, где обычно стояло много красивых женщин и молодых людей. Тогда она прошла, не заметив меня. Сейчас Надя покосилась на меня и, запахнув на груди халат, презрительно хмыкнула. Мне это было неприятно. Не то что она мне нравилась или я о ней думал, как о некоторых моих фаворитках, но меня заботило впечатление, которое я произвожу на красивых женщин, которых я более или менее регулярно видел и которых мысленно, разумеется, выделил из общей массы, бросал на них взгляды, если они были недалеко, и думал о них в их отсутствие. Конечно, таких женщин не могло быть ни на работе, ни в общежитии. Несколько из них встречались мне в библиотеке, одна, самая красивая, в газетном архиве. Была также фаворитка, которую я иногда встречал на улице, где располагалось общежитие, очевидно, из местных. Ни с одной, конечно, я никогда не говорил и не знал их имен. Надя в фаворитках не числилась, была она слишком груба и ясна для меня и не могла составить предмет мечты в ночные часы. Но все же мне было неприятно ее презрительное ко мне отношение, так что даже испортилось настроение, впрочем, я знал, ненадолго.

Войдя к себе в 32-ю, я застал Кулинича за едой. Он ел из глубокой эмалированной миски борщ, полнокровно-красный домашний борщ с большим куском мяса посредине. Красавец борщ даже по внешнему виду не шел ни в какие сравнения с тощими столовскими борщами цвета линялой розовой краски. От него вместе с паром исходил густой, крепкий аромат. Пашка Береговой и Саламов, к счастью, по-прежнему спали, а Николка

Береговой сидел у стола в майке и трусах, всклокоченный и в состоянии сонной апатии смотрел мимо борща на свои руки, как-то лениво и небрежно лежащие на столе. Я достал из тумбочки хлеб, остатки колбасы, масло, кулек карамелек и банку томат-пасты. Тут же на тумбочке я открыл личной открывалкой банку и, отрезав кусочки колбасы, приготовил три аппетитных бутерброда из масла, колбасы и томат-пасты. Затем я перенес все это на стол, налил в одну из общих комнатных приблудных кружек кипятку.

Николка по-прежнему сидел не шевельнувшись, глядя теперь уже мимо не только борща Кулинича, но и мимо моих бутербродов.

— А вы все на масло нажимаете,— весело сказал мне Кулинич. Подобные обороты он употреблял постоянно, и я к ним привык.— А я,— продолжал он, зачерпывая борщ деревянной своей ложкой,— я, если сам не наварю, есть не могу... Воротит меня... Я только раз на стороне хороший борщ ел... Работали мы с партнером на даче у Хрущева... Столярная работа... И на кухне дали нам борща... Ну борщ — вино... Ложку поставишь — стоит...

Я торопливо и неожиданно без аппетита ел свои бутерброды, украдкой поглядывая на молчаливого, неподвижного Николку, который, конечно же, был голоден, я это чувствовал. Береговым в отличие от меня, которому никто не помогал, отец еженедельно привозил или присылал с односельчанами огромные плетеные корзины яиц, сала и вкусного копченого мяса. Раза два, когда я был с Пашкой в хороших отношениях, меня угощали этой ароматной, простой крестьянской провизией, которую я очень любил, более чем тонкие и нежные кушанья. Тем не менее братья Береговые ели по-крестьянски много и быстро, особенно Николка, не умевший вовсе экономить и часто ходивший голодным. Был он голоден и сейчас, я это видел и потому ел свои бутерброды без аппетита и мучился, что не имею возможности угостить его, так как это лишило бы меня ужина. Да и, кроме того, угости я его, это стало бы нормой и повторялось бы всякий раз, когда он у нас бывал. Поэтому я ел без того удовольствия, на которое рассчитывал, и досадовал на Кулинича, своими глупыми, шумными разговорами разбудившего Николку.

— Едри ихнюю мать,— говорил Кулинич, кивая на радио, которое передавало обзор центральных газет, так что было довольно поздновато и надо было торопиться,— едрена мать,— повторил Кулинич,— только гавкают, а как пойдешь куда-нибудь, так ничего не добьешься... Пойдешь по этим начальникам, в горсовет, в райисполком, они сидят надутые... От так бы дал...— он поднял огромный свой кулак,— мне сорок пять лет... я инвалид второй группы... пойдешь насчет комнаты или насчет работы полегче... мне на стройке нельзя, у меня ревматизм спину ломает... в артель инвалидов какую-нибудь... там всюду евреи... они друг друга тянут, а нашему брату не пробьешься. Насчет комнаты, тоже начальники от одного к другому гоняют... а я ж здоровье свое в плену потерял,— объяснял он обстоятельно,— бараки на сваях... доски на два пальца, а под низом вода... брить заставляют все места от вшей... бритва одна на тридцать человек, ржавая, аж по сердцу скребет... джем выдавали искусственный, из угля говорят... ешь — вкусно, вкуснее настоящего, а после изжога, грудь печет...

Кулинич вынул из кармана солдатских галифе, которые носил постоянно, дешевый складной нож с железной рукояткой и принялся разрезать им борщевое мясо. Я наспех съел бутерброды, выпил остывший кипяток и, посасывая карамельку, принялся одеваться. Я надел теплую ковбойку, синий полушерстяной свитер, почти новый, но, к сожалению, растянутый у ворота, так что ворот приходилось незаметно зашпиливать секреткой. Брюк у меня было три пары, как будто бы много, но носил я главным образом одну пару из черного сукна, которая при такой частой носке начала уже протираться сзади. Были у меня еще брюки из прекрасного английского бостона коричневого цвета, единственное наследство, доставшееся от отца. Однако брюки эти существовали уже лет десять, с тех пор, как к окончанию школы тетка сшила мне костюм. Ныне брюки пришли в ужасную ветхость и не поддавались больше ремонту. Пиджак же сохранился лучше, почти не стал мне узок, но я его не носил, рассчитывая продать. К тому ж как рабочая одежда он не годился, а как выходной уже устарел. В качестве выходного у меня был чудесный импортный пиджак из синего вельвета, который очень хорошо смотрелся в сочетании с серыми выходными

брюками. Брюки эти скорее летние и для зимы тонкие, тем не менее я всякий раз надевал их, когда шел к Бройдам. Была у меня также хорошая байковая куртка, которую я надел сейчас. Пальто мое уже поношенное, но не потому, что давно куплено, а потому, что я трепал его по строительным объектам. За незначительную цену одна из уборщиц подкоротила мне его, и хоть накладные карманы оказались после этого чересчур низко, тем не менее пальто стало смотреться лучше, чем ранее, когда полы болтались намного ниже колен. А издали пальто вообще выглядело модным. Шапка у меня была хорошая, финского фасона, который редко встречался пока даже в нашем городе, столице республики. Так что на нее обращали внимание некоторые модники и молодые женщины, что мне чрезвычайно нравилось. А между тем пошил я ее в провинции у старого шапочника, который подобный фасон называл «керенка». Материалом для шапки послужили остатки синего теткиного жакета.

В тот момент, когда я надевал свою финскую шапку, Николка словно очнулся от полусонного, нелепого своего сидения у стола и сказал:

— Гоша, продай мне свою клетчатую кепку.

Была у меня и клетчатая кепка, которую я купил во время моей учебной практики на Урале, на последнем курсе техникума. Купил я ее из-за необычной, броской, почти клоунской расцветки, и на меня в ней также обращали внимание, что мне нравилось. Однако раз какая-то девушка, курносенькая блондиночка, по которой я с интересом скользнул взглядом на улице, а следовательно, вступил во взаимоотношения и придал определенный вес ее мнению, так вот эта девушка за спиной у меня сказала достаточно обидно своей подруге о моей кепке, и обе засмеялись. Я мгновенно переменил свое мнение об этой девушке, обозвал ее сельской кугуткой и дурой с трудоднями, причем даже вслух и с горечью, но не особенно громко. В нашем общежитии, обитатели которого состояли главным образом из бывших колхозников или их детей, жителей окрестных сел, подобные ругательства употреблялись часто и были весьма обидны, так что, обругав этаким манером блондинку, я несколько успокоился. Но кепку с тех пор носить перестал.

— Сколько дашь? — спросил я Николку.

— Трояк,— сказал Николка. Он тут же деловито полез в свои висящие на спинке стула брюки, достал трояк, протянул мне, потом обошел вокруг стула, открыл шкаф, сам взял кепку, напялил ее на свою всклокоченную голову и вновь, теперь уже в майке, трусах и кепке, уселся у стола. Проснулся Пашка.

— Пойдем в столовую,— сказал ему Николка,— жрать хочу, желудок под грудь давит.

Мне неприятен был Пашка, которого я считал не только врагом, но и предателем. Я вышел и спустился по лестнице на первый этаж. Тут-то на тумбочке, у входа, я и обнаружил среди почтовых конвертов повестку. Кроме меня, в наш корпус прибыло еще три повестки о выселении. Надесолдатке, которую обычно брал под защиту военкомат, старичку пенсионеру из двадцать шестой комнаты, которого защищал собес, и Саламову, который в этом году перешел работать из жилстроя на завод кирпичных блоков.

За столом дежурной сидела Оля, одна из сестер, не обращавших на меня внимания, а не Дарья Павловна. Камера хранения была закрыта, видно, Тэтьяна в прачечной или в соседнем корпусе.

«Хорошее начало»,— подумал я.

Правда, во дворе я едва не наткнулся на Софью Ивановну, комендантшу. Но быстро сориентировавшись, я прямо по запорошенной снегом клумбе пересек палисадник, зашел за угол и переждал, пока Софья Ивановна в своем длинном зеленом пальто с лисьим воротником, один внешний вид этого пальто вызывал во мне чувство опасности, пока Софья Ивановна, путиному переваливаясь с ноги на ногу, с хозяйственной сумкой в руках проследует в сторону жилконторы.

«Хорошее начало»,— вновь подумал я. Время, в которое я сегодня вышел, было чрезвычайно опасным, девять утра, тем не менее мне удалось уклониться от встречи с моими врагами и избежать словесных предупреждений... А вечером я у Бройдов, вернусь в безопасное время... В двенадцать, а то и позже... Вот завтра... Надо бы составить график... Завтра

можно и на вокзал... Чувствую я себя хорошо, здоров... Пока не налажу другие места, где буду также проводить вечера, можно даже несколько раз подряд на вокзал...

Хорошо бы в этом году обойтись без Чертогов... Ужасная, мерзкая семья... Моей тетке они чрезвычайно обязаны... Кажется, до войны жили у нее в течение года... Правда, в отличие от старушечки Анны Борисовны они меня приняли, и я жил у них месяц и даже питался... Но в конце они меня почти выгнали, очевидно, забеспокоившись, что я останусь у них на очень долгий срок, чтобы сполна отплатить за проживание Чертогов у тетки. Так что ныне у меня со старушечкой Анной Борисовной более приятные отношения, хоть по приезде она меня не приняла... Правда, не прими меня и Чертоги, положение мое стало б аховое... Живя у них, я осмотрелся, несколько обжился в городе, разыскал Михайлова... Если б Чертоги потерпели мое присутствие еще с недельку, мы бы расстались с ними хорошо и я бы, может, всю жизнь был им благодарен. Но последняя неделя, когда они вдруг начали обращаться со мной грубо и чуть ли не показывали на дверь, все перечеркнула. А ведь я люблю быть благодарным за содеянное мне добро. Жаль, что Чертоги и Михайлов делали мне добро не из любви или хотя бы сострадания лично ко мне, а из неких нравственных норм и обязательств, со мной связанных не прямо, а косвенно. Словно ставили Богу свечку.

После того как мы расстались, я не был у Чертогов года полтора и появился лишь из крайней нужды в вечерних пристанищах, без которых моя тактика обречена на провал. Конечно, в этом году известную путаницу в мою тактику вносила Дарья Павловна, повздорившая со мной из-за проклятой кошки... Дарья Павловна дежурила раз в три дня и, следовательно, будет делать мне два словесных предупреждения в неделю. Я принужден буду чем-то отвечать — либо грубить, либо давать обещания. Сигналы о том будут поступать в контору. Фамилия моя окажется все время на виду. Если же со мной непосредственно не встречаются, то в текучке дел обо мне могут на некоторое время и забыть. Это главное, в чем я ныне нуждался, в том, чтоб обо мне хоть ненадолго забыли. Я отлично изучил местные нравы жилконторы. Даже Тэтьяна говорила обо мне пакости и писала на меня докладные, и даже в Тэтьяне я вызывал особую ненависть лишь после того, как мы встречались, видели друг друга. Это уж точно. После почти каждой встречи с Тэтьяной у меня были неприятности. Когда же мне удавалось избегать с ней встречи, меня как бы на время забывали.

Приходила Тэтьяна не ранее семи, и об утренних встречах я не беспокоился, но вечером пристаница, где я бы мог пересидеть, чрезвычайно важны в моей тактике. Несколько путала, как я уже сказал, план Дарья Павловна. Впрочем, после двенадцати Дарья Павловна частенько уходила от входа спать вместе с кошкой на диванчик возле кубовой. Улучив момент, можно было и прошмыгнуть незаметно, однако в таких случаях она накладывала дверной крючок и надо было звонить... Крючок, пожалуй, не откроешь... Если его и удастся поддеть с улицы перочинным ножом, он упадет с грохотом, разбудит, переполошит.

Так думал я, торопливо и легко шагая. Я любил и часто ходил пешком, во-первых, экономя на транспорте, а во-вторых, просто получая удовольствие от ходьбы и возможности побыть в одиночестве и в полном равноправии с остальными прохожими. Дорогой я всегда думал о чем-либо приятном или серьезном, а если мысли были неприятные, то в пути они рассеивались или смягчались.

Обычно я шел двумя путями: было время — более дальним, по широким асфальтированным улицам с магазинами, которые я любил посещать просто так, для интереса. Если же времени мало, то я шел мимо стадиона, мимо кладбища, напрямик к крутой улице, по которой ходили трамваи. Сейчас, задумавшись, я механически пошел именно коротким путем и оказался на небольшой площади, где было трамвайное кольцо, конечная остановка. Площадь эта мне привычна, за три года я знал все здесь наизусть. С одной стороны она упиралась в шоссе, за которым высилось старинное здание военного училища с башнями наподобие шахматных тур. С другой стороны был пустырь перед кладбищем, а против пустыря огромное современное здание с колоннами — школа милиции.

На конечной остановке народу было немного, это меня обрадовало,

терпеть не могу трамвайной толпы. Снег шел густо, но мягко, белой пеленой закрывая окрестные виды, так что школа милиции, расположенная совсем рядом, едва проглядывала. В некоторых окнах горело электричество. Я запрокинул назад голову, принимая снежные хлопья на лицо. Дышалось легко, глубоко, красота снегопада, бесконечной снежной пучины, в которой тонул мой взор, заворожила меня, белое однотонное небо проглядывало словно дно сквозь белые толщи снежных волн, все это обострило мои чувства, сделало более ясной голову, и тут меня осенило... Наше общежитие — двухэтажный дом барачного типа, сложенный из шлакоблоков. С обоих торцевых концов дома располагались во всю длину торца балконы-террасы, к которым вели пожарные лестницы. Если незаметно отклеить газетные полосы, которыми заклеены дверные щели, и приподнять шпингалеты, то можно легко через эти балконы проникнуть прямо в коридор втрого этажа, минуя дежурную. Разумеется, делать это лишь по необходимости, когда дежурит Дарья Павловна. Таким образом выход вполне найден, и тактика, принесшая успех в прошлые годы, может быть применена и ныне...

Скрипя на закруглении, подошел трамвай. Успокоенный, я уселся как бы случайно, в чем я даже сам себя уверил, позади красивой девушки в меховом капоре и начал безразлично поглядывать мимо нее в окно. Я никогда не сажусь в общественном транспорте рядом с красивыми девушками. То есть ранее, будучи менее опытным, я садился, но всегда после этого оставался нехороший осадок, так как я невольно начинал принимать безразличные позы, напрягался, вел себя беспокойно и тревожно. Устроившись же сзади, я мог ее беспрепятственно рассматривать, но делал это как бы хитря сам с собой, поглядывал лишь изредка, остальное же время пребывал погруженный в меланхолическую задумчивость, что делало меня в собственных глазах недоступным для этой девушки, особенно если я молчаливо призывал свое «инкогнито», и тогда таинственная, тронутая легким цинизмом улыбка появлялась на моих губах.

* * *

Управление наше располагалось далеко, на так называемом железнодорожном пересечении, в часе езды двумя трамваями. За три года моей работы это было уже третье место, куда выселяли управление, и ходили слухи, что должны выселить в четвертый раз на отведенное ему стационарное место, почти за город, где начинался новый жилмассив. Это меня не пугало, я был уверен, что сегодня меня уволят, и слухи о переезде управления за город, наоборот, были доводом в пользу моего спокойствия по поводу моего увольнения. Когда Михайлов устроил меня сюда на работу, управление располагалось в центре города, где ныне находился огромный дворец спорта. Поначалу ко мне относились хоть и настороженно, но терпимо и прорабы-выдвиженцы, не понявшие еще, какой я человек.

Лишь спустя дней десять ко мне начали относиться грубо, что здорово испугало, так как я думал, что меня немедленно уволят. Но, может, из-за заступничества Михайлова, который действовал через своего приятеля, меня не увольняли в течение трех лет, хоть грубость эта порой приобретала весьма насмешливый и унизительный характер. Впрочем, начальник управления Брацлавский, седой выдвиженец из бывших кузнецов, лет двадцать уже работавший на ответственных постах невысокого ранга: до управления строймеханизации он был директором маленького авторемонтного завода, так вот этот Брацлавский невзлюбил не столько лично меня, сколько работника, негодного для выполнения плана. План же при особой специфике нашего управления был делом весьма хитрым и своеобразным, во имя дела требующим нарушения законов и приказов самого Брацлавского, то есть того, что у прорабов именуется личной инициативой. Так, например, при дефиците бульдозеров, которые безбожно ломались, кому-либо из влиятельных генподрядчиков требовалось незаконно выделить бульдозер, который не работал, а лишь дежурил и использовался в качестве трактора для вытаскивания застрявших в грязи самосвалов с грунтом и стройматериалами. Я знал, что некоторые прорабы не брезгают и левыми работами за наличные, которыми они делились с бульдозеристами и экскаваторщиками. Должен сказать, что в условиях отсутствия ритмичности,

когда простои сменялись авралами, отсутствия запчастей, путаницы техдокументации, в сложных погодных условиях и десятках других всевозможных обстоятельств и отклонений, неизбежных на стройках, подобные нарушения, в общем, шли на пользу производству. Я же боялся и не умел нарушать закон и, хоть работал много и тяжело, особенно первые два года, все ж считался плохим работником, что и было, очевидно, в действительности. Ибо хороший работник в России испокон веков тот, кто умеет нарушить закон для пользы дела.

Мои неуспехи радовали некоторых прорабов из выдвиженцев, особенно Лойко, огромного лысеющего парня с тонким бабьим голоском, бывшего экскаваторщика, который относился ко мне даже со злобой. Зав. производством Юницкий злобы на меня не имел, для этого я был в его глазах, наверно, слишком ничтожен, но он любил надо мной подтрунивать.

— Да,— говорил он, показывая свои прокуренные редкие зубы,— на работу его устроил дядя, кормит и одевает мама, техникум помог окончить папа... Учись, Лойко, жить...

А Лойко злобно поглядывал на меня и ругался. Правда, однажды заведующий отделом кадров Назаров, бывший районный прокурор, уволенный за пьянство, человек рябой и одноглазый, относящийся ко мне вполне терпимо, может, благодаря контактам с приятелем Михайлова, сказал Юницкому:

— Родителей у него вроде бы нет, по крайней мере, согласно анкете.

— Ничего,— сказал, улыбаясь, Юницкий,— это такой народ... Они из того света ухитрятся... Верно, Цвибышев?

Я натянуто улыбнулся в ответ, презирая себя в душе за эту жалкую улыбку, но извиняло меня перед собой то, что я тогда очень боялся потерять работу. Однако иногда не на людях этот Юницкий говорил со мной другим тоном.

— Умей постоять за себя,— говорил он мне,— что ты такой беззубый, ей-богу, прямо смотреть на тебя противно.

Я боялся таких разговоров еще больше, чем насмешек. Мне казалось, что подобными разговорами он может нащупать подлинную причину моего страха и выяснить мое незаконное существование. Впрочем, иногда я огрызался, но в адрес людей, которых мог не опасаться, которые относились ко мне хорошо и с сочувствием: Свечкова или Шлафштейна. Раз, когда Шлафштейн сделал мне какое-то замечание, я крикнул ему нервно:

— Ясное дело... Ведь я не выпиваю с генподрядчиками, как ты... поэтому мне тяжело работать...

— Глупый ты парень,— негромко сказал Шлафштейн и отошел.

Дело происходило в конторе в присутствии других прорабов и довольно большого числа рабочих. Шлафштейн, конечно, шел на определенное нарушение, так же как и Лойко, как сам Юницкий, как многие из присутствующих здесь экскаваторщиков, слесарей, бульдозеристов. Все это знали, но по неписанным нормам производственной морали об этом не следовало говорить вслух, так как выраженное вслух это приобретало форму сигнала о нарушении, то есть доноса. Каким-то образом крик мой хоть и привлек внимание, но последствий не имел. Я мучился несколько дней, пока Шлафштейн сам не подошел ко мне и не заговорил так, вроде ничего и не случилось.

Двор, где ныне располагалось управление, я ненавидел и боялся, поскольку здесь все трудности моей нелюбимой работы дошли до предела. Едва завидев его издали, я уже ждал новых бед и гадал, какие новые неприятности он мне преподнесет... Двор этот, обнесенный дощатым забором, был довольно обширен и покрыт потрескавшимся асфальтом, в который въелись пятна солярки и мазута. Ранее здесь располагался один из гаражей главстроя, и еще с тех времен сохранился дощатый, прокопченный барак — мастерские, барак почище, оштукатуренный — контора, несколько каменных строений, смотровые ямы... Сейчас во дворе то тут, то там стояли экскаваторы, скрепера, бульдозеры, разутые, то есть без гусениц, со снятыми ковшами, облепленные снегом. У мастерских переоборудовали большой экскаватор, цепляли ему ковш на тросах, превращая в драглайн. Вокруг ходили слесаря с черными лицами, в лоснящихся спецовках. Покуривали, посмеивались. Трещала электросварка. Экскаваторщик Чумак кричал главному механику, указывая на стоящего здесь же Иван Ивановича, бывшего фронтовика, однорукого начальника снабжения.

— Что это за снабженец... Едри его в пупа мать... Он же ничего организовать не способен... Я три дня без подшипников простоял... Начальником снабжения, если на то пошло, должен быть какой-нибудь хороший еврей, деляга, а не эта рязанщина.

— Ты горло не дери,— горячился в общем-то тихий Иван Иванович,— куркуль какой... Бандера... Нация ему не нравится моя... Мы вас защищали...

— А ты меня не защищай,— говорил Чумак,— ты мне подшипники достань.

— А почему у тебя подшипники поплавились? Вот акт составим,— говорил главный механик.

— Ну едри его в пупа,— кричал Чумак,— теперь ты меня уж не заставишь без техосмотра работать.

Я прошел мимо всех этих криков и суеты и вошел в контору.

Планерка еще не начиналась. Из бухгалтерии слышен был стук арифмометров, в расположенном напротив производственном отделе что-то громко рассказывал Юницкий. Я приоткрыл дверь. За столами сидели инженер производственного отдела Коновалова и начальник второго участка Литвинов. Как ни тяжела для меня работа на объектах, на линиях, там я себя чувствовал свободнее. В конторе же я попросту ощущал себя дворовой собакой, которую каждый может пнуть. Интересно, что даже своего тщеславия, даже своего «инкогнито» я здесь не ощущал, словно его и не было, того тщеславия, тайного, конечно, которое я ощущал в библиотеке, или даже явного, которое я ощущал у Бройдов. За три года я ужасно себя скомпрометировал и унизил, так что сама мысль о протесте, который может привести к потере единственного источника моего существования, получаемой здесь зарплаты, сама мысль о протесте казалась мне дикой. Впрочем, и в конторе некоторые относились ко мне с сочувствием, пусть и не постоянно, временами. Так, секретарша директора Ирина Николаевна и Коновалова по-бабьи вздыхали, говорили со мной, пытались за меня заступиться. Правда, как я понял, не всегда и в известных пределах, когда это не грозило их личному благополучию. Коновалова пыталась действовать в мою пользу на Юницкого, а Ирина Николаевна на и. о. главного инженера Мукало. Этот Мукало соответствовал своей фамилии, был толст и похож на рыхлую бабу.

Когда Михайлов устроил меня в управление, Мукало взял меня к себе на участок. Недавно Мукало удалось занять должность главного инженера, к которой, как узнал я от Ирины Николаевны, он давно стремился. Но его до сих пор не утвердили, так как этому якобы препятствует наш начальник Брацлавский. Я погрузился в сеть внутренних конторских взаимоотношений, когда прошлый месяц проработал в конторе, куда меня по протекции Ирины Николаевны устроил Мукало. Сделано было это из желания помочь мне, так как я был слаб здоровьем, замерзал и уставал на линиях, а также не мог сработаться с производственниками. Тут, в конторе, в тепле, думали они, мне будет лучше. Но именно этот месяц в конторе и ускорил мое увольнение. На линиях, среди матерщины и грубости, все, однако, было посвободней и не все из случившегося доходило до конторы, многое исправлялось незаметно. В конторе же я постоянно находился перед начальством, и любой мой промах, самый незначительный, сразу служил поводом разноса. Именно в конторе я получил три выговора подряд. Должность мне Мукало выдумал на первый взгляд вполне простую — диспетчер. И как будто бы легкую, даже до обидного легкую. Состояла она, главным образом, в том, что я должен был по телефону обзванивать автопарки и заказывать автосамосвалы под наши экскаваторы на разных объектах. Однако проработав день-другой, я понял, что должность эта не такая уж легкая, а даже, наоборот, весьма опасная для человека, которого хотят уволить, и вполне пригодная, как последнее испытание... Я даже начал подумывать, что Ирина Николаевна, наверно, за меня хлопотала искренне, но Мукало, который и сам убедился в моей непригодности, махнул на меня рукой, а должность эту придумал по согласованию с Брацлавским. Невзирая на свои разногласия, по вопросу обо мне они, очевидно, сошлись, наконец, в общем мнении. Что и подтвердилось впоследствии. Оказалось, что

автопарки принимают заявки почему-то лишь во второй половине дня. Таким образом, первую половину дня я слонялся без дела, что угнетало меня и делало в своих глазах и в глазах окружающих бездельником. Иногда, впрочем, меня использовали в качестве курьера, и это усиливало унижение. Во второй же половине дня я садился за телефон, который работал дурно, с перебоями, и начинал дозваниваться в десятки автопарков. Однако помимо меня туда дозванивалось множество других организаций. Случалось, мне везло, но чаще всего я тратил много времени, чтоб прорваться к диспетчеру автопарка. Потом оказывалось, что самосвалы нужных нам типов уже розданы... Я просил, нервничал, ругался, доказывал, что нельзя под небольшие экскаваторы БТ посылать огромные МАЗы... После трех-четырех автопарков я изнемогал, нервы сдавали, на лбу выступала испарина, болела голова, болело горло, горели уши от телефонной трубки, ныли руки. Это может показаться смешным, но я уставал от телефонной трубки, она словно наливалась свинцом. Длинные номера телефонов путались у меня перед глазами, были случаи, когда я дозванивался с полчаса в какой-нибудь автопарк, а потом выяснялось, что я уже туда звонил ранее и все заказал. Были случаи, когда я путал и заказывал не то и не туда... В общем, через месяц меня с этой должности убрали... За три года мне не раз приходилось стоять на холодном ветру, на морозе, в плохих сапогах и дурно, неумело намотанных портянках из холодного холостяцкого тряпья, приходилось тонуть в грязи, выбиваться из сил, мокнуть под дождем, но никогда мне не было так тяжело и никогда я так плохо не справлялся со своими обязанностями, как на должности телефонного диспетчера. Так что Мукало придумал мне последнее испытание довольно умело, как хороший законный повод окончательно утопить.

Впрочем, перед тем, как убрать с должности диспетчера, он вызвал меня к себе в кабинет, наверно, опять под воздействием Ирины Николаевны, долго смотрел на меня, по-бабьи вздыхая, и сказал наконец:

— О-хо-хо... Уволить бы тебя надо по закону... Да куда ж ты денешься, кому ты нужен... Кто тебя на работу возьмет...

Вместо Мукало на участке теперь работал Коновалов, брат Коноваловой из производственного и зять Брацлавского. Мукало вызвал Коновалова и направил меня вновь на участок, попросил подключить временно к Сидерскому.

Сидерский умелый прораб, и ко мне он относился неплохо. Коновалов согласился. Он был как будто бы начитанный парень и иногда разговаривал со мной о литературе и книгах, хотя я никогда не выказывал свое «инкогнито», свою тайну, и подобные разговоры Коновалова меня даже удивляли. Однако Брацлавский, натура прямая, несентиментальная, чисто производственная натура, решил, видно, раз и навсегда избавиться от меня, и Коновалову, как я узнал, влетело за то, что он принял меня на участок обратно. Не прими, я висел бы в воздухе без должности, находясь в распоряжении непосредственно конторы, причем с тремя выговорами за развал работы диспетчерской, что облегчало мое увольнение.

Я узнал о всех этих делах после того, как Коновалов неожиданно перестал разговаривать со мной о литературе, а наоборот, начал ко мне придираться и искать повод, чтобы отчислить с участка. Дела мои стали совсем плохи, даже Ирина Николаевна перестала мне покровительствовать, и я окончательно понял, что меня должны уволить со дня на день, возможно, на сегодняшней планерке... Открыв дверь производственного отдела, я поздоровался и спросил, когда планерка. Юницкий ответил мне достаточно мягко и без враждебности. Коновалова приветливо кивнула, а Литвинов спокойно, по-деловому поздоровался. Литвинов был начальник чужого участка, и у нас с ним было шапочное знакомство, вражды ко мне он никогда не чувствовал. Успокоенный и даже обрадованный такой встречей, я пошел далее по коридору. Опасность могла исходить из двух мест: из производственного отдела и из приемной начальника. Первую опасность я уже миновал благополучно, в секретарскую же входить не решался, желая продлить подольше спокойствие.

Я остановился в коридоре у свежей стенгазеты «Механизатор», выпущенной к женскому празднику 8 марта. В центре был цветной снимок первого искусственного спутника земли, а под ним стихотворение Ирины Николаевны. Я прочел: «Ленин. Смотрю, портрет Ильича, улыбка, взгляд прямой. Он мог все то замечать, что не умел другой. Он верил в Россию и в нас, живущих на светлой земле. Победы космических трасс он видел еще в Октябре».

Безграмотные стихи эти меня еще более успокоили и настроили на комический лад, как всегда успокаивало и вселяло бодрость, когда я видел чью-то глупость или нелепость, не опасную мне.

Далее в стенгазете был целый раздел: «Что кому снится».

Я не стал читать, мимо прошли Свечков и Лойко в теплых прорабских тулупах и валенках, с прорабскими папками. Я пристроился к ним, чтоб войти в секретарскую не в одиночку, а производственной группой. Я как-то мгновенно сообразил, что войдя к начальнику группой, особенно с опытными и уважаемыми Свечковым и Лойко, я словно придам себе вес и уменьшу неизвестные еще мне неприятности, которые я, однако, предчувствовал, надеясь, впрочем, что предчувствие мое ложное. Свечков приветливо положил мне руку на плечо, а Лойко отвернулся и не поздоровался.

— Где ты такой тулуп достал,— спросил я Свечкова, с которым был на «ты».

— Раньше выдавали,— сказал он,— лет пять назад, в счет зарплаты... И валенки... А в грязь надо яловые сапоги с двойной байковой портянкой... Разве в твоем пальтишке и туфельках устоишь на объекте? Я б дуба дал...

— Да он там и не бывает,— сказал Лойко, не глядя на меня,— он в конторе отирается...

— Ну почему? Ты, Костя, не прав,— миролюбиво сказал Свечков,— помнишь, Гоша, как мы с тобой в грязи тонули на Кловском спуске... Когда девятиэтажный закладывали...

Мы вошли в секретарскую. Ирина Николаевна глянула на меня мельком, холоднее обычного.

«Плохой признак,— с тревогой подумал я,— впрочем, у нее много работы, она занята».

Ирина Николаевна печатала, быстро, механически ударяя по клавишам. В углу телефона примостился Райков, новый человек, которого взяли вместо меня на должность диспетчера. Райков был из отставных военных, и прислал его сюда на работу райком партии. На Райкове аккуратно сидел военный китель с черными техническими кантами. Райков должность диспетчера из должности «мальчика на побегушках» в короткий срок поставил на солидную основу. Через партком он добился в свое распоряжение мотоцикла с коляской и объехал все автопарки, лично познакомившись с диспетчерами и с секретарями парторганизации автопарков. Правда, постоянно оставить мотоцикл в своем распоряжении ему не удалось, мотоцикл был занят на участках, возил Мукало, а когда выходил из строя управленческий трофейный «оппель»,— и самого Брацлавского. Но в экстренных случаях Райков мотоцикл получал. Подобное мне даже в голову придти не могло, да меня и слушать бы не стали. В первой половине дня, когда я не знал, куда деть себя, и посему использовался не по назначению курьером, Райков занялся по собственной инициативе черчением графиков и схем. Твердым, аккуратным почерком бывшего саперного офицера он подписывал эти схемы и графики и развешивал их в производственном отделе, кабинете главного инженера и в парткоме, куда его сразу выбрали зам. секретаря и пророчили в секретари, поскольку нынешний секретарь и зав. отделом кадров Назаров пил.

Схемы и графики эти на производство существенного влияния не оказали, но внутри конторы они придавали работе управления известную наглядность и серьезность, хоть и не соответствовали подлинному положению дел, которые при своеобразии и специфике работ чужды были преднамеренного планирования, а даже наоборот, давали хорошие результаты именно при личной инициативе и даже известном самотеке. Однако, несмотря на это, а может, и благодаря этому, графики были полезным нововведением, т. к. работе управления, разбросанной среди сотен котлованов, а подчас и вовсе не закрепленной на местности, как, например, уборка и вывоз грунта, такой работе придавали осязаемый характер, пусть даже не вполне соответствующий действительности. Таким образом, Райков за две недели завоевал авторитет, какой не снился мне и за три года.

Впрочем, Свечков называл эти графики цветными картинками и глу-

пыми декорациями. Я первоначально не понимал, почему он так возмущается, почему невзлюбил Райкова почти так же, как Лойко ненавидит меня. Тем более что Райков человек более защищенный, чем я, с хорошей биографией, партийный, бывший майор. Зла он никому не желает, со мной, например, вежлив, на вы. Однако, если Свечков его слишком допечет, он может ему и отплатить по-настоящему, как отплатил бы любой человек своему обидчику, как отплатил бы и я Лойко, если б имел возможность. Позднее я начал понимать, что Свечков в отличие от меня любил свою работу, болел за нее душой, невзирая ни на что, и считал меня человеком более полезным, чем Райков, которого даже вслух раз обозвал умелым бездельником...

Из секретарской вели две двери, справа, обитая кожей, к Брацлавскому, слева, более простая, крашенная масляной краской, к Мукало.

— Цвибышев,— поздоровавшись, сказал мне Райков и, кажется, устало опустил телефонную трубку на рычаг. Я воспринял эту его усталость с некоторой эгоистической удовлетворенностью. Значит, не такой уж я никуда негодный, и, при всем своем умении и инициативе, Райков тоже устает и мучается с этими телефонными заказами.

— Цвибышев,— сказал Райков,— вас Коновалов ищет, зайдите, он у Мукало.

У меня тревожно екнуло в груди. Предчувствия сбывались. С тех пор, как Коновалов поплатился за свою снисходительность ко мне, он мог разыскивать меня лишь с единственной, неприятной для меня целью, пока еще мне не ясной. С колотящимся сердцем вошел я в кабинет, стараясь предугадать причины неприятности, чтоб хоть как-то организовать свою защиту, и поэтому мысленно перебирая в памяти свое поведение и свои поступки, которые могли стать известными. В частности, одним из последних проступков был мой отъезд с дальнего объекта, мало посещаемого начальством, на три часа ранее срока. Тот день был удивительно удачным, и я с радостью провел его в библиотеке за чтением. Но на беду Коновалов мог именно в тот день проконтролировать меня...

Войдя в кабинет, я поздоровался. Мукало сидел за столом, смотрел исподлобья. На жирном лице его была даже некоторая обида и раздражение. На приветствие мое не ответил. Коновалов, нескладный, с висящими тонкими усиками, в потертом кожаном пальто не по росту, смотрел на меня, в отличие от Мукало, взгляд которого был вял и медлителен, с какой-то бойкой подвижной неприязнью, поворачивая то ко мне, то к Мукало свое сухое, калмыцкого типа маленькое лицо.

— Ты был у Юницкого? — быстро спросил он меня.

У меня тут же сложилось в голове мое оправдание: почувствовал себя дурно, даже потерял сознание. Поэтому вынужден был уехать с объекта раньше срока. Должен заметить, что подобные казусы случались со мной чрезвычайно редко, однако случались — впрямь с головокружением и потерей сознания ненадолго, буквально на полминуты. Однажды даже на планерке Ирине Николаевне пришлось растирать мне виски. Тогда мне было стыдно, ныне же это происшествие могло пригодиться для придания моему обману правдивого вида.

— Я к Юницкому заходил,— ответил я предварительной нейтральной фразой.

— И он тебе ничего не сказал? — спросил Коновалов.

— Нет,— ответил я, все более тревожась, раздумывая, не уволили ли меня заочно.

— Странно,— снова быстро повернулся Коновалов к неподвижному Мукало.

— Пойдем,— сказал он мне.

Мы вышли в секретарскую, а оттуда в коридор. Планерка, видимо, должна была начаться еще не скоро, так как в конторе по-прежнему царила тишина, слышались лишь отдельные звуки из бухгалтерии и производственного отдела. Основная масса прорабов, да и сам Брацлавский, пожалуй, еще не приехали с объектов.

— Что случилось, Петя? — интимно, понизив голос, спросил я Коновалова, когда мы остались с ним наедине в коридоре. Это был дерзкий и в то же время унизительный ход с моей стороны, на который я, отчаявшись, решился. Ранее, беседуя со мной о книгах, он называл меня по имени, называл его пару раз тогда по имени и я. Ныне, когда отношения наши приобрели форму преследователя и преследуемого, он называл меня только по фамилии, а наедине со мной вовсе не разговаривал. Переходя на доверительно-интимный тон, я делал попытку если не перетянуть его в союзники, то во всяком случае доказать, будто верю, что главная опасность для меня исходит не от него, а от неких внешних факторов, и намекал также на свою осведомленность в тех неприятностях, которые он, Коновалов, из-за меня испытал. Но Коновалов либо сделал вид, что не понял моего шага к нему навстречу, либо открыто не принял такой шаг, я не разобрался в оттенках его действий.

— Сейчас, Цвибышев, ты все поймешь,— громко и с плохо скрытой угрозой сказал он мне, открывая двери производственного отдела.

— Вот он, герой,— сказал Коновалов Юницкому, кивая на меня.

— Знаешь что, Коновалов,— сказал Юницкий,— разбирайся-ка ты в этом деле сам... А то еще его дядя меня по загривку,— добавил он, глядя на меня улыбающимися глазами и показывая прокуренные зубы.

Улыбнулась и Коновалова, и Литвинов. Слегка улыбнулся и сам Коновалов. И вдруг я почувствовал, что улыбаюсь тоже жалкой улыбкой в ответ на унижающую меня шутку. Помимо моей воли сработал инстинкт самосохранения. Я почувствовал, что перевод ситуации в шутливую плоскость, пусть даже за счет моего достоинства, является выходом из положения, и, может быть, даже Юницкий умышленно это сделал, чтоб придти мне на помощь.

— А что случилось, Петя,— спросил у Коновалова Литвинов, почти той же фразой, какую задал Коновалову я.

— Да вот у этого деятеля в Конча Заспе на объекте работал БТ «белоруссик»... Вчера его сняли, перебросили на другой объект, а диспетчера он не предупредил... Туда шесть самосвалов заказаны на вторую смену. Они придут, а экскаватора нет... простой за наш счет...

Не знаю, что со мной произошло, я вдруг сам услышал свое учащенное дыхание. Я привык к несправедливостям, но это была наглая, бесстыдная ложь от начала и до конца, которая возмутила меня до того, что я даже забыл о том, что подлинный мой проступок и обман, преждевременный отъезд с дальнего объекта остались нераскрытыми. Во мне произошел странный перелом, и я чуть ли не на глазах у всех преобразился.

— Это неправда,— крикнул я (я хотел крикнуть: ты врешь, Коновалов, но в последнее мгновение все ж сдержался),— это неправда,— повторил я,— во-первых, это не мой объект, а Сидерского... Я был там всего раз, помогая Сидерскому... Во-вторых, слышишь ты, во-вторых (тут я не смог сдержаться), это наглая ложь... То, что я не предупредил... Наоборот, меня не предупредили, сняли экскаватор... Я слышу об этом впервые. Это обязанности Райкова, предупреждать и меня и автопарки... Я, когда работал диспетчером...— Говорил я несколько бессвязно, и все смотрели на меня с тревожным любопытством. Кроме Коновалова, который потемнел лицом, так как этот неожиданный бунт самого бесправного в управлении, ставил под сомнение его авторитет.

— А ну, немедленно отправляйся в Конча Заспу и не возвращайся, пока не переправишь самосвалы на другие объекты,— сказал он мне.

— Не поеду,— твердо и решительно сказал я. Тут уж складывалась своеобразная ситуация. Воля на волю. Чья крепче. Как говорится, «на характер» шло дело. Юницкий, Коновалов и Литвинов смотрели на нас, особенно на меня, с некоторым даже оттенком спортивного интереса.

— Немедленно отправляйся,— не очень громко, но глядя на меня в упор калмыцкими своими глазами сказал Коновалов, вкладывая в этот напор всего себя, поставив на карту свой авторитет так, что я вдруг понял, что для этого человека в данную секунду важнее и серьезнее в жизни ничего нет, чем заставить меня поехать в Конча Заспу. Не заставь он меня ехать, он, начальник участка, зять Брацлавского, меня, на которого позволяет себе повышать голос даже уборщица управления, тетя Гарпына, не заставь он меня поехать, завтра же об этом будут рассказывать как об анекдоте, так что авторитету Коновалова будет нанесен серьезный удар... А ведь этот Коновалов когда-то мне делал добро... И от этих мыслей что-то во мне сломалось, что-то обмякло во мне... Я повернулся и пошел к дверям, ничего не сказав, но, очевидно, по ссутулившейся моей спине все по-

няли, что я сдался и воля Коновалова одержала верх. Юницкий и Литвинов захохотали так громко, что я обернулся, хотя мне не хотелось показывать мое лицо в тот момент. Я понял, что оно удивительно ничтожно по сочувствующему взгляду, который бросила на меня Коновалова. На брата же она посмотрела с негодованием.

— Доволен,— сказала она ему,— клоун, петрушка...

Почему она назвала его клоуном, не знаю, может, у Коновалова была такая кличка в семье, но сестра, видно, настолько была возмущена, что не постеснялась назвать брата так при всех. Я б на его месте вспылил, он же не обратил внимания и сказал мне даже с некоторой мягкостью, впрочем, едва уловимой.

— Три самосвала перебросишь на улицу Ветрова, деревообделочный завод... А три — Саперное поле, десять.

По улице Саперное поле жила семья Чертог, где я останавливался, приехав в этот город. Правда, жила она в противоположном конце, в трехсотых номерах... Это была длинная улица в старой части города, сплошь застроенная небольшими домиками. Конча Заспа, куда мне сейчас предстояло ехать, находилась в другой стороне. Это был совершенно необжитый район, где предстояло строить новый современный жилой массив со стадионом, крытым бассейном и широкоэкранным кинотеатром. Однако пока это — сплошная песчаная пустошь с редкими соснами, и лишь проходящая вдали железная дорога несколько оживляет пейзаж. Между тем мороз набирал силу и достигал, пожалуй, градусов десяти. Дело еще усугублялось тем, что оделся я не на объект, а на планерку, то есть не надел под свитер байковой фуфайки и не надел сапог, правда, прохудившихся, но при намотанной портянке, дававших гораздо более тепла, чем туфли, даже надетые на двойной носок. Правда, выйдя из управления и направившись к трамвайной остановке, я несколько утешился тем, что избежал планерки, где всегда чувствовал себя крайне неловко, и смогу теперь провести время не под взглядами начальства, а принадлежа самому себе. Ветер к тому же утих, и мороз я ощутил на улице гораздо менее сильно, чем предполагал в помещении. Тут же, очень кстати выплыла совершенно забытая мной от мытарств радостная мысль о предстоящем вечере у Бройдов, в семье, где меня любили. Так что настроение мое вовсе улучшилось, и я даже подумал о поручении Коновалова как о невольной своей удаче, которую лишь ныне, после всех треволнений, сумел оценить.

Трамвай подошел очень быстро. Я сел и поехал. Ехать мне предстояло с тремя пересадками: два трамвая и пригородный автобус, а от автобуса еще пешком метров восемьсот...

* * *

Настоящий холод я почувствовал, когда пересел на пригородный автобус. В трамваях, набитых битком, меня даже в жар бросало и начала одолевать какая-то вялость. Однако едва я вышел на трамвайном закруглении, как под свитером у меня сразу стало сухо и холодно. Здесь, у конечной остановки, высились последние дома-новостройки, а далее начиналась нетронутая дачная местность. Дачи и дома отдыха стояли среди запорошенных снегом сосен, изредка мелькала какая-либо заснеженная скульптура. Коновалову я соврал. Был я здесь не раз, а три раза. С Сидерским я приезжал на самосвале и два раза на пригородном автобусе, за свой счет. Поскольку объекты наши разбросаны были по всему городу, прорабам управление выдало проездные билеты. Однако поездки на загородные объекты не оплачивались. Правда, людей посолидней — Мукало, Юницкого, Коновалова — возил управленческий мотоцикл, у Литвинова и Шлафштейна вообще имелись собственные мотоциклы, и они получали за проездной билет компенсацию. Такие же опытные прорабы, как Сидерский, Свечков, Лойко, договаривались с шоферами, и за две-три приписанные фальшивые ездки те возили их на объект и с объекта.

Я как-то тоже попробовал пуститься на подобные нарушения. Я договорился с шофером, тот привез меня на объект, сделал один оборот с грунтом и исчез до конца смены, когда приехал подписывать у меня путевку за полный рабочий день. Я подписал, поскольку опасался скандалов и разглашения моего проступка. Но после этого вступать в незаконные контакты с шоферами прекратил, предпочитая ездить на общественном транспорте. У меня была примета нужной мне остановки: скульптура оленя и, чуть в глубине от шоссе, круглая зеленая беседка. Я спрашивал у кондукторши, но, боясь как бы она не перепутала или не сказала невпопад, контролировал ее ответ приметами. Вообще на мало знакомых маршрутах я бываю крайне недоверчив и беспокоен, окружающая местность внушает мне тревогу. Так было первое время и с маршрутом к общежитию, пока я не привык к нему за три года настолько, что ныне он кажется мне домашним и родным. Я знаю там каждую мелочь, и когда, имея время, хожу пешком к центру, то узнаю даже отдельные булыжники на мостовой. Впрочем, привыкаю я сравнительно быстро и, например, глядя ныне из подмерзшего окна автобуса, уже вижу не сплошь чужое, а узнаю знакомый поворот с плакатом о защите леса, железные ворота пионерлагеря, лыжную базу... Тем не менее некоторая тревога не покидает меня, так как все это еще не твердо и наряду со знакомыми мелькают чужие, незнакомые куски пейзажа. Особенно я встревожился, когда мимо пронеслась скульптура оленя, даже вскочил. К счастью, оказалось, что это не тот олень. Наконец я благополучно вхожу на Конча Заспу. Название странное, я все не соберусь у коголибо спросить. Может, искаженное татарское, оставшееся со времен монгольского ига. Под городом есть несколько таких местностей с татарским названием, например Кагарлык, что переводится — место, проклятое для татар...

Смотрю на часы. Успел я вовремя. Самосвалы второй смены приходят не раньше трех, придется, пожалуй, даже с полчаса подождать...

За городом ветер и метель. Мои олень и беседка густо облеплены снегом. Я сгорбился, поднял воротник и пожалел, что на мне вместо финской шапки нет сейчас какой-либо плохонькой ушаночки. У финской же моей шапки хоть и опускаются наушники, однако сделаны они изнутри по-кустарному, крайне неряшливо и портят вид. Так что я предпочитаю терпеть, тем более что первоначально приходится идти мимо какого-то дома отдыха, и я часто встречаю в лесу раскрасневшихся от мороза женщин. Вторая беда: огибая дом отдыха, я почувствовал сильные запахи с преобладанием жареного лука.

Жареный лук я не бог весть как люблю, разве что приправой к картошке. Однако для голодного человека запах его чрезвычайно губителен, поскольку обладает способностью терзать голодный желудок, способностью не сравнимой с запахами даже самых вкусных блюд. Разве что жареный гусь может сравниться по запаху с жареным луком. Без запаха лука я совершенно не ощущал голода, теперь же голод усиливал мороз, а мороз усиливал голод. Так что я не выдержал и опустил свои неумело скроенные суконные наушники. Первоначально колючее сукно, к тому ж в нескольких местах пересеченное грубыми рубцами, неприятно терло уши и шею, но постепенно уши набухли, зачесались, стало теплей и желудок тоже успокоился. Я ускорил шаг, чтоб не дать одеревенеть ступням ног, и поскольку дом отдыха давно остался позади и я был в лесу один, то несколько раз переходил на бег, отдавая себе отчет, что зрелище это далеко не спортивное, а скорей нелепое, так как бежал я сгорбившись, на негнущихся ногах, с замерзающими на ресницах слезами от мороза. Наконец впереди послышался гудок и шум проходящего поезда, обрадовавшие меня, поскольку подтверждалось, что я иду правильно. Вскоре лес кончился, и передо мной открылось поле, за которым и находилась железная дорога. Поле это предназначалось под застройку новым современным жилмассивом. Конча Заспа, однако, в настоящее время представляла зрелище весьма странное и неприятное живому человеку. У меня была нелепая привычка, лежа на койке, в тепле, после приятного ужина, наевшись вдоволь хлеба с колбасой и напившись чая, перед сном иногда вспоминать подобные мертвые местности, виденные мной недавно или в прежние, даже отдаленные годы, и при этом вздрагивать, ощущая опасность. Здесь было именно мертво, иначе не скажешь. Снег лежал неглубоко, не знаю, почему, может, из-за песчаного грунта он быстро стаял во время февральской оттепели. Сейчас снег располагался клочками на оледеневшем песке, производившем весьма холодное, до дрожи впечатление, гораздо более холодное, чем вид снега. Наверно, по контрасту, так как для меня, например, песок еще с детских времен связан был с летом и теплом. Именно из-за ледяного песка, я по-

нял это, местность казалась мне мертвой. Смерзшаяся глина или камни, которые припорошены снегом, производят весьма естественное зимнее впечатление. Мысли эти представились мне интересными, и я решил их пока запомнить, а позднее записать и прочесть у Бройдов. Таким образом я придал своим мрачным, тяжелым для души впечатлениям весьма приятную концовку. Эта способность выручала меня в жизни и, может, спасала от гибели, так как я заметил, что стоило мне записать происшествия и обстоятельства не то что неприятные, но даже безвыходные, как становилось легче, и подчас мне даже удавалось как-то извлечь себя из-под ударов судьбы и спасти, как я уже говорил. Но, зная это, я почему-то прибегал к подобному методу не всякий раз и даже не часто, скорей как-то внезапно и по обстоятельствам, мне непонятным, при весьма определенном состоянии души, зависящем от десятков или тысяч неуловимых и, может, весьма случайных явлений. Дневника же я не вел никогда, да и вряд ли календарные записи его были способны бороться с моими бедами...

Поборов, таким образом, на этот раз душевный страх и смятение, я не мог тем не менее преодолеть и избавиться от телесных страданий, которые становились весьма ощутимы и, мне кажется, в какой-то степени также способствовали исчезновению душевных мук. Очень скоро я превратился в весьма простой и цельный организм, не имеющий возможности растрачивать силы на душевные терзания, а полностью всей своей жизнью направленный лишь на одно, на изыскание способов согреться... У противоположного края поля «белоруссик» успел прокопать начало траншеи под водопровод, во многих местах, впрочем, уже полуобвалившуюся.

Я прыгнул туда, надеясь укрыться от ветра, но траншея сковывала мои движения, не защищая меня от мороза, и к тому ж я мог прозевать самосвалы. С трудом выкарабкался я снова наружу, ушибив обо что-то ладонь, но главное, разодрав перчатку (перчатки были на мне хорошие, двойной вязки). Вылез я из траншеи очень вовремя, поскольку вдали показались самосвалы. Обрадованный концу своих мучений, я хотел побежать им навстречу, однако сумел удержать себя и солидно, по-прорабски ждал их, широко расставив ноги. Я мог бы выйти к шоссе, и тогда шоферам не пришлось бы буксовать по оледеневшему песку, но ждал их здесь, поскольку шоферы находились в моем распоряжении. Со мной случались такие минуты наслаждения властью. Поэтому я любил работу на линии, где молодые, неопытные шоферы и экскаваторщики не замечали неуверенности и бесправия, постоянно присутствующих на моем лице и ощущаемых в моих жестах.

— А где остальные? — спросил я переднего шофера, подавляя возникшее беспокойство, так как из шести пришло только два самосвала.

— Задержались на заправке, — сказал шофер, — что-то я экскаватора не вижу.

— Поедете на Ветрова, — жестко скомандовал я, не обращая внимания на его вопрос, — деревообделочный завод...

Подъехал второй самосвал. На меня пахнуло теплом и вкусным запахом кабины — клеенки и бензина, в котором тем не менее ощущалось что-то съестное.

— В чем дело? — спросил второй шофер в кубанке.

— На Ветрова нам ехать, — ответил первый шофер.

— Да, — то ли спросил, то ли подтвердил шофер и перевел на меня веселый взгляд, скользнув по туфлям и финской шапке, — а ты что-то, прораб, замерз.

Я сразу понял, что этот человек распознал меня. Этот в кубанке ничего более не сказал и вроде даже подчинился моему распоряжению, но неприятный осадок остался после его взгляда и его слов. Точно я хотел выдать себя за другого человека, который замерзает здесь по своей воле, болея душой за порученное дело, а он распознал, что нахожусь я здесь по принуждению. И от этой, казалось, мелочи, мной же выдуманной, едва самосвалы ушли, у меня начался приступ злобы, аналогичный тому, какой испытал я в прошлом году, после унижения от Михайлова. Я схватил валяющийся у траншеи обрывок шланга, подбежал к одинокой сосне и ударил им об ствол...

Это было глупо и ничтожно и, кроме того, неестественно. Оно лишь внешне было аналогично прошлогоднему приступу. Тогда было живое отчаяние, теперь же досада от обычной потери хитрости...

После отъезда двух самосвалов прошел час с лишним, но четыре остальных так и не появились... Помню белесое небо и светлое пятно, где за облаками пряталось солнце... Не знаю, почему и в какой момент, не запомнил, но я вдруг побежал в направлении дома отдыха. Позднее в тепле я понял, что совершил ошибку и в своих страданиях во многом виноват был сам. Конечно, Коновалов поступил со мной несправедливо, даже подло, но он вовсе не желал мне оказаться в подобном положении, на грани замерзания, поскольку рассчитывал на мою собственную инициативу или на мою хитрость, в которой был уверен.

Один из самосвалов я мог оставить себе, так поступил бы любой прораб, и ждал бы остальные самосвалы в теплой кабине. Но я побоялся пойти на подобные производственные нарушения. Теперь же, не дождавшись остальных четырех самосвалов, доведя себя до изнеможения и не выполнив задания, я бежал в направлении дома отдыха. Я вбежал в калитку, не обращая внимания на собаку (она гналась за мной), толкнул двери кухни, которую узнал по запотевшим окнам, и увидал испуганную женщину в клеенчатом переднике. Я тогда не сообразил, что испугана она именно мной. К счастью, женщина не закричала, хоть была близка к этому, а спросила шепотом:

— Тебе чего?

— Мне попить, — ответил я и уселся на табурет.

И тут меня начало по-настоящему ломать и корежить. Я совершал какие-то резкие движения, выбрасывал ноги, двигал локтями, подергивал головой, финская шапка свалилась с меня и ударилась о цементный пол с каменным звуком. Я дергался, совершенно потеряв чувство стыда, хоть на меня смотрели какие-то молодые женщины. Лишь одна пожилая кухарка или посудомойка не побоялась приблизиться ко мне и дать мне чашку горячего чая. Но я не мог взять, поскольку пальцы мои не гнулись. Поняв это, кухарка сама принялась поить меня сладким и крепким чаем, который совершил чудо, ибо, допив кружку всего до половины, я уже понял стыд и позор своего поведения. Я понял, что если замерзший внушал хорошим женским личикам страх, то, отогревшись, начну внушать смех.

Я, который, особенно когда бываю одет не то чтоб богато, но с вызовом, — вельветовый пиджак, галстук-бабочка, привык к тому, что на улице женщины меня замечали, не мог спокойно, с пренебрежением, относиться к женскому смеху надо мной и, зная эту свою слабость, понял — надо немедленно исчезнуть. Но тут иная мысль сверкнула — самосвалы!

Производственный страх подбросил меня, и я выбежал из теплой кухни гораздо раньше, чем выбежал бы, мучимый лишь стыдом перед женщинами. Я бежал так быстро, точно за мной гнались (за мной действительно гналась собака, но я понял это не ранее, чем добежал до траншеи и, обернувшись, увидел эту собаку, убегающую прочь, к дому отдыха).

Самосвалов не было...

«Бог милый, Бог, — сказал я, подняв голову к верхушке одинокой, на отшибе, сосны (я не верил в Бога, но иногда, в минуты отчаяния вдруг начинал выпрашивать у него помощи), — милый Бог, сделай так, чтоб самосвалы еще не приходили... А чтоб они пришли сейчас... Через две минуты, через десять минут... Я подожду...»

— Беги на шоссе, — сказал чей-то голос у меня за спиной, — они там... Беги быстрей, они могут уехать...

Я вздрогнул и обернулся... Никого... Мела поземка... Начинало смеркаться... Не раздумывая и не анализируя, я побежал изо всех сил. Оледеневшее шоссе было пустынно, но вдали действительно мигал красный сигнальный огонек. Самосвал только лишь тронулся и осторожно буксовал, выбираясь на проезжую часть, так что у меня еще оставалась надежда его догнать.

— Стой! — закричал я каким-то чужим, бабьим голосом и, размахивая руками, понесся к сигнальному огоньку, балансируя и страшась упасть на оледеневший асфальт, так как тогда б уж точно упустил самосвал. — Стой! — кричал я, к счастью, одно лишь слово, поскольку длинные выкрики, которые могли прийти мне в голову, забили б дыхание и затруднили бег.

Сигнальный огонек выбрался на середину проезжей части, однако я сделал отчаянный бросок и ухватился за холодный железный кузов, рванувшийся из-под моей ладони с равнодушной нечеловеческой силой.

— Стой! — испуганно выкрикнул я и тут же захлебнулся криком.

Однако мне повезло, шофер услышал, выглянул из кабины, приоткрыв дверцу.

— Тебе чего? — спросил он.

— Прораб, прораб,— повторял я, тяжело дыша, вскакивая на подножку, цепко ухватившись за дверцу и тесня шофера грудью внутрь кабины.

— Что прораб? — удивленно спросил шофер.

— Я прораб,— ответил я,— где другие самосвалы?..

— Ах, прораб,— повторил шофер,— что ж это такое получается, товарищ прораб?.. Мы уж уезжать собирались. Вон ребята впереди тянутся, сейчас их догоним, они с вами по душам потолкуют...

— Все будет нормально,— сказал я, радостно и успокоенно усаживаясь на сиденье и грея ноги у мотора,— за мной не пропадет..

Шофер поднажал и догнал три других самосвала на повороте.

— Ваня,— улыбнувшись, крикнул он, выглянув из кабины,— прораб нашелся... В дороге подобрал...

Самосвалы остановились.

— Что ж это такое получается,— подходя, той же фразой начал Ваня и сунул в кабину голову в теплом танковом шлеме,— мы с трех часов на объекте торчим... Экскаватора нет, прораба нет... Полсмены прошло... Кто нам платить будет? Мы вон хотели сейчас по пути в автопарк к вашему Брацлавскому заехать... Пусть путевки подписывает...

Он нагло врал насчет полсмены, но я прозевал на теплой кухне дома отдыха его приезд с опозданием на три часа, и теперь не он был в моей власти, а я был в его власти, и он действительно мог поехать к Брацлавскому, наверно, даже ехал, поскольку, по всему видно, был опытный производственник и не привык упускать удачные обстоятельства, чтоб сорвать дополнительный куш и покрыть к тому ж халтуру, которой они все эти три часа, безусловно, занимались.

Один из кузовов самосвалов был вымазан свежей краской, что-то они такое перевозили. Но за три года я также приобрел некоторый опыт, потому не стал уличать его в наглой лжи. Я сам был виноват, что эти «леваки» стали опасны для меня.

— Ребята,— сказал я каким-то даже просительным голосом,— все бывает... Работа, сами знаете... Задержался на другом объекте... Извините, ребята...

— А нам-то что? — жестоко сказал Ваня.— Нам твое «извините» к путевому листу не подколоть...

— Короче, пусть десять ездок лишних подписывает,— подал голос шофер, кузов которого измазан был «левой» краской.

— Какой там десять,— злобно метнул на него взгляд Ваня,— полностью пусть подписывает... Мы здесь с трех часов торчим... Иначе к Брацлавскому поедем...

— Но, ребята,— просительно, словно разговариваю с начальством, сказал я,— ведь здесь вовсе экскаватора нет... Как же я подпишу...

— Да путевки эти через месяц оплачиваться будут... Они, ты думаешь, контролируют, где, в какой день был экскаватор, а где не был...— сказал Ваня.

— Если б они каждую путевку контролировали,— сказал молчавший до этого шофер моего самосвала,— то не могли б в своих кабинетах в шахматы играть и на футбол срываться...

— У тебя дети есть, прораб? — спросил уже помягче Ваня.

— Есть,— соврал я, чтоб придать разговору плавность и устранить лишние вопросы и закорючки.

— Ну вот видишь,— сказал Ваня,— и у меня есть... твои жрать просят, и мои жрать просят... Правильно я говорю, хлопцы...

— Время идет,— сказал я,— на Саперное поле десять надо ехать, ребята. Там экскаватор простаивает...

— Мы тебе путевки в кабину дадим,— сказал Ваня,— дорогой оформишь... А Филя тебя прямо к вашему управлению доставит, а потом нас догонит... Ладно, ребята, двинули...

Он, видно, был у них за старшего, вроде бригадира и в конце концов поступил не так уж беспредельно плохо по отношению ко мне. Сволочь похуже, имея в своих руках такой козырь — отсутствие экскаватора и прораба, уехала бы немедленно, раздула бы эту историю и устроила бы скандал в управлении, а они все-таки ждали меня, разумеется, не три часа, а минут десять, пятнадцать... Тем более что в моей несостоявшейся версии я собирался изобразить этих шоферов перед начальством в их истинном дурном свете, что меня, впрочем, не оградило бы от наказания.

Подобный оборот дела, то есть моя зависимость от этих шоферов, спас меня от необходимости писать на них рапорт, который всегда, даже при правдивом изложении, попахивал доносом, что было мне неприятно (какой парадокс. О доносах позднее, значительно позднее). Тем не менее, сложись дело по-иному, я был бы вынужден это сделать, чтоб спасти себя, особенно учитывая мое неустойчивое, почти трагическое положение. Сейчас же этот недобрый путь к спасению был закрыт и, несмотря на то, что передо мной стояла фантастически трудная задача изыскать нечто иное, отсутствие необходимости писать рапорт-донос меня радовало...

* * *

Я приехал в управление к концу планерки и долго колебался, входить ли мне в кабинет Брацлавского. В том, что я, не нарушая ритма многочасовой планерки и ее направления, тихо уйду, есть свои серьезные преимущества, но и свои минусы. Мое появление привлечет ко мне всеобщее внимание, досада от нарушения моим появлением слаженного ритма может повлиять на безусловно уставших в многочасовой духоте людей, и их досада, что необходимо заниматься еще одной, моей проблемой, чего доброго, перерастет в желание нервной разрядки, особенно у Брацлавского, человека немолодого, так что я пострадаю на этом весьма серьезно, даже непоправимо, при дополнительных, непредвиденных факторах, которыми всегда полны подобные обстоятельства... Но, с другой стороны, мой уход без предупреждения даст козырь Коновалову, сегодня я понял твердо, что главная опасность для меня исходит именно от Коновалова, поскольку ему надо оправдаться перед своим тестем Брацлавским за доброе дело, которое он совершил, взяв меня к себе на участок. Ни сам Брацлавский, ни Юницкий, ни Мукало не вспомнят сегодня обо мне, у них достаточно дел и неприятностей посерьезней, а для Коновалова лично я серьезная неприятность, поэтому он вспомнит.

Если я, в трудных условиях выполнив задание, войду в кабинет Брацлавского замерзший, уставший, только что вернувшийся с дальнего, загородного объекта, то, кто его знает, может, самому Брацлавскому это даже понравится, он работяга, из простых, ценит старательность и любовь к работе и, возможно, так именно это и воспримет. Меня поддержат Свечков, Сидерский, Шлафштейн... Вдруг доброе слово скажет и Юницкий, он человек неожиданный, и это было б здорово... Возможен даже положительный поворот в моей производственной судьбе, какой в свое время произошел со Свечковым... Какой вариант применить: первый (тихий уход домой... Опасность со стороны Коновалова, но не сегодня, завтра, когда многое может измениться) или второй (резкий, прямой приход мой с дальнего участка после выполненного задания. Риск... Идти навстречу опасности, зато вдруг все разом разрешится и станет хорошо)? Ах, если б знать обстановку в управлении и на планерке... Ирина Николаевна знает, но молчит, держится официально... Наверно, ей тоже влетело за покровительство мне...

Открылись обитые кожей двери Брацлавского, и вышел Райков.

— Спасибо вам большое,— сказал он мне,— я недавно звонил в автопарк, самосвалы работают на нужных объектах... Знаете, дозвониться днем не мог, а экскаватор-то срочно снял сам Брацлавский и по самому высокому распоряжению... Его во двор Президиума Верховного Совета перебросили... Там у нас сейчас три «белоруссика» работают...— Райков разоткровенничался, во-первых, по неопытности, а во-вторых, как я понял, за то, что я его здорово выручил, он был благодарен мне. Не послушайся я

приказа Коновалова, кстати, незаконного, и откажись от поездки в Конча Заспу, это пришлось бы сделать самому Райкову, хоть он и бывший майор и прислан на работу райкомом.

— Еще раз вам большое спасибо,— сказал мне Райков, и это меня ободрило так, что я решился на второй вариант, то есть идти в кабинет.

Когда Райков, взяв какую-то диаграмму, пошел назад, я вошел с ним. Но едва войдя, я понял, что совершил ошибку, приняв личную благодарность Райкова за всеобщее отношение. В кабинете, как я и предполагал по первому своему варианту, был тяжелый, спертый, прокуренный воздух, и все сидели с усталыми лицами, производившими впечатление невыспавшихся. Мой же внешний вид человека, явившегося со свежего воздуха, уж только этим вызвал у всех невольную зависть и неприязнь. Так что самый первый внешний фактор моего плана сработал как раз в обратную сторону, то есть я не произвел впечатление человека уставшего, производственного, явившегося в кабинет к заседающим в тепле, а, наоборот, человека бодрого и удачно проведшего день, явившегося к людям измученным и продолжавшим мучить друг друга. Почему так получилось, не знаю, но, несмотря на все недавние волнения и мороз, сейчас, отогревшись в кабине, физически я чувствовал себя хорошо. Войдя, я огляделся, ища свободное место, чтоб сесть незаметно, на ходу меняя план и рассчитывая, что Райков своими графиками возьмет все внимание начальства на себя...

Брацлавский сидел во главе стола, крепкоголовый, с седым, курчавым волосом. По правую руку от него сидел Мукало, по левую Юницкий. Далее за столом сидели по обе стороны Коновалов и Литвинов. Протокол вела Коновалова.

— Вот пожалуйста, Иван Тимофеевич,— сказал Коновалов Брацлавскому, едва заметив меня. (В первое мгновение он меня не заметил, разговаривая шепотом с Литвиновым и не обратив внимания на скрипнувшую дверь, думая, что вошел один Райков. Но Литвинов, улыбнувшись, сначала мне подмигнув, толкнул Коновалова и показал на меня.)

— Вот, Иван Тимофеевич, явился герой,— как-то даже оживленно, словно имея возможность отвлечься от многочасовых утомительных дебатов, сказал Коновалов,— взял я его на свою голову и теперь не знаю, кому подарить...— Юницкий, Мукало, Литвинов и Лойко засмеялись.

— А знаешь, Цвибышев,— сказал вдруг Лойко,— тебя сегодня искали...

И тут я совершил еще одну ошибку. Я знал, что Лойко мне враг. Да он и подтвердил это секунду назад своим смехом. Но положение мое стало сейчас беспредельно тяжелым, а утопающий, как говорится, хватается за соломинку.

Свечков, Шлафштейн и Сидерский, то есть люди, на заступничество которых я рассчитывал, сидели, не глядя ни на меня, ни друг на друга. И вдруг пришла мне в голову дикая мысль — найти поддержку от Лойко. Плохого я ему никогда ничего не делал. Может, и он, замученный совестью из-за своего недоброго ко мне отношения, решил помочь мне в трудную минуту бытовым обращением ко мне (а все знали, и Брацлавский тоже, что Лойко меня не любит),— так вот, бытовым обращением ко мне, может, Лойко захотел сломать стену отчужденности между мной и планеркой.

— Кто меня искал? — посмотрев на Лойко, с доверием спросил я.

— Двое с тачкой, третий с лопатой! — с искренне радостным блеском в глазах, какой бывает после удачной охоты, выкрикнул Лойко.

Грохнул такой смех, что даже секретарша Ирина Николаевна приоткрыла дверь и заглянула.

Смеялись все. Не только мои недруги, но и Коновалова. и Райков. Даже Сидерский и Шлафштейн, правда, не так громко, как, например, сам Лойко, который весь покраснел и держал у глаз платок. Один Свечков сидел, насупившись, но молчал. Брацлавский тоже не смеялся, однако едва заметно улыбнулся. Ирина Николаевна, которая непосредственно при шутке не присутствовала и Коновалова рассказала ей все на ухо, засмеялась позже всех, что снова вызвало некоторое оживление. Я был убит. Я опасался, что мне грозит опасность разноса, жестоких мер, вплоть до увольнения, а меня уничтожили весело, легко, как бы походя и без борьбы, без поддержки, в полном одиночестве.

— Ну, хватит,— сказал наконец Брацлавский,— смешного тут мало... Мы должны освобождаться от людей, которые не любят работу и позорят управление.

— Экскаватор с его объекта ведь сняли,— сказал Коновалов,— а машины на свой объект он не отменил... Представляете, шесть самосвалов впустую...

— Напишите мне,— обернувшись к Коновалову, сказал Брацлавский,— ваши слова я к приказу об увольнении приложить не могу...

Коновалов сказал все хитро и неопределенно. Так что неясно было, а вернее, нет, наоборот, даже ясно было и складывалось впечатление, что самосвалы простояли впустую. И Райков молчал. Мне неудобно было самому себя выгораживать, а Райков мог сообщить о том, как я помог ему перебросить самосвалы на другие объекты. Сказать то, что сказал он мне в секретарской... Или хотя бы половину того... Но Райков улавливал общее настроение руководства уволить меня и потому молчал.

— Напишите мне,— снова сказал Брацлавский Коновалову.

И вдруг тот замялся. Надежда на спасение мне начала светить неожиданно с иного конца, не от моих приятелей и покровителей, а от общей бумажно-бюрократической системы, которой все невольно были подчинены.

Коновалов очень хотел избавиться от меня и писал на меня немало рапортов, но этот рапорт, который должен был лечь в основу моего увольнения, остаться как документ, зарегистрированный в отделе кадров, пройти по инстанциям, он писать не решался. Не знаю, почему, может, его смущали слухи о моем дяде-покровителе... Может быть, но все ж не это главное. Его смущал какой-то всеобщий ведомственно-бюрократический инстинкт, требующий избегать личной инициативы в делах предельно неприятных, а таким предельно неприятным делом было в ведомственной системе насильственное увольнение. На такое мог решиться, причем не задумываясь, разве что Лойко, ненавидящий меня не в силу обстоятельств, а телесно... Но Лойко был совсем с другого участка и вообще не обладал никакой юридической властью. Коновалов же, невзирая на свой темперамент, ненавидел меня до определенного предела, не желая отдавать этой ненависти слишком много сил. Коллективный рапорт на меня он бы подписал с радостью.

— Я его пробовал использовать диспетчером,— сказал Мукало,— так он всю работу развалил... Вон Райков еле распутывает...

— Напишите,— обернулся к нему Брацлавский,— напишите мне все это на бумаге... Если у вас бумаги нет, то я вам дам,— добавил он несколько резковато.

Я вспомнил о слышанных мной от Ирины Николаевны противоречиях между Мукало и Брацлавским. Противоречиях, на которых мне не удалось сыграть, хоть я и думал в этом направлении.

— Та что ж я буду писать,— ответил Мукало, задетый тоном Брацлавского и переходя на речь с сильным украинским акцентом,— та что ж я буду писать, як, будучи диспетчером, он формально находился в распоряжении производственного отдела, у Юницкого.

— Вот наша полная обезличка,— сказал Брацлавский, закуривая,— поэтому мы и работаем плохо, не болеем за дело... За что ни возьмись, даже за ерунду, даже за то, чтоб уволить негодного и ненужного нам работника,— и то концов не найдешь...

— Ну это, Иван Тимофеевич, вы преувеличиваете,— встал Юницкий. Он умел говорить «по правде-матке» и не боялся вступать в прямые споры даже с Брацлавским. Надежда моя загорелась еще более. Я повернулся в его сторону, однако он сказал:

— Я давно считаю, что Цвибышева надо уволить.— И сердце мое упало. После этого внутренне я уже прекратил борьбу, надеясь лишь на обстоятельства.

— Я давно считаю, что он нам не подходит как работник, и тут, Иван Тимофеевич, никакой проблемы нет,— продолжал Юницкий,— но Цвибышев работает в управлении три года, а в распоряжении производственного отдела он был всего месяц, и то формально, как правильно сказал товарищ Мукало... Мы его на должность диспетчера не принимали, а устроил его, будем прямо и честно говорить, товарищ Мукало... С товарищем Мукало он на этой должности общался... Товарищ Мукало его и отчислил опять на участок. Как писал Тарас Бульба, чем тебя породил, тем тебя и убью...—

Юницкий улыбнулся. Лойко и Райков засмеялись, а Коновалова покраснела.

— А то, что у Цвибышева дядя в главке,— дополнил Юницкий, уже сидя,— так это нас не должно смущать...

— Да при чем тут дядя,— раздраженно сказал Брацлавский,— плевать мы хотели на дядю... Пусть они из главка придут и повертятся вместо нас...

Я слышал сплетню, работая диспетчером, о том, что Брацлавского главк уже несколько раз хотел снять, как не имеющего диплома, но у него есть поддержка в среднем звене, в тресте. И эта невольно прорвавшаяся неприязнь к главку подтверждала правильность подобных слухов.

— Так что же решим по этому вопросу? — спросил Мукало.

— Коновалов должен писать рапорт для увольнения Цвибышева,— сказал Юницкий,— тут двух мнений быть не может...

— Если на то пошло,— встал и Коновалов,— то у меня он работал тоже не больше трех месяцев, поскольку на участке я недавно... А принял его на участок Мукало, который тогда был начальником... А подписал приказ о зачислении в должность прораба Юницкий, вот так... Я смотрел в отделе кадров... Юницкий исполнял тогда обязанность главного инженера, а Иван Трофимович был в отъезде...

— Иван Трофимович мне этот приказ, кстати, завизировал,— бросил с места Юницкий,— так что не в этом дело... Ты по существу говори, Коновалов, а не ссылайся на позапрошлый снег. Вопрос стоит прямо... Кто должен писать начальнику рапорт о необходимости увольнения Цвибышева...

Последнюю фразу он произнес, как бы отбивая каждое слово ребром ладони по столу... И тут на меня нахлынуло... Я уже сказал, что внутренне прекратил борьбу еще после первого выступления Юницкого, когда угасла надежда окончательно. Если б меня просто и ясно уволили, я б не нашел в себе смелость даже заикаться в свою защиту. Но то, что эти люди торговались, именно торговались друг с другом о моей судьбе, не обращая более на меня самого внимания, точно я был какой-то портящей вид кучей мусора, возмутило меня, а возмущение придало мне силы. Никто из этих лиц, имеющих административную власть, не хотел брать на себя столь грязную работу, а Лойко, который жаждал ее выполнить, я видел это по его глазам, не имел на то юридических прав... И я заговорил, заговорил впервые на планерке, звонким, чужим голосом в глубокой тишине, наступившей от неожиданности. И недруги мои, и сочувствовавшие мне, и те, кому я был безразличен, например, Литвинов, в первые мгновения испытали общее чувство — удивление... Думаю, если б вбежал и заговорил вдруг пудель Ирины Николаевны, которого иногда приводила в управление ее дочь, то удивление было бы не больше.

— Три года,— говорил я,— сколько раз по две смены... В мороз да в холод, в дождь... А когда тонул экскаватор на кирпичном заводе, кто рядом сутки... Я даже денежную премию тогда получил (это было неумно, поскольку не соответствовало моей задаче показать постоянное ко мне бездушие). А на Кловском спуске во время аврала... Вот спросите у Свечкова (это было неблагородно. Я втягивал Свечкова в общую компанию с собой в то время, как дела мои стали плохи). И диспетчером меня посадили специально, чтобы я сгорел... Думаете, я не понимаю... К Райкову совсем другое отношение, потому что он бывший майор и партийный (это было самое нелепое заявление в моей нелепой речи. Шлафштейн здесь посмотрел на меня и укоризненно покачал головой. К тому ж отныне Райков превращался из человека, неплохо ко мне относящегося, в моего врага). И вообще за что вы издеваетесь надо мной, за что вы невзлюбили меня (это был единственный искренний, идущий от души какой-то евангельский кусок моей речи, который мог бы возыметь действие на колеблющихся и возбудить к активности сочувствующих мне, если б я не дополнил этот искренний кусок угрозами и намеками)! Это вам так не пройдет,— сказал я,— найдется на вас управа... Ваши махинации... Запомните, я не слепой... Подождите... Придет время,— к счастью, спазма перехватила мне горло, и я замолчал. Кажется, это заметили, потому что Коновалова заморгала ресницами и вздохнула.

В подобной концовке было, правда, и положительное зерно. Угрозы, исходящие от меня, человека в их глазах ничтожного, выглядели не только смешно, но, как это ни странно, могли внести известное беспокойство в тех, кому они были адресованы, хотя бы потому, что эти люди менее всего ожидали подобного от меня. Ошибка же была здесь в конкретности моих угроз, в намеке на разоблачение неких махинаций, который как бы сплачивал против меня и недругов, и сочувствовавших мне. Я ведь знал, что известные нарушения совершают не только Коновалов, Юницкий или Лойко, но также и Шлафштейн, Сидерский, даже Свечков...

— Садись, Цвибышев,— сказал мне Брацлавский, еще раз доказав свою производственную закалку,— можешь писать куда хочешь, а пока не мешай нам проводить планерку... Действительно, ерунда получается. У нас десятки сложных производственных вопросов, а мы занимаемся Цвибышевым...

Я прошел в угол, где оказался свободный табурет, и уселся подальше от моих бывших друзей Свечкова, Сидерского и Шлафштейна. Я старался не смотреть на них, да и они не смотрели в мою сторону, занятые своими производственными делами, обсуждение которых, прерванное моим приходом, продолжалось. Едва усевшись, я сразу понял, что вел себя глупо и мне некого обвинять, кроме себя. У меня странная привычка. Как говорят французы, я становлюсь умным тотчас же, «на лестнице», то есть через мгновение после совершенной глупости. Сидя в углу, я разобрал мою речь тезис за тезисом и сделал самые убийственные выводы, которые привел выше. Проанализировав все, я нашел, что мои друзья не виновны, как раз наоборот, перед Свечковым, например, виновен был я... Никто не имеет права во имя собственного спасения рисковать судьбой приятеля, не получив на то его согласия. Свечков любит свою работу, работает хорошо, начальство его уважает, ежемесячно получает, иногда даже два оклада премиальных. А ведь вначале отношение к нему было такое же, как и ко мне. О том рассказывала мне Ирина Николаевна... Даже стоял вопрос о его увольнении. Но парень сумел доказать свою пригодность и соответствие должности... Недавно он женился, родился ребенок... Какое же право я, человек одинокий, имею требовать от Свечкова каких-то действий в мою поддержку? Если он молчит сегодня, значит, понимает обстановку, сложившуюся на планерке, может, знает нечто, чего не знаю я... Может, выжидает... (Все это подтвердилось. Не только Свечков, но и Шлафштейн, и Сидерский, и даже Коновалова, сестра моего главного гонителя, на следующий день ходили к Брацлавскому просить за меня. Я об этом узнал от Ирины Николаевны.)

Планерка между тем кончилась. Я сидел в дальнем углу и, поскольку не мог выйти первым, переждал, пока вышли все, не желая ни с кем встречаться, даже с друзьями, невзирая на то, что мой анализ был в их пользу. Вопрос обо мне повис, может, благодаря моей нелепой речи, которая какое-то воздействие тем не менее возымела. Все приняло неопределенный характер. Являться ли мне завтра на объект (что было мучительно) или получать расчет (что было страшно)? Я вышел в секретарскую.

— Цвибышев,— вежливо и мягко сказала мне Ирина Николаевна,— вас Мукало просил зайти.

Терять мне было нечего, я вошел.

— Присаживайся,— сказал мне Мукало. Он обошел кругом стола и сел напротив меня в кресло, так что обстановка сразу создалась полуофициальная.— Видишь, что творится,— сказал Мукало доверительным, домашним тоном,— они если захотят съесть человека — съедят... Это между нами. Я тебе старался помочь, как мог... Евсей Евсеевич (очевидно, приятель Михайлова, я же слыхал это имя впервые), Евсей Евсеевич именно мне звонил три года назад насчет тебя. Это еще хорошо, что Брацлавский тогда в отъезде был, а Юницкого я уговорил. Я б на твоем месте пошел к Евсею Евсеевичу и сказал... Такое и такое, мол, дело... Три года мне Мукало помогал. Теперь нет возможности. Он тебя в другое место устроит. Ого... При его положении... Вон новое управление — гидрострой — организуется... А лучше всего, если он тебя в проектный институт... Там ты будешь на месте. А тут ты, извини меня, вроде между ног у всех болтаешься... Подай заявление, я тебе обещаю чистую трудовую книжку. Ни одного выговора не запишем. Я сам с Назаровым поговорю. Иначе Брацлавский

тебе такое напишет... Уволен за развал работы, и все... Тебе и так трудно устроиться на работу, а тут вовсе каюк...

— Когда писать заявление? — спросил я.

— А ты сейчас напиши,— тихо сказал Мукало, все так же доверительно глядя мне в глаза.

Я старался отвечать ему тем же, радуясь, что неопределенность позади и выход найден. Надо было торопиться. Меня действительно могли уволить с самой нелестной характеристикой, и это могло повредить даже моим тайным планам поступления в университет. Непонятно было только, как я ранее не понимал и потратил столько сил на, в сущности, ненужную уже и бесполезную свою защиту. Впрочем, то, что я поехал сегодня в Конча Заспу, хорошо, иначе неприятности, завершающие мое пребывание на этой работе, приняли б еще более острый характер. Даже Мукало тогда, пожалуй, не помог бы... Я взял бумагу на столе и написал: «Прошу уволить меня по собственному желанию». Это была глупая формулировка. Надо было написать: «Прошу уволить меня по личным обстоятельствам». Однако Мукало сразу же взял мое заявление, посмотрел и сказал:

— Вот и добре... Завтра же получите расчет (он впервые за три года сказал мне вы. Я это отметил. «Вы» мне говорили лишь только тогда, когда я устроился, как им казалось, по высоким протекциям).— Возьмите у Ирины Николаевны бегунок.

Я вышел.

— Ну что? — спросила Ирина Николаевна.

— Дайте мне обходной лист,— сказал я.

Она как-то горестно вздохнула, доставая из ящика обходной.

— У вас с собой профсоюзный билет? — спросила она.

— Нет, но у меня все уплачено,— ответил я.

— Я вам верю,— снова вздохнув, сказала Ирина Николаевна и расписалась в графе «Председатель месткома». Потом она расписалась пониже, в графе «Библиотека», которой заведовала по совместительству, но которой никто не пользовался.

Теперь, когда здешняя судьба моя решилась, Ирина Николаевна утратила свой холодный, официальный тон по отношению ко мне и снова смотрела на меня с участием, как некогда ранее, когда она мне покровительствовала.

Я вышел из конторы во двор, освещенный фонарями и вспышками электросварки... У ремонтировавшегося экскаватора высокий слесарь в распахнутой, несмотря на мороз, телогрейке бил молотом-балдой по металлической шайбе. От открытой груди его шел пар. Каждый удар он сопровождал резким выдохом-криком. Гулкий металлический звук лишь чуть ослабевал в воздухе, как слесарь вновь ударом доводил его до полной громкости, не давая угаснуть... По грязному, мазутному снегу, покрывающему комками асфальт двора, я пробрался, лавируя среди бочек, досок и обрезков металла, к воротам. Я шел быстро, чтоб как можно скорее оставить все это позади. Но едва я миновал ворота, как следом выехал грузовик, в кузове которого стояли Юницкий и Литвинов, держась руками за верх кабины.

— Цвибышев! — крикнул мне Юницкий, улыбаясь.— Давай подвезем. Если тебе к центру...

Мне надо было к центру, и на грузовике я сэкономил не менее получаса, поскольку от центра шел к нашему общежитию прямой маршрут троллейбуса № 8 без пересадок. Мне предстояло еще переодеться и хоть что-либо перехватить, чтоб не прийти к Бройдам совсем уж голодным и не есть вкусный обед, которым меня угостят, с жадностью. Я полез в кузов и сразу же, едва очутился там, понял, что не следовало этого делать, хоть я и опаздывал. Предстояло еще минут пятнадцать находиться в обществе этих людей, которые стали мне особенно неприятны сейчас, после того, как я написал заявление и избавился от них. Даже Свечков был бы мне сейчас неприятен, поскольку и он связывал мое воображение со всем этим враждебным мне комплексом. Тем более Юницкий, от робости и неуверенности перед которым я по-прежнему не мог избавиться, очевидно, поняв разумом, но не ощутив еще сердцем мое новое независимое положение. И, откровенно говоря, питая некоторую надежду... Не буду кривить душой, из-за этой надежды, а не только из желания сэкономить полчаса я и полез в

кузов... Ибо едва написал заявление, как испытал приступ страха... Ведь вместе с моим унизительным, тяжелым положением я потерял твердый кусок хлеба...

— Ну что,— улыбаясь спросил Юницкий,— будешь жаловаться на нас дяде?

— Нет у меня никакого дяди,— тихо сказал я, мучительно обдумывая, как бы перевести разговор в доверительное русло.

Может, и хорошо, что я полез в кузов вопреки моему первому впечатлению, подумал я. У Юницкого достаточно власти, и то, что после его выступления против меня, такого резкого, он захотел меня подвезти... Может, именно здесь все и образуется... Утрясется... И я буду потом рассказывать: решил уже, что все кончено, написал заявление... Выхожу, вдруг меня догоняет грузовик...

— Коновалов завтра собирается к тебе на объект,— сказал Литвинов.

Значит, ни Литвинов, ни Юницкий не знают еще, что я подал заявление, подумал я, пытаясь определить, хороший ли это признак, или плохой.

— Я подал заявление,— сказал я.

— Да ну,— искренне удивился Юницкий,— сам подал?

— Уволен по собственному желанию начальника,— сказал Литвинов и рассмеялся...

— По этому случаю надо выпить,— сказал Юницкий улыбаясь (глядя на меня, он постоянно улыбается),— ты все-таки начинаешь новую жизнь...

Он постучал по верху кабины. Грузовик остановился у обочины. Мы сошли и направились к киоску.

— В розлив у нее нету,— сказал Юницкий, заглядывая внутрь,— придется целую бутылку покупать...

Я ощупью нашел в кармане две бумажки (сегодня я обедаю у Бройдов. Завтра можно обойтись без карамели к чаю и, кроме того, Витька Григоренко получает зарплату и поведет ужинать в честь дня своего рождения. Сэкономленную сумму можно смело вычесть из сейчас потраченной, и таким образом окажется, что я потерял не очень много, ну, два обеда, не более... Их можно вполне компенсировать, несколько урезав траты... Не брать, например, в обед компот... Правда, теперь я вечерами не смогу ужинать в общежитии, поскольку вынужден приходить поздно... А ужин на ходу, в общественном месте всегда обходится дороже).

Погруженный в лихорадочное составление финансового баланса ввиду неожиданности и непредусмотренности серьезных затрат, я на какое-то время даже потерял Юницкого и Литвинова из виду.

А между тем Юницкий пил вино прямо из горлышка бутылки, облизывая языком губы.

— Хочешь? — спросил он Литвинова.

— Нет, нет,— сказал Литвинов,— ты меня в это дело не втягивай, я в этом деле не участвую... Чего я вообще в свидетели затесался?

И он пошел назад к грузовику. Юницкий допил вино и отдал мне пустую бутылку.

— Поставь куда-нибудь,— сказал он и тоже пошел к грузовику.— Тебе дальше, может? — спросил он, обернувшись.

— Нет,— ответил я.

Едва грузовик уехал, как я огляделся, подошел к мусорному ящику и бросил туда бутылку. Я стоял невдалеке от одного из любимых моих бульваров. Если пойти по нему вверх и свернуть направо, можно очень скоро дойти до библиотеки. И вдруг, словно я очнулся от кошмара и, как бывает в таких случаях, когда после ночного кошмара мы просыпаемся, обрадовался, что наяву все по-иному, даже негромко засмеялся всем своим глупостям и страхам. В течение дня я вел себя как невменяемый. Я ведь давно уже решил уволиться, это была часть моего плана, и на сегодняшнюю планерку шел с таким расчетом. Конечно, такой шаг не прост, кто ж противоречит, и, может, то бытовое и мелкое, что сидит во мне, что выпирает наружу, что враждебно моей тайне, моему «инкогнито», моей идее, то бытовое, и мелкое, и жалкое, что сидит во мне, цеплялось за устойчивость и вселяло в меня страх перед решениями, губящими эту устойчивость. Тут-то и приходят нам на помощь нам случайные обстоятельства, совпадения, неудачи и опасности, против которых мы боремся из последних житейских сил, но если нам повезет, то боремся безуспешно, боремся неудачно, и все это

вместе заставляет нас идти той дорогой, о которой мы могли лишь мечтать, если б выиграли борьбу с житейскими неудачами и добились бы устойчивости...

Я понял, что сегодня сделал серьезный шаг навстречу своей идее... Идея моя была пока неопределенна, что-то мелькало изредка и более конкретно, но в разных, часто противоположных ракурсах, и я вел себя по отношению к ней как скупец, не позволяя до поры до времени, даже в минуты душевного надлома, заглянуть внутрь и воспользоваться хоть крохой из моей идеи. Я не покривлю душой, если скажу, что для меня самого пока она была почти такой же тайной, как и для окружающих. Говоря образно, идея моя была чем-то вроде живого нежного существа, не приспособленного пока жить в окружающей меня суровой действительности, и я обогревал ее у себя на груди, не позволяя себе даже взглянуть на нее, а лишь ощущая... Впрочем, ощущения эти я иногда последнее время позволял себе использовать в бытовой борьбе, о чем уже говорил выше... Это был опасный признак истощения жизненных сил... Но использовал в быту лишь ощущение идеи, а не саму идею, которую, может, потому инстинктивно сам не хотел до поры до времени увидеть и понять... Идея — это было единственное, где я был математически точен и не совершил ни одного опрометчивого шага... Это я-то, с моим неустойчивым характером. Ощущение идеи мне было ясно: рано или поздно мир завертится вокруг меня, как вокруг своей оси. Но как и в какой плоскости и под каким углом, я не знал и не позволял себе знать, не доверяя своей твердости и умению соблюдать тайну. Одно я знал точно — выпусти я эту идею из своей души раньше времени, она погибнет... Вот чего следовало опасаться...

* * *

Подходя к общежитию, я замедлил шаг. Приближался самый ответственный момент. Не Дарья ли Павловна, мой враг, дежурит? Не переборщил ли я с пережиданием и досиделся до запертых дверей, так что придется звонить и поднимать тревогу? Это чрезвычайно волновало меня. Даже если за дверьми не Дарья Павловна, а другая дежурная, равнодушная ко мне, все равно звонить в двери — это громко требовать чего-то, привлекать к себе внимание здесь, где я незаконно, по знакомству имею койко-место...

Я взялся за ручку двери, потянул. Дверь подалась. Значит, открыта. Но по извечной человеческой природе, я не обрадовался открытым дверям, о которых только что мечтал, а сразу забыл о том и начал переживать по поводу следующего этапа: не Дарья ли Павловна дежурит? Между дверьми был небольшой тамбур, и я постоял там немного в темноте, раздумывая, открыть ли мне дверь рывком и проскочить или, наоборот, постараться без скрипа и медленно, мягко открыть в надежде, что Дарья Павловна (если дежурит она) отвернулась или возится со своей проклятой кошкой, из-за которой и испортились наши отношения. Эта мысль несколько озлобила меня. Открыл рывком. Мелькает тускло освещенная передняя. Дежурит одна из сестер. Она безразлично подняла на меня сонное лицо. В радости от благополучного исхода моих треволнений, здороваюсь с ней как-то особенно приветливо. Потом, уже на лестнице (и в прямом и в переносном смысле) понимаю, что делать этого не следовало. Лучшие мои взаимоотношения с администрацией — это моя безликость. Выделяться же здесь из массы, даже в хорошую сторону, опасно. На примере Дарьи Павловны видно, как легко хорошие взаимоотношения переходят в плохие, а Татьяна с самого начала выделила меня самостоятельно и возненавидела...

Я поднялся по теплой лестнице (топят у нас временами хорошо, временами похуже) в теплый пустой коридор. Уже поздно, людей в коридоре нет. Лишь в конце коридора, у балконной двери (которую я намереваюсь превратить в запасной ход) стоит Адам-дурачок. Поспешно, опасаясь как бы он со мной не заговорил (он ко мне последнее время почему-то льнет, а я им, откровенно говоря, брезгую), поспешно поворачиваю к себе, открываю дверь тридцать второй. Все на месте и все сладко спят, несмотря на то, что горит свет и орет радио. У койки Жукова на полу валяется учебник физики для седьмого класса. Видно, потому и горит свет, он читал и заснул. Хоть радио и не выключали, но свет обычно гасили, если ложились

все. В комнате спертый воздух, но на это я обращаю внимание просто с мороза, я знаю, что быстро освоюсь. Зато тепло, мне здесь даже показалось уютно и хорошо. Раздевшись, гашу свет и, подумав, несмотря на то, что положение мое в комнате сложное и по этому поводу были уже скандалы с Береговым, выключаю и радио. Тем более что в случае скандала мне будет, как говорится, чем крыть. Завтра воскресенье. Укладываюсь. Койка у меня с панцирной сеткой, пружинистая, но мягкая (из шести коек в нашей комнате такая только у меня и Берегового, который раздобыл их в пору, когда мы дружили). Подушек у меня две, одна казенная, другая собственная, подарок тетки. Одеяла тоже два, казенное и свое шерстяное, ворсистое, но ныне ворс свалялся. Есть у меня также и три собственные простыни, и, кажется, три или четыре наволочки, но я их не употребляю, поскольку постель здесь выдают казенную и еженедельно меняют. На прежней моей работе в провинции (где я сильно заболел, после чего приехал искать счастья в город, где родился), на прежней моей работе постелью не обеспечивали. Там-то я и приобрел собственную. Вообще-же при моем нынешнем неустойчивом положении собственная постель пока не нужна (разве что одеяло и подушка для большего удобства), но, как правило, там, где мне предоставляют койку, там к этой койке имеется и постель (расчеты мои строились всегда исключительно на даровую койку знакомых либо на дешевую общежитскую, казенную. На частную возможностей не имел).

Приехал я в этот город три года назад зимой, как раз после Нового года, с довольно приличным запасом денег (сбережения от прежней работы), причем сложенных в две кучки — одна на жизнь в первое время, другая на устройство, то есть чтоб заплатить кому надо за оказанную мне поддержку. Помимо денег, был еще со мной список адресов тех людей, на которых я мог бы в первое время бесплатно опереться в этом городе. Прежде всего старушечка Анна Борисовна, дальняя родственница, на которую тетка особенно рассчитывала. Потом Чертоги, люди чужие, но чем-то тетке обязанные. Потом рабочий адрес Михайлова и телефон еще одного человека, некоего инженера Шутца (так меня тетка и предупредила: именно попроси инженера Шутца, а не просто Шутца); это меня насторожило, и я позвонил ему в самом конце, приходя уже в отчаяние от невозможности устроиться, и перед тем, как обратиться к Михайлову.

Отлично помню день приезда. В вагоне было у меня сидячее место (из экономии), ночь я провел, конечно, без сна и, выйдя на привокзальную площадь, очень жестокую (было именно ощущение жестокости в заиндевевших красивых трамваях нового типа и красиво горевших, не погашенных еще с ночи фонарях), чувствовал себя точно нищий-проситель в роскошной чужой приемной, такое чувство было на этой площади. На этой площади не было у меня прав требовать, а лишь возможность просить и надеяться на снисхождение (чувство, которое я впервые ощутил в то утро отчетливо). Я шел, уступая всем местным дорогу, даже школьникам, спешившим с ранцами в школу. Глядя на дома, вывески, на уходящие вглубь переулки, я испытывал именно не любовь к этому городу, о котором мечтал и открытки с видами которого любил разглядывать в провинции, а испытывал к городу робкое уважение, чуть ли не как к важному лицу, покровительство которого хочется заслужить. Несмотря на то, что чемодан оттягивал мне руку, я прошел остановку в сторону от вокзала, чтоб не влезать в трамвай вместе с толпой приехавших провинциалов, к которым испытывал теперь даже не презрение, а злобу, поскольку они меня дискредитировали (со мной в вагоне ехали какие-то муж и жена из провинции, которые все заговаривали и советовали держаться их, поскольку город они знают, мол, хорошо. Я от них, разумеется, сбежал).

К старушечке Анне Борисовне я добрался после многих пересадок, путаницы и блужданий по красивым, холодным, очень жестоким улицам (ощущение красивой жестокости этого города неотступно преследовало меня). Правда, часа через полтора, попав в результате путаницы повторно в одно и то же место и узнав его по какой-то арке, я решил, что начинаю терять ощущение бесправного чужака, и осмелился приобщиться к хозяевам, то есть к тем, кто диктует этому городу свои условия. Я выбрал для начала незначительный, но доступный мне способ: нарушил правила уличного движения, но не случайно и растерянно, как провинциал, а намеренно.

С некоторой даже лихостью прыгнул я на ходу в трамвай и был наказан за дерзость, едва не выронив чемодан и ударившись о что-то лбом, в результате чего вызвал смех пассажиров (среди смеявшихся была очень красивая женщина, каких не увидишь в провинции, что особенно ужасно и окончательно меня добило, ибо я особенно опасаюсь насмешек надо мной красивых женщин). Ругань кондукторши я выслушал, покорно опустив голову и глядя в пол, как провинившийся школьник (ошибка провинциала, еще больше вызвавшая ко мне презрение пассажиров). Так что мой поступок вызвал обратную реакцию: вместо самоуважения — самоунижение, и к Анне Борисовне я прибыл окончательно запуганным.

Анна Борисовна жила в многонаселенной квартире, но комната у нее была довольно большая и теплая. Я отогрелся и выпил большую кружку сладкого чая с куском свеженарезанного батона. Это был первый даровой кусок, данный мне в поддержку, и который я впервые в жизни приплюсовал к своему бюджету. Конечно, я мог купить себе и целый батон, деньги у меня были, но, во-первых, при отсутствии поступлений каждый купленный на собственные средства кусок был мне горек, а во-вторых, после жестоких улиц этот кусок произвел на меня чисто психологическое впечатление. Я почувствовал нечто материнское в морщинистом полном лице старушечки, которую видел впервые в жизни, и заговорил с ней каким-то елейным голосом (но совершенно в тот момент искренне), расспрашивая ее о здоровье и вообще ужасно лицемеря (очень искренне. Это не парадокс, бывает искреннее лицемерие, вызванное крайней нуждой). В комнате стояла одна лишь узенькая лежанка, на которой старушечка (она была маленького роста) спала. Это внесло некоторую тревогу, поскольку я гадал о своем месте ночлега, думая, где же она меня положит. Так, в рассеянном состоянии, сменившем суетливое мое умиление, мы проговорили минут двадцать, после чего она мне отказала в ночлеге, поскольку, мол, соседи возражают. От неожиданности такого крайнего исхода и к тому же освободившись в тепле от первого испуга перед этим чужим городом, что придало мне развязность, я проявил некоторую грубость, на которую не имел прав, то есть встал, взял чемодан и вместо того, чтобы помочь старушечке поднести в прачечную довольно тяжелую корзинку с бельем (она собиралась в прачечную), ушел, сухо кивнув. Как бы сорвал с лица на глазах у старушечки елейную маску, не поблагодарив за батон со сладким чаем, восстановившим мои силы после ночного вагона и блуждания по улицам, и фактически надсмеявшись над ее горем (у нее недавно умерла любимая сестра в Бобруйске, но по состоянию здоровья Анна Борисовна не имела возможности ехать на похороны. Мы вместе повздыхали по сему поводу). Однако после того, как я понял, что мои планы устроиться здесь жить провалились, как-то сразу проявил полное безразличие к здоровью и горестям Анны Борисовны и целиком погрузился в свою беду, ушел торопливо, впрочем, спеша, надеясь до вечера найти другой ночлег. Вообще-то состояние это, отсутствие ночлега, непередаваемо ужасное. К счастью, как я уже говорил, в отличие от голода отсутствие ночлега угнетает разум, а не инстинкты, разум же менее реалистичен, чем инстинкт, и даже в самой безысходной ситуации живет надеждой.

Я приехал к Чертогам в противоположный конец города, трехсотые номера длинной улицы Саперное Поле. Чертоги мне не отказали. Семья из трех человек — отец, мать и шестнадцатилетняя дочь (все некрасивые, особенно дочь) — жила в двух комнатах одноэтажного окраинного домика. Взаимоотношения мои с Чертогами весьма поучительны и гораздо более интересны, чем с Анной Борисовной, старушечкой. Чертоги приняли самое горячее участие в моей судьбе и, думаю, вполне искренне. Именно это горячее искреннее участие их в моей судьбе несколько оправдывает мои дальнейшие, некрасивые с точки зрения быта и, может, некоторых моральных правил поступки по отношению к этим людям (раздумывая, я сейчас пришел к этому успокоительному выводу). Человек я увлекающийся, доверчивый и, будучи ущемлен в смысле домашнего тепла, принял обычную бытовую порядочность этих людей чуть ли не за проявление родных ко мне чувств и в короткий срок, буквально в два-три дня так освоился, что посчитал их семью своей родной и дом этот также своим родным домом. Мать Чертог съездила со мной на электричке в пригородную деревню к своей знакомой и вступила с ней в переговоры о возможности за некоторую

плату организовать мне прописку. Знакомая позвала нас в комнату, разговаривая шепотом (то есть вступила в отношения, что меня обрадовало), осмотрела мой паспорт и пообещала сделать все возможное, вселив надежду. Отец Чертог хлопотал на своем предприятии (он работал экспедитором) и на соседних предприятиях по поводу работы для меня. Таким образом, все вдруг образовалось, дело было на мази, пошло сверх ожиданий хорошо, и я расслабился, потерял ориентировку и перестал ощущать подлинность своего положения. Из сбережений, предназначенных для питания (поскольку питался я у Чертогов), я купил себе велюровую шляпу и вместе с приятелем (у меня был в этом городе школьный приятель, на которого, разумеется, в бытовом смысле я не мог рассчитывать, но в смысле общества он на первых порах был крайне ценен, и когда я бытово устроился, то заехал к нему), итак, вместе с приятелем я начал ходить по главным улицам и в парки, иногда позволял себе даже дешевенькие закуски в кафе, то есть после провинциальной ущемленности повел если не золотую, то позолоченную жизнь, иногда со смехом вспоминая, как приехал сюда (мне казалось, что было это очень давно), шел с чемоданом, пугаясь этих близких мне ныне улиц, на которые я уже чувствовал некоторые свои права. Такая легкомысленная жизнь продолжалась недели две. Возвращался с прогулок с удовольствием в сразу как-то ставшую мне близкой семью. Обедая или ужиная, мы смеялись, рассказывали анекдоты, вообще все было великолепно. Оборвалось это как-то сразу, не знаю, было ли поводом какое-либо конкретное событие или просто наступил предел некоего незримого и негласного договора, в который независимая добродетель вступает с тем, кто испытывает в ней нужду, надеясь на его такт и совесть. Я же, увлекающийся идеалист, пришел в восторг от их бескорыстия и доброты, и восторг помешал мне усмотреть предел, за которым я, человек, уставший от суровой жизни, расслабился и начал злоупотреблять их гостеприимством. Я так много и восторженно о них говорил и приятелю своему и знакомым (через приятеля у меня появилось несколько мимолетных знакомств в этом городе), что когда в один из вечеров, вернувшись по обыкновению в хорошем настроении, застал всех Чертогов угрюмыми и — у них был такой вид, точно они только что обо мне судачили и при моем появлении замолкли, то первоначально не понял ничего, а потом растерялся. Истина разом открылась передо мной, и она была весьма неприглядна. Надежды на пригородную хозяйку не оправдались, сам Чертог, правда, кое-где предварительно договорился, но без прописки нельзя было думать о работе. Я висел в воздухе. Деньги таяли, хоть обеды у Чертогов не стоили мне ни гроша. (Ошибка. Надо было с самого начала поставить все на более деловую основу. Теперь же они денег не брали, увеличивая тем самым еще более свою правоту и надеясь этой правотой быстрее меня выжить, хотя бы и на улицу.) Вообще отношения наши быстро стали неузнаваемыми и приобрели скандальный характер. Будучи во всех отношениях неправ (две недели позолоченной жизни вместо попыток устроиться), но ныне не имея иного выхода, я жил у Чертогов чуть ли не силой, крича, что они обязаны меня принимать, поскольку должны рассчитаться за добро, сделанное им моей теткой (кажется, в войну они жили у тетки несколько месяцев и всей семьей).

Я позвонил инженеру Шутцу. Он долго не мог понять, кто я, тетку же мою хоть и вспомнил, но с трудом и сказал, что ныне обстановка изменилась и с билетами помочь он никак не в состоянии (автомат работал плохо). Летом, когда существуют дополнительные поезда, часть лимита выделяется их управлению (он работал в управлении железной дороги), сейчас же это отменено. Очевидно, к нему часто обращались знакомые с просьбой о билетах, потому и мой звонок он понял именно так, тем более что о своем трудоустройстве я говорил невнятно, запинаясь, оттягивая момент отказа. Я повесил трубку и выбросил телефон Шутца, поняв его бесполезность.

К Михайлову я пошел на следующий день с утра. Ранее, пребывая в благодушном состоянии и думая, что наконец очутился среди родных людей, я позволял себе поваляться подольше, и Чертоги, проходя через переднюю (я спал в передней на раскладушке), теснились, чуть ли не натыкаясь на меня. Теперь же я просыпался рано (впрочем, почти не спал. Это было начало моих бессонниц, которых я не знал в провинции). Просы-

паясь рано, я старался уйти, чтоб не завтракать (прямой отказ от завтрака являлся демонстрацией и накалял атмосферу). К Михайлову я пришел задолго до начала работы треста и не менее часа прогуливался, дожидаясь десяти. В плановом отделе треста сидела за столом полноватая, начавшая седеть темноволосая женщина со следами былой красоты (Вероника Онисимовна Кошеровская. Та самая, на мои взаимоотношения с которой весьма скользко намекал Михайлов. Пошлый намек этот имел некоторые последствия. Меня он смутил, но позднее обида, странно переварившись в моем мозгу, обернулась весьма своеобразно, и я действительно начал думать о Веронике Онисимовне не только как о своей покровительнице, старающейся мне помочь чем можно, но и как о женщине). Однако все это было через год-полтора, а тогда я робко сел в углу на стул, предложенный мне Вероникой Онисимовной, не проявившей, кстати, с первого взгляда ко мне никакого интереса, и стал дожидаться Михайлова, гадая, какой он из себя и как ко мне отнесется. Вошел седой, среднего роста мужчина в золотых очках и хорошем костюме.

— К вам, Михаил Данилович,— не поднимая головы от арифмометра, сказала Вероника Онисимовна.

Я встал (уважение перед хозяевами жизни было у меня тогда развито чрезвычайно).

— Вы из третьего СМУ,— спросил Михайлов,— передайте Медведеву, я ждал от него сведения еще в начале прошлой недели.

Он, безусловно, принимал меня за курьера, поскольку велюровую шляпу вместе с пальто я оставил внизу на вешалке и был в своей штопанной на локтях куртке (ныне окончательно изношенной и разорванной на портянки).

— Моя фамилия Цвибышев,— сказал я робко, но с некоторой обидой,— я, собственно, по личному делу...

В лице Михайлова произошла быстрая перемена. Он посмотрел на меня с интересом и, по-моему, даже с искренней радостью.

— Гриша,— сказал он и, подойдя, крепко пожал мне руку.— Это моего лучшего друга сын,— сказал он Веронике Онисимовне.

Она тоже посмотрела на меня с интересом серыми своими глазами, впоследствии (утверждаю исключительно благодаря скользкому намеку Михайлова) начавшими меня по-мужски волновать.

Михайлов позвал меня в свой кабинет и усадил в кресло, глядя пристально, с какой-то тихой печалью. Мне кажется, у него даже показались на глазах слезы, и, сняв очки, он протер стекла хрустящим белоснежным платком.

— Похож на мать,— наконец сказал Михайлов,— но что-то есть и от отца... Подбородок отцовский... И скулы...

Отношения мои с Михайловым начали портиться постепенно и как-то незаметно, по мелочам. Причиной, думаю, была постоянная моя зависимость от него, притупившая теплоту его чувств ко мне, где грусть о потерях сочеталась с радостью наблюдать во мне черты давно умершего, но близкого человека. Какая-то моя постоянная ничтожность, которая не менялась со временем, неприспособленность, беспрерывная потребность моя в покровительстве, неумение, как он считал, найти себя и утвердиться, которая, по его мнению, оскорбляла память друга, человека, по его же мнению, незаурядного. Его обижало, что у моего отца оказался такой ничтожный сын. Он начал постепенно выказывать свое неудовольствие мной, и, поскольку я ему не противоречил, боясь потерять покровительство, он разозлился до того, что помогая, в то же время позволял попросту надо мной надсмехаться. Однако тогда в кабинете и вообще первое время, еще не зная меня как человека, он относился ко мне весьма тепло и с уважением. Я рассказал Михайлову свою историю (соврав лишь, что в городе неделю, а не месяц почти). Михайлов обещал помочь и взялся за это дело весьма оперативно, так что через две недели я уже был устроен. Этим я косвенно должен быть благодарен и Чертогам. Не прояви они вовремя своих подлинных качеств, людей не родных мне, как я по наивности думал, а просто посторонних, но решивших оказать мне добрую услугу, временно предоставив ночлег, я еще долго по наивности и восторженности, а не из нахальства (жаль, что Чертоги, этого не поняв, перечеркнули все хорошее, сделанное ими), так вот, я еще долго мог бы вести позолоченную жизнь и упустил бы Михайлова (вскоре он слег с инфарктом на два месяца). Не знаю, как сложилась бы в таком случае моя жизнь. Я убедился, что, кроме Михайлова, никто мне в этом городе чем-либо реальным и серьезным помочь не мог (разумеется, из тех, кто хотел мне помочь. Например, Чертоги вначале пытались мне помочь, однако безуспешно. Мой школьный приятель тоже куда-то звонил и разузнавал. Но все это, конечно, смешно). Устроить такого человека, как я, весьма непросто. Даже в проверенном пути, избранном столь авторитетным лицом, как Михайлов, произошел неожиданный пробой, поскольку можно предвидеть служебные, но не личные действия многочисленных инстанций, которые вовлекаются в трудоустройство. У Михайлова был знакомый директор пригородного дома отдыха, который согласился фиктивно оформить меня аккордеонистом (ни на одном музыкальном инструменте играть я не умею), оформить и прописать. В местном поселковом отделении милиции я получил прописные листы, которые тут же были оформлены участковым милиционером, приятелем директора. Правда, директор предупредил меня, что у него сложные взаимоотношения с главбухом дома отдыха (директор любил выпить, что было видно по его лицу), и потому остальное уже зависит от моей оперативности, чем быстрее, тем лучше, пока не привлекли внимание бухгалтерии. Я немедленно сел на пригородный поезд (электрички еще туда не ходили, хоть линия строилась) и поехал в райвоенкомат. Все шло хорошо, первые положительные резолюции местных должностных лиц уже значились на моем прошении и размашистое «Не возражаю» с закорючкой-подписью и датой сразу делали меня пусть еще не полноправным, но членом общества, и я перечитывал резолюцию в вагоне бесконечное число раз, с радостно колотящимся сердцем. Военкомат находился в двухэтажном деревянном доме на живописной улице (улицы именовались здесь просеки. Кажется, Третья просека, дом двенадцать, даже сейчас помню, так важны были адреса этих инстанций для дальнейшей моей жизни). Я потолкался среди новобранцев, среди казенного военного запаха табака и кожи, который и ныне не могу воспринимать без тревоги, пока мне не указали нужную дверь. За столом сидел лысеющий блондин, пехотный подполковник.

— Что? — спросил он меня, взяв бумаги, но глядя не на государственные лиловые надписи, на которых я строил весь свой расчет, а на меня, что уж само по себе было опасно.

— Стать хочу на учет,— сказал я, стараясь принять независимый вид, чтоб не вызвать подозрений.

— Так,— сказал подполковник, мельком глянув на бумаги, но главным образом, опять на меня.— Так,— повторил он,— а комсомольский билет с вами?

Вопрос был неожиданный, я растерялся.

— Нет,— ответил я, лихорадочно соображая, как вести себя дальше,— я не знал, что в военкомат нужен комсомольский билет... Вот военный билет...

— А где же он? — спросил подполковник.

— Он в чемодане,— ответил я.

— Так,— монотонно сказал подполковник.

Это многозначительное повторение окончательно сбило меня с толку. Я ощутил холодок внизу живота.

— Здесь написано, что вы комсомолец,— сказал подполковник.— Как же это в чемодане? Сегодня в чемодане, завтра в землю зароете, так?

Это последнее «так» сказано было полувопросительно, словно приглашая к откровенному разговору, и тут-то я совершил ошибку, едва не ставшую непоправимой. У подполковника было круглое, несколько одутловатое простое лицо. Я решил, что это человек «правды-матки». И с помощью откровенных рассуждений я попробовал привлечь его на свою сторону.

— Дело ведь не в бумажке,— сказал я.— Важно, что у человека тут.— И я не очень сильно, но все-таки ударил себя кулаком в грудь.

Произошла катастрофа. Подполковник побагровел и крикнул, как кричат на рынке контуженые:

— Какая это бумажка! За эту бумажку люди жизнь отдавали на фронте!..

Конец, пронеслось у меня в мозгу. Я понес уж вздор, чрезвычайно опасный в моем положении, который мог меня окончательно погубить.

— А вот отец мой и мать, — сказал я, — в комсомоле с юности... Сражались на фронте (не следовало касаться родителей, поскольку биография моя, прилагаемая в анкете, была полностью и умышленно мною искажена и об арестованном отце не было, конечно, ни слова). — К счастью, подполковник не стал вдаваться в подробности, а лишь сказал:

— Почему же вы не берете пример со своих родителей?

Я виновато потупил глаза, давая понять, что я соглашаюсь с ним, подчиняясь его мнению и извиняясь за свою беспутную жизнь, надеюсь, что подполковник меня простит. Но не тут-то было. Более со мной он не общался, а снял трубку и позвонил.

— Товарищ Иванов, — сказал он. — Это Сичкин из военкомата... Я тут пришлю к вам гражданина... Надо разобраться... Берут человека без вашего ведома... Да, приезжего...

Я уже понял, что история с Михайловым была простой авантюрой. Слишком все складывалось просто. То, чего я боялся, совершилось, то есть мое незаконное оформление стало предметом официального расследования.

— Зайдите к Иванову из райотдела милиции, — сказал мне подполковник Сичкин обычным бытовым голосом и протянул бумаги. — Первая просека, дом три-А.

Я вышел на улицу. Вокруг на запорошенных снегом соснах было много вороньих гнезд, и воронье карканье еще больше угнетало. Конечно, ни к какому Иванову я идти не собирался, надо было как можно скорее исчезнуть, пока не подвел окончательно и себя, и директора дома отдыха, и Михайлова. Я торопливо зашагал к железной дороге, но запутался и неожиданно для себя вышел прямо к райотделу милиции. Я находился в чрезвычайной панике, может, потому и действовал нелогично. Единственным прочным местом моих бумаг была лиловая подпись участкового, все же остальное, вплоть до моей профессии аккордеониста, — липа, возможно, даже уголовно наказуемая. Идти с этим в милицию самостоятельно мог только неопытный и потерявший рассудок человек. Тем не менее я вдруг вошел и поднялся на второй этаж, где располагался кабинет Иванова. Иванову этому было лет сорок с хвостиком, и у него было лицо чрезвычайно опасное для меня, светло-холодные глаза и вздернутый курносый нос, который на пожилых лицах выглядит почему-то особенно опасным. Едва добровольно войдя в кабинет этого милицейского полковника (а в моем положении опаснее места для меня трудно придумать), едва войдя, я тут же огляделся, и мысль немедленно бежать пронеслась в мозгу. К счастью, я сообразил, что этот мой поступок вызовет подозрение, к тому же окна зарешечены, а внизу, у входа, дежурит сержант, так что меня задержат сразу же внутри райотдела, не дав даже выбежать. А если и выбегу каким-то чудом, то меня без труда задержат на улице. Такие нелепые мысли терзали меня, пришедшего добровольно и по собственной инициативе. Если бы я не выполнил рекомендации Сичкина и скрылся, никто б меня, конечно, разыскивать не стал и я бы просто вернулся к своему первоначальному положению человека без места, которое теперь, после пережитых страхов, не показалось мне столь ужасным. Однако ныне путь к неприятным, но безопасным для меня конфликтам с частными лицами типа Чертогов был отрезан, и я вступил в официальный конфликт с райотделом милиции. Бумаги мои за версту попахивали липой, попыткой обойти закон в лице райотдела и решить все на приятельском уровне (участковый, напоминаю, был приятель директора дома отдыха, директор же, в свою очередь, находился в каких-то взаимоотношениях с Михайловым). Расчет был прост: на основании резолюции участкового меня берет на учет военкомат, после чего в группе паспортов мой паспорт передается непосредственно паспортисту, минуя верха райотдела. Путь достаточно скользкий, тем не менее в текучке дел, на которую рассчитывали мои покровители, такой вариант был бы возможен, если б не случилось непредвиденное: я по человеческим своим качествам, возможно, даже просто внешним, не понравился чем-то подполковнику Сичкину из военкомата. Сичкин ощутил липу и махинации, идя от личных впечатлений; человеку же профессиональному, такому, как Иванов, и этого не требовалось, достаточно было лишь взглянуть на бумаги, где все сшито было, как говорится, белыми нитками, то есть грубо сколочено. Например, техник-строитель оформлялся аккордеонистом, цель же приезда указывалась: «согласно трехмесячной курсовке».

(При доме отдыха имелось санаторное отделение, где находились люди по путевкам или курсовкам здравотдела, нуждающиеся в длительном лечении. Очевидно, прописка таких лиц входила в компетенцию участкового, а не райотдела, но оформляться они должны были через главбуха, который состоял с директором в дурных отношениях. Вот почему в анкете была записана трехмесячная курсовка, чтоб иметь право решать прописку на низшей инстанции, и в то же время паспорт мой должен был быть послан мимо бухгалтерии дома отдыха в общем потоке не отдыхающих, а временно проживающих на территории поселка.) Когда в мозгу моем пронеслась нелепая мысль о побеге и я отбросил ее как опасную, тут же возникла новая: придумать какую-то другую причину своего посещения и не давать бумаги. Но я отбросил и эту мысль, поскольку боялся запутаться, времени у меня оставалось в обрез, Иванов уже поднял голову и вопросительно смотрел на меня. Причем само мое молчание и растерянный вид могли вселить подозрение. Поэтому я пошел напролом, протянув бумаги. Иванов прочел их, как я и предполагал, внимательно (этого-то я и опасался. Любой правдивый и ясный анализ моего прошения был мне опасен, поскольку все было сделано в расчете как раз на ротозейство).

— Так вы работать приехали или лечиться? — спросил меня Иванов жестко и коротко (пронеслось: очевидно, таким голосом он вызывает конвой).

— Лечиться, — сказал я (судьба пошла мне в этот опаснейший момент навстречу, и голос мой не дрожал. Подлинное чувство усталости и отчаяния придало моей лжи искренний оттенок, а склонность моя к самообману облегчила мне возможность воссоздать атмосферу если не правды, то, во всяком случае, чего-то достаточно близко похожего на правду), — лечиться, — повторил я... — А потом, если возможно, работать... Ехать мне некуда... Родных у меня нет нигде...

Иванов отложил бумаги, и на его опасном для меня лице я прочел некий интерес, не лишенный вражды. И понял, что в отличие от военкомата нашел правильную форму поведения, и надежда, покинувшая было меня, вновь затеплилась.

— Кто вы вообще такой? — спросил Иванов. — Расскажите коротко о себе.

Я начал рассказывать. Рассказ мой был путан, нелогичен и во многих пунктах неправдив, например, об отце я утаил подлинность и наплел бог знает что, но в то же время пережитые страхи как-то притупили фантазию, и какие-то кусочки убогой правды о моей жизни, с детства неустойчивой, лишенной родительской поддержки, даже какие-то кусочки, мне неприятные, например, о нищенской юности, которой я стыдился, проступили в этом рассказе (к слову сказать, нищенская юность, растраченная на борьбу с материальными невзгодами, заложила во мне большинство будущих пороков, достигших силы в период зрелости: физическая слабость от недоедания развила болезненное тщеславие и мужскую стыдливость, общественная ничтожность родителей, особенно, как я считал, в послевоенный победный год, развила лживость, постоянная нужда в поддержке со стороны развила отсутствие бескорыстия во взаимоотношениях с людьми...).

Не знаю, что именно произвело в моем рассказе впечатление на полковника милиции Иванова, но вопреки логике он вдруг, если и не поверил моим словам, то, во всяком случае, решил, что во-первых, опасности для государства моя жизнь не содержит, а во-вторых, как-то меня и пожалел.

— Не помните фамилию того, из военкомата? — спросил меня вдруг странно доверительно, как спрашивают человека, с которым вступают во взаимоотношение и делают общее дело.

— Сичкин, — еще не веря удаче, пролепетал я.

Иванов снял трубку, позвонил и сказал:

— Товарищ Сичкин, это Иванов. Я тут разобрался. В случае приезда на длительное лечение они имеют право решать на месте самостоятельно... Резолюция участкового у него есть... Так что я вам, — он посмотрел в мои бумаги, — я вам Цвибышева присылаю... Можете брать его на учет...

— Идите, — сказал он мне, повесив трубку, как-то тихо сказал, — идите быстрей, пока он на месте.

Я не верил своим ушам. Сам безжалостный закон, одетый в строгую милицейскую форму, вступал со мной в заговор и выискивал возмож-

ность, чтобы обойти самого себя. Я пробормотал благодарность, которую Иванов сделал вид, что не расслышал, углубившись в бумаги. И мне показалось, что в его движениях после того, как он меня пожалел, появилось что-то мелкое и неуважаемое, я заметил, например, что из рукава форменного с кантами кителя выглядывает конец синеватой нижней фуфайки, а на шее у затылка углубление, вернее, вмятина, поросшая седым волосом и совершенно не мужественной формы (пулевые ранения редко бывают мужественной формы. Мужественный вид мужчине придают резаные и осколочные шрамы).

— Идите, — снова тихо повторил полковник милиции Иванов, меняясь буквально на глазах.

Что-то по-человечески угнетенное и слабое появилось в его горбящейся за столом фигуре, точно, из жалости вступив со мной в сговор против закона, он преступил невидимую черту сильных мира сего и даже в моих глазах потерял былой авторитет. Но продолжалось это не более нескольких секунд. Зазвонил телефон, и, забыв обо мне, полковник вновь начал говорить сильным жестким голосом, выпрямившим его фигуру. Именно это и обрадовало меня, ибо придало его звонку в военкомат серьезное значение, в чем я невольно начал было сомневаться. Тем не менее у меня хватило ума вернуться к подполковнику Сичкину не как победитель, получивший поддержку начальника милиции, а как человек, выполнивший его, Сичкина, рекомендацию. Я понял, что в моей борьбе с законом главным начальником является тот, кто хуже ко мне относится, независимо от занимаемой должности.

— Все в порядке, — сказал я каким-то просительным тоном, который начал невольно приобретать в своей борьбе за существование, — все хорошо.

Я словно приглашал и Сичкина разделить удачу, а если возможно, повернуть дело так, будто именно Сичкин многое сделал для этой моей удачи. Правда, Сичкин не пошел мне навстречу, посмотрел на меня хмуро, злобно и презрительно, но документы взял, оформил и чуть ли не бросил их мне, не ответив на мою благодарность, начал нервно перелистывать какие-то папки. Если позднее, обжившись, я получил возможность обижаться и страдать от унижений Михайлова, человека, мне помогающего, то здесь перед лицом человека, готового меня затоптать, не было, конечно, и тени подобных чувств, наоборот, выйдя с оформленными документами, я ощутил необычайный прилив радости и к железной дороге шел в распахнутом, несмотря на холод, пальто, улыбаясь и рассматривая гербовую печать на моем подозрительном документе, о которой я мечтал и которую с презрительным смехом покажу Чертогам...

Далее все пошло быстро. Меня прописали в пригороде. Через своего приятеля (как я теперь выяснил у Мукало, некоего Евсея Евсеевича) меня, используя временную пригородную прописку, устроили на работу в управление строймеханизации, а позднее, не знаю, через кого, поселили в общежитии, переписав туда из пригорода и добившись для меня койко-места. Вот каких трудов, волнений и унижений стоило мне это место в углу за шкафом с койкой на панцирной сетке и верхней полкой в тумбочке, где я держал продукты. Вот почему частенько, особенно перед сном, страх терзал меня последнее время. Спустя три года я вновь рисковал очутиться в прежнем висячем положении без места и работы. Вернее, ныне работы я уже лишился, однако это пугало меня в меньшей степени, поскольку имелись сбережения. Но ночлег... Правда, я восстановил отношения с Чертогами. Иногда, когда требовалось пересидеть опасное время, как я называл про себя «комендантский час», пока уберутся домой из общежития комендантша Софья Ивановна и зав. камерой хранения Тэтьяна, я у Чертогов бывал... И все ж теплоты у меня с Чертогами больше не было, и относились они ко мне как к просителю, несмотря на постоянные мои рассказы об удачах и благополучии. Это я определял по вчерашнему супу или подогретой картошке, которые они мне выставляли. Именно суп и картошку, иногда кусок жесткого мяса, как голодному просителю, а не стаканчик чая с печеньем, яблочко, конфетку, как просто гостю. У Чертогов было единственное место, где я ел даровой кусок с трудом, рассеянно, без аппетита, не приплюсовывая его к бюджету. Даже у старушечки Анны Борисовны я ел ее нехитрые угощения с большим удовольствием, не говоря уже о

великих (иного слова не подберешь) обедах Бройдов. Но главное не еда... С едой можно обойтись, и собачье чувство благодарности, которое вдруг обуревает меня во время вкусного угощения, не более чем момент, эмоция, временное затемнение сознания... А койко-место — это постоянно и логично, как сама жизнь... Это и есть сама жизнь, и без койко-места человек утрачивает свое человеческое начало... Утрачивает возможность раскиснуть, расслабиться, утрачивает право на лень, одно из несправедливо презираемых человеческих чувств, доставляющих удовольствие и продлевающих жизнь. Лени, этого чувства благополучия, человек лишен в пути, вдали от родного дома, где ему позволены слабости и глупости...

Я лежал сейчас на спине, вытянув ноги, наслаждаясь небрежной своей позой, и после всех моих мытарств в течение суток испытывал попросту искреннюю нежность и любовь к своей койке, словно к живому существу, близкому мне и родному, по-матерински встретившему мое усталое тело... Я, как случалось не раз, перестал думать перед сном о дурном, а, наоборот, начал думать об удаче. Как через друга моего Григоренко суну посредством подставного лица взятку кому-то из местного начальства (может, самому Маргулису или Софье Ивановне, Григоренко не уточняет, кому именно, и заявляет, что это дело не мое). Я избегаю в дальнейшем постоянных унижений от Михайлова, получу, наконец, устойчивое койко-место, к которому, несмотря ни на что, привык и, может, даже полюбил, как родной дом, где стоят в тумбочке мои продукты и этак важно висит в шкафу, а не валяется скомканной в чемодане моя одежда... Эх, уехали бы Береговой с Петровым, да наладить бы отношения с Жуковым, хотя бы ценой публичного извинения... Мысли бегут приятно и легко, и я заранее уже знаю, что сегодня бессонницы не будет. Я поворачиваюсь на левый бок, лицом к стене и начинаю осторожно покачиваться. Не знаю, когда возникла у меня эта привычка, но возникла она давно. Покачиваясь, я полностью расслабляюсь, растрачиваю на покачивание остатки физической энергии, накопленной за день, которая вредит сну, однообразными движениями мешаю мыслям своим сосредоточиться на чем-то серьезном (ночные мысли любят, когда тело неподвижно) и перевожу мысли в тупой монотонный ритм, разумеется, если они не чрезмерно остры и беспокойны (тогда никакое покачивание не помогает). Правда, раза два надо мной за это покачивание смеялись, причем последний раз в этой комнате. Я лег усталый и, забывшись, начал укачивать сам себя еще при непогашенном свете и когда некоторые из жильцов бодрствовали.

— Гляди, — сказал весело Саламов кому-то (по смеху собеседника я догадался, что Жукову), — гляди, Гоше девка снится.

Я покраснел, притих, будто пойманный на тайном пороке, и в уме дал обет больше не покачиваться. Но прошло некоторое время, и я вновь стал сам себя убаюкивать, однако приняв меры предосторожности, и поступал так, лишь когда позволяла ситуация. Сейчас была именно подобная благоприятная ситуация, все спали, и я тихо укачивал сам себя, слегка поскрипывая сеткой, чувствуя как бы со стороны приятную рыхлость и мертвость лежащего тела, словно моего и не моего, ощущение, наступающее обычно в преддверии крепкого мертвого сна, после которого не просыпаешься, а возрождаешься. Иногда, когда я входил полностью в это состояние, то есть укачивал себя продолжительное время в тишине, теплоте и темноте, то начинал вдруг испытывать к себе удивительную любовь или даже не любовь, а нежность, ибо сам себе я был тогда отец и мать, брат и сестра, сын и дочь... Не то что я думал подобным образом логически, скорее бездумно ощущал приятно щекочущую родительскую ласку к самому себе в своем сердце, засыпал не одинокий, по-детски защищенный от бытовых невзгод, с детской улыбкой на лице.

* * *

Утром произошло событие, которого (не буквально, конечно, именно такого, а подобного) я давно опасался и которое нарушило мой дальнейший план, вернее, придало ему лихорадочность и торопливость, что в моем положении и при моем характере чрезвычайно опасно. Собственно, план мой так же не был един. С одной стороны, я решил опять наладить связь с Ниной Моисеевной и через нее все разрешить удачной женитьбой и сытой

устойчивой жизнью, которая меня, измотанного и уставшего, привлекала все более, особенно после утраты мной так называемой великой идеи... Даже в глубине души я сам над собой насмехался за эту дурацкую идею, отнявшую у меня столько жизненных сил и оказавшуюся столь ничтожной и легковесной. Однако в плане с Ниной Моисеевной было одно противоречие, то есть на первый взгляд небольшое и нелепое, в действительности же полностью этот план почти что перечеркивающее. Может быть, многим или чуть ли не большинству это противоречие покажется глупым и смешным, однако тут уж я себе не волен, есть чувства, которые не переубедишь. Именно: в своих мыслях и в выборе фавориток (напоминаю: женщин, которых я часто встречал и в которых тайно платонически был влюблен) я чрезвычайно развратил свой вкус красавицами, так что не представлял себе ныне, как могу влюбиться или тем более жениться на некрасивой. А я почти был уверен в том, что круг знакомств Нины Моисеевны лишен красавиц. Поэтому наряду с планом наладить свою жизнь через Нину Моисеевну существовал иной, также мной упомянутый: дать взятку через Григоренко и получить право на устойчивое койко-место в общежитии. Правда, в плане с Григоренко было немало вопросов и белых пятен, главное же — отсутствовала перспектива и цель из-за утраченной идеи, но интуитивно я полагался здесь на жизнь, которая, помимо моей воли, движением своим подтвердит правильность моих действий, суть которых пока скрыта от меня самого. Все это я продумал то ли во сне, то ли в полусне перед пробуждением, не пойму, во всяком случае, открыв глаза, я уже знал твердо, что Нина Моисеевна и женитьба пока оставляются про запас, а на передний план выдвигается предложение Григоренко. Однако, открыв глаза, я тут же их зажмурил в страхе. Испуг был так неожидан и силен, что я, кажется, даже застучал зубами. У койки своей я увидел окровавленное лицо ребенка лет четырех, который пускал из ротика кровавые пузырьки и протягивал ко мне окровавленные ручки. Перед тем, как застучать в страхе зубами, я, наверное, спросонья, не владея собой, не помужски как-то крикнул. Крика не помню, но какой-то визгливый женский звук замирал еще в моих ушах, когда ребенок заплакал. Никаких действий я не производил, помню твердо, и это важно как аргумент против клеветнических обвинений, значит, ребенка мог испугать только мой крик. Меня же, наоборот, испуг и плач ребенка несколько успокоили, я поднялся на локте, огляделся и понял, в чем дело. Я упоминал, кажется, ранее, что среди уборщиц была Надя, мать-одиночка (большинство женщин, прямо или косвенно связанных с нашим общежитием, по странному совпадению были Нади: Надя-уборщица, Надя-солдатка и еще одна Надя, жена Данила-монтажника). Так вот, Надя-уборщица, не любившая, кстати, меня, часто брала с собой своего мальчика и во время уборки сажала его в комнату на какую-либо койку или на стул. Должен сказать, что Надя невзлюбила меня за то, очевидно, что я сразу почувствовал неприязнь к ее мальчику. Я, разумеется, никогда открыто неприязни не проявлял, но она, как мать, интуитивно все понимала. Мне кажется, что если самое прекрасное среди живущего надо искать среди маленьких детей, то и самое отвратительное можно также найти среди маленьких детей. Есть дети, зарожденные от неприятных, истощенных, больных либо алкоголиков или вообще зарожденные бездумно, впопыхах, по-животному, и пока они живут неосознанно, в облике их невольно проявляются какие-то алчные и цепкие движения звереныщей, поскольку уродцы эти на первых порах развиваются кое в чем быстрее нормальных детей. В то же время трогательные черты детской слабости у них выглядят жалко, как неразвитые рудименты, и потому вызывают брезгливость. Позднее такие люди, к сожалению, в силу трудной и многосложной жизни, не представляющей особой редкости, позднее такие люди, вырастая, прячут по мере возможности первоначальные свои пороки, в которых повинны не они, либо под ординарностью, либо, наоборот, если врожденные пороки особенно сильны и неравномерны, под сознанием собственного превосходства и активной общественной деятельности. Но и в том, и в другом случае они утрачивают первоначальные свои античеловеческие черты и своим человеческим обликом, человеческой злобой и человеческими страданиями, а также многомиллионным количеством своим все более заводят в тупик цивилизацию, для которой в соответствии с возобладавшими в последние два века материальными представлениями

человеком является любое существо, опирающееся на две ноги, а следовательно, подлежащее защите гуманных моральных норм...

Итак, вернемся к моменту, когда, проснувшись с определенным планом и решением, я вдруг увидел перед собой окровавленного ребенка и, пережив испуг, узнал в нем четырехлетнего сына уборщицы Нади. В мальчике этом не было ничего по-детски свежего. Пахло от него дурно, глаза у него были мутные, воротник обслюнявлен, ручки грязные с нечистыми ноготками. Он страдал постоянно какими-то кожными болезнями, и поэтому Надя не отдавала его в ясли, а брала с собой. Вообще существо это было крайне неприятное и несчастное, для которого при наличии ума спасение в затворничестве, но по молодости лет оно этого не знало и потому активно тянулось к людям, ожидая от них не столько ласки, сколько еды. Кажется, в некоторых комнатах мальчика любили и угощали. У нас, например, пожилой жилец Кулинич, когда бывал дома, играл с ним. Игра заключалась в том, что мальчик пытался сосать палец Кулинича с черным ногтем и трещинами, разъеденными строительным раствором... Мне это было противно, а Кулинич смеялся и, дав вдоволь пососать палец, угощал мальчика косточкой из борща или хлебной коркой. Несмотря на свое стесненное материальное положение, я тоже угощал мальчика, то куском булки, то мармеладиной (карамель не давал, боясь, что он подавится). Но к себе я Надиного сына все же не допускал и не мог скрыть брезгливости, отчего Надино материнское тщеславие этим возмущалось. Бытового тщеславия у Нади по бедности не было, и мне кажется, она специально брала мальчика с собой, чтобы его жильцы кормили. В этом-то я ее понимал. Зарабатывала Надя мало, и Саламов говорил, что, когда на стройке выдают получку и аванс, Надя спит с жильцами за деньги по комнатам. Якобы даже Софья Ивановна разок ее на этом застукала и чуть не выгнала, пожалела, да и Тэтьяна, которая меня ненавидела, Наде покровительствовала (может, еще одна причина, по которой Надя не любила меня, чтоб угодить своей покровительнице). Что-то женственное в Наде было, при крайне непривлекательном, вспухшем каком-то лице, неплохая фигура, хорошие русые волосы, которые она заплетала в толстую косу и закручивала на затылке. После рассказа Саламова я тоже на нее иногда поглядывал с интересом, но тут же гасил эту мысль... Жизнь проклятая... Я пугался этих мыслей, но в то же время они вдруг возникали безудержно, по-животному...

Сейчас в комнате, кроме меня и мальчика, никого не было, и он ревел, пуская красные пузыри изо рта и размазывая по лицу то, что я принял спросонья за кровь и что было в действительности моим кубанским борщевым соусом. Тумбочка моя была открыта, и все пищевые запасы, на которые я рассчитывал жить не менее трех-четырех дней, были перелапаны, измяты, доведены до брезгливого состояния. В банку с борщевым соусом он влез ручками и, пытаясь пить оттуда, напустил слюней, куски хлеба и колбасы были обжеваны, обсосаны и брошены, сахар и карамель рассыпаны, на сливочном масле следы зубов и пальчиков, словно царапины крысиных лапок. К тому же от мальчика сегодня исходил особенно сильный запах кислятины и мочи. Ненависть (именно ненависть) и отвращение затмили мне рассудок, и желание изо всех сил ударить это ничтожненькое существо, громко плачущее, было так велико, что я толкнул его от себя, чтоб не ударить. Мальчик упал, по-моему, удачно, ни обо что не стукнувшись, и заплакал совсем уж громко. Я сразу же пожалел о содеянном, тем более Надя, которая ходила вымачивать половую тряпку в туалете, а заодно уж и убрала туалет (вот почему ее так долго не было, и мальчик творил, что вздумается), Надя вбежала на крик сына, подхватила его на руки и разъяренно, как самка, защищающая детеныша, набросилась на меня. Я отвечал ей также грубо, будучи разозлен чрезвычайно и озабочен потерей продуктов. Убирая туалет, Надя намочила платье и сквозь мокрую ткань была видна ее грудь с большими сосками, чего она совершенно не стеснялась, тряся этими грудями в негодовании почти что у моего лица, поскольку я полусидел в постели, прикрываясь одеялом и не имея возможности встать из-за нижнего белья. Это делало мое положение беспомощным и отнимало у меня уверенность в споре, где я был прав и считал, что прав, за исключением разве что толчка этого гаденыша, ибо не сдержался и сглупил. К тому ж подобную мощную нагую женскую грудь

полувывалившуюся наружу, признаюсь, я видел впервые так близко наяву, и оттого мысли мои вообще путались. Я терял логическую нить происходящего и вместо негодования, которое необходимо было мне, чтобы отвечать на те оскорбления, грязные слова, которыми осыпала меня Надя, начинал испытывать тревожную истому, исходящую от постели, в которой я не раз это чувство испытывал перед сном. Но ныне оно было таким, как никогда, живое, реальное, как мое собственное тело, и дикие мысли, одна нелепее другой, овладели мной. Я сильнее натянул одеяло и сделал (как уверял себя сам) случайное движение, меняя позу, отчего Надина грудь мягко и тяжело скользнула по моей щеке. Я тут же отпрянул, надеясь, что движение это нельзя истолковать иначе чем случайное, однако причиной моих надежд была моя неопытность, ибо женщину насчет подобного рода действий ввести в заблуждение невозможно. Надя как-то странно замолкла и некоторое время, доли секунды мы смотрели друг на друга с новизной и любопытством. Но тут вновь закричал обиженный мной мальчик, и Надя вернулась к прежнему. Она обложила меня напоследок матом и ушла, хлопнув дверью. (У меня возникла дикая совершенно мысль, что иной причиной возврата Нади к враждебности против меня была моя нерешительность.) Едва дверь захлопнулась, как я вскочил и принялся торопливо одеваться. На душе не было ни страха, ни злобы, ни раскаяния, а какая-то муть. Я собрал все мои продукты в газету, вышел в коридор и выбросил в мусорный ящик. Кое-что оставалось не лапанным мальчиком, например, некоторая часть карамели, но мне было противно, и я выбросил все. Внизу на первом этаже бушевал бабий скандал. Надя громко, истерически плакала (в комнате моей она не плакала, а лишь ругалась матом). К плачу Нади подмешивался полный ненависти в мой адрес голос Тэтьяны и низкий мужской тембр Софьи Ивановны. Я понял, что попался, и в сложившейся чрезвычайной ситуации начал обдумывать свои дальнейшие действия. Прежде всего я надел пальто, вложил в боковой карман все документы, сберкнижку и наличные деньги, взял шапку, запер дверь и пошел в двадцать шестую комнату. К счастью, и Григоренко, и Рахутин были дома и завтракали. Горка пахучей, с чесноком, домашней колбасы лежала на газете (видно, кто-то из ребят получил из дома посылку), стояли две бутылки пива, баночка топленого сала, груда серых домашних коржей, на которые они мазали масло. Еда вкусная, но распоряжались ею ребята по обыкновению неэкономно, ели все сразу и с объедками. Мне б всего этого хватило не менее чем на неделю.

— Ты где пропадал? — спросил меня Витька.

— Он в высшем обществе вращался, — ответил за меня Рахутин. (Рахутин любит иногда подковырнуть.)

— Садись, пережри это дело, — сказал Витька.

Я сел, намазал корж, но не маслом, а салом, что вкуснее, удивительно, как это ребята не понимают. Сверху наложил домашней колбасы, густо, не так, как ем свою, наложил не жалея и неэкономно. Тем не менее, несмотря на то, что этим завтраком я несколько компенсировал потерянные продукты, ел я без аппетита, с тревогой прислушиваясь к шуму снизу. На лестнице послышались шаги, потом они затопали в коридоре. Я сидел, затаив дыхание, не слыша, что говорят ребята. Ходили, очевидно, комендантша и Тэтьяна, разыскивали меня.

— Слышали шум, — сказал я как можно более развязно. — Это из-за меня... С Надей поскандалил.

— Наде надо было трешку дать, — сказал Витька, — еще б и удовольствие получил.

— А он на уборщиц не разменивается, — сказал Рахутин.

Шаги приблизились и остановились перед нашей дверью. Я понял, что обнаружен, и торопливо прожевал кусок. Хоть я и ждал стука, но когда он раздался, требовательный, чужой, несущий опасность, сердце мое защемило.

— Войдите, — сказал Рахутин.

Вошли комендантша Софья Ивановна и Тэтьяна.

— Цвибышев, — сказала мне комендантша, — во-первых, почему вы так себя ведете по отношению к уборщице, а во-вторых, через неделю мы вас будем выселять... Три года вы нам голову морочите своими махинациями... У нас теперь строгая инструкция, никаких поблажек. Мы из седьмого корпуса уже двух выселили, нам вербованных размещать негде.

Я понимал, что унижения и просьбы в моем положении лишь ослабят мою позицию, и потому пошел напролом.

— Не имеете права! — крикнул я. — Попробуйте только пальцем прикоснуться к моей постели, как бы вам не влетело так, что и внукам своим закажете. С работы как бы вы сами не полетели...

Тут я очень перехлестнул от волнения и напортил. Можно было ответить резко, ибо иного выхода не было, но с достоинством и без личных угроз, в моем бесправном положении смешных. Но, главное, я сам им подал мысль прибегнуть к средству, являющемуся последней мерой перед выселением, то есть отобрать постель... Подобные угрозы лишить меня постели возникали уже раза два, но лишь в конце, после многомесячной борьбы, телефонных звонков и разговоров, как конечный способ давления, на который я обычно находил достойный ответ через Михайлова, понимая эту угрозу как сигнал игры ва-банк. Ныне я необдуманными словами своими сразу же, не наладив еще в этом году связей и не выяснив подлинного положения дел, переводил игру ва-банк. И действительно, Тэтьяна сразу же за это ухватилась.

— Давно надо было у подобного проходимца постель отобрать, — крикнула она, глядя на меня с ненавистью, — и вообще, — сказала она потише и искренне, — что б моя воля, я б его головой под трамвай сунула.

— Ну так тоже не надо говорить, — сказала ей комендантша Софья Ивановна, — зачем же вы тоже так грубо... Надо по закону.

— Пошла вон, сука, — крикнул Тэтьяне обозлившийся Витька Григоренко, — Софья Ивановна пришла, это другое дело... А ты топай в свою конуру и не тявкай.

— Сам не тявкай, — покраснев, крикнула Тэтьяна, — он вон Колечку избил, Надиного сыночка...

В дверь с любопытством заглядывали жильцы из других комнат. Заглянул и Адам, который неожиданно поддержал Тэтьяну и обругал меня. Он, кажется, очень любил Колечку и хотел даже жениться на Наде, но она со смехом отвергла предложение дурачка (эту подробность я узнал позднее от Саламова). Скандал между тем еще более обострил обстановку и был не в мою пользу. Витька это понял, встал и надел пальто.

— Пойдем отсюда, — сказал он мне.

Мы вышли на улицу. Вовсю дул гнилой, ненавистный для людей душевно взволнованных ветер, и таял снег.

— Ничего, — сказал Витька. — Я вчера с ним опять говорил, сделает. Он, знаешь, сколько уже народу устроил? Славка Боннарь, знаешь его? Из сантехников... Он ему койко-место сделал. Тот, правда, на это месячную зарплату свою положил.

— Да зарплата-то чепуха, — небрежно махнул я, постольку уже мысленно подсчитал и выделил средства из запасных своих фондов, сильно их этим урезав, почти до минимума, — дело не в деньгах, — добавил я.

— Ну, тем лучше, — сказал Витька, — справку с работы сдал?

— Я рассчитываюсь, — сказал я. — Подал заявление. Надоело в дерьме вкалывать. Что-либо получше хочу подобрать.

— Да ты что? — Витька остановился и посмотрел на меня с испугом и растерянно, из чего я заключил, что он настоящий друг и искренне переживает. — Скотина ты безрогая, нашел время с работы уходить. Они ж на тебя зуб имеют, без справки они ж тебя сразу выбросят, и дядя Петя не поможет.

Тут уж настала очередь мне возмущаться и удивляться.

— Какой дядя Петя? — быстро спросил я.

— Какой-какой, — раздраженно сказал Витька, — истопник... Истопника не знаешь... Ты вот скажи, где справку возьмешь... Без справки и дядя Петя ничего не сделает.

— Да пошел ты! — крикнул я, чувствуя, что теряю почву под ногами, и рассчитывая уже мысленно, куда бы метнуться за помощью. И как ни вертел, оставался один испытанный путь — опять унизиться перед Михайловым.

— Я думал, у тебя связи в управлении, в жэке, а ты на истопника рассчитываешь, — сказал я.

— Что ты понимаешь, — крикнул Витька (мы с ним чуть не поругались весьма некстати), — ты справку давай, остальное не твоя забота.

— Да справку мне дадут, — сказал я, — в прошлый раз сколько справок принес, а они на них ноль внимания, пока сверху не позвонили... Разные ж ведомства... А наше СМУ меня общежитием не обеспечивает.

— Пусть это тебя не волнует, — сказал Витька. — В таком деле еще неизвестно, где верх, а где низ. — Витька мне подмигнул.

Я улыбнулся в ответ и успокоился. Витька настоящий друг. Конечно, голову свою он за меня не подставит, этому противоречит его ясный разум, не знакомый с романтизмом, однако во всем остальном на него можно твердо рассчитывать. Насчет справки я был уверен. Во-первых, я только-только подал заявление, причем по своей воле. Ирина Николаевна напечатает, а Мукало подпишет. К Брацлавскому я и ходить не буду... Конечно, были и опасения, но опасения существуют всегда и у каждого, тем более у меня, человека, которому немало пришлось перетерпеть от расчета на одну лишь справедливость либо снисходительность, то, на что в делах жизненно важных рассчитывают лишь люди неопытные и несерьезные...

Первый, кого я встретил, войдя в ненавистный мне двор управления, был Шлафштейн. Он, видимо, уже получил наряд и шел к трамвайной остановке, чтоб ехать на объект. Но, увидев меня, Шлафштейн вернулся.

— Вот он, герой Севастополя, — сказал Шлафштейн Свечкову, который стоял у входа, — полюбуйся, Володя.

— У тебя голова есть, — сказал мне Свечков и постучал себя по лбу. — Ты чего заявление подал?

— Мы ходили к Брацлавскому... — сказал Шлафштейн, — и Сидерский ходил, и Коновалова... Даже Юницкого обработали... Я тебя на свой объект взять хотел, там для тебя хорошая работенка... А Брацлавский говорит: ничего не могу поделать, он подал заявление и уже уволен.

— Да, — сказал я. — А вы хотели, чтоб Брацлавский мне трудкнижку испортил... Написал бы за развал работы...

— Вот человек, — сказал Свечков, глянув на Шлафштейна. — Да неужели ты не понимаешь, что у него не было никаких оснований... Даже Райков, этот бездельник, присланный сюда райкомом, точно тут собес...

— Ладно, ты тоже не шуми, Володя, — сказал Шлафштейн, оглядевшись.

— Нет, я о чем, — говорил Свечков. — Даже Райков говорил о нем хорошо... Сказал о самосвалах, которые он переправил на объекты из Конча Заспы... Я начал после этого лучше к Райкову относиться... Зав. отделом кадров Назаров против тебя ничего не имеет, Юницкого мы обработали, Коновалов притих, когда я сказал, что беру тебя на свою ответственность... Один только Мукало против...

— Как, Мукало? — растерянно спросил я. — Ведь Мукало... он предложил мне...

— Я все знаю, что он предложил тебе, — перебил Свечков, — неужели так много надо ума, чтобы понять, что Мукало согласовал это с Брацлавским... Мукало в управлении теперь главная сука, это все уже давно поняли, кроме тебя... Во-первых, он пытался противостоять Брацлавскому, рассчитывая не на трест, а повыше — на главк... Но тут-то он и обделался...

— Отойдем, — сказал Шлафштейн.

Мы отошли и стали за глухой стеной ремонтных мастерских.

— Во-вторых, у него репутация покровителя всякого рода неустойчивых и нежелательных людей — без прописки или евреев, ну ты меня понимаешь. И чтоб эту репутацию поломать, найти общий язык с Брацлавским и починить свой стул, он готов сделать то, чего сам Брацлавский никогда б не сделал.

— Я нашел другую работу, — соврал я, главным образом, конечно, чтоб путем обмана и самообмана как-то придать себе вес, а также, чтоб успокоить Свечкова, ибо меня трогало, как много сил и нервов тратит во имя меня этот, в сущности, чужой мне человек. Это был честный (морально честный. Производственно-строительные перегибы в расчет не шли), трудолюбивый парень, однако я чувствовал, что даже приятелем таким, как с Григоренко, я с ним быть бы не мог. Он был весь в работе, а помимо работы, вел тихую семейную жизнь и по уровню духовности стоял, пожалуй, ниже жильца моей комнаты Берегового, где-то в районе Кулинича

и Саламова. Шлафштейн был тоже честный человек, но в нем не было той самоотверженности, которую проявлял Свечков. Мне кажется, Шлафштейн менее Свечкова меня идеализировал и в глубине души мне не доверял. Тем не менее он вместе со Свечковым ходил ходатайствовать в мою пользу.

— Какую ты нашел работу? — спросил Шлафштейн.

— В проектном бюро, — сказал я, — в тепле, и зарплата хорошая.

— Вот видишь, Володя, — сказал Шлафштейн Свечкову, — я ведь говорил, что ему помогут. У него наверху знакомства.

— Да, — сказал Свечков, — конечно, в тепле лучше, особенно тебе, Гоша, с обмороженными ногами. Я ведь тоже подобрал тебе закрытый объект. Ясное дело, не бюро, но от ветра защищенный.

Он говорил искренне, но помимо его воли что-то разочарованно обиженное было в его лице.

— Пойдем, Володя, — сказал Шлафштейн, — мы опаздываем.

— Желаю удачи, — сказал Свечков, и они ушли.

Мне было неловко, у меня было такое чувство, точно я поступил непорядочно и неблагодарно по отношению к людям, бескорыстно, по собственной инициативе старавшимся ради меня и ради меня рисковавшим своей репутацией. Однако тут же возникло и раздражение. Я начал уставать от всех этих бесконечных ходатайств в мою пользу, делавших меня вечным должником чересчур большого количества лиц. Если уж нет возможности обойтись без покровителей, с раздражением думал я, то надо хоть постараться ограничить их число, прибегать к их помощи лишь при крайней нужде и выбирать их самостоятельно. Нельзя позволить, чтоб покровители сами выбирали меня, даже в делах ничтожно мелких, пользуясь тем, что я ограничен во всем... Их действия кажутся мне бескорыстными и направленными исключительно в мою пользу, но, приглядевшись, можно обнаружить серьезную моральную выгоду, какую они извлекают, делая мне одолжение в любой мелочи, даже в приятном словце в мой адрес, оброненном в каком-нибудь присутственном месте... Горе человеку, нуждающемуся в покровительстве хороших людей, записал бы я в букваре как ординарную фразу и разучивал бы по буквам с первого класса, ибо если корысть твоя от общения с этими людьми чересчур велика или чересчур постоянна, ты рискуешь начать принимать добро требовательно и обидчиво, войдя в адский замкнутый круг, уменьшив количество столь нужных тебе хороших людей своей неблагодарностью и посеяв в них разочарование в содеянном ими добре...

В секретарской я поздоровался с Ириной Николаевной, которая была сегодня в очень красивой новой кофточке с красными полосами.

— С обновкой, — сказал я Ирине Николаевне, действуя тем не менее вопреки своим мыслям и в угоду делу.

Ирина Николаевна кивнула мне не злобно, но и не радушно. Ее действия были абсолютно точны и соответствовали той неписаной науке, которую обязан пройти всякий технический работник учреждений, где твердый плановый порядок и необходимая практическая оперативность неизбежно тронуты, с одной стороны, издержками порядка — бюрократией и, с другой стороны, издержками практической оперативности — личными отношениями. Я был уже уволен, но в то же время в учреждении имелась серьезная группа лиц, которая считала это увольнение несправедливым. К тому ж ходили слухи о некоем моем покровителе, сидящем достаточно высоко. Более того, поскольку непосредственная инициатива моего увольнения исходила от Мукало, человека, дни которого в управлении были сочтены, кроме Брацлавского, Ирина Николаевна одна пока знала об этом, еще неизвестно, как среагирует в нынешней обстановке сам Брацлавский. Конечно, его простая натура бывшего кузнеца не терпит Цвибышева и хочет от Цвибышева избавиться, но в то же время за двадцать лет сидения в креслах сначала в качестве выдвиженца директора бетонного завода, позднее директора автотранспортной конторы, а еще позднее начальника этого управления, Брацлавский не только потяжелел и растолстел, но и приобрел необходимые для своей новой номенклатурной профессии навыки производственной интриги. Что если с помощью такой мелкой ничтожной пешки, как Цвибышев, Брацлавский, который в отличие от Мукало всегда опирался на среднее звено — трест, захочет наладить отношения со звеном повыше, с главком,

где у Цвибышева, кажется, покровители. Она знала, например, что Брацлавский, особенно после посещения его группой лиц и посоветовавшись с Юницким, с которым явно вступил в союз, чтоб «съесть» Мукало, посоветовавшись с Юницким, мое заявление пока не подписал. Разумеется, людям, не посвященным в бездонные глубины производственно-управленческой интриги, состоящей из тысяч тончайших нервов, где весьма причудливо переплетаются подчас весьма далекие друг от друга факторы, таким людям может показаться странным, что моя нелепая личность может стать фигурой в крупной игре. Должен сразу разочаровать — она ею не стала, но вариант такой игры существовал, и Брацлавский с Юницким в своей борьбе против Мукало над таким вариантом некоторое время думали, пока не отвергли. Это я узнал позднее и, отсюда уже оттолкнувшись, идя назад по цепочке, аналитическим методом восстановил, разумеется, с неточностями, но, уверен, все ж достаточно близко к оригиналу, о чем размышляла Ирина Николаевна, вежливо кивнувшая мне на мое поздравление с обновкой. Ирина Николаевна думала о форме и степени своего отношения ко мне, и я видел,что это ей непросто решить, ибо я не давал ей никакого конкретного повода, а технический секретарь обладает достаточно цепким, однако не абстрактным умом и для эффективных действий ему необходимы конкретные причины. Я невольно, сам того не подозревая, пошел Ирине Николаевне навстречу.

— Напечатайте мне, пожалуйста, справку, — сказал я, — в общежитие надо.

Она с готовностью взяла плотный фирменный бланк и начала печатать. Теперь задача ее упрощалась. Надо было решать не вообще абстрактное отношение ко мне, а конкретное действие: пустить ли меня с этой справкой направо к Брацлавскому или налево к Мукало... Поскольку не был еще подписан приказ, печатание такой справки ей лично ничем не грозило... Она знала, что Мукало эту справку точно не подпишет, подпишет ли Брацлавский, было неизвестно и зависело от принятого им решения, которого она не знала. Но она знала точно, что если решение это отрицательно, Брацлавский будет ею недоволен, ибо она ставила его в положение, совершенно ему ненужное (он все-таки подумывал о моем покровителе в главке), и принуждала его, а не Мукало, мне отказать. Поэтому она все ж решила запустить меня к Мукало. Однако то ли потому, что Ирина Николаевна колебалась, то ли потому, что ее все ж мучила немного совесть, ведь ранее она пыталась мне помочь по мере возможности и кое-что даже сделала для меня, в общем, как бы там ни было, Ирина Николаевна решила, очевидно, испытать судьбу.

— Кого печатать для подписи, — спросила она меня быстро и умело безразлично, — Брацлавского или Мукало?

Я помнил о предупреждении Свечкова насчет Мукало, но, во-первых, считал, что Свечков перегнул, а во-вторых, и это главное, — не хотел идти к Брацлавскому. За три года моей работы здесь я ни разу не общался с ним непосредственно. Не то чтоб я его боялся, а был он мне ну до того как-то телесно чужой, что не представлял себе вообще возможности говорить с ним и, пожалуй, не нашел бы слов.

— Печатайте Мукало, — сказал я.

Ирина Николаевна напечатала, даже движением брови не выдав своих чувств. Она знала, что этим ставит последнюю точку в моей карьере здесь, в этом учреждении. У меня был единственный шанс сейчас, когда группа уважаемых работников выступила в мою защиту, посетив Брацлавского, по горячим следам попасть к Брацлавскому и, переговорив с ним ценой, наверное, унизительных обещаний получить подпись под справкой о работе, тем самым механически отменив приказ о моем увольнении, который был уже завизирован Мукало, но не подписан еще Брацлавским. Тем не менее Ирина Николаевна послала меня к Мукало, успокоив свою совесть тем, что я сам этого просил, и тем, что ранее, когда было возможно, она делала мне добро.

Мукало, сидя за столом, что-то быстро и нервно писал. Я давно не видел его таким взволнованным и понял, что ко всему еще и пришел неудачно. Он посмотрел справку и сказал, глядя на меня снизу (он сидел, а я стоял):

— Как я буду подписывать справку, як вы уволены (он говорил с

сильным украинским акцентом, что было признаком беспокойства, и сказал мне вы, что было признаком отчужденности).

— Но ведь я еще даже расчета не получил, — сказал я, — Митрофан Тарасович (я специально назвал его по имени-отчеству, чтоб перевести разговор в доверительную плоскость), если я не сдам справку, меня выбросят из общежития... Мне негде жить...

Я сказал это с некоторой дрожью в голосе, но на Мукало это хоть и произвело впечатление, однако не то, на которое я рассчитывал.

— А что я вам могу сделать, — сказал он как-то раздраженно побабьи, — вот так всем помогай... Все требуют... Кто больной, кто многодетный, кто без прописки, у кого пятый пункт — еврей... Только тебе никто не помогает (кажется, он немного забылся, будучи чрезмерно взволнован). — Он встал, обошел кругом стола, захлопнул дверь на секретный замок. — Тут же всюду слухают, — сказал он мне уже спокойнее и доверительней, что меня обрадовало, — я тебе вот что могу посоветовать (он сказал «ты», что обрадовало еще более), — ты сходи к Евсей Евсеевичу... Скажи, Мукало мне помогал сколько мог... Теперь не может... Устройте меня куда-нибудь в другое место... И насчет жилья... Ему только снять трубку и позвонить, он же мне звонил насчет тебя, думаешь, тебя бы взяли три года назад, если б не его звонок...

Я не знал, как поступить. Мысль пойти непосредственно к неизвестному мне моему покровителю, минуя Михайлова, который действовал через этого покровителя, мне нравилась, однако для этого надо было знать его фамилию и место работы. Спросить же о том у Мукало, значило поколебать свой авторитет и выдать отсутствие прямой связи у меня с этим высокопоставленным лицом, связи, в которую многие верили. Тем не менее выхода не было.

— Как фамилия Евсей Евсеича? — спросил я Мукало.

Он посмотрел удивленно.

— Ты мне заднее место не морочь, — грубо сказал Мукало.

Пришлось пойти в откровенности еще дальше.

— Евсей Евсеевич знакомый моего знакомого... То есть Михайлова (не надо было называть фамилии), Михайлов старый друг моего отца (не надо было впутывать отца).

Все ж ценой такой откровенности мне удалось установить, что Евсей Евсеича фамилия Саливоненко, он ответственный работник министерства, и министерство это расположено в здании республиканского Совета Министров.

— Ты торопись, — сказал Мукало. — Лучше туда попасть в первой половине, если, конечно, сегодня приемный день... Зайди по дороге в бухгалтерию, получи расчет, пока деньги есть... Иначе через две недели, не раньше, — крикнул он мне вслед...

Хоть Мукало мне справку и не подписал, я вышел с некоторой даже благодарностью в его адрес.

— Ну что? — с интересом, волнением и, кажется, с какой-то надеждой, спросила меня Ирина Николаевна.

— Да все нормально, — ответил я, думая уже совсем о другом, о возможности одним ударом решить все на самом высшем уровне, а не копаться по низам с бумажками.

— Подписал? — обрадованно и удивленно почти крикнула Ирина Николаевна.

— Не в бумагах суть, — ответил я. Ответил бодро, не знаю, почему Ирина Николаевна поняла, что дела мои плохи, и вздохнула, как-то сникнув, и начала печатать, низко пригнувшись над машинкой.

Я прошел в бухгалтерию, с опаской поглядывая на дверь производственного отдела, где сидел Юницкий. После бутылки вина, которую Юницкий нагло выпил за мой счет, мне он стал особенно неприятен. В бухгалтерии мне дали расписаться в ведомости. Я расписался и, лишь когда кассирша начала мне отсчитывать деньги, понял, что сумма чрезвычайно мала, пожалуй, четверть той суммы, на которую я рассчитывал.

— Почему так мало? — спросил я. — Тут же и зарплата, и компенсация за отпуск.

— Обратитесь к Андрею Борисовичу, — не глядя на меня, сказала кассирша. — Андрей Борисович, вот претензия у Цвибышева.

— Что такое,— сказал бухгалтер, надевая очки и глядя в ведомость,— ах, Цвибышев... Ну, все правильно... Подоходный, бездетность, и вот вычли с вас за сгоревший мотор.

Меня обдало пóтом сразу всего. Конечно, страдания из-за денег — признак плохого тона, но деньги эти были уже заприходованы в моем бюджете, распределены, я верил в них и в соответствии с этим строил свои жизненные планы.

— Какой мотор? — хрипло спросил я.

— Вам видней,— раздраженно сказал Андрей Борисович,— вот докладная и акт.

Речь шла о некоем электродвигателе экскаватора, сгоревшем два месяца назад. В принципе за техническую сторону механизмов отвечал не прораб, а механик. Однако в акте значилось, что экскаватор перегонялся своим ходом на недозволенное расстояние и в сложной местности, что и привело к перегреву и выходу из строя электродвигателя. Все это было явной липой, и под липой этой стояли подписи Коновалова, механика, экскаваторщика и Сидерского, парня, который в общем хорошо ко мне относился и вместе со Свечковым ходил к Брацлавскому просить за меня.

— Скажите еще спасибо Юницкому, что мы с вас десять процентов всего удержали,— сказал Андрей Борисович,— согласно акта не менее тридцати — сорока удерживать надо... Вы бы еще должны остались.

Я взял деньги и вышел. Я быстро привыкаю к финансовым потерям и сразу же ищу способ их компенсации. Тут же в почтовом отделении рядом с управлением я написал письмо деду, прося у него взаймы с рассрочкой на год. Дед у меня не родной. Бывают неродные отцы — отчимы, а как назвать такого деда, не знаю. Это второй муж моей покойной бабки. Тем не менее, будучи человеком состоятельным, мне он иногда помогал небольшими суммами, как он писал, «на хозяйство», ожидая моей женитьбы, чтоб опять же, как он писал, «иметь от меня процент». Разумеется, он никогда не дал бы мне ни копейки, если б знал, что я вишу в воздухе и деньги мне нужны не на шифоньер или холодильник, а на хлеб. Поэтому я написал, что получил на работе квартиру и хочу приобрести мебель. Заклеив и отправив письмо, я вовсе успокоился и поехал в центр к зданию Совета Министров. Интересно чувство, которое я вдруг начал испытывать, направляясь в Совет Министров. Это было некое сладостное ощущение, прикосновение к большой власти, хотя бы и в качестве просителя, но просителя высокого ранга, что поднимало мой авторитет, и на вопросы трамвайных пассажиров, выхожу ли на данной остановке, я отвечал как-то отрывисто и с достоинством.

* * *

Огромное, облицованное от фундамента на высоту до трех нижних этажей глыбами причудливо обработанного гранита, а выше мрамором с медными заклепками-гвоздями здание с рядом мощных дверей из полированного дуба, меди и стекла, с широкими мраморными ступенями и двумя иглообразными мачтами, на которых развевались союзные и республиканские флаги, республиканский Совет Министров, где сидел Евсей Евсеевич, мой незнакомый покровитель, произвело на меня какое-то трепетно-восторженное впечатление. Не скрою, может, это и глупо звучит ныне, в век (именно в новый век, наступивший в конце пятидесятых годов, я не оговорился), в век закономерного и во многом плодотворного скептицизма к властям. Тем не менее в те годы я еще не утратил детской восторженности перед высокой властью (подчеркиваю, не всякой властью, а высокой, хоть и тронутой уже анекдотами и бытом, но вблизи внушавшей еще сладкий трепет). Охваченный этим трепетом, я шел по ступеням в числе входящих и выходящих посетителей каким-то парадным шагом, словно мимо трибуны. Я подошел к центральной двери, но старшина велел мне с паспортом идти к третьему подъезду слева. Здесь дверь была поменьше, но стояла также охрана, которая в лице пожилого сержанта, осмотрев мой паспорт, пропустила меня. Я снял пальто в мраморном вестибюле у блестящей никелем вешалки. За спиной моей зеркала отличного качества увеличивали пространство, и какие-то новые люди, каких нет за пределами этих оберегаемых вооруженной охраной дверей,

какие-то избранники скользили в том пространстве, и я был в их числе. Я поднялся на третий этаж не лифтом, а по крытой ковровой дорожкой лестнице и, подойдя к коридорному окну, глянул вниз на трамваи и снующих пешеходов. Какая-то странная улыбка заиграла у меня на губах, родственная по приятности улыбке, вызванной ночными огоньками на прибрежной круче, но менее поэтичная, а более саркастическая, полная насмешки над тем, что внизу, и я испытал вдруг сладостное чувство власти, которое единственное по силе равно любви, но значительно материальнее, чем любовь, и доступнее людям со здоровым материальным, а не изнеженным сознанием. Конечно, все эти мои мысли человеку трезвому покажутся смешными. Левый блок Совета Министров, где располагались комнаты обычных отделов ряда министерств, был открыт для всех по предъявлению лишь паспорта, однако следует помнить о моем низком положении в обществе, из глубины которого даже маленький нелепый повод, даже взгляд из коридорного окна, открытого для посетителей блока республиканского Совета Министров, позволяет ощутить вкус высокой власти, подобно тому, как из глубинных колодцев видны днем высокие звезды. И в это мгновение оплеванная и осмеянная идея моя вновь шевельнулась у меня под сердцем. Однако ныне под новым углом и в более конкретном обличье. Именно поэтому мой разговор с Саливоненко принял неожиданный характер.

Я попал в неприемный день, и в секретарской длинный ряд одинаковых стульев был пуст. Секретарша Саливоненко была женщина в расцвете лет, чуть помоложе Вероники Онисимовны. Это была единственная слабость, принесенная с собой из обычного моего быта, которую я себе сейчас позволял, подумать о секретарше как о женщине. В остальном же я действовал, повинуясь абсолютно новому чувству, овладевшему мной в тот момент, впрочем, находясь будто и в полусне. Впоследствии Михайлов, извещенный о моем визите, заявил мне, что я вел себя как авантюрист. Какая это клевета и неправда! В те полчаса я был ничем, а стал вдруг всем, пройдя через восторг перед красотой власти (власть ведь удивительно красива). Я глянул вниз сквозь зеркальные окна Совета Министров на уродство быта, на талый снег, на суетливых прохожих, и в силу печальных обстоятельств не знающий тех житейских радостей, которыми этот быт полон, до того его в душе оплевал и над ним надсмеялся, что не мог уже спуститься с высоты этого душевного презрения к обычной жизни... Властолюбие мое позднее, получив более весомый и конкретный толчок, раскрылось значительно сильнее и окончательно испортило мне нервы, подобно мечтам моим о красивых женщинах, из-за которых я на обычных женщин смотреть уже не мог. Сейчас же властолюбие, будучи частью моей натуры, но подавленное нищетой и бесправием, попав вдруг в благоприятные обстоятельства, хоть и ненадолго, обнаружило себя, причем в весьма пристойной форме личного самоуважения.

Всякие средние и низшие учреждения меня угнетают и делают трусливой личностью, здесь же я расцвел и почувствовал себя на равных с остальными обитателями этой из мрамора и гранита власти. Подобное лишний раз свидетельствует о моем естественном месте в верхах жизни, не сложись она столь трагично и не осиротей я в раннем детстве. Я сухо поздоровался с секретаршей и попросил ее доложить Евсей Евсеичу обо мне.

— Сегодня неприемный день,— сказала мне секретарша.

— Я по личному делу,— ответил я.

Одет я был не очень хорошо, в рабочий штопаный пиджак, а не в выходной вельветовый, поскольку визит мой сюда возник экспромтом. И то, что секретарша все же доложила Евсей Евсеичу, свидетельствовало о глубоком внутреннем самоуважении, сквозившем во мне и заставившем ее по крайней мере не отмахнуться от меня. Впервые в жизни вошел я в кабинет крупного должностного лица. Будь здесь поменьше разноцветных телефонов, посуше и победнее обстановка, какой-нибудь тяжелый канцелярский стол, крытый стеклом с царапинами, с облупившейся краской несгораемый шкаф или иной атрибут низовой власти, я бы растерялся. Но сплошная полировка, отделанные дубом стены, книжный шкаф с золочеными переплетами Советской Энциклопедии и то спокой-

ствие, которое мне все это внушило, лишь подтвердили во мне наличие права на высшее, несправедливо отнятое у меня судьбой.

Саливоненко был человек либо еще не старый, либо хорошо сохранившийся, со свежими, правильными чертами лица и темными глазами, впрочем, несколько не славянского, а восточного типа, чуть навыкате. Без малейших залысин голова его была покрыта густым, но совершенно седым белым волосом, что делало его привлекательным, особенно для мечтательных молоденьких девушек. В кресле передо мной сидела сама удача, одаренная всеми благами жизни, но я, человек обиженный, тем не менее почувствовал к этому удачнику расположение, что свидетельствовало лишний раз о чувстве самоуважения, которое пробудилось во мне под воздействием высшей власти...

Первоначально Саливоненко встретил меня вежливо-приятно и нейтрально-вопросительно. Я уселся в предложенное кресло и задумался на секунду-другую. Я думал о том, какое счастье было бы явиться сюда не с бытовыми просьбами и в поисках заступничества, которые в нынешнем моем состоянии казались мне стыдными, а как мыслящий человек к мыслящему, как к интересному собеседнику, ему единственному первому открыть то, что накопилось за все годы, то высокое в своей душе, которое я оберегал от соприкосновения с текущей низшей жизнью. Но выхода не было, обстоятельства же не оставляли мне иных возможностей, как просить о бытовой помощи и покровительстве, тем более что он мне в свое время уже покровительство оказал, пусть и инкогнито. Однако если так все складывается, то надо хотя бы построить свою просьбу таким образом, чтоб выказать одновременно свою личность и не повторить ошибок взаимоотношения с Михайловым, то есть показать, что Саливоненко вкладывает усилия не в пустое место — Цвибышева (фамилию я пока еще не назвал), а спасая для общества нечто интересное.

— Я, собственно, хотел бы начать издали,— сказал я,— в вопросе о нравственности Чернышевский стоит на заимствованных у Гельвеция позициях, утверждая, что самоотверженность — вид разумного эгоизма (я довольно точно придумал, как от подобного начала перейти к сути дела, но запутался и утерял нить, наслаивая все более и более неуместных мыслей).

Саливоненко слушал с недоумением, но и интересом, не понимая еще, во что подобное вступление выльется, и несколько ошеломленный. Главное, чего я добился,— интереса и отсутствия ординарности. Так что когда секретарша приоткрыла дверь, Саливоненко попросил ее подождать. В моих словах был, конечно, элемент самолюбования, безусловно, но давали о себе знать также и долгие часы, проведенные по собственной инициативе за бессистемным, но упрямым чтением, невзирая на бесприютный быт и сосущие голодные позывы, приобщение к тому, что в принципе составляет роскошь человеческого бытия и в массе своей сопутствует материальным излишествам. «Надобно бывает только всмотреться попристальней,— читал я уже по блокноту, который достал из бокового кармана,— в поступки или чувства, представляемые бескорыстно, и мы увидим, что в основе их та же мысль о собственной личной пользе... Лукреция закололась, когда ее осквернил Секст Тарквиний,— она поступила очень расчетливо...»

Конечно, я излагал не лучшее из того бессистемного потока знаний, который черпал вслепую в читальном зале библиотеки, однако Саливоненко меня ни разу не перебил, слушал внимательно. Правда, когда через некоторое время секретарша вновь несмело приоткрыла дверь, он на этот раз сказал ей: «Входите, входите». Я принужден был замолкнуть и ждал, пока Саливоненко прочтет принесенные секретаршей бумаги. Пауза эта, хоть и деловая, была молчаливым пренебрежением, и я понял, что Саливоненко привык ко мне и понял меня, однако в отличие от Михайлова сделал это не за два месяца, а за десять минут. Что-то погасло во мне, возвышенность моя исчезла, и едва секретарша ушла, я уже без труда, тихим привычным голосом назвав фамилию, попросил о помощи и поблагодарил за помощь прошлую. Я начал рыком льва, а кончил писком мыши. Пусть так, но зачем Саливоненко столь низко оклеветал меня впоследствии перед Михайловым? Я говорил ему так много глупостей и в короткий срок изложил ему так много нелепостей, что и правдивый их

пересказ был достаточен, чтоб изобразить меня в смешном и недостойном, а может, и непорядочном свете. Да предоставь Саливоненко в мое распоряжение хоть половину глупостей, которые он получил от меня, я мог бы оправдаться перед Михайловым, не прибегая к клевете, а говоря лишь одну позорную для Саливоненко правду. Но он вел себя весьма пристойно, даже собственноручно записал свой телефон и попросил позвонить через неделю.

Я ушел хоть и несколько обескураженный утратой самоуверенности, зато с надеждой. А он, как потом выяснилось, тут же позвонил Михайлову (как я мог надеяться, что он не позвонит, что поможет мне сам) и сообщил ему, будто его протеже явился самостоятельно (оказывается, был договор действовать только через Михайлова) и пытался выдать себя за крупного специалиста по производству небьющегося стекла. Когда я услышал от Михайлова это, просто глаза на лоб полезли, да и в голову мне прийти не могло, я и не знал о существовании подобных специалистов. Даже Михайлов, человек, у которого я доверие потерял, и тот усомнился в справедливости обвинений Саливоненко. Правда, прямо мне Михайлов своих сомнений не высказал, однако я их ощутил, а Вероника Онисимовна, та откровенно сказала, что Саливоненко обманывает (оказывается, Саливоненко за ней ухаживал, я узнал о том впоследствии). В общем, все выяснилось, и я был пусть не прямо, а в душе в этом вопросе Михайловым оправдан. Потому ныне в подобном поступке Саливоненко меня занимает главным образом психология. Скажу откровенно, положение мое было настолько постыдно, что я тоже клеветал на Саливоненко, потому что тонул, потому что находился в безвыходности... Я был слабее Саливоненко, потому и клеветал, но зачем клевещет сильный?.. Да, Саливоненко когда-то помог мне довольно серьезно, но ныне мало того что Саливоненко сам отступился от меня, в чем я, возможно, виноват из-за своего нелепого поведения и разговоров, он хочет подбить на то же и Михайлова. Вот о чем надо думать, как нейтрализовать звонок Саливоненко к Михайлову, ибо если Михайлов так же от меня, человека, в котором он достаточно разочарован за три года, если и Михайлов окончательно отвернется, мне конец, я теряю ночлег, крышу над головой и куда денусь, и кто мне поможет... Я сказал Михайлову, что Саливоненко с самого начала вел себя грубо (что, конечно, неправда) и в конце разговора предлагал денег на билет и на путевые расходы, чтоб я уехал из города и своим присутствием и поисками связей не бросал на него тень сына врага народа. Это была довольно топорная клевета от отчаяния. Михайлов, кажется, также не очень ей и поверил, но я видел, как он вздрогнул и переменился в лице, принимая это за намек на себя. Время тогда было неопределенное. Кое-кого и реабилитировали, но кое-кто и числился по-прежнему во врагах, а некоторых из освобожденных отказывались восстанавливать в партии. Поэтому моя лживая версия, которая пришла мне в голову неожиданно, тем не менее была воспринята Михайловым растяжимо, и таким образом единственно эта выдумка помогла мне хотя бы частично удержать покровительство Михайлова. Я не мог отказаться от непристойных средств защиты, чтоб в начале марта очутиться бездомным с двумя набитыми тряпьем тяжелыми ободранными чемоданами. И еще один вопрос меня занимал, чистая психология. Зачем Саливоненко, человеку из верхов, было тратить на меня фантазию свою, выдумывать нелепую клевету о моем авантюрном поведении и моей попытке выдать себя за специалиста по небьющемуся стеклу... Правда-то, правда ведь и так давала ему возможность объяснить Михайлову причины, по которым он, Саливоненко, оказывать мне помощь не намерен... Впрочем, весь этот вихрь обид и загадок разразился дней через десять после посещения мной Саливоненко. А до того, можно сказать, я прожил самую спокойную и приятную неделю в этот переломный период моей жизни. И все-таки для компактности я опять нарушу хронологию и перенесу финал моих взаимоотношений с Саливоненко сюда из наступившего позднее совершенно нового периода, когда я вершил расправу над своими обидчиками, угнетателями и врагами. Я позвонил Саливоненко по телефону.

— Это Цвибышев,— сказал я звонким, прерывающимся от ненависти голосом (у меня тогда все время был этот звонкий голос).

— Да, — спокойно и выжидательно ответил Саливоненко.

— Почему вы оклеветали меня, — начал было я вполне ясно и логично, но нервы не выдержали (я все время тогда находился на грани нервного припадка), и я крикнул, — сука проклятая! — это прямо в министерство и человеку, который, правда, без особых для себя хлопот, одним лишь звонком устроил меня на работу, пусть плохую, отнявшую у меня немало здоровья, но дававшую мне на какое-то время кусок хлеба. Учитывая вышесказанное, многие на месте Саливоненко бросили бы трубку, однако он проявил известное самообладание.

— Я объясню вам, — сказал Саливоненко завидным бархатным баритоном (бархатный баритон этот, безусловно, возбуждал девушек), — я объясню. Когда вы явились ко мне, я очень быстро понял, что передо мной нахал и авантюрист, но глупый человек... Я считал своим долгом предупредить Михаила Даниловича, человека доверчивого, о вашем подлинном лице, но вы наговорили так много невразумительной чепухи, что я решил придать вашей расплывчатой версии хотя бы вразумительный вид.

— Я не выдавал себя за специалиста по стеклу, — крикнул я.

— Где-то около этой мысли вы вертелись, — сказал Саливоненко, — но убогость мышления мешала вам сформулировать.

Он издевался надо мной.

— Сталинская сволочь! — крикнул я, дрожа всем телом, как в лихорадке. Меня так трясло, что, несмотря на частые гудки в трубке, я некоторое время не решался выпустить ее из рук. И я решил избить Саливоненко и внес его в свой список... Я уже слишком забегаю вперед, скажу, однако, что эта нелепейшая сцена как бы из иного мира хоть чуть-чуть позволяет понять, что происходило в обществе и умах. Конец пятидесятых годов характерен наличием самых настоящих революционных иллюзий в определенных кругах, но без революционной ситуации. Отсюда мгновенная ломка не общественных устоев, а душ, умов и личных отношений. Известный анархизм и беспорядок на недолгое время проникли во взаимоотношения между людьми, железный авторитет, сковывающий общество в целенаправленном единстве, исчез. Мы становились свидетелями таких удивительных превращений, как мои взаимоотношения с Саливоненко. Сильный, который в твердом ясном обществе мог облагодетельствовать или уничтожить, ныне вынужден был клеветать на слабого, слабому позволено было кричать и потрясать кулаками, вернее, не то, чтоб было позволено, а допускалось... Глубокий общественный слом происходит обычно снизу, низы же оставались монолитны... Трагедия сотен тысяч несправедливо пострадавших не приобрела массового сочувствия... То, что происходило на протяжении многих лет, лишено было простого и понятного народу величия страдания за правду, за веру, за любовь... Своеобразие молодой сталинской деспотии состояло в том, что, рожденная из общенародной справедливой борьбы против кучки угнетателей, она была поддержана подавляющим большинством народа и тем самым лишилась массового внутреннего врага, но тем не менее подобно всякой деспотии нуждалась в массовых жертвах. Своеобразие же жертв состояло в том, что в большинстве своем они были выделены обществом из собственной плоти, отлучены от общенародных страданий за отечество, пользующихся всеобщим уважением, и вынуждены страдать ни за что ни про что, то есть их страданиям была придана никчемность, ненужность, которая ни в коей мере не могла привлечь симпатии народа. Много не столько горького, сколько смешного и жалкого началось в период реабилитации, период, народу непонятный и раздражавший его... Те, кто прямо или косвенно пострадал, жили особой, нервной, не созвучной массам жизнью. И то, что случилось в конце пятидесятых, и как случилось, было не торжеством справедливости, а скорее последней, завершающей стадией разыгравшейся трагедии...

Впрочем, пора вернуться к хронологическому изложению событий... После прямого столкновения моего с Софьей Ивановной и Тэтьяной между нами установилась некая выжидательная напряженность... Я наивно верил в возможности столь высокопоставленного лица, как Саливоненко, и, ни о чем не подозревая, не предпринимал иных шагов, а план с Григоренко рушился из-за отсутствия подписанной справки с печатью... Комендантша же и Тэтьяна, как я ныне понимаю, выжидали умышленно, чтоб прямыми действиями не побуждать меня к контрдействиям и по прошествии определенного времени разом предпринять самые крайние меры. Не знаю, стояла ли на подобных позициях Софья Ивановна, но Тэтьяна — определенно. Неделя прошла быстро, как один день, поскольку прожил я всю ее одинаково хорошо. Утром встав (неделю подряд у меня не было бессонницы), я жарил себе на маргарине картошку, которую хранил в деревянной коробке из-под почтовой посылки, время от времени пополняя запасы этого вкуснейшего, сытного и дешевого продукта. Затем я пешком шел в библиотеку, затрачивая час, а то и более на прогулку. Ходить пешком я любил, шел ровным, легким шагом вначале под гору по крутой булыжной улице, затем после перекрестка мимо забора ботанического сада. К тому времени уж совсем потеплело, снег еще лежал и на карнизах висели сосульки, но в солнечные дни бежали ручьи, дышалось глубоко по-весеннему, а на встречных девушек и женщин я глядел с такой нахальной жадностью, что многие из них даже замечали это, и те, что подурнее, иногда откликались взглядом на мой взгляд, но я тут же проходил мимо, ругая себя за это. Скажу также, что библиотека меня привлекала не столько конкретным содержанием книг, которые были мне, откровенно говоря, скучны, ибо брал я Чернышевского, Платона, Гельвеция и т. д., сколько общей атмосферой торжественной, по-библиотечному чинной духовности, которая после мелкой моей, нищей жизни в общежитии как бы приобщала к чему-то более высокому. Обложившись толстыми, уважаемыми книгами, я мог часами сидеть здесь, особенно вечером, при мягком свете настольной лампы, и, делая вид, что увлечен каким-нибудь открытым наугад томом, словно грезил наяву. Мысли текли легко, и, просидев так иногда по нескольку часов, я вставал душевно и физически отдохнувшим, словно после хороших снов. Лишь раз, будучи очень усталым, я действительно заснул и упал головой на металлическое ребристое основание настольной лампы, в кровь рассадив лоб...

Ровно через неделю после посещения моего Саливоненко, то есть в понедельник, проснувшись в десятом часу, я понял, что спокойствие кончилось. Собственно, само спокойствие также было весьма относительное, ибо разнообразные треволнения, безусловно, касались меня и в эту неделю. Начав жарить себе систематически на общей кухне картофель, я, как и предполагал, вступил в конфликт с женами семейных, что было мне весьма ни к чему. Будучи неумелым поваром, я разводил копоть, грязь, которую им приходилось убирать, а также занимал место на газовой плите, так что на меня ходили жаловаться, последствия чего выплыли во время событий данного понедельника. Кроме того, я узнал от Саламова о некой непонятной повестке, прибывшей на мое имя.

— А ты разве не видел? — удивился Саламов. — Она на тумбочке внизу лежала, где почта... Из военкомата повестка...

«Еще чего не хватало, — с тревогой подумал я. — Как некстати...»

— Да не из военкомата, — не глядя на меня, сказал Жуков (мы с ним иногда вновь начали заговаривать, и это было хорошо, укрепляло мои позиции в комнате, тем более Жуков первым начал заговаривать со мной). — Из военной прокуратуры повестка.

Я растерялся. По какому бы поводу, что еще за дьявольщина... Года два назад у меня был объект — учебный аэродром военного училища... Планировка... Работы шли там неудачно, и наше управление оттуда убрали... Руководил там Сидерский, может, что-либо всплыло, опять хотят на меня, как со сгоревшим электродвигателем... Нет, уж больше не выйдет... Но ведь положение мое таково, что если начнется расследование, может выплыть совершенно иное, мое личное. Не производственные мои махинации, которых не было, а махинации по личному устройству...

Я разволновался, даже немного впал в панику из-за проклятого воображения, и Жуков это заметил, как я ни пытался скрыть.

— Брось ты, — сказал он мне, — если б что серьезное, они б тебя давно уж из-под земли достали... А прошла неделя, даже больше, бумажка куда-то затерялась вообще, так что плюй...

Я подумал и согласился, хотя некоторое беспокойство и осталось... Я начал ощущать весьма реально возможность самого катастрофического для меня развития событий. С этим ощущением я и проснулся в то утро, и это ощущение настолько обострило мои чувства, что по одному лишь ритму шагов в коридоре, да по хлопнувшей внизу двери я сразу уловил приближение опасности. Я вскочил рывком и начал торопливо одеваться. Я понял, что, пока глупо надеялся на Саливоненко, жилконтора подготовила постановление. Пригнувшись как загнанный зверь, метался я по комнате растерянный, одинокий и не готовый к борьбе. Однако постепенно взяв себя в руки, я начал прислушиваться и на основании некоторых признаков определил, что речь идет не о прямом немедленном выселении, а о его предварительной стадии, то есть об отнятии постели. Я понял это, поскольку не слышно было голосов не только участкового, а даже и дворника, а судя по всему, за дверьми находились лишь Софья Ивановна и Тэтьяна, которые звали уборщиц Надю либо Любу для того, чтоб вынести мою постель в кладовую. Однако ни та, ни другая не откликались. Как выяснилось впоследствии, обе они прятались, чтобы не участвовать в отборе постели. Люда всегда относилась ко мне хорошо, с Надей же что-то произошло после того столкновения, послужившего, собственно говоря, и поводом к быстрому развитию событий. Разразившись шумным скандалом, она после как-то притихла и смотрела на меня, когда встречалась, странно и по-новому. Кажется, даже с теплотой, неприятной мне, особенно из-за ее истерического поведения и усилившегося отвращения к ее малышу, обсосавшему мои продукты.

Я понимал, Софья Ивановна явилась к десяти, надеясь, что меня нет, ибо хотела взять мою постель тихо и без скандала, поставив меня перед свершившимся фактом. Хоть положение мое было почти что безнадежное, но в минуты крайней опасности человек преображается, проявляя максимум находчивости. На этом ее просчете я и решил строить свою защиту. Резко распахнув дверь, я оказался перед моими гонителями, приведя их в некоторое смятение. Тэтьяна, правда, тут же опомнилась и крикнула:

— Кончились твои денечки! Освобождай место для рабочего человека!

Изловчившись, она проскочила мимо меня, потянула одной рукой одеяло, другой схватила подушку. Она знала, что одним рывком ей матрац не захватить, однако хотела на худой конец первоначально лишить меня хотя бы подушки, одеяла и простыней, чтоб позже забрать остальное. Действовала она стремительно и ловко, но споткнулась о стул, и здесь я ее опередил, зажав правой рукой одеяло, подушку же Тэтьяна, перегнувшись, успела бросить Софье Ивановне, но недобросила, и подушка упала на пол. Сцена вся с моей стороны по необходимости, а со стороны Тэтьяны по хамской сути ее носила характер уличный, хулиганский и явно была Софье Ивановне не по душе.

— Оставьте, Татьяна Ивановна,— сказала Софья Ивановна.— Он и так вынужден будет подчиниться, придем с милицией,— она нагнулась и, поморщившись, подняла с полу подушку, положила ее на ближайшую (Саламова) койку.

Однако Тэтьяна не унималась, тянула к себе скомканное вместе с простынями одеяло, стараясь толкнуть меня локтем в грудь. Передо мной стояла весьма сложная задача — оттеснить от моей койки Тэтьяну, не нанося ей удара, на что она весьма надеялась, попросту нагло подставляя лицо, чтоб соорудить на меня протокол. К счастью, мой друг Григоренко, который все увидел и понял ситуацию, сбегал за Юрой Коршем в клуб. Воспитатель общежития Корш не обладал никакими возможностями и административными правами, но мог несколько нейтрализовать и замедлить события, что он и сделал. Взяв Софью Ивановну об руку, он отвел ее в сторону, о чем-то тихо говоря. Григоренко же, Митька-слесарь и Адам, который в этом конкретном скандале был почему-то за меня, хоть в прошлом скандале он был против меня, итак, все они вступили в перебранку с высыпавшими на помощь Тэтьяне семейными, которым я успел своей неряшливостью насолить на кухне.

— Вот, Софья Ивановна,— кричала Тэтьяна,— я же говорила, надо было с дворником... И куда это Надя и Люба подевались.

— Давай к Маргулису,— шепнул Григоренко,— я постель покараулю.

Я побежал прямо без пальто, хотя на улице вновь подморозило. Маргулис встретил меня раздраженно и неприязненно.

— Софья Ивановна и Шовкун (Тэтьяны фамилия Шовкун) выполняют мое распоряжение, вы даже не сдали в этом году справки с места работы... У нас не хватает мест для вербованных... Почему вы ворвались сюда с какими-то требованиями?.. Какие у вас есть на то права?..

— Извините,— сказал я,— я, собственно, не требую, а прошу... Я одинок, я окажусь на улице, войдите в положение...

Я говорил с Маргулисом впервые и определил, что человек это, хоть и канцелярист, сухой, но склонен при личном контакте к сантименту, то есть вполне может подписать бумагу о выселении, однако, сам столкнувшись со мной, выселить не в состоянии.

— Вы не можете на меня обижаться,— сказал Маргулис уже менее раздраженно.— Я делал все, что мог, три года, сейчас не могу... Я тоже хочу спать спокойно, хотите я покажу вам жалобу в райком из-за вас. Сдайте справку, и я обещаю вам неделю, ну две, так и передайте Михайлову, но сделать больше ничего не могу. В этом году местами распоряжается непосредственно наше управление, площадь Калинина три... Пусть попробует через Горбача...

— А кто это? — спросил я.

— Михайлов знает.

— Ну спасибо вам огромное.

Я сказал это настолько сладко, впрочем, переполненный искренней благодарности, что самого меня покоробило, не говоря уже о Маргулисе, члене партии с девятнадцатого года, инвалиде гражданской и Отечественной войн, бывшем замнаркома местной промышленности республики (о всем этом узнал впоследствии).

Я вышел. В общежитии вновь царила тишина. Койка моя была застлана, и Витька Григоренко сидел на ней, дожидаясь меня. Я сел рядом с ним.

— Что делать будем,— спросил он,— долбак ты полный, где справка?

После душевной собранности и удачных действий у Маргулиса, когда мне удалось его разжалобить на недельное снисхождение, меня охватило какое-то наслаждение безысходностью, иначе не назовешь, какая-то душевная усталость, ибо неделя в моем положении срок немалый, однако далее никаких перспектив, и отсрочка дает лишь возможность постепенно привыкнуть к этой мысли. Чтоб не тратить много слов и экономя силы все объяснить, я достал из тумбочки трудовую книжку и положил ее перед Григоренко.

— Уволен,— сказал я.

На трудовую книжку Григоренко внимания не обратил, но из книжки этой выпала плотная глянцевая бумага, которая Григоренко почему-то заинтересовала. Это была справка, напечатанная Ириной Николаевной, но не подписанная Мукало и положенная мной в книжку случайно вместе с копией расписки о расчете.

— Сходи-ка в магазин за яйцами,— сказал вдруг Григоренко.

— Ты чего делать хочешь? — спросил я, сопротивляясь действию. Мне сейчас хотелось только одного — сидеть так на койке, уронив руки и наслаждаясь своим отказом от борьбы.

— Иди скорей, не теряй времени, магазин на перерыв закроют,— сказал Григоренко.— Вставай быстрей.— Он начал тормошить меня.— Приходи прямо в двадцать шестую ко мне. Я пока все приготовлю. Три яйца купи, не меньше, на всякий случай.

Никогда за три года во время моих весенних выселений борьба не достигала такого накала и ожесточения с обеих сторон. Четко рассчитанный план был нарушен, попытки мои уйти от личных контактов провалились, ряд привходящих факторов усложнили ситуацию, и я чувствовал, что в дело и с моей и с противной стороны будут вовлекаться все новые лица. Это было мне невыгодно, поскольку спор поднимался на принципиальную высоту, где действия в обход общим правилам становились все более затруднительными. Конечно, ощущение безысходности было лишь временным состоянием, следствием паники, в которую я иногда, к сожа-

лению, впадал не столько от серьезных, сколько от внезапных опасностей. Например, случай с повесткой из военной прокуратуры. Впрочем, пример недостаточно удачный, поскольку он до сих пор нет-нет да и потревожит меня, однако, разумеется, не так, как первоначально. У меня счастливое свойство, выработанное неустойчивой жизнью — быстро нейтрализовать испуг, прежде всего методом самоуспокоения. Уже по дороге в магазин я почти полностью успокоился.

Во-первых, вы не учитываете, подумал я с вежливой издевкой в адрес своих врагов, что главный мой козырь Михайлов, который, собственно, каждый год мне и помогал, еще не введен в действие... Минут десять он поговорит, поунижает меня, потом поможет, позвонит куда следует... А возможно, и не понадобится, возможно, и Нине Моисеевне решу позвонить... И женюсь... Ах, вот счастье-то было б, если б на красивой... Или Григоренко вроде бы чего придумал, я по лицу его понял...

Такой сумбур мыслей иного, пожалуй, наоборот, в душевное расстройство бы привел, но я человек душевно растрепанный и подобная неопределенность и многоплановость меня как раз и успокаивает...

Когда я вернулся с яйцами, Григоренко уже полностью подготовился технически к задуманному им плану. Отпер мне он лишь после того, как я его окликнул, и тут же вновь запер дверь. На столе лежали какие-то бумажки, мокнущие в тарелке с теплой водой, от которой шел пар. Стояли фиолетовые канцелярские чернила и небольшая эмалированная кастрюлька.

— Попробуем тебе справку выдать,— сказал Григоренко и подмигнул.

— Опасно,— сказал я, догадавшись, куда он клонит.

— Рисковать надо,— сказал Григоренко.— Получится, к дяде Пете пойдем... Если только дядя Петя возьмется, сделает почище этих главков и трестов... Жить будешь, сколько влезет, и никто тебя не тронет, ни комендантша, ни участковый, ни сам Хрущев, едри его в душу... Главное, яйца не переварить, тут тоже везуха нужна. Иногда десяток перепортишь, бланки споганишь, толку нет... Я себе характеристику делал, когда на работу оформлялся, полностью запорол... Яйца чем печать берет — пленочкой... Знаешь, между кожурой и белком пленочка...

Витька был безусловно человек авантюрный, но, к счастью, не обладал ни тщеславием, ни страстями, которые при подобном сочетании превращали бы его в личность опасную. Кроме того, он был добрый парень, а доброта, как известно, родственна непрактичности. Так что был он некий непрактичный авантюрист, то есть авантюры его носили либо мелкий характер (впрочем, подчас и уголовно наказуемый, как в данном случае), либо вовсе нелепый и неосуществимый характер, ибо для осуществления любой авантюры, выходящей за рамки и становящейся серьезной, нужен был даже не столько ум, а может, и вовсе ума не требовалось, а нужно было жестокое сердце, глубоко обиженное на жизнь. Витька же жизнь любил, жил легко, не напряженно, и потому его авантюры не несли в себе острой опасности, а напоминали старые анекдоты, смешные именно своим неостроумием. Например, однажды, в аптеке он подслушал, как какая-то пожилая женщина, обладательница дома и приусадебного участка, жаловалась собеседнице, кассирше аптеки, что муж умер, нет детей и не на кого оставить дом после смерти. Фамилия этой женщины тоже была Григоренко. Витька некоторое время строил планы, от которых я его оттолкнул лишь тем, что внушил версию, будто ходил в ту же аптеку и выудил у кассирши, что якобы у этой женщины на днях нашелся двоюродный брат. Витька обладал еще одним качеством, сводившим на нет его авантюризм,— он был до нелепости доверчив.

— Вот видишь,— сказал он мне с некоторой даже грустью,— это какой-то другой Григоренко воспользовался удачей вместо меня. Он ей такой же брат, как я ей дядя.

Сейчас Витька долго колдовал над эмалированной кастрюлькой, подсыпая в воду то соли, то даже соды... Наконец, яйца были готовы, и наступил самый ответственный момент. Яйца Витька остуживал по-особому, обернув во влажную бумагу. Все ж первое яйцо он очистил так, что пленочка порвалась. Он, правда, попробовал взять печать остатками пленки (я принес ему несколько найденных у себя старых финансово-технических

документов, строительных процентовок с печатями бывшего моего управления), итак, остатками пленки он пытался взять печать, но не стал ее даже переносить на бланк справки. Второе яйцо лопнуло, когда он сдавливал его с концов, поскольку надо было из эллипсовидной придать ему как можно более круглую форму, соответствующую печати. Наконец, третье яйцо взяло печать и, приподняв левую руку, словно призывая этим меня не дышать, Витька осторожно, плавно с лицом тревожно сосредоточенным поднес яйцо к бланку. Легко и плавно опустил он яйцо на бланк справки, чуть пониже текста, удостоверяющего, что я действительно работаю там-то и там-то и справка выдана для предъявления в общежитие... Чуть-чуть нажав и подержав, он плавно поднял руку. Четкая, ясная густая печать лежала на плотном меловом бланке, сразу придав ему ответственный и серьезный вид. Витька отложил яйцо, радостно рассмеялся и всплеснул от удовольствия руками.

— Бог троицу любит,— крикнул он.— С третьего яйца взял, повезло тебе, Гоша. Знаешь как я дрейфил, думаешь, я умею? Один парень меня учил, он это делает толково, а у меня раз только, может, хорошо получилось... Вот это второй... Ничего, все эти дядьки твои, все эти знакомые начальники тебе отказали, а меня прямо буравило, как же помочь. Это же суки, видал сегодня? Они же тебя на улицу выбросят и даже не перекрестят.

Радость Витьки была искренняя и бескорыстная. В качестве вознаграждения он получил лишь три перепачканных печатями яйца, которые съел.

— Ничего,— говорил он.— К дяде Пете пойдем, он устроит... Живи, на работу устроишься, куда захочешь. Потом меня, может, к себе перетянешь завхозом,— Витька подмигнул.

Несмотря на «завхоза» личная заинтересованность была сейчас для Витьки вопросом второстепенным, да и, пожалуй, несерьезным. Витька радовался так, словно я был ему родной брат. И впервые за много лихорадочных дней нечистой борьбы за существование, в которой нет места бескорыстию, а есть лишь место расчету, личной удаче или личному отчаянию, борьбы за существование, которую я вел давно, почти всю мою жизнь, не умея представить себе просто хорошее отношение к человеку, лишенное корысти, все это вдруг оказалось забыто, и этот непрактичный авантюрист напомнил мне своим волнением за меня и радостью за меня о человечности и мягкосердечии. Я знал, что эти чувства в моем положении могут привести меня к гибели, но я также понял, что я давно жаждал их. Если б эти сладкие и благородные ощущения возбудил во мне человек не столь грубый и неразвитый, как крановщик Григоренко, если б он объяснил их мне с умными сравнениями, я, пожалуй, мог бы под влиянием этого момента многое пересмотреть в моей жизни и многое решить поиному. А если б этим человеком оказалась вдруг красивая женщина, я, может быть, в эти внезапные, как прозрение, минуты полностью переродился бы душевно, дав волю слезам на груди у любви своей. Но Григоренко для этого не годился, да и сам бы он вследствие личной неразвитости крайне удивился бы подобным излияниям моим. Может быть, даже надо мной посмеявшись, переменился бы ко мне в худшую сторону, заподозрив нечто недоброе, что всегда бывает, когда человек сталкивается с непонятным и неожиданным. Поэтому, проведя несколько минут с приятной теплотой под сердцем, я словно очнулся, хлопнул Витьку по плечу и крикнул:

— Молодчик, сукин ты сын, с меня поллитра.

Мы порадовались еще некоторое время также удачной подписью, которую вместо Мукало соорудил Витька фиолетовыми чернилами.

— Подписи — это я умею,— смеясь, тихо сказал Витька.— Это запросто. Это тебе не яйцами печати снимать. Ты только, Гоша, устройся хорошо, разве я не вижу, как ты здесь мучаешься,— неожиданно добавил он совершенно другим тоном, который меня даже несколько испугал, поскольку далее определенной черты я все же Витьку в свою душу впускать не намеревался.

Я поехал в сберкассу. Держал я деньги в другом районе города и хоть были они накоплены за три года, шел за деньгами с оглядкой. Обитатели общежития жили от аванса до получки и часто пытались у меня одолжить,

зная меня как непьющего, а значит, денежного. «У него уже там на «Москвич» накоплено,— незлобно говорили они.— Теперь на «Волгу» копит». Однако раз слесарь Ткачук из восемнадцатой комнаты, хороший как будто, вежливый парень взял у меня серьезную сумму, равную недельному моему бюджету, и уехал, не отдав (он завербовался на Север). Я несколько компенсировал потерю тем, что всю неделю не ел сливочного масла, колбасу купил лишь в понедельник и в субботу, а на обед брал лишь борщ или суп без второго и без компота. После этого случая давать взаймы я перестал, даже с некоторыми испортив отношения. Правда, я и тут применил хитрость, перед авансом и получкой обходя комнаты и сам прося взаймы. Иногда мне давали. Я клал эти деньги отдельно и, подержав для вида несколько дней, отдавал нетронутыми. Долги доступны человеку с устойчивым положением, для меня же они опасны, сбивают с определенного финансового ритма и вводят в соблазны покупки излишеств: конфет, не карамели для чая, а конфет или печенья, продукта дорогого и неэкономного, который вполне может быть заменен намного более дешевыми бубликами или булочками, которые к тому ж вкусней, разумеется, в свежем виде и, желательно, приправленные джемом, не густо, а для вкуса. Если бублик или булочку, смазанные джемом, лучше сливовым, слегка подержать на пару от чайника, они приобретают нежность и аромат, несравнимый ни с каким печеньем. Это мое фирменное блюдо.

Существует голод вместе с народом. Я знаю его, ибо испытал. Это брюква, мокрый, с отрубями кусочек хлеба, суп-затируха, то есть вода с одной-двумя ложками муки... Но есть и голод без народа, то есть голод отщепенца, оказавшегося в таком положении по тем или другим причинам. В этом голоде отщепенец использует в ущемленном виде полноценные продукты питания: отличной выпечки хлеб, умело распределенный порциями, иногда немного сливочного масла, дешевые конфеты — карамель, дешевую колбасу и прочее... Голод с народом свят, воспет поэтами и уважаем. Голод отщепенца подозрителен и носит характер вызова обществу. Отщепенец в отличие от человека периода всеобщего голода должен проявить максимум личной осторожности, осмотрительности и смекалки, чтоб прожить. Не имея возможности поделиться своим куском, он в то же время старается воспользоваться чужим. Отличное же качество с трудом добываемых продуктов, которыми отщепенец удовлетворяет свой голод, делает этот голод позорным в глазах не только постороннего, но даже в его собственных и заставляет скрывать этот голод словно порок. Вот почему мне стало неприятно, когда Витька Григоренко сказал вдруг о моих мучениях...

Получив деньги, которые необходимо было вручить дяде Пете за мое устройство в общежитии, и, пытаясь заставить себя не думать о сберкнижке, где запас мой сократился до угрожающего минимума, я вернулся и в девять часов пошел на условное место неподалеку от котельной. Погода продолжала быть по-мартовски нелепой: если утром подморозило, то вечером пошел дождь. Несмотря на дождь, Витька ждал меня довольно уже давно, поскольку пальто его было мокрым насквозь.

— Принес? — шепотом спросил он меня.

Мы свернули за угол и по грязным от угля ступенькам принялись спускаться в котельную. Витька толкнул дверь, и мы вошли в какой-то тамбур, освещенный тусклой лампочкой.

— Давай сюда,— сказал шепотом Витька.

Я протянул ему пачку денег. Он вынул заранее припасенный плотный конверт, не почтовый, а тот, в каких кассиры выдают крупные суммы — например, трехмесячную премию или какую-нибудь крупную компенсацию.

— Так,— сказал Витька.— Теперь порядок.

Но я увидел вдруг, что он волнуется.

— Ты только умно себя веди,— сказал он.— Дядя Петя человек хороший, но, знаешь, с характером. В общем, давай.

Он открыл следующую дверь, и мы вошли непосредственно в котельную. Здесь был тяжелый воздух, вовсю гудело в печах и стоял такой туман, что у меня даже начали слезиться глаза. За дощатым столом, над которым прибиты были темные от пыли графики, сидел человек в лоснящейся от угольной пыли телогрейке, с темным от угля лицом и, держа в

одной руке обернутый в бумагу кусок сала, а в другой обернутый в бумагу кусок хлеба, чтоб не испачкать продукты угольными руками, ел, изредка кладя на газету хлеб, и отпивал из жестяной кружки чай.

— С приятным аппетитом, дядя Петя,— сказал Витька,— мы вам вроде помешали.

— Ничего, проходи,— приветливо улыбнувшись, сказал истопник.

— Вот, дядя Петя, тот парень, про которого я говорил,— сказал Витька.

Истопник и мне улыбнулся приветливо и протянул угольную свою ладонь.

— Садитесь, ребятки,— сказал он.— Вот, Витя, в углу две табуретки чистые.

Мы сели.

— Значит, дядя Петя, такие дела,— сказал Витька,— справка у него есть... Дай справку.

Не без опаски протянул я истопнику состряпанную липовую справку. Он взял ее газеткой, чтоб не испачкать, прочел и удовлетворенно кивнул. Не знаю, как у Витьки, а у меня отлегло от сердца. Тут же Витька просто и умело положил рядом с недоеденным куском сала плотный конверт с моими деньгами.

— Так,— сказал дядя Петя.— Дайте, хлопцы, подумать.

Пока он думал, я от нечего делать, а вернее, чтоб унять волнение, начал осматриваться по сторонам на чистые чугунные трубы и покрытые угольной пылью манометры с дрожащими стрелками. Вдруг я инстинктивно обернулся, почувствовав на себе чужой взгляд. Дядя Петя пристально и задумчиво меня разглядывал. Когда я повернулся, он отвел глаза и сидел еще некоторое время молча.

— Знаете, хлопцы, ничего у нас не получится,— сказал он наконец.

— Почему? — вскочил со своего места Витька.— Вы же обещали, дядя Петя. Славке вы же сделали.

— Это другой случай,— сказал дядя Петя.— Я с удовольствием, парень мне нравится, хороший парень, помочь бы надо, но не только от меня это зависит... Тут, Витя, дела не будет, поверь мне.

— Ты, Гоша, не волнуйся,— сказал мне Витька, но как-то суетливо и растерянно.— Мы дядю Петю уговорим,— и, приблизившись ко мне, Витька шепнул.— Выйди-ка на секундочку...

Я вышел в тамбур и, постояв там, подождав минуты две, пошел далее, поднялся по ступенькам из котельной. В отличие от Витьки я твердо знал, что дядя Петя не шутит и план этот провалился. Я понял это сразу, как только ощутил на себе испытующий взгляд дяди Пети... Как ни хитрил я, судьба вновь неотвратимо толкала меня к старому моему покровителю Михайлову. Я знал, что завтра же поеду к Михайлову, чего бы это ни стоило моему самолюбию, и выдержу все во имя спасения, которого, кроме как от него, не от кого было ждать...

Снизу из котельной поднялся Витька и молча протянул мне назад конверт с моими деньгами. Дождь кончился, кое-где на небе видны были звезды, вообще посветлело из-за пробивающегося сквозь тучи лунного света, и я в свете этом увидел обычно лихое лицо Витьки настолько подавленным, что на нем даже появились признаки духовности и интеллигентности, делающие его неузнаваемым.

— Не получилось, Гоша,— сказал он печально с интеллигентным каким-то вздохом.

— Ничего,— успокоил я его.— У меня есть старый ход, я не хотел им пользоваться, неважно почему, но завтра я туда позвоню, поеду... Все будет хорошо...

Дядя Петя не был беззастенчивым мошенником, так как иначе он не вернул бы деньги, а обвел бы вокруг пальца. Но неправедные пути его соприкасались с путями праведными, узаконенными, и потому независимо от личных желаний он не мог сделать то, что шло вразрез с правилами, и по социальному своему положению не мог позволить себе нарушить правила, как это позволял себе Михайлов. Итак опять я нуждался в Михайлове, которому не звонил с апреля прошлого года, не интересуясь даже его здоровьем, неустойчивым здоровьем сердечника и астматика. А между тем он болел. На следующий день с утра, приехав в трест, я застал в его

кабинете в его кресле Веронику Онисимовну. Она была в темно-вишневом панбархатном платье и с ярко крашенными вишневого оттенка губами.

— Здравствуйте,— обрадованно даже сказала она (когда мы долго не видимся, она мне начинает говорить «вы». Но постепенно привыкает ко мне, если по надобности я бываю здесь часто и переходит на ты. Я же по-прежнему говорю ей «вы»).— Вас так давно не было, я думала, вы женились,— как-то блеснув глазами, сказала Вероника Онисимовна.

Я плохо спал эту ночь, возлагая на данный визит серьезные надежды, волновался перед тем, как войти сюда, предчувствуя уничтожающий и презрительный взгляд Михайлова. Но сейчас, когда вместо Михайлова меня встретила Вероника Онисимовна, мной овладело игривое настроение, а тревога исчезла. Это была нелепость момента, поскольку шел-то я к Михайлову и именно он был мне нужен.

— Вот, мимо проходил, заглянул проведать,— сказал я, бросив на Веронику Онисимовну ответный быстрый взгляд.

Темные круги под глазами она пудрила и смазывала косметическим кремом. А напрасно. Усталость некогда красивого лица придает известную пикантность женщине и привлекает к ней не растративших себя свежих молодых людей гораздо сильней, чем могут привлечь тугие, упругие точно резиновые девичьи личики. Я тут же тряхнул головой, словно отбрасывая нелепые в моем нынешнем положении мысли.

— Как вы живете, не тревожат вас? — спросила Вероника Онисимовна, преодолев этакую своеобразную паузу.

— Да немножко,— сказал я.— Сукины сыны...

— А Михаил Данилович болеет,— сказала Вероника Онисимовна.

— Что с ним? — с искренней тревогой, но главным образом все же за свою судьбу вскричал я.

— Сердце,— сказала Вероника Онисимовна, не совсем точно истолковав мой крик и потому добавив поспешно,— сейчас уже опасность позади... Он почти здоров... Дня через три ждем его на работу, вчера я была у него.

Три дня, лихорадочно думал я, три дня — это много. Поеду к нему. Конечно, ужасно, бестактно, но я могу оказаться на улице... По телефону не то...

Наверное, эти тревожные мысли резко изменили мое лицо и мою фигуру, ибо Вероника Онисимовна смотрела на меня уже без блеска в глазах, а с неким покровительственным состраданием и перешла на ты почти без подготовки.

— Зайди в начале будущей недели,— сказала она.— Михаил Данилович должен быть на работе. А почему ты в течение всего года не появлялся, хотя бы зашел, как здоровье Михаила Даниловича узнать.

Это был выговор, но выговор человека, принимающего участие в моей судьбе и во имя моих же интересов. Сухой выговор покровительницы, а не нервно-импульсивной женщины.

— Ты не волнуйся,— добавила Вероника Онисимовна,— я его здесь подготовлю, поговорю с ним... В понедельник или лучше во вторник,— добавила она мне в спину.

Я кивнул, подумав про себя: как бы не так, я еду к нему немедленно, во вторник я могу уже потерять ночлег.

Михаил Данилович Михайлов жил в одном из лучших районов города, неподалеку от здания республиканского Совета Министров. Я был у него раза три, но давно, в первый год после моего приезда в город. Перед домом его, за металлической решеткой был палисадник и детская площадка, где гуляли красивые, нарядно одетые ребятишки жильцов этого богатого дома. Утро было солнечное, весеннее. Весна, кажется, наконец, бралась за дело. Небо было безоблачным, синим, повсюду бурно таяло, капало, текло, трещало, так что зимняя моя одежда стала тяжелой и жаркой, а туфли, наоборот, разбухли, стали холодными, и полушерстяные зимние носки сделались неприятно влажными.

Позвонив у обитой клеенкой богатой двери, я ждал с тревожно колотящимся сердцем. Открыла мне жена Михайлова Анастасия Андреевна, женщина с мужскими бакенбардами и вообще густой растительностью на ногах, руках и лице. Мне эта женщина была неприятна, она даже три года назад укоряла Михайлова, причем при мне, за то, что он уделяет мне чересчур много сил, а я отношусь к нему потребительски. Может, ныне она

и права, но тогда это была неправда. Я относился к ним с искренней благодарностью, и не моя вина, что отношения наши приняли неискренний характер. Потребительское отношение мое к ним возникло из унижающего меня отношения их ко мне. Но я зависел от этих людей, и единственным, чем я мог отплатить сейчас этой женщине, была ее же мужская растительность на лице, над которой я в душе издевался. Анастасия Андреевна осмотрела меня и сказала довольно бесцеремонно и грубо даже для моих с ними отношений.

— Откуда ты явился? Я думала, ты уже уехал из города... Ты разве не собираешься уезжать?

— Нет,— сказал я, неловко топчась в передней.

— Кисанька,— послышался слабый голос Михайлова,— кто там пришел, доктор?

— Нет, это не доктор,— сказала Анастасия Андреевна,— это твой подзащитный... Гоша пришел.

Я твердо решил про себя, что выдержу все, ибо если позволю себе обиду, то потеряю последний шанс, больше мне не на кого надеяться.

— Ты снимай туфли,— сказала мне Анастасия Андреевна и подвинула ногой комнатные тапочки.

Я снял пальто, ожидая, что Анастасия Андреевна уйдет. Носки мои я носил всю зиму, они были во многих местах зашиты мной белыми и черными нитками, а в некоторых местах, например, на пальцах просто имелись дыры, и мне было неприятно раздеваться перед Анастасией Андреевной. Но она не уходила, и я вынужден был раздеваться под ее сердитым взглядом.

В столовой стоял большой портрет пятнадцатилетней девушки-подростка, убранный живыми цветами, первыми весенними цветами, стоящими, очевидно, чрезвычайно дорого. Я знал, что это портрет единственной дочери Михайлова, задавленной в сорок втором году автомашиной. Детей у Михайлова больше не было, и он воспитал своего давно осиротевшего, как и я, племянника. Племянник этот был моего возраста. Он окончил институт и лет пять уже работал на авиазаводе. Сейчас племянник этот сидел в столовой в рубашке с расстегнутым воротом и полуспущенным галстуком, с серьезным научным журналом в руках. Мне он кивнул довольно вежливо и ушел вместе с журналом в свою комнату (у Михайлова было три комнаты. Одну занимал пока еще неженатый племянник).

Михайлов полулежал в спальне на тахте, обложенный подушками. На столике перед ним были недопитый стакан молока, две небрежно надломленные плитки шоколада, пузырек с лекарством и томик Чехова. С тех пор, как я Михайлова в последний раз видел (в тот день, когда он меня открыто и публично унизил), с тех пор он заметно осунулся и побледнел.

— Как вы себя чувствуете? — сказал я, усаживаясь на краешек стула, причем в тот момент с искренней тревогой и сочувствием.

— Я — плохо,— небрежно как-то махнув рукой, сказал Михайлов,— а вот ты, что ты натворил, почему ты пошел к Саливоненко?

Я еще не знал, куда Михайлов клонит и не догадывался о клевете Саливоненко (послужившей причиной особенно грубой встречи меня в этот раз, в том числе и со стороны Анастасии Андреевны), я еще не знал, однако для начала нашелся.

— Я не хотел вас тревожить,— сказал я.

— Миша,— раздраженно почти выкрикнула Анастасия Андреевна, стоя в дверях,— раз уж он пришел, скажи ему все, может, у него сохранилась хоть капля совести.

И тут я узнал о клевете Саливоненко.

— Зачем ты явился в министерство и выдал себя за специалиста по небьющемуся стеклу? — так же как и жена его, раздраженно сказал Михайлов.

Я испытал нечто похожее на шок, у меня перехватило дыхание и, кажется, глаза наполнились слезами. Реакция моя была столь естественна, мгновенна и порывиста, что не только Михайлов, но даже жена его не то что мне поверили, а как-то задумались.

— Ну хорошо,— сказал Михайлов,— об этом не будем, но тебя что, уволили с работы?

— Вот это правда,— сказал я,— но это не страшно...

— То есть как не страшно, — спросила Анастасия Андреевна, — а на что ты собираешься жить? (Не пришел ли я просить денег, было в подтексте этого восклицания.)

— Я устроюсь, я, может, учиться пойду, мне важно койко-место... Ночлег...

— Кто такой Юнаковский? — спросил вдруг Михайлов.

— Не знаю, — удивленно ответил я.

— А почему он звонит Саливоненко домой и пытается вести с ним какие-то скользкие переговоры, используя тебя?.. То есть обещая устроить тебя взамен на какие-то действия Саливоненко в его пользу...

— Юницкий! — вскричал я.

— Да, именно Юницкий, — вскричал Михайлов, — значит, это правда?

— Нет, — торопливо заговорил я, забыв об искреннем возмущении моем клеветой Саливоненко, укрепившем мою душу в моей справедливости и невиновности (это всплыло опять позднее). Душа моя вновь была разжижена как-то и потеряла уверенность, которую давало мне сознание явной несправедливости по отношению ко мне.

— Нет, — говорил я, пытаясь разобраться в этом новом обороте и понять, в чем я сам виноват, а в чем меня запутали, — они знали, что Саливоненко мне помог устроиться три года назад в их управлении... Я этого не знал... Они решили, что он мне близкий человек, решили воспользоваться... А... — вскочил я со стула, — теперь я понимаю, я все объясню... У них грызня в руководстве, Брацлавский и Юницкий против Мукало, Мукало мне тоже советовал сказать за него у Саливоненко...

— Перестань кричать, — сказала мне сердито Анастасия Андреевна, — Михаил Данилович нездоров.

— Меня не интересует вся эта белиберда, — сказал Михайлов.

— Нет, — не унимался я, — я объясню, иначе вы меня заподозрите... Этот Юницкий отвратительный тип...

— А ты? — спросил Михайлов. — Кем ты себя считаешь?

— Не знаю, — притихнув и усаживаясь, сказал я, — я запутался... Может быть, если бы у меня был ночлег, койко-место, я бы осмотрелся, решил бы что-нибудь... Конечно, во многом я живу не так, как надо...

Я решил каяться, чтоб снять остроту разговора, которая бог знает куда могла завести. Было два пути: либо каяться, либо разжалобить, например, закрыть лицо руками и сидеть так, ничего не говоря. Я подумал о том, но тут же отверг. Должен сказать, что все эти мысли хоть и выглядят цинично, но в действительности мое трагическое положение убивало цинизм. Вернее, цинизм некоторый и невольный был лишь в решении, но не в исполнении. И если б я решил разжалобить, закрыв лицо руками, то при этом испытал бы не выдуманные, а подлинные страдания и горечь безнадежности. Однако я решил каяться и делал это не фальшиво, а искренне, честно, как на исповеди.

— Хорошо, — сказал Михайлов, — я позвоню. С койко-местом постараемся опять уладить.

— Но в последний раз, — добавила Анастасия Андреевна, — нельзя в твои годы быть потребителем, ты уже вырос из детских штанишек, стыдно...

Вошел племянник с журналом.

— Прости, дядя, — сказал он Михайлову, — я думал ты уже освободился.

— А что? — совсем иным тоном и с иным лицом обратился к нему Михайлов.

Племянник задал какой-то непонятный мне то ли научный, то ли философский вопрос, и у них началась иная жизнь, которой я был чужд и которая была для меня недоступна. Я попрощался и вышел, забрав с собой свои убогие материальные интересы.

Чем более человек осознает свое реальное место в обществе, тем легче ему живется. Всего год назад из-за фразы Михайлова в мой адрес, на которую я ныне и внимания не обратил, я пережил нервное потрясение. Ныне же я вышел от Михайлова в хорошем даже расположении духа, несмотря на клевету Саливоненко и на страшные слова в мой адрес Михайлова и его жены. Главное, я был доволен собой за то, что сумел выдержать и не впасть в обиду на Михайлова. Умение глотать обиды было для меня

тем же теперь, что для тигра зубы, а для зайца ноги... Но путь этот сулил удачу, то есть возможность выжить, сохранив человеческий облик, лишь до тех пор, пока положение мое в обществе оставалось и материально и духовно беспредельно ничтожно. При малейшем отклонении от этого условия, при малейшем возвышении моем этот путь грозил взломать мою душу, посеять в ней жестокость и горькую месть и уничтожить те остатки человечности и добра, которые не уничтожила еще постоянная потребность в корысти, выгоде, в том, что было основным в моих отношениях с людьми.

* * *

Рабство в переносном смысле этого слова является необходимым условием для преуспевания человека со слабой волей — эти слова я выписал как-то в библиотеке из Ницше (вернее, из брошюры, критикующей его мировоззрение, в которой это положение также критиковалось и анализировалось). В свое время выписал я их попросту для красоты, как этакий каламбур, но впоследствии, когда события приняли настолько резко иной оборот и все настолько поменялось, что иногда мне даже казалось — я ли это, в этот период мне слова Ницше попались случайно на глаза и заставили задуматься, правда, не приведя ни к каким четким выводам. Мой характер в эту формулировку Ницше впрямую не укладывается, я не могу считать себя человеком со слабой волей, однако есть случаи, когда отдельные детали противоположны, а ситуация в целом если и не соответствует, то, во всяком случае, симметрична. Поскольку был я лишен твердых прав, причем в силу воспитания и господствующих в окружающем обществе взглядов считал все это явлением нормальным, то моя постоянная нужда в покровителях невольно приспособила меня к подобной жизни, когда человек получает ночлег, заработок и в конечном итоге даже родину не от рождения и по закону, а по чьей-то доброте и мягкосердечию. Юность моя прошла в обстановке патриотического подъема от победы страны моей над фашизмом, который перешел постепенно в патриотический подъем и в других областях общественной жизни, науки и культуры, где всюду ощущалась гордость своим превосходством и приоритетом. Я не отличался, а, может быть, превосходил многих своих патриотизмом и все же в глубине души даже школьником всегда знал, что счастье быть патриотом куплено мной ценой обмана, и это выделяло меня, отщепенца, из среды моих сверстников, которым патриотизм доставался так же естественно, как глоток воздуха. Таким образом я еще с детства научился ценить то, что другие воспринимали просто и спокойно, и нужда в добрых или простодушных покровителях стала моей постоянной потребностью. Поэтому с возрастом, когда я думал об удаче и преуспевании, я думал прежде всего о хороших, влиятельных и добрых покровителях. К сожалению, жизнь не была ко мне столь милостива, и покровители, которых я отыскивал или которые отыскивали меня, не были столь идеальны; хоть и делали мне в известной мере добро, конечно, крайне неустойчивое, во многом незначительное, позволяющее лишь передохнуть и набраться хоть в некоторой степени сил в ожидании новых неудач и лишений. А случись мне встретить покровителей, о которых я мечтал, жизнь моя, с раннего детства приспособленная к подобному ритму и образу существования, стала бы попросту счастливой и безмятежной. То есть в жизни бесправных отщепенцев, бесправных сословий или даже бесправных народов преобладает женский элемент и женское понятие о счастье...

Кстати, выписывая из Ницше, я последнюю фразу опустил как несущественную и забыл о ней. Лишь недавно, отыскав этот кусок опять, я прочел: «Для преуспевания человека со слабой волей, а следовательно, женщины...» И это закономерно. Человек, сословие и народ со временем вырабатывают для себя не просто психологические, но, как бы сказать, телесно-психологические законы и представления о счастье, то есть происходит определенное приспособление не только психологии, но и физиологии... Если вдруг все это взрывается, даже из самых благородных оснований: революции, эмансипации или реабилитации, происходит некий, не лишенный мистики трагический надлом. Как бы вдруг женщина, пусть несчастная, однако стремящаяся к своему женскому счастью, проснув-

шись однажды, почувствовала себя мужчиной, почти физиологически. Правда, первоначально возможны и гордость, и радость от подобного превращения, но постепенно она (или ныне он) начала бы ощущать тот не жизненный, уже патологический трагизм, когда прежнее женское счастье невозможно, а нынешнее мужское — опасно и ненужно. Пример с женщиной, стремящейся к своему женскому счастью, но вдруг мистически обретшей трудную мужскую судьбу, взят для наглядности, а события названы мной трагическими не для того, чтобы поставить под сомнение их историческую закономерность, прогрессивность и справедливость, а для того, чтобы точнее охарактеризовать те печальные и необдуманные поступки, которые совершались.

После того как я ввел в борьбу за свое койко-место последний надежный резерв — Михайлова, прошло больше, чем полтора месяца. Наступил долгожданный мной и любимый период застоя после весеннего выселения. В этом году он был особенно приятен, поскольку, уволенный с работы, я имел возможность жить так, как мне хочется, а деньги, не растраченные на взятку дяде Пете, позволяли мне осмотреться и подумать о дальнейшей своей судьбе... Миновали майские праздники. Было уже так жарко, что можно было ходить в одной рубашке. Иногда случался даже не майский, а настоящий августовский зной. В такие дни я с Витькой Григоренко и Сашкой Рахутиным ходил в расположенный рядом с общежитием овраг, на озера, где некогда пригородный совхоз разводил рыбу. Озера эти так и назывались — Рыбные. Я чрезвычайно любил солнце и песок, но стыдился своего костлявого, голодного, не мужского тела и потому ложился где-нибудь подальше, глядя с жадностью на купающихся девушек, которые в подобном виде почти все были удивительно красивы, так что прежде всего я испытывал не похоть, а скорее чувство восторга и радости... Насмотревшись, я опускал голову, нежась в сладкой лени, погрузившись губами в теплый песок. Опьяняющие запахи и звуки моего очередного тридцатого лета, которыми я упивался наедине, не делясь ни с кем, были моей наградой самому себе и моим праздником, для себя созданным.

Однако вскоре подряд произошло два события, которые, как я ныне понимаю, являлись предвестником надвигающейся беды. То есть с бедой непосредственно они не были связаны, но создали некое психологическое ощущение надвигающихся неприятностей. Первое — ответное письмо от деда. Напоминаю — дед у меня не родной, тем не менее изредка он помогал мне небольшими суммами, будучи человеком самостоятельным и домовладельцем. Поэтому я не ожидал такого грубого ответа на мою просьбу дать мне немного денег взаймы... «Мне стыдно было читать,— писал дед,— ты, здоровый бык, который сам должен помогать старику, просишь у него, как паразит, чтобы иметь возможность вести свою разгульную жизнь... Добрые люди сообщили мне правду о тебе, и весь твой обман раскрылся. Ты пишешь, что тебе нужны деньги на мебель, но куда ты ее поставишь, если не имеешь в тридцать лет ни кола, ни двора и живешь, как животное, только сегодняшним днем, ожидая, кто бы тебе бросил кусок пожирнее, ибо стыд ты потерял давно. Я, старик, мне семьдесят девять лет, но стыд я имею и надеюсь, если поможет Бог, что со стыдом своим перед собой и перед людьми умру». Далее письмо состояло из каких-то малопонятных обрывков и намеков, свидетельствующих, что писал дед в чрезмерном волнении, причины которых мне не были до конца понятны, возможно, не имеющих даже ко мне прямого отношения. Например, была такая фраза: «В молодости мне приходилось лизать языком сапоги станционного жандарма, чтоб иметь возможность своими руками зарабатывать кусок своего хлеба...» Далее были фразы уж вовсе неожиданные, говорящие о том, что сознание старика мало-помалу путается: «Матвей (это мой отец) не был мне родным сыном, однако, когда он поступил в студенты, я ему помогал, хоть Зина всячески была против (кто такая Зина, я не знаю), ибо видел, что из него растет человек, пусть даже он поступил нехорошо и отказался от моей фамилии, когда стал большим начальником... Конечно, против меня его настраивала Клава (это моя покойная мать), а я ведь говорил ему — сынок, не женись на ней, она тебя погубит...» Следующие несколько слов были густо не то что зачеркнуты, а залиты чернилом. Видно, старый маразматик написал

такое, что даже сам при повторном прочтении опомнился. Возможно, он хотел зачеркнуть и все вышенаписанное, оставив лишь отказ в деньгах, но как-то по старческой рассеянности не довел дела до конца и в подобном полузачеркнутом виде опустил письмо в ящик.

Я разорвал письмо на мелкие клочки и бросил его в мусорницу. Потом вернулся, вытащил эти клочки уже испачканные и мокрые, отнес их брезгливой кучкой в ладонях и бросил в унитаз, спустив воду. Однако успокоения не наступило, и с необычным для летнего периода волнением я стал ждать неприятностей... И точно, к вечеру я получил за подписью Маргулиса повестку о выселении в трехдневный срок... Ни разу такого не случалось после вмешательства Михайлова, да еще летом, когда период весеннего выселения оканчивался. Кроме того, к этому времени расходовалось — и в прошлые годы, а в этом году особенно — так много сил, что дальнейшая борьба чисто физически была немыслима, не говоря уже о том, что все средства воздействия на администрацию были исчерпаны. Оставалось позвонить Нине Моисеевне и жениться на одной из предложенных ею кандидатур...

В уютной квартирке Нины Моисеевны совершенно ничего не изменилось, даже круглый стол был застелен той же скатеркой с темным пятном. Это темное пятно — единственное, что оставил после себя в доме бывший муж Нины Моисеевны, человек молодящийся, красящий волосы и брови и этой краской испачкавший скатерть. Нина Моисеевна любила рассказывать об этом со смехом. Вообще была она женщина довольно легкомысленная, и в обычном состоянии, если исключить тот нелепый случай, держался я с ней независимо, даже над ней подтрунивая и посмеиваясь.

Разумеется, мы разыграли с ней спектакль, поговорили о том о сем, пошутили и посмеялись.

— Кстати,— сказала она как бы мимоходом, между двумя анекдотами,— сейчас ко мне должна прийти моя знакомая с дочерью, в гости прийти. Дочка вам обязательно, Гоша, понравится. Она вся такая мягенькая, маленькая, женственная, с серенькими глазками... Ну, кошечка,— и Нина Моисеевна этак с аппетитом причмокнула губами, точно приглашая меня попробовать нечто вкусное.

Она меня настолько раззадорила, что я попросту испытал нетерпеж, а когда наконец раздался звонок, сердце мое застучало и кровь прилила к щекам. Я был уже влюблен в нарисованный Ниной Моисеевной образ и видел перст судьбы в том, что мне в этом году не удалось отстоять свое койко-место, иначе я бы по-прежнему прозябал за шкафом в шестикоечной комнате, среди грубых невежественных жильцов, ущемленный в мужских желаниях и особенно глубоко себя за то не уважая. Сейчас она войдет, думал я,— любовь моя, моя судьба... И через много лет я буду помнить этот стол с темным пятном на скатерке, эти зеленые обои... И нелепую случайность нашей первой встречи.

В своих фантазиях я неисправим. Жизнь уже бесконечное число раз учила меня, ударяя мордой об стол, как говорится в народе. И все-таки лишь появляется повод, я вновь забывал мудрые ее уроки и на розовых шелковых крыльях несся к разочарованию, злобе и насмешке над собой. Одурманенный мечтой, я потерял даже способность к трезвой логике, вообще-то мне свойственной, и забыл, что красивым женщинам нечего делать в обществе Нины Моисеевны, они сосредоточены либо в местах наиболее уважаемых, например, в центральной библиотеке, в телевизионных передачах и т. д. Либо в местах наиболее красивых — среди мускулов, солнца, воды и пляжного песка. Впрочем, говоря по совести, Полина (имя-то какое провинциальное) не была уродлива. У нее действительно были серые глаза, каштановые волосы уложены в современную прическу, губы подкрашены по-современному, вызывающе ярко, но все это походило на тщетные потуги казаться не тем, что ты есть, и были мне смешны, поскольку я был развращен до предела настоящими красавицами, за которыми постоянно наблюдал. Не то что мне не нравились в Полине какие-то определенные детали. Она была мне отвратительна целиком как идея женщины. Я представил себе эту Полину на Рыбном озере рядом с прекрасными девичьими телами, которые я наблюдал издали, и меня вдруг охватила злоба.

За что же так, подумал я. А кому те?.. Разве я не достоин?.. Проклятая жизнь...

Эти мысли настолько истерзали меня, что во время чаепития я начал вести себя вызывающе грубо не только по отношению к Полине, но также и по отношению к ее матери и даже к Нине Моисеевне. В чем это выражалось первоначально, я не пойму, ничего открытого я себе первое время не позволял, разве что нехорошо улыбался на их попытки завязать светскую беседу. Правда, когда Полина пыталась мне передать чайную ложечку, я сказал:

— Извините, но я размешиваю сахар в чае указательным пальцем...

Разумеется, это можно было принять за шутку. Нина Моисеевна даже засмеялась, а мать Полины улыбнулась. Но тут мне все это надоело, и я, как говорится, сыграл в открытую, то есть сунул указательный палец свой в стакан чая, достаточно горячий, и принялся размешивать в нем сахар, превозмогая боль от ожога крутым кипятком. Наступила неловкая тишина. Потом мать Полины встала и сказала:

— Знаешь, Нина, мы, пожалуй, пойдем,— и посмотрела на меня с открытой неприязнью.

— Нет, уж извините,— ответил я за Нину Моисеевну, принимая вызов,— я пойду, а вы оставайтесь и пейте с вареньем ваш хлебный квас.

Почему я сказал «хлебный квас», непонятно. Видно от волнения, внезапно меня охватившего, я не сумел найти ничего более колкого и «выстрелил» хлебным квасом. Мучаясь этой своей неудачей, я еще более разозлился, одевался, путаясь в рукавах, и так хлопнул дверью, что даже сам испугался. В общем, в довершение всего следовало показать этим людям язык или, став на четвереньки, залаять, чтобы окончательно себя опозорить. Я видел, что если первоначально они были возмущены моим внезапным хамством, то по мере накопления фактов моего поведения, возмущение их исчезло, они сидели уже испуганные и со мной в споры не вступали. И то, что мне не удалось их оскорбить, поскольку в конечном итоге я предстал в их глазах ненормальным, меня особенно терзало и мучило. Я уже не сомневался, что Нина Моисеевна после моего ухода вспомнила и рассказала своим друзьям о моем прошлогоднем собачьем движении к ее руке, подтвердив этим свою догадку...

Я шел по крутой, старой, уютной улице среди цветущих каштанов. Вечер был теплый, во многих домах были раскрыты окна, мелькали лица, слышны были обрывки разговоров, всюду был размеренный порядок, прочность, семейная взаимоподдержка, обжитость, великие бытовые права на свое. И лишь я, внешне ничем не отличающийся от прохожих, так что со стороны можно было подумать, что я иду, находясь в строгом бытовом порядке, чтоб взять свое, в действительности не имея своего, что особенно ощущалось надвигающейся ночью. Бездомность отщепенца, как и голод его, психологически чрезвычайно отличаются от всеобщей бездомности во время великих испытаний народа... Особенно в конце весны в великолепные, пахнущие сиренью вечера, когда повсюду ленивый покой и все нацелено на личное счастье, в такие вечера моя бездомность ощущалась мной, как тайный порок, и именно поэтому, выйдя от Нины Моисеевны возбужденный, с обваренным указательным пальцем, я затеял с собой нелепую игру, то есть заходил в подъезды домов, воображая себя жильцом и квартирохозяином. На первый взгляд, особенно для людей, подобное не перенесших, это глупо, в действительности же душевное мое напряжение несколько улеглось, а когда наступила ночь, окна погасли, исчезли прохожие и все вокруг затихло, ощущение тоски и одиночества вовсе прошло.

При бездомности самое опасное для отщепенца время — вечер, время соблазнов и надежд, когда страсть как хочется по-детски доверить кому-нибудь свою судьбу... Ночью вновь верх берут инстинкты, а также сила, хитрость и логика...

Я приехал к общежитию на дежурном трамвае, по пожарной лестнице поднялся на балкон второго этажа, а оттуда проник в коридор через балконную дверь. (Дежурила Дарья Павловна.) Всю ночь лежа на своей койке, возможно, в последний раз лежа, обдумывал я дальнейшие действия, совершенно не устав, ибо бессонница прежде всего утомляет бесплодное воображение, я же работал, строя план, и потому, будучи удовлетворен своей деятельностью, утром не чувствовал себя утомленным. Вещи я решил пока оставить у Григоренко, самому же попытаться поселиться у Чертогов, причем самым нахальным образом, то есть приехать поздно вечером и сидеть до тех пор, пока ночевка моя станет сама собой разумеющейся... В эту ночь я понял также чрезвычайно важное для меня условие в игре, которую я вел уже на самом краю, на пределе возможного: не думать о завтрашнем дне, о перспективе, о своей судьбе... Отъезд же из города именно сейчас представлялся мне твердо концом моей борьбы. Так много сил, так много унижений, так много хитростей было положено на то, чтобы обосноваться в городе, где я родился, который любил, что просто сесть на поезд и уехать из него, причем тоже неизвестно куда, равносильно было для меня концу... План с Чертогами в моем крайнем положении имел некоторые перспективы, однако они, обычно трусливо-деликатные, на этот раз попросту не впустили меня в дом.

— Не приходите больше! — крикнул мне в форточку Чертог-отец.— Ваш родной дед советует вас не впускать (значит, они получили письмо от старика, какое нелепое совпадение).

— Работать надо! — крикнула Чертог-мать.— Мы сами материально стеснены.

Это было уже слишком. Никогда не рассчитывал я на их еду, которую, даже будучи голодным, ел с отвращением, ибо всегда это было нечто холодное, дурно приготовленное, прокисшее и нечистое, с какими-то волосами, нитками и соринками... Чертоги нужны были мне исключительно как пристанище во время морозов или дождей, и ел я их подаяние (обедом это не назовешь) для того, чтобы их не обидеть и не лишиться пристанища. Тем более это была единственная семья, которая в свое время предоставила мне ночлег, и я держал их про запас на тот крайний случай, если ночлег опять понадобится, что и случилось ныне.

Далее, помню, никаких особых мыслей и чувств не было. Я поужинал двумя порциями мороженого и до ночи просидел возле фуникулера на скамейке. Возвратившись во втором часу ночи, я прежде всего глянул на койку и, обнаружив, что постель у меня пока не отняли, несколько успокоился. Некоторое время я лежал, обдумывая дальнейшие действия. И совершенно неожиданно, без всяких на то логических оснований я решил обратиться за помощью в райком партии.

Окончание следует

Эдуард Русаков

ИСКУССТВОВЕД

РАССКАЗ

У бича была кликуха — «Искусствовед». Кто нарек его таким неудобным для произношения именем, трудно сказать. Скорее всего сам он так и назвался. Больно уж любил про искусство рассуждать, козырял именами знаменитых художников, про писателей разных рассказывал по вечерам такие байки, что бичи уши развешивали. Может, врал. Все равно интересно. Ведь главное что? Лишь бы интересно было. А кто ты есть на самом деле — не все ли равно.

Вчера их с Гошей-Мешочником менты возле стадиона чуть не поймали. Они-то с Гошей две сетки пустых бутылок на стадионе насобирали. Забыли про бдительность, а тут — хоп, мусора́. Ни с места, говорят. Хенде хох. Ваши документы. А рядом машина фырчит, скучает без пассажиров. Искусствовед сразу сообразил — заберут в спецприемник, пришьют статью, и лето, считай, пропало. А ведь такие планы были: махнуть на юг, в Среднюю Азию, туда, где дыни, арбузы, виноград. «Гоша, бросай бутылки! — крикнул Искусствовед.— Рвем когти! Встретимся на вокзале, вечером!..» И почесал зигзагами. А Гоша-Мешочник растерялся, а может, ему, чудаку, бутылок жалко стало — вот его и замели. Не встретились вечером, на вокзале-то. Кормит, значит, Гоша клопов в спецприемнике. На вокзале, между прочим, тоже рискованно — облавы бывают часто, менты на каждом шагу.

Эту ночь Искусствовед провел на чердаке, прижавшись к холодной трубе парового отопления. Лето, топить перестали. А ночью холодно. Рано утречком он вскочил, попрыгал, помахал руками для разминки — и отправился на охоту. Повезло — сразу нашел на помойке пять пустых пузырей,— вот тебе и рваный на прожитье. Дождался открытия рабочей столовки, позавтракал, да еще осталось немного мелочи. Купил пачку «Примы» и местную газету. Сидел на скамеечке, переваривал пищу, курил, читал. Ну-ка, ну-ка. Какое, милые, у вас тысячелетье на дворе? Что в мире новенького? Как вы справляетесь, фрайера, без меня, без моего строгого, но справедливого глаза? Так, так. Забастовки в Кузбассе, напряженка в Закавказье, разгул мафии в Москве, волнения в Узбекистане... да-а. Ну, а вы что хотели? Распустились, голубчики. Уж я бы вам спуску не дал. Ну, чего там еще? Сибирский фестиваль рок-музыки. Конкурс красоты в Козульке. Региональный съезд кооператоров... Тоже, жуки навозные. Спекулянты.

Искусствовед тихо выругался, сплюнул. Потом вдруг подумал: а хорошо бы создать кооперативное сыскное бюро... вроде «Пинкертона», что ли. Рассмеялся, покачал головой: «Ну и шутник же я»,— и снова углубился в чтение газеты. На последней странице были объявления — он и их читал внимательно, словно искал что-то, хотя на самом-то деле ему нечего было ловить в этой бурно текущей жизни. Но ведь интересно же! Очень интересно быть квалифицированным зрителем, мудрым таким созерцателем. А ведь когда-то он сам...

Стоп! Что-то знакомое, ну-ка, ну-ка... «Кооператив «Дизайн» приглашает художников-оформителей для исполнения различных...» «Обращаться к председателю кооператива Кураеву Леониду Николаевичу», телефон такой-то, адрес такой-то.

— Вон ты где, Кураев,— с улыбочкой произнес Искусствовед.— Далеко пошел. В бизнес, значит, шагнул — из горних-то сфер... А я, знаю-

чит, тут прозябаю, а ты — председатель кооператива?.. Неправильно это... Где социальная справедливость, господа?!

Искусствовед выгреб из кармана мелочь — на баню хватит. Полный вперед на помывку. Помылся он в общей бане, там же побрился, состирнул рубаху, туго выжал и надел на чистое тело, ништяк, на улице-то, под солнышком, быстро высохнет.

И где-то уже в предобеденное время, выбритый и чистый, Искусствовед явился по объявленному в газете адресу. На стене, возле входа, свеженькая вывеска: «Кооператив «Дизайн» — все верно. Тук-тук, зайдем, поздороваемся, присядем.

— Я вас слушаю,— молвил Кураев Леонид Николаевич.

Ну прямо американец. Загорелый, подтянутый. Правда, волосы на висках седые. Так это его только украшает. Время, конечно, никого не щадит, но все же...

— Я вас слушаю, слушаю.

И ведь не узнает, гад. В упор не видит. Смотрит — и не узнает. А ведь когда-то встречаться приходилось, да и не раз. Неужто я так жутко изменился?

— Что же вы молчите, товарищ?

— А я по объявлению,— заговорил, наконец, Искусствовед.— Там, в газете, написано — требуются...— И он закашлялся.

— Да, совершенно верно,— кивнул Кураев.— Требуются художники-оформители. Вы художник?

И в голосе его прозвучало явное сомнение: очень уж не похож был этот посетитель на художника. Да и вообще не похож на приличного человека. Опухшая бледная физиономия, мятые брюки, неглаженая, хоть и чистая сорочка неопределенного цвета. Если уж честно, похож он либо на бича, либо на недолеченного алкоголика.

— А вы сомневаетесь? — словно угадал его мысли Искусствовед.

Кураев неопределенно пожал плечами.

— Да, конечно, я не художник,— и гость притворно вздохнул.— Я, видите ли, Искусствовед...

Кураев улыбнулся, поднял брови.

— Весьма сожалею,— сказал он,— но искусствоведы нам, слава Богу, не требуются. Уж как-нибудь без них обойдемся.

Ответ его прозвучал двусмысленно — и гость отметил про себя эту двусмысленность, адресованную не только ему, но кому-то еще, незримому и нездешнему.

— Что же вы, маэстро, старых приятелей не узнаете? — спросил вдруг Искусствовед.— Приглядитесь получше. Разуйте глаза.

Кураев нахмурился. Его покоробила этакая фамильярность.

— Черных я,— сказал Искусствовед.— Константин Черных. В недавнем прошлом — капитан Черных.

— Капитан? А-а...— Кураев прищурился, покачал головой. Узналтаки.— То-то я смотрю, лицо знакомое. Вы, вероятно, по делам службы, товарищ капитан?

— Какой службы? Я ж вам сказал — на работу пришел устраиваться. Прочитал в газете объявление — ну и решился. Дай, думаю, сунусь, по знакомству...

— Мы по знакомству не берем,— сухо сказал Кураев.— Мы берем по специальности. И нужны нам профессионалы-дизайнеры. Их мало, конечно, но они есть. А вы, извините, совсем не по профилю... Насколько я знаю, вы больше по сыскной части специалист. Ведь так?

— Был! Был по сыскной части, но давно уже не у дел,— с непонятным, чуть ли не радостным оживлением заговорил Черных.— И никакой я не капитан. Прогнали меня из органов.

— А что так? — заинтересовался Кураев.

— Да-а... Разочаровался я в своей службе,— соврал Черных.— Какая же это защита государственной безопасности, если приходится шпионить за невинной творческой интеллигенцией? Грязная работа!

— Ишь, как вы заговорили...

— Да я давно уж именно так думал, давно,— вдохновенно продолжал импровизировать Черных.— Давно мне моя служба была в тягость... Хотел уйти, но как уйдешь? И куда? Это же, как наручники,— надеваются легко, а сними попробуй.

— Не пробовал,— сказал Кураев.

— И не дай Бог. Ну, короче, поперек горла была мне моя служба...

— Что-то в тот раз, когда вы меня обрабатывали, я этого не заметил,— сказал недоверчиво Кураев.— Помните? Ну, когда вы меня в своем кабинете пытались завербовать... стукача из меня сделать хотели!

— И как? Не прошел у меня этот номер?

— Будто сами не помните. Сейчас-то об этом легко и даже весело вспоминать, а тогда... Вы же мне всю жизнь могли испортить! Кто я был? Студент второго курса, а вы — чекист, капитан Черных... Как это там у вас? Холодная голова, чистые руки, горячее сердце... Так, что ли?

— Именно так,— радостно подтвердил Черных.— А у вас, я смотрю, память замечательная. Даже лозунг запомнили, что на стене у меня висел. Слева от портрета Дзержинского...

— Справа,— уточнил Кураев.

— Ну, это если от вас — справа, а если от меня, то слева,— и Черных рассмеялся.— Да-а, славно мы тогда с вами побеседовали... А ведь сто лет прошло!

— Ну, хоть не сто — двадцать,— снова уточнил Кураев, но Черных и тут оказался более точным.

— Девятнадцать,— сказал бывший чекист.— И как же вы так, лозунг на стене запомнили, а меня — забыли?

— Изменились вы сильно, гражданин капитан...

— Почему — гражданин? — удивился Черных.

— Какой же вы мне, извините, товарищ?

— А-а... Значит, вы так вопрос ставите? Что ж, резонно. Весьма резонно. Гусь свинье не товарищ... Но тут возникает еще вопрос: кто из нас гусь, а кто свинья?

— Выбирайте сами.

— Ну, конечно же, разумеется, я не гусь! — опять как-то радостно, словно желая угодить собеседнику, заявил Черных.— И гордиться мне нечем, совершенно нечем. Ведь я же пытался тогда, как вы справедливо заметили, сделать вас стукачом! Ишь, чего захотел! Чтобы вы, молодой художник, студент, умница, либерал, согласились бы доносить на своих товарищей... Помните?

— Такое не забывается,— сказал без улыбки Кураев.— Странно, кстати, на что вы тогда рассчитывали? Взять меня на испуг?

— А уж я и не помню. Кто его знает, на что я тогда рассчитывал... Я ведь в ту пору был ой какой несознательный,— мне дали задание, а я под козырек: слушаюсь, будет исполнено.

— А что, были такие, кто соглашался иа ваши предложения? — осторожно поинтересовался Кураев.

— Были, ох, были. И немало было патриотов, дорогой вы мой Леонид Николаевич, замечательный вы мой маэстро. К каждому свой ключик находился... почти к каждому.

— Почти,— подчеркнул Кураев.

— Да, почти. Кроме таких, разумеется, непреклонных гордецов, как вы.

Кураев задумался, мысленно окунулся в прошлое. Разбередил ему этот субъект душу, заставил припомнить те смутные годы. Кстати — зачем он сейчас-то приперся?

— А вы случайно меня не разыгрываете?— И Кураев глянул на него подозрительно.— Может, снова пришли по заданию?

— Да нет, я же сказал — меня выкинули из органов, и уже давно,— сказал Черных.— А пришел я устраиваться на работу в ваш кооператив. Почему вы такой недоверчивый? Доверять надо людям!

— И что же вы умеете делать?

— Так я ведь искусствовед!

— Не понял...

— Ну, вы же сами, интеллигенты, нас так называли... забыли разве?

— А, вы вон в каком смысле...— Кураев криво усмехнулся.— Тогда тем более — т а к и е искусствоведы нам не нужны.

— А экспедитор — нужен? А снабженец? А сторож?

— Нет.

— А телохранитель? — продолжал настаивать бывший чекист.— Не пренебрегайте, товарищ председатель, ой, не брезгуйте. Не забывайте о рэкетирах... Я как профессионал мог бы вам пригодиться. Не спешите отказывать, подумайте. Хорошенько подумайте!

Кураев пристально посмотрел на него, нахмурился.

— Вы уж сами — не рэкетир ли? Что-то больно настойчиво навязываетесь.

— Кто?.. Я — рэкетир? — Изумленный Черных даже рот приоткрыл.— А ведь гениальная идея... Ну, Кураев, спасибо за подсказку.

— У вас — все? — несколько раздраженно спросил тот. Гость начал ему надоедать, и он посмотрел на часы.— Вы меня извините, но...

— Значит, не гожусь?

— Вы пришли не по адресу. Ваши замечательные способности меня не соблазняют. Наш кооператив молодой, нам следует беречь свою репутацию...

— Значит, я могу запятнать?

— Вот именно.

И Кураев встал из-за стола, как бы давая понять засидевшемуся посетителю, что пора и честь знать.

Но Черных продолжал сидеть, он был странно задумчив и даже слегка печален, его губы чуть дрожали от обиды.

— А я ведь соврал, что ушел из органов по идейным соображениям...

— Мне это, извините, все равно,— перебил его Кураев.— Это ваши проблемы.

«Еще не хватало,— подумал он,— чтобы я начал жалеть пропащего чекиста... будто нету других забот!»

— Меня выгнали! — с обидой выкрикнул Черных.— Выкинули, как паршивую собаку!

— За пьянку небось?

— А вы как угадали? Ну, за пьянку. И не только. За грубость, за служебное несоответствие...

— Это все одно к одному,— заметил Кураев.— А причина одна — водка.

— Ишь, какой умный. Худо-о-ожник!.. От слова «худо»... А ты попробуй разберись, по-человечески... Ведь никто! Ни одна душа! Никто не хотел разобраться! Чистые руки, горячее сердце... все это и у меня было! Было! А вот холодную голову не сумел сохранить... И никто б не сумел! Никто! Хоть один бы спросил: почему я стал пить? Никто! Всем плевать!..

— Вы о чем?

— Моя баба ушла от меня, вот о чем!

— Когда?

— Давно. Тогда еще... с моим, между прочим, клиентом... тоже художник, вроде тебя... я же к нему был приставлен — а он мне, гад, рога наставил, бабу мою увел... У-у, суки! Из-за этого я и запил по-черному...

— Что ж, все ясно. Печальная история.

— Ничего тебе не ясно! Жизнь прахом пошла, все к черту, а он говорит: ясно...

— Что ж вы на меня-то сердитесь? Разве я виноват в ваших бедах?

И Кураев с тоской подумал: «Уходил бы скорей, что ли...».

— Выручай, брат,— прохрипел Черных.— Возьми меня в свой кооператив, не подведу! Буду верным псом! Клянусь...

— Извините, но...

— Не отказывай, брат, не спеши! Протяни руку помощи — пропадаю! Ведь ты гуманист... Гуманист же?

— Ну, допустим,— растерянно произнес Кураев.— Допустим, я гуманист... хотя — извините! — при чем тут вообще гуманизм?

Черных, который только что чуть ли не плакал, вдруг заговорщицки ухмыльнулся и подмигнул Кураеву:

— А за репутацию не бойся. Никто ведь не узнает... Ну, если, конечно, ты сам не скажешь — никто ж не узнает, что я — этот... искусствовед...

— А если скажу?

— Не скажешь... Не скажешь! Ты же гуманист... И потом, ты ведь тоже немножко замаран... разве не так? В нашей стране нельзя прожить сорок лет и остаться чистеньким... ведь правда же?

— Интересно, чем это я замаран?

И оба замолчали. Черных улыбался, но Кураев был хмур и строг. После паузы он повторил:

— Нет, вы мне объясните: чем я замаран, по-вашему? Что за намеки?

— А вы помните, Леонид Николаевич, что та встреча у нас с вами была не единственная?

— Вы о чем?

— Ну, я же к вам однажды и домой заходил — помните? Мамы вашей не было, никого посторонних тоже... и мы славно так побеседовали.

— Эк о чем вспомнил! Ну — заходили, ну и что? Сказка про белого бычка. Ведь зря же зашли-то, зря!

— Ну, не совсем зря...

— Как это — не совсем? — возмутился Кураев. — Я отлично помню — вы тогда все о том же вели разговор: чтоб я, значит, исполнил бы свой долг комсомольца и патриота, чтоб доказал свою лояльность и так далее... Но ведь зря же! Зря вы старались, капитан!

— Не совсем зря, — тихо повторил Черных. — Книжечку помните? Я у вас тогда книжку на полке обнаружил... помните?

— Какую книжку? А-а, самиздатскую, что ли? «Хронику текущих событий»? Ну, обнаружили. Ну и что?

— Да ничего, — спокойно сказал Черных. — Я вас тогда еще упрекнул в неосторожности — помните? А вы мне быстренько так ответили: «Не моя!» И тогда я спросил: «А чья же?» И вы благороднейше промолчали, не назвали мне имя хозяина...

— Вот видите. Не назвал же?

— Да, не назвали... Но я сам узнал: взял эту книжку в руки, раскрыл, а там, на форзаце, фамилия владельца. Этакий росчерк лихой!.. И фамилия мне знакомая... — Черных тихо рассмеялся, как бы вновь ностальгически переживая в душе ту давнюю, полузабытую ситуацию. — Очень вы мне тогда помогли, Кураев...

— Я — помог?! При чем тут я? Вы же сами обнаружили фамилию владельца!..

— Правильно — сам. И поделился с вами своим открытием — помните? — ну, а вы мне тогда ни словом не возразили... помните?

— Да что вы заладили! «Помните? Помните?» Помню, конечно... И что из того?

— Ничего особенного. Промолчали — и все. Не стали со мной спорить. Не стали разубеждать.

— Что проку спорить? С вами?!

— Тоже верно. Лучше промолчать. Молчание — знак согласия... Ась?

— Я молчу.

— Значит, опять соглашаетесь...

— С вами, что ли? Да что вы мелете? — возмутился Кураев.

А тот, словно не слыша, продолжал монотонно бубнить:

— ...и ушел я тогда от вас, прихватив ту крамольную книжицу, — с вашего, разумеется, молчаливого согласия — у меня ведь ордера на обыск не было! — а через три дня у хозяина той книжки был произведен обыск. И обыск небезрезультатный. Вот так-с.

Черных замолчал и с улыбкой уставился прямо в глаза Кураеву.

— Ну и что? — спросил тот, бледнея. — К чему все это? И при чем тут я? Ведь ни при чем же!

— Обыск был через т р и дня, после той нашей встречи, — сказал Черных и повторил: — Через т р и дня. Не в тот же день, не на следующий... через три дня. Через три.

— Ну и что?! — закричал Кураев, теряя самообладание. — Через три, через четыре! Я-то при чем?

— А при том, что ведь вы могли бы спокойненько предупредить своего друга, в тот же день могли бы предупредить... тыщу раз могли бы предупредить... — еле слышно произнес Черных. — А вы не предупредили. И что самое замечательное — я вас об этом даже не просил... Вы — сами. Сами. Проявили, так сказать, инициативу.

— Что за бред?! — взвизгнул Кураев. — Какая, к черту, инициатива? Да я пальцем не шевельнул, чтобы вам помочь!

— Совершенно верно, — кивнул Черных. — Пальцем не шевельнули и этим самым очень даже помогли. Хоть и с запозданием, но я выношу вам большущую благодарность, дорогой товарищ Кураев, от лица всех наших славных органов. Вы нас тогда так выручили — слов нет. Достойно выдержали испытание на гражданскую зрелость. И зря вы сейчас-то сердитесь. Ну, к чему эта ложная скромность? Вы, ей-Богу же, поступили как настоящий патриот!

— Он еще издевается... — простонал Кураев. — Ах ты, гнида... Морочит мне голову чепухой, отнимает драгоценное время и еще издевается, гад...

Черных тихонечко рассмеялся.

— Только без рук, — сказал он на всякий случай. — Я и сам уйду.

— Вали отсюда, — сказал Кураев. — Бич несчастный.

— Значит, не возьмешь на работу?

— Вали, кому говорят!

— А если я твоим нынешним дружкам расскажу обо всем? — вкрадчиво вдруг спросил Черных. — Ты только не думай, что за мной заржавеет. Я человек пропащий, я ради пакости могу что угодно ляпнуть. А тут ведь и врать не надо — скажу, как было... ну, может, привру чуток, приукрашу... ведь не станешь же ты оправдываться!

Кураев молчал. Он сжимал кулаки.

— Без рук, без рук, — повторил Черных, глядя на него с некоторой опаской. — Ты ведь умный, Кураев, ты трезвый. Ты же прекрасно понимаешь, что я могу всю твою репутацию в один миг замарать... Ну, чего молчишь?

Кураев смотрел на него с ненавистью.

— Ладно, — сказал он наконец. — Черт с тобой. Уговорил. Будешь у нас экспедитором. И сторожем заодно. Пиши заявление.

Черных радостно хлопнул себя ладонями по коленям — и засмеялся, закашлялся.

— Ты чего? — нахмурился Кураев.

— А ведь я пошутил! — задыхаясь от смеха, выговорил Искусствовед. — Пошутил я — понял? На хрен вы мне нужны с вашим сраным кооперативом!.. Пошутил я! А ты купился... Ловко я тебя раскачал, скажи — а? Всю твою душеньку либеральную растревожил, разворошил... Ведь так? Значит, есть еще порох в пороховницах, есть еще во мне хватка, есть! Рано меня из органов-то турнули... а? Рано! Ну, да что уж теперь... Теперь я вольная птица. Я свободу свою ни на что уж не променяю!..

Бледный Кураев медленно побагровел — теперь уже от гнева. Он хотел выругаться, обрушить на собеседника самые страшные и грязные слова, но смог лишь раскрыть рот — его словно парализовало.

Черных встал, прощально помахал ему ручкой и вышел вон из комнаты. А Кураев долго еще сидел неподвижно и смотрел не мигая на захлопнувшуюся дверь.

Красноярск

СУДНЫЙ ЧАС

* * *

Безумно страшно за Россию,
И обоснован этот страх:
Как обескровлен, обессилен
Колосс на глиняных ногах!..

Нет, жизнь свою отдать не страшно,
Но что изменится, скажи?
Стоит почти столетье башня
На море крови, реках лжи...

* * *

«Проезда нет. Впереди тупик!» —
Веселое объявленье...
Неужто правда, что мы, старик,
Проклятое поколенье?

Неужто правда, что жизнь свою
Напрасно сожгли жестоко
Одни — в ГУЛАГе, одни — в бою,
Другие — на дыбе шока.

О, боль прозренья! —
Кого винить?
Живем, как под вечной пыткой.
Одна надежда,
Что жизни нить
Гнилой уже стала ниткой.

Что нам недолго терпеть, старик, —
Кончается поколенье.
«Проезда нет. Впереди тупик!»

...Прищурившись, смотрит Ленин.

* * *

Декамерон был создан
Во времена чумы.
Пусть обжигает воздух,
Которым дышим мы.

Ну, кто там ноет снова?
Я верю, что права,
Когда ору сурово:
«Засучим рукава!»

Работа, лишь работа,
Возможно, и спасет
Народ, что так измотан,
Нелепый мой народ.

Не проклинайте воздух,
Которым дышим мы, —
Декамерон был создан
Во времена чумы.

* * *

Я не люблю
Распутывать узлы.
Я их рублю —
Ведь боль
Мгновенье длится.
Терпения покорные волы —
Не создана
Быть вашею возницей.

Нет, если надо —
Все перетерплю.
Но если впереди
Итог единый,
Одним ударом
Цепь перерублю
И в ночь уйду,
Держать стараясь спину.
Без лишних слов,
Не опуская глаз...

Но сколько раз сутулюсь,
Сколько раз!

Судный час

Покрывается сердце инеем —
Очень холодно в судный час...
А у вас глаза, как у инока,
Я таких не встречала глаз.

Ухожу, нету сил...
Лишь издали
(Все же крещеная!)
Помолюсь
За таких вот, как вы,
За избранных
Удержать над обрывом Русь.

Но боюсь, что и вы бессильны,
Потому не пугает смерть.
Как летит под откос Россия,
Не могу, не хочу смотреть...

* * *

Что мне «чернуха»? —
Видела чернее.
Что мне «порнуха»? —
Знаю все давно.
Пусть мальчик,
То краснея,
То бледнея
Глядит на это
Скверное кино.

И только жаль,
Что, может, не оценит
Он,
Выпив вседозволенности яд,
Как может
Обжигать прикосновенье,
Какую власть
Порой имеет взгляд...

* * *

Мир без тебя — пустыня.
Правда, в ней
Идет немало караванов пестрых.
И кто-то набивается мне в сестры,
А кто-то хочет брата быть родней.
Но нужной группы крови
В людях нет —
Той, что с моей
Сливалась столько лет...

* * *

Снова молодость в сердце бродит,
Словно ветер былых атак.
На чудовищном гололеде
Разгоню «Жигуленка» так,
Чтоб планету вдруг завертело —
Где шоссе, где небесный свод?
Чтобы стало душою тело,
А душа превратилась в лед.
Может, только в минуты эти
Отпускает тупая боль.
Забываю, что снова встретить
Не дано мне зарю с тобой.

* * *

Я попала в штопор
Со страною вместе.
Как случилось это,
Не пойму по чести.
Вместе воевали,
Вместе бедовали,
А теперь у Бога
Вместе мы в опале.
Руки заломила,
Губы закусила —
Если б что-то сделать
Я могла, Россия!

Илья Митрофанов

ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ

ПОВЕСТЬ

Есть определенная закономерность в том, как входят в литературу одаренные люди: не предваренные ничьими рекомендациями, звонками, не подкрепленные должностью, званиями, знакомствами, они приносят или присылают рукопись по почте, далеко не уверенные, что она не утонет в общем потоке.

Вот так и Илья Митрофанов принес свою повесть «Цыганское счастье», ее зарегистрировали, и он ушел ждать. Поверьте, это не самое легкое время, в такие моменты писатель мысленно прочитывает свою рукопись чужими глазами.

Я не буду предварять повесть «Цыганское счастье» никакими рекомендациями. Пусть и к читателю она придет так же, как пришла к нам. У Митрофанова есть несколько напечатанных рассказов, есть книга, а за свои сорок с небольшим он перепробовал множество профессий — и столяра, и винодела, и сварщика, и рыбака. Но именно этой повестью в литературу входит новый писатель, новое имя. Запомните его.

Григорий БАКЛАНОВ

О чем загрустил, молодой-красивый? Дай мне руку свою! Дай в глаза твои гляну! Ты — простой человек. Ты — рабочий. У тебя пальцы крепкие, смуглые. А есть белые. Мягкие есть. А удавят тебя и на мертвого плюнут. Я знаю. Я людей разных видела. Люди правды не любят. Правды боятся. Друг с дружкой целуются, а сердцами враждуют. Только скрывают вражду. Не признаются. А я вижу. Я все вижу. Я уже долго на свете живу. А не помню рождения своего. Дня не помню. Не знаю, в каком году родилась. Знаю, что мать моя хохлушкой была. В Липавне жила. Но не видела я свою мать. Ни разу не видела. Она родила меня и подбросила к нам на порог — так мне мачеха говорила. Отец посмотрел на меня и сказал: «Пусть живет». И стала я жить у отца в Карагмете. Там у отца дом был и кузня была. Кузнеца Тому Бужора все знали. Он отец мой был. Он красивый был. Гордый был. Я любила отца. У него свои дети были — Дюла, Бабали, Тереза, Лянка, Патрина. Я всем им чужая была. Я после всех ела, что оставалось. Братья и сестры со мной не играли. Я в кузне сидела. С самого малолетства сидела. Глаза закрою и, как в игольное ушко, вижу окошко закопченное и горн жаркий. Там жил огонь. Помню, как он ворчал по утрам, когда отец раздувал мехи, помню, как выбирался на волю синими змейками. Помню, как пахло углями и железом, и цвет помню железа — вишневый и красный-красный, как кровь...

Мне хорошо в кузне было. Отец вставал рано, стакан вина выпивал и работать шел, как на праздник.

Люди с утра отца ждали. Все знали кузнеца Тому Бужора. Все, кто жил по Дунаю, ехали к нам — русские и хохлы, молдаване и болгары — все. Дорога к нам, в Карагмет, шла по степи, по траве вдоль Дуная, и каждый к нам заворачивал, каждый отца уважал.

Я видела, как глаза у людей легким светом горели, видела, что каждому было приятно с отцом поздороваться. И он улыбался людям. Он от груди хорошей матери вырос. Он работу свою любил. По ковачи о гад мелало, анда кодя сы во бахтало[1]. Такой и он был. Лицо в саже, волосы черные ремешком перевязаны. Работал — с огнем разговаривал. Колеса железом обтягивал, лошадей ковал, сапы, ботала делал, грабли, кольца железные на ворота. Люди проезжие садились в кружок возле кузни, на отца глядели, и у каждого сердце радовалось. Магарыч ему ставили, деньги давали, а он не жадный был. Он не деньги любил, а работать на людях любил. Я смотрела, как он работает. Я жалела, что парнем не родилась на свет. Я бы ему помогала. Я бы горн по утрам разжигала, мехи качала. Я хотела, чтоб он хоть разочек на руки меня взял или ласковое слово сказал. Но слова лишние он не любил говорить. Только оглянется иной раз: рубашка мокрая на спине, глаза ясным жаром горят. «Мэй, Сабина! — крикнет.— Вина!..» Я со всех ног в хату бегу. Полный глечик вина принесу. Он выпьет, вытрется рукавом, трубку набьет и сядет с людьми возле кузни. Радость была для меня, когда он доверял мне трубку свою раскурить. Чуяло мое сердце — любил он меня. Только гордость его не позволяла меня приласкать. А я старалась. Я во всем старалась ему услужить. Раз, помню, проснулся он утром. Зима была, холодно было, ветер колючий со снегом был. А он с вечера выпил — люди его угостили,— проснулся, кричит: «Мэй! Тàйкэ![2] Хочу холодной воды с Дуная...» Братья и сестры мои не хотели идти. А я побежала. Холодно было. Лед под ногами трещал. Я по льду босиком, как по углям горячим бежала. К Дунаю бежала. Воды отцу принесла. Попил он. Удивился: «Мэй! Наша кровь! — говорит.— На́ кожух — грейся...» И улыбнулся. Мне улыбнулся. А я замерзла, я сильно замерзла, а счастливой была. И не надо мне было счастья другого. Только чтоб так и дальше жилось. Чтоб всю жизнь так жилось.

Но счастье, как солнечный лучик, его не поймаешь, в ладанку не зашьешь.

Не долго работал в кузне отец. Когда листья желтые на акации стали, пришли к нам во двор гажё[3]. Двое их было. «Где хозяин? — спросили.— Где кузнец, Тома Бужор?» А отец в тот день не работал. Он по праздникам не работал. Большой праздник был. Бàро фòро[4] была в Ахиллее. Отец вернулся из Ахиллеи и спал. Гажё его разбудили и говорят:

«Мы — Советская власть. Будешь для колхоза работать».

Отец стал работать. Бороны ему ломаные привезли, косы, вилы и грабли — все, что отняли у людей. И лошадей к нему привели ковать.

Железа во дворе стало больше, а людей меньше. Никто теперь не сидел у кузни. Никто магарыч не ставил отцу. Лошади стали ничьи. Бороны тоже ничьи. Сердце у людей за них не болело.

---

[1] На кузнеце рубашка грязная, потому он счастливый. (Здесь и далее язык цыган кэлдэрарей-котельщиков — этнической группы, проживающей в придунайском крае.)
[2] Ласковое обращение к детям.
[3] Человек, не цыган.
[4] Большая ярмарка.

Отцу не понравилась такая работа. Он любил, чтобы все видели, как он стучит молотком и с железом горячим шепотом разговаривает. Ему скучно стало. День поработает, два на ярмарке. Еще один гажё во двор к нам пришел. Бирэво[1]. Маленький, кривоногий, ложка души в нем. А злой как огонь. Бумагу отцу показал.

«Медленно ты работаешь, Тома Бужор! — закричал.— Малая производительность от тебя!»

Отец слушал, ножиком прутик строгал. Потом голову поднял:

«Мандар ханцы,— сказал,— катар о дел майбут!»[2]

Ночью кузню поджег. До утра кузня горела. А к обеду гажё приехали на железной машине. Военные гажё приехали. Схватили отца. Только он никого не боялся. Он сказал:

«Дайте мне одеться, люди добрые...» Рубаху надел белую, красный пояс надел, сапоги надел. Гажё под руки его взяли, но отец оттолкнул их.

«Я не пьяный! — сказал.— Я сам выйду...»

Вышел во двор, песню запел. Нашу песню запел. «Анде'к свынто» запел. Голосом звонким, веселым голосом, с радостью в сердце запел. Ногой притопнул, пыль поднял сапогами. Соседи собрались, глядели. Гажё глядели. А отец притопывал сапогами, белым соколом ходил вокруг них. Отец никого не боялся. Он пел нашу песню:

Анде'к свынто дес куркэхко!
Эта Пэтро бияндиля!
Во чи барел сар барёлпе!
Сар кэ анда ле васт тинзолпе...[3]

Я стояла во дворе. Я не понимала: почему он поет? Я не знала, куда его повезут. Только когда увидела, как гажё к машине железной его подтолкнули, крикнула:

«Та́тэ! Тàтэ!»

Отец оглянулся. На соседей глянул, на солнце вольное глянул.

«Люди! Помните дядю Тому! — крикнул.— Живите, как соль с хлебом!»

Вот что сказал. Последними были эти слова. Не видела я его больше. Никогда с того дня больше не видела.

Жизнь моя стала плохая. От мачехи стала плохая. Отец был, она боялась отца и мое сердце не мучила. Отца увезли — стала мучить. Плохо мне стало от мачехи. Га́на мачеху звали. Красивая тоже была. Но сердцем не стоила и двух луковиц. Злая сердцем была. А зло в человеке, что уголь горячий. Ты в себе его носишь, а он твою душу сожгет. С другим цыганом начала жить. Он к нам пришел. Ничего с собой не имел. Ни накрыться, ни подстелиться. Один кнут имел. Ва́со звали его. Днями лежал на кровати. Мух кнутом бил. Меня бил, братьев, сестер, мачеху бил. Протянет кнутом и смеется. С первого дня как пришел, сказал нам:

«Идите шукайте гроши. Чтоб вечером десять сталинов в хате было от каждого...»

Сталины на земле не валяются. Пока один рваный достанешь, сто раз душа умрет и воскреснет.

---

[1] Староста, начальник.
[2] От меня мало, от Бога возьмите больше!
[3] В святой день воскресный!
Вот родился Пэтро!
Он рос не как все,
А будто из рук тянулся...

Я на базар ходила. Базар в Карагмете меньше ладони. Два продавца, один покупатель. Спрятаться негде. Дыню, яблоко, брынзы кусок схвачу и до хаты бегом.

Ловили меня. Били. Я больше женщин-торговок боялась. Женщины сильней били, чем мужики. Волосы рвали. Терпела. Надо было что-нибудь домой принести. Там Васо с кнутом сидел. Братья и сестры мои — Дюла, Бабали, Тереза, Лянка — были старше меня. Они в Тучков ездили, в Аккерман и в Одессу. Они сталины привозили. Неделю побудут, а больше чем десять от каждого Васо везли. А я не умела. В хату зайдут. Васо сидит, семечки лущит. И Гана с ним вместе. Вижу, за кнут взялся.

«Ну,— спрашивает,— где твои сталины?»

«Найкэ! [1] Не бей меня, найкэ. Не было мне удачи. Не бей!» — Прошу...

А Васо посмеивался:

«Что ты у меня просишь? Ты у гажей проси...» — И выгонял за порог.

Ночь во дворе. Куда мне пойти? В кузнице ночевала. Был там один закуток. Не обгорелый почти. Одеяло нашла дырявое, закутаюсь и дрожу до утра. Никто меня в хату не звал. А была охота — шла в Ахиллею. Может, удачу найду. Семь километров до Ахиллеи. Вечер, ночь, иду, ни о чем не думаю. В окнах свет горит. Там тепло. Там гажё живут. Сталины пересчитывают. А может, гуляют. Жалко было себя. Люди мимо идут. Все нарядные. В кино идут и на танцы. И я себе думаю. Вот вырасту, богатого встречу. За всю свою неудачу с Васо рассчитаюсь.

Осенью, помню, вот так же шла.

Человек мне навстречу. Военный. Я военных очень боялась. С того дня боялась, когда они к нам во двор на железной машине приехали. Много стало военных в нашем крае. Как воро́ны слетелись со всего света. Все начальники, всюду их власть. И этот тоже. В черной шинели. Фуражка со звездочкой. На ноги мои посмотрел.

«Девочка! — спрашивает.— Тебе не холодно босиком? Ты ведь простудишься...»

Никто у меня никогда не спрашивал: холодно мне или нет. Наоборот — смеялись. Или гадости вслед говорили. Люди такие. Злей собак люди. Собака укусит. А человек живьем съест.

А этот — нет. Не смеялся. У этого душа была схожа с голосом. Глядит на меня. Лицом пожилой. И усатый. Чудные усы. Только под носом, а на губе во́лос не рос. За руку меня взял. Рука теплая.

«Тебя как зовут?»

«Сабина».

«Сабина, Сабина...— И снова на ноги мои посмотрел.— Не-ет! Так не годится. Идем-ка ко мне. Придумаем что-нибудь...»

«Не пойду!» — говорю ему.

Не хотела и вправду идти. Я ученой уже была. Один тоже к себе позвал. Хлеба дал. А потом начал ко мне приставать. Мне было противно. Старый старик был, губы слюнявые. Лицо ему расцарапала, убежала. А у этого что на душе? Еще раз глянула на него. Нет, думаю, этот не будет ко мне приставать. Почуяла, что не будет.

Пошла за ним, как собачка. А думка была — убежать. Боялась. А он и не чувствовал, что я боюсь. Идет, расспрашивает меня, где я живу, кто мои мать и отец. Остановился, глянул в глаза мои.

«Странно... Ты на цыганку не очень похожа...»

Я и сама знаю, что не очень. А только что ж теперь делать?

«Долго еще идти?» — спрашиваю.

[1] Почтительное обращение к мужчине, старшему по возрасту.

«Вот, рядышком...»

У Дуная он жил. Там у берега военные катера стояли и электростанция. А чуть подальше домик под черепицей. В калитку вошли. Он улыбнулся.

«Что? Оробела? — И крикнул в коридор: — Нина! А у нас гости...»

Вышла Нина, жена его. На лицо не старая, только бледная очень. Будто солнца всю жизнь не видала. В платок шерстяной куталась.

«Ниночка! — военный сказал.— У нас нет ничего на ноги? Озябла девчонка...»

«Что ты так поздно, Витя? — спросила жена и на меня посмотрела, будто ждала, что я приду. Улыбнулась. Грустно так улыбнулась: — Ну? Проходи...»

Мне легко стало на сердце. Когда люди тебе улыбаются — жить легче. Принесли мне ботинки, носки синие. Померила я. Большие были ботинки.

«Ничего, зато теперь не озябнешь...» — сказала хозяйка. В комнату меня привела. Лампа настольная на столе стояла. Тепло было.

«Спасибо вам,— говорю.— Спасибо, люди вы добрые...» И руку дяде Вите поцеловала. Он обиделся. Руку отдернул.

«Ну-ну. Это не надо...»

Мне тоже неловко стало. Мне сказать им хотелось что-то, ласковое что-то хотелось сказать. А что? Не знаю.

«Хотите я вам погадаю?»

Переглянулись.

«Ну что ж, попробуй...» — Дядя Витя руку мне протянул.

Чудно мне стало. Лицом пожилой, а рука не рабочая, подушечки на ладони мягкие, ногти круглые. Детская рука была у него.

«Душа у вас добрая,— говорю.— Много горя вы видели в жизни. Много сердце ваше перетерпело. Много людей разных видели, городов видели. И здесь на новом месте живете. Раньше вы в большом городе жили. В большом доме жили. Сынок у вас был. Но жил совсем мало...»

Договорить не успела. Жена за сердце схватилась.

«Господи...» — И села рядышком.

Дядя Витя заволновался:

«Ниночка, Ниночка, успокойся...»

«Я не волнуюсь, Витя.— И на меня взглянула.— Удивительно... В таком возрасте...»

«Да, удивительно,— кивнул дядя Витя и на ладонь свою глянул: — Неужели все в этих линиях? Как ты сумела все угадать?»

«Да вот,— говорю.— Вот, видите? Здесь бугорок, а здесь черточка с крестиком. Это детская смерть. Это горе большое...»

А самой жалко их стало. Неловко мне перед ними стало. Потом сколько другим людям гадала — неловкости уже не было. А перед этими было неловко. Взрослые вы люди, подумала, а умом — дети малые. Легко обмануть вас. Разве в линии на руке дело? Глаза нужно иметь. Я только в комнату к ним вошла — все увидала. Жизнь человека в предметах: прошлая, настоящая, будущая — вся, без остатка. Нужно только глядеть хорошо. Скромно у них было в комнате: стол, стулья и шкаф с книгами у стены. Лампа настольная шкаф освещала. И фотографию за стеклом. На фотографии Нина — жена дяди Вити, с мальчиком, а позади дом с этажами. Старая фотография, с обломанным краем, видно, ее в кармане носили. Голоса детского в комнате не было слышно, детских вещей я тоже не увидала. Как тут не догадаться? Хотелось сказать им, как догадалась. Но не сказала. Душу людям нельзя открывать до конца. Если откроешь — не будут тебя уважать люди. «По линиям,— говорю,— догадалась...» Жена дяди Вити на ме-

ня посмотрела: «Все правильно, девочка...» — И головой покачала. Папиросу закурила. Потом уже рассказала, что жили они раньше в большом-большом городе. Немцы этот город со всех сторон окружили. И стали людей морить голодом. А тетя Нина на войне была, врачом там работала. В городе ее мать осталась и сын Славик. Там они и умерли. А когда война кончилась, дядю Витю направили к нам, на Дунай, в Ахиллею моряками командовать. Я об этом позже узнала. А в тот вечер мне стало неловко, что они загрустили.

«Давайте я вам на будущее погадаю!» — им говорю.

«Нет, нет, не надо.— Тетя Нина погладила мои волосы, улыбнулась мужу: — Хороши мы с тобой, Витя! К нам гостья пришла, а мы даже чаем ее не напоили...»

На стол собрала. Чего там не было на столе! Чего и в мыслях не было. Печенье было, шоколад был, рыбка копченая в баночке. Я такой еды никогда не видела. Тетя Нина мне чаю налила, сахару три куска положила, печенье поближе подвинула.

«Ешь! — сказала.— Ешь, не стесняйся...»

Я начала есть. Я голодной была. А они рядышком сели и глядят, как я ем.

Тетя Нина спросила:

«А тебе сколько лет, Сабина?»

Я и сама точно не знала, сколько. Я свою жизнь мерила так. Когда гажё военные в наш край пришли и отца моего забрали, мне было лет пять, наверное. А сейчас?

«Сейчас, может быть, десять...» — говорю им.

Тетя Нина переглянулась с дядей Витей, на меня внимательно посмотрела и пальцы начала загибать.

«В сорок четвертом, значит, тебе было пять лет... Сейчас пятидесятый... Да, сходится! Почти сходится...»

«А в школу ты ходишь?» — спросил дядя Витя.

«Нет, не хожу...»

«И читать не умеешь?»

«Нет. Я сталины считать умею...»

«Сталины? — переспросили. И переглянулись: — А что такое «сталины»?»

Чудные люди. Бог мой, чудные.

«Сталины — это деньги советские. Раньше были румынские леи. А теперь — сталины...»

Тетя Нина от папиросы закашлялась, на дверь оглянулась.

«Господи,— прошептала.— Не говори так. Не надо так говорить...»

Очень она испугалась. Дядя Витя ее успокоил.

«Ничего,— сказал.— Она больше не будет так говорить...» И меня по голове погладил.

«Приходи к нам, Сабина,— сказал.— Приходи... Научим тебя читать...»

Стала я к ним ходить. Сладкое это было время. Самое сладкое в моей жизни. Сладко и вспомнить. Приду вечерком, а у них тепло, тихо. Тетя Нина мне мыло дала. Я голову вымыла. У меня воши были. И одежду дала. Кофту и юбку суконную. Я причесалась. Она говорит:

«Сабина! Ты очень красивая девочка».

Я не знала, что ей ответить. Мне уже говорили, что я красивая. На улице говорили, на базаре, но с гадостью говорили. А чтоб так, от души и сердца,— так не было. Я это запомнила. Но о себе я не думала, что я красивая. Я этого еще не понимала тогда. Мне только было

приятно, что я тете Нине нравлюсь. Она на меня во все глаза глядела. Не знала, как услужить. Только приду, а у нее на столе чай горячий. Чай они всегда пили. Такая у советских привычка. У нас за стол без стакана вина не сядут, а у них — без чая. Белую скатерть на стол расстелит, угощает меня. Много разной еды у них было. Дядя Витя домой приносил. Хлеб приносил белый, банки с тушенкой, галеты — печенье такое, как камень твердое, а по вкусу, как дрожжи сухие. Шоколад тоже носил.

Хорошо они жили. Тетя Нина нигде не работала. У нее здоровье слабое было. Даст мне поесть, а сама сядет рядышком, папиросы курит и кашляет. Тепло, холодно — в платок куталась. И чай с папиросами пила.

«Ты ешь, ешь, Сабина,— меня уговаривала.— Поешь, и начнем заниматься...»

Читать меня научила. Книга у них была. «Славика книга» — так тетя Нина ее называла. Толстая, с картинками. Про Робинзона и Пятницу. Как они оба на острове жили. По этой книге я и училась. Всю я ее прочитала. Подписи под картинками до сих пор помню. На одной человек в лодке с ружьем нарисован, а в воде голова. Снизу написано: «ЕСЛИ ТЫ ПРИБЛИЗИШЬСЯ К ШЛЮПКЕ, Я ПУЩУ ТЕБЕ ПУЛЮ В ЛОБ». На другой картинке двое на корабле стоят. Взрослый и мальчик. И подпись внизу: «НУ ЧТО, ДРУЖОК! ПРОШЛИ ТВОИ РЕБЯЧЕСКИЕ СТРАХИ?» И еще, еще одна мне запомнилась. Робинзон за столом сидит. На голове качула[1] молдавская, сам в куртке овечьей мехом наверх. На плече попугай сидит, а рядом собака и кошка. И подпись внизу: «ДАЖЕ САМЫЙ СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК УЛЫБНЕТСЯ, УВИДЕВ МЕНЯ В КРУГУ МОЕГО СЕМЕЙСТВА».

Много было таких картинок и подписей много. А эти я до сих пор помню. Я быстро азбуку схватывала. Тетя Нина говорила, что у меня память хорошая зрительная. Я и сама это знала. С детства, как на базар ходить стала, память была. Попробуй забудь, что вчера у этой тетки кусок брынзы с прилавка взяла, она тебе быстро напомнит, когда за волосы схватит.

Дядя Витя домой вечером придет. И с порога:

«Ну, как успехи?»

Я и начну по складам читать. Он был очень доволен. Усы свои двумя пальцами гладил:

«Тебе надо учиться, Сабина. Хочешь в школу?»

У нас в роду никто не учился. Братья и сестры мои уже переросли для ученья. А мне хотелось учиться. Я видела, как ахиллейские дети утром в школу шли. Девочки с цветами и в белых фартуках. Мне тоже хотелось носить белый фартук.

«Ну, хочешь в школу, Сабина?» — еще раз спросил дядя Витя.

«Хочу,— ответила я.— Только Ва́со не пустит...»

«Ничего. Я с ним потолкую...»

Думала, в шутку сказал. Не верила, что он к нам в Карагмет за семь километров придет. Не знала, что у него есть машина. Приехал. Через три ночи приехал. А лучше б не приезжал.

Я дома была. С мачехой из Тараклии вернулась. Нас там в милицию забрали, все сталины отняли, сутки держали, потом отпустили. Мы пустые пришли. Васо был злой. Очень злой. Мачехе руки связал. Во двор за веревку вывел. Сам посредине стал, а ее со связанными руками по кругу, как лошадь, начал кнутом гонять. Долго гонял. Она упала. Васо все платье кнутом ей порвал. Уморился. Мачеха в хату

[1] Островерхая овечья шапка.

еле вползла. Я на кровати сидела. Ждала, пока отдохнет Васо и меня бить начнет. Боялась глаза на него поднять.

Мачеха пить попросила. Я встать хотела. Услышала, как машина подъехала. Васо кнут под подушку спрятал, вышел во двор. Я не знала, что это дядя Витя приехал. Не знала, о чем они говорили с Васо. Только услышала, как хлопнула дверь. Васо в хату вошел. Кнут из-под подушки достал. И на моей шее петлей затянул.

«Учиться хочешь? — крикнул.— На! На!»

Ногами бил. Я голову спрятала, чтоб по лицу не попал. Вижу, он отошел от меня. Устал. Вина выпил. До вечера пил. Вечером мачехе крикнул:

«Ложись на кровать!» — Он любил так. Побьет ее до крови, а потом с ней ложился.

Мачеха не могла встать. Васо ее сильно побил. Еще раз ударил. На меня поглядел. Глаза красные. Зверь. Хуже зверя. Поднял меня на руки, на кровать бросил. Юбку порвал, кофту порвал. Лег на меня...

Я утопиться хотела. Васо связал мои руки и ноги. Не выпускал из хаты. Три дня я в хате сидела. Думала, ум потеряю. Душа мое тело оставила. Сердце мое как камень стало. Хотела ножом себе вены порезать. Убить Васо хотела. Он ко мне подошел, руки мне развязал. Я в лицо его плюнула. «Убью,— говорю.— Все равно убью!» Он кнут схватил. Замахнулся, но не ударил. Сел за стол, вина выпил. Ничего не сказал мне. Молчал. Больше меня с той ночи не трогал. И бить перестал. А мне все равно сделалось. Я как каменная сделалась. Сердцем, душой — каменная. Ни о чем не думала. Как во сне жила. Только зло у меня осталось на дядю Витю. Зачем он приехал к нам? Зачем я к ним ходила? Не буду ходить. Никогда я к ним не пойду...

Осенью ярмарки начались. Мы с мачехой в Аккерман поехали. Я не люблю ярмарки. На ярмарках нервы железные надо иметь. Людей много. У каждого глаза сбоку.

Мы делали так. Мачеха на судьбу гадала. А я рядом стояла. Мачеха лучше меня людей чуяла. Я ошибалась. А она — никогда. Стоит, никого к себе не зовет. Глазом кинет. И как на нитке подтянет гусыню, что пожирней. Много таких. С виду — модная, глаза крашеные — ни в Бога, ни в черта не верит. А приглядеться — овца нестриженая. Мачеха ее за руку возьмет. И пошла сладким голосом про любовь ворожить. Гусыни всегда про любовь слушать любили. У самой восемь складок на животе, два подбородка. А нагадай ей горячего, молодого и чтобы в доме казенном работал, и чтобы дачу имел и машину имел. Дуры! Дуры! И сталины ваши дурные, не жалко забрать. И самих вас не жалко. Стоят, рот намазанный свой раззявят. Смыть штукатурку — кто на вас глянет? Какой молодой, горячий?

Стою себе сбоку. Кошелек увидала — хвать и в сторонку. Мачехе отдавала. Себе ни копейки не брала. Мачеха видела, как Васо со мной в ту ночь лежал. Еще больше меня ненавидеть стала. Ревновала ко мне. В жухлое место меня посылала — в уборные на вокзале. Я ходила. Я шапки снимала, сумочки резала. Не попалась ни разу. Ничего не боялась. Перестала бояться. Мне после той ночи — все равно стало. Как будто что умерло у меня, не родившись. Холодная стала. Всех насквозь видеть стала. Человека любого — насквозь. Я про себя знаю и про любого скажу: у каждого в жизни есть свой запас удачи. Сперва ты на этом запасе живешь, как по Дунаю плывешь. Запас кончится — опыт приходит. А опыт — разбитая голова.

Мачехе очень хотелось, чтобы я попалась, чтобы меня убили.

Радовалась, когда я ей сталины приносила, и злилась. Я это заметила.

«Что ты мне зла желаешь? — ей говорю.— Тебя саму скоро зло ссушит. Ты всю жизнь меня ненавидела. Ты сдохнешь, я на твою могилу плюну...»

А она мне в ответ:

«Зачем говоришь так? Я тебе свою душу отдала...»

«Ты? Душу? Я в кузне ночами спала... Я голодная днями ходила... Я знаю, что я не твоя дочь, но я в этом не виновата. Я с тобой под одной крышей жила, а доброго слова от тебя не слыхала. Злая твоя душа! На том свете покоя тебе не будет...»

«Ты что? Ты что мне желаешь?» — она говорит. И за волосы меня схватила. Но я ее не испугалась.

«Я тебя ночью за горло схвачу...» — говорю.

Она свои руки укоротила. Как к равной ко мне относиться стала. Учила меня. Ласковая была. Но я ее в душу к себе не пускала. Я знала: волчица ягненком не станет. Злая она была. Где б мы ни были, она мне похуже давала работу. На братьев, сестер моих у ней сердце осталось. Они на вокзале паслись. У моряков тряпки скупали. Носки моряки привозили из Австрии. В клеточку, красную, синюю, желтую. Долго не рвались. Носки, перец, иголки для примусов сестры и братья в Одессе толкали. А меня на свалку всегда посылали, когда ярмарок не было. У Васо хабарь знакомый был. Он кости брал, тряпки брал. Он иголки за них давал, нитки давал, карты давал...

Я любила на свалку ходить. В Ахиллее большая свалка за городом. Там я душой отдыхала. Там я одна была. Никто там меня не трогал. На свалку любой-каждый иди. Только не каждый ходит. Люди брезгуют. Люди думают — там зараза. А заразы на свалке не больше, чем в душе человека. От людей свалки пошли. От их жизни, богатой и бедной.

Много там было добра. Тряпки, кости. Я их в отдельный мешок клала. Раз даже кофточку шерстяную нашла и куклу нашла. У меня никогда куклы не было. Я ее спрятала у себя в закутке, за кузней. Игралась. У меня уже грудь росла, а я хотела в куклы играть. Хорошая была кукла. Гипсовая голова, только затылок отколот. Я ей платок надела на голову, и стало не видно. Думала, еще что-то найду. Много всего было на свалке. Но новые вещи встречались редко — чаще старые: постолы рваные, качулы, сопревшие кожи овечьи, кукуруза гнилая, кости обглоданные, может быть, лошадиные, а может, коровьи, старые башмаки, туфли на каблуках, только не парные, а по одной, будто их одноногие носили, и тряпья много детского было, но рваное. А однажды я череп нашла без носа и без ушей, кожа к костям присохла, а волосы целые. Черные волосы. Я испугалась, убежать хотела, но мне очень пластинки понравились. Куча пластинок с черепом рядом лежала. С виду квадратные, как фотокарточки, только черные. На одной люди сидят. На другой буквы печатные. Я читала и тоже запомнила. Не наши слова. Не цыганские. Не русские. И не молдавские. Но я запомнила.

! ЙИКСТЕВОС — ИНЗИЖ ЗАРБО — было написано.

! АДУРТ ЫПМЕТ ТУТСАР

! МОДОРАН МИКСТЕВОС С ЕТСЕМВ

Что означали эти слова? Для чего их писали на этих пластинках? Я так и не знаю. Хабарь пластинки не брал. Ничего за них не давал. Ни иголки, ни нитки. Лучше пуговицу было найти или копыто на гребешок. Гребешки очень в цене были — воши чесать. Но копыта редко я находила. Только старые вещи, тряпье — выкрасить и выбросить.

Весны ждала. Весной люди много выбрасывали. Каждый хотел весной жизнь свою с нового начать. Думала — ничего до весны не найду. Но была у меня удача. Рина[1] нашла. Пятнадцать рина. В горшочке разбитом лежали. Я Васо их отнесла. Он увидел — глаза загорелись. «Бахтяса! Бахтяса!»[2] — закричал. И по хате забегал. Рина забрал. Мне сталины дал. Вина выпил. Мачехе дал вина. «Анда тиро састимос!»[3] — кричал. Танцевать стал. Веселый стал.

Я сталины посчитала. Десять больших бумажек. Много. Платье себе в Ахиллее купила. Лифчик купила. Все шелковое. Я шелковое люблю. Голову вымыла. Причесалась. Хорошо мне стало. Пошла в Ахиллею. Кино смотрела. Мороженое себе купила. А вечером к дяде Вите пошла.

Я и раньше пойти к ним хотела. А мой стыд не пускал. Я пыкылимос[4] себя считала. От Васо я пыкылимос стала. Не могла к ним пойти. Боялась, что они почуют, что я пыкылимос. Я злилась на них. А почему злилась? Они добрые были люди. И дядя Витя, и тетя Нина. У них тепло, хорошо в доме было. Зачем я на них злилась за свое горе? Зачем так душа Богом дана — на доброе зло держать? Пойду к ним. Надо пойти. У меня платье новое. Розы на черном. И туфли себе я купила, и карпетки белые. Они меня не узнают. Я уже взрослая стала. Тетя Нина обрадуется. «Какая ты,— скажет,— Сабина, красивая!» Голос ее вспомнила. И как на крыльях душа поднялась. Гостинцев купила. Тете Нине папирос. Она «Беломор» курила. Дяде Вите два платка носовых. Иду по улице. Люди на меня оборачиваются. Я уже знала, что красивая. Только не думала о себе. Я об одном думала. Вот сейчас я приду. Вот переулок, а вот сейчас электростанция будет. И причал с флагом. И катера военные на Дунае.

Катеров на Дунае не было. И моряков не было.

Я к домику подошла. Навстречу курица. Волосы рыжие на железках, руки в тесте.

«Ты зачем калитку открыла? — мне крикнула.— Что там в кульке у тебя?»

Мне стало обидно.

«Не морщь губы! — ей отвечаю.— Красивой не будешь! Где дядя Витя?»

«Какой дядя Витя?»

«Военный, тут жил...»

«Нету их! Уехали! — раскричалась.— И чтоб сто лет не было! Две комнаты на двоих занимали...»

«А куда уехали?» — спрашиваю.

«Не знаю и знать не желаю...»

Муж курицы на крыльцо вышел. Худой, лысый. Глядит на меня, лыбится.

«Что ты уставился на нее? — закричала хозяйка. И мне: — А ты иди, иди подобру-поздорову...» Калитку за мной закрыла и гадость вдогонку сказала. Я камень с земли подняла, хотела в нее запустить, чтоб голова ее железная пополам раскололась. Но связываться не захотелось. Не было у меня настроения связываться. Ночь на душе моей сделалась. Ругала себя. Почему я к дяде Вите не пришла раньше? Куда они уехали? Где они сейчас живут? Они добрые были. Очень добрые. Добрых людей сосчитать — пальцев на одной руке хватит. А я к ним не приходила. Тетя Нина меня кормила. Я Славика книгу читала. Я помню картинки и подписи помню. Я способная. Мне

---

[1] Старинные серебряные монеты.
[2] Счастье! Счастье!
[3] За твое здоровье!
[4] Опоганенной.

надо было учиться. А теперь — поздно. Прошло мое время. Теперь я взрослая стала. Так я считала.

Но по думке моей жизнь не сошлась. Прижимать нас стали. Раньше, как отца моего гажё забрали, нас только раз в год трогали. Милиция приходила, вели нас в Ахиллею. Бумажки давали. В доме культуры ящик красный стоял. Мы эти бумажки в ящик бросали. И нас отпускали. А теперь сильно прижали. Летом пришли опять. Переписали нас всех в тетрадку — Васо, мачеху, братьев моих и сестер. Они с нами не жили. Они уже были сами по своей воле. Бабали женился, с Терезой и Лянкой в Одессе паслись. Все равно всех переписали. Девушка русская переписывала. А с ней гажё был. В шляпе и галстуке. Важный такой.

«Чтоб первого сентября,— наказал,— как штык были в школе!»

Васо с начальником ласковый был. Умел языком из комара жеребца сделать. Поклонился начальнику:

«Мэй! Мэй! Мэй! Бирэво! Зачем цыгану школа? Цыгану воля надо».

Осерчал начальник. Девушка русская за ворота вышла, а он остался, за рубаху Васо схватил. Крепко схватил — здоровья много имел.

«Ты! Хомут безлошадный! — тихо сказал,— если будешь болтать, я тебе волю устрою... С небом в клеточку!»

Пошла я учиться. Бабали, Тереза, Лянка, Дюла, Патрина — все отбрехались. Они и без школы в золоте были. Приедут вечером к нам, в Карагмет, барана привезут, вина магазинного, костер за кузней большой разведут, всю ночь песни поют, про свою вольную жизнь хвастаются, золотом своим хвастаются. И надо мной смеются: «Ты, Сабина, большим бирэво́ станешь! Ты за гажё замуж пойдешь... Патив тукэ, Сабина! Сыяс, Сабина!»[1] И я с ними пила. А свое думала. Я думала, что я не такая, как они. Я думала, золото — это не главное.

Я стала учиться. Мне стыдно было в первые дни в школе. На меня мужчины смотрели, когда я по улице шла, а меня в первый класс посадили. Я сказала, что умею читать. Мне дали книгу. Только не Славика книгу, что я читала у тети Нины,— другую. Картинки детские и подписи детские: МАША ЕЛА КАШУ. МАМА МЫЛА МАШУ. Я прочитала и меня в пятый класс посадили. Сначала было интересно. Потом скучно стало. Так скучно — слов найти не могу. Сижу на уроке, в окно гляжу. Сижу, думаю. Зачем я сижу здесь? Читать я умею. Где «Хлеб» написано — знаю. Где «Мясо» — учую по запаху. И арифметики мне не надо. Я сталины и так посчитаю. Они большие сталины были. Без дробей делились. Зачем люди учатся? Что можно узнать из книг? «Родную речь» мне дали. Я ее всю прочитала. Это не наша речь — это книжная речь. Ее учителя выдумали. Я учителей терпеть не могла. По географии Наталья Степановна нас учила. Одеколоном мазалась, ногти лаком красила. Все на меня глазами косила. Волосы мои один раз потрогала на перемене. «Чистый каштан,— говорит.— Ты их подкрашиваешь, Сабина?» — «Ага! — отвечаю.— Как на свет родилась — подкрашивать стала...» Гляжу — она губы надула: «Ты много себе позволяешь...» А что я себе позволила? Нечего мне больше делать — волосы красить. Я ей правду сказала — я такая родилась. Села за парту, а Наталья Степановна указку взяла и пошла по карте реки, моря показывать. Меня к доске вызвала. «Покажи нам, Бужор,— говорит,— столицу нашей Родины...»

---

[1] Почтение тебе, Сабина! Будем здоровы, Сабина!

Я стала искать, а найти не могла. Дунай нашла, а столицу найти не могу.

«Ты не там ищешь, Бужор! — Наталья Степановна говорит.— Надо выше искать...»

«Почему выше? Мы на Дунае живем. Наша столица—Ахиллея...»

Все засмеялись. Наталья Степановна на меня в один глаз посмотрела и головой покачала:

«Не пойму. Ты — дура, Бужор? Или придуриваешься?»

Сама ты, думаю, дура лаковая. Хоть ведро одеколона на себя вылей, а молодой не станешь. Но промолчала. Она отличника к доске вызвала. Был такой у нее любимчик, Алешка Хлебников. Глист плавневой с прилизанным чубчиком. На первой парте сидел. В рот учителям заглядывал. Подошел он к доске, указку у меня выхватил и пошел тарабанить: «Столица нашей великой Родины, Союза Советских Социалистических Республик — город Москва!» — Вызубрил, подлиза слюнявый.

«Повтори, Бужор,— Наталья Степановна говорит.— А ты садись, садись, Лешенька... Ну? Повторить ты, надеюсь, сможешь?»

«Не буду я повторять,— отвечаю.— Это в «Родной речи» столица — Москва. А я в Москве не была ни разу. Для меня Ахиллея — столица!»

Весь класс — гы-гы-гы! Мне обидно стало. Всех бы убила.

«Что скалитесь? — говорю.— Кто из вас был в Москве? У кого там мать, отец, братья, сестры? Что вы «Родной речи» верите? Свою голову надо иметь! Ты,— кричу Сенчурову Мишке.— Ты на Дунае родился. И тятьку я твоего знаю. Он рыбаком в колхозе работает. А ты, молдаван васильевский? — Брынзарею Петьке кричу.— Ты в Москве был? Ты дальше виноградника никуда не ездил! Все мы на этой земле родились. Где наша Ахиллея на карте? Где про нашу землю в «Родной речи» написано? Я про нашу землю сперва прочитать хочу!»

Наталья Степановна как мел белая стала. Кулаки стиснула.

«Это что ты себе позволяешь? — спрашивает.— Это же агитация против Советской власти!»

И повела меня в учительскую, к завучу.

Тоже конь с яйцами был. Его «Сухомлинским» учителя меж собой называли. А фамилия у него была Заваруха Виктор Аркадьевич. Он по черчению у нас был. Про города будущего любил рассказывать. Встанет посреди класса, глаза на лоб закатит и пошел соловьем петь:

«Дети! Вы — фаза человека новой формации! Вы все будете жить в городах будущего! Вы — наша надежда! Вы — лепестки подсолнуха! Вы тянетесь к свету знаний. Вы все равны...»

Слушаешь его и тошно становится. Как это понимать — все равны? Дети — не лепестки от подсолнуха. Из них взрослые вырастают — один вороной, второй воробьем. Каждый свою стаю ищет. Слабым будешь — заклюют. Сильным будешь — выживешь. А он — «лепестки»! Все у него равны. Мне — двойки ставил, а Лешке Хлебникову — пятерки. Тятька Лешкин на рыбзаводе начальником цеха работал. Заварухе селедку-дунайку носил. Вот тебе и «лепестки».

Словами что хочешь можно сказать. Любил говорить Заваруха. Себя самого любил. Сам был худой, как стручок от акации. Волосы из-за ушей на лысину начесывал. Цокает на каблуках по коридору, где окно, зеркало — в себя смотрелся. Меня увидит и на грудь мою глазом, как кот мартовский, жмурится. Вспоминать тошно.

Привела меня Наталья Степановна в учительскую, говорит:

«Вот, Виктор Аркадьевич! Полюбуйтесь на эту агитаторшу!»

Заваруха галстучек свой одернул, лысину спрятал под волосы и Наталье Степановне:

«Оставьте нас. Я с ней тэт на тэт поговорю».— На дверь оглянулся, впился глазами в грудь мою, аж слюни, гляжу, потекли. Начал со мной «тэт на тэт» разговаривать:

«Я тебе вот что скажу, Сабина. Ты замашки свои цыганские брось!»

Смотрю на него, лысину сквозь волосы вижу. Кожа на лысине шелушится. Он кремом ее мазал, думал, волосы гуще станут.

«А какие у меня замашки цыганские? — спрашиваю.— Я на уроке не гадаю, а вам погадать могу...»

«Ладно, ладно! Оставь эти фокусы!» — И снова на дверь оглянулся.

«Что оставь? — спрашиваю.— Что, Виктор Аркадьевич? — А сама улыбнулась и к нему ближе подсела.— Гляньте в мои глаза,— говорю.— Я вашу душу вижу. Я знаю, о чем вы думаете. Вы сладкого хотите. Правда? Вы сладкое любите...»

Он галстучек свой ослабил, задышал, как загнанный.

«Ты, ты... Как ты со мной разговариваешь?»

«Успокойся, родной, успокойся, хороший,— я отвечаю.— В глаза мне гляди. В глаза. Не стучи копытами...»

Подхватился он, как снизу подшмаленный. Губы в нитку стянул. Злой, как черт, сделался. Дай ему кнут — по глазам стеганет — город будущего сразу увидишь. «Ты! Ты! Спасибо скажи, что у меня постановление... Иначе... С глаз... Уйди с моих глаз...»

«Ухожу, мой родной. Ухожу, мой хороший...»

Выйду. Смешно мне и грустно. Люди вы люди. Как вас легко разгадать. Без географии и черчения. В кулаке он моем, этот Виктор Аркадьевич. Боится меня. Потому что я чувствую, что он хочет. Мигнуть только, разочек мигнуть...

Но не хотела я. Нет, не хотела. Не любила я их. Смеялась. Над Мензуркой тоже смеялась. Она по химии была. Ложка души в ней. Чему ты, думаю, меня научишь? А тоже учила. В класс войдет. «Берем пробирку,— говорит,— наливаем кислоты. Выливаем. Остается белый осадок...» Ой! Горе луковое, думаю. На хлеб себе этот осадок намажь, вместо масла. А то сама ты, как из пробирки, плюнуть и то жалко: чулки перекручены, кофта такая, что я на свалке лучше видала. А глянет — и в глазах кислота. Тоже к доске меня вызывала. Таблицу повесит и голосом ржавым:

«Покажи нам, Бужор, медь, серебро и золото...»

Ищу по таблице. Черта найти легче, чем золото. Оно не в таблице, а у людей на пальцах, в ушах, в сундуках.

«Не знаю я, где искать!» — говорю.

Мензурка вздохнет и на меня с обидой:

«Ты почему к занятиям не готовишься, Бужор?»

«Да зачем готовиться? — отвечаю.— Все равно это золото из таблицы в карман не положишь...»

Весь класс — гы-гы-гы! А Мензурка свое.

«Олечка! Иди покажи ей!»

Тоже была любимица у нее — Олька Елская, Фоки мясника дочка. Под партой пирожки прятала. Выйдет к доске — щеки в масле. Указку возьмет. А Мензурка ее руку — раз! — и в нужную клеточку.

«Все правильно, Олечка! Аурум — золото. Садись. Пять...»

«За что вы ей пятерку поставили? — спрашиваю.— Я все видела: вы указку ей в клетку толкнули!»

«Садись, садись, Бужор! — Мензурка мне как ни в чем не бывало.— Готовиться лучше надо...»

«Готовься сама! Может, чулки себе купишь на это золото из таблицы...»

Надулась, гляжу, как индюшка старая.

«Как ты смеешь так со мной разговаривать? Ты с учителем разговариваешь!»

«А что? Неправду сказала? Думаешь, я не знаю, почему ты пятерку Ольке поставила? Боишься, что Фока мяса тебе не оставит. И Яшке Вайсману тоже пятерки ставишь. А он без тетрадок пришел. А ставишь, ставишь! Его тятька зубы твои на ремонт взял. Открой рот! Открой! Покажи свои зубы!»

Мензурке хоть плюй в глаза — стучит пробирками, осадок сливает.

«Удивительная наглость,— сама себе шепчет.— Удивительная!»

Ну и удивляйся, думаю, на здоровье. А я пойду чистым воздухом подышу. А то от твоей кислоты голова разболелась.

Выйду во двор и к Дунаю иду. Осенью хорошо у Дуная. Осенью много печали в воздухе. Осенью душа улететь просится. Сяду под ивой у самого берега, камушки в воду бросаю. Есть захочу, на базар пойду. Много там дураков неученых обтирало прилавки: было чем поживиться. Дыню у них попрошу в долг до завтра. Сяду за церквой, ем. Вижу — идут мои сосунки-одноклассники, с сумками. Отучились, думаю. Учитесь, учитесь — дураками подохнете.

«Сабина! Дай кусок дыни!» — кричат.

«Облизнетесь!» — я им в ответ.

«Цыганка! Ворожка!»

«На куриной ножке!» — мелюзга начинала дразниться.

Догоню и, кого постарше, за волосы оттягаю, ума коленкой под зад вложу. Алешке Хлебникову под глаз фонарь подвесила. Он пожаловался. Наталья Степановна мне приказ: «Без отца в школу не приходи!» Ага! Было б сказано — забыть можно. Спешит и падает Васо в школу идти...

«Он в командировку поехал в Чимишлию,— говорю,— шкуры овечьи у молдаваней скупать. Через полгода вернется, ваш приказ передам».

Домой приду. Неделю в школу не хожу. Сама себя на каникулы отпускала. Скучно мне было.

Одно только я любила. Когда праздники были. Это я очень любила. Новый год любила. На Новый год елка в школе была. Я никогда елки не видела. У нас ее никогда не было. А в школе была. Высокая. До потолка. И с игрушками. Сначала концерт был. Хор пел. Я в хор не ходила. Я не любила под палочку петь.

«Октябрь — наше знамя! Октябрь — наше солнце!» — пели.

Какой октябрь? Бог мой! Новый год! Елка! Эх, щявале! Кровь в мое сердце ударила! Выбежала на сцену, в ладони — хлоп! Ногой — топ! Плечами повела. И пошла, как умела:

Нани чачу, нани чачу!
Со до рома ракирна-а-а!
Киди ей ман на камэла!
Вавирэнца ей дживэла-а-а! [1]

Я хорошо спела. И мне хлопали. Все хлопали. Только грамоты не дали. Всем, кто в хоре пел,— дали. А мне — нет. Заваруха сказал, что

[1] Не правда, не правда,
Что говорят цыгане
Будто она меня больше не любит,
С другими будто живет...

песня моя не по программе. Ну и не надо! Я от сердца спела, а не для программы. Понравилось вам? Ну и мне радость.

Концерт кончился, танцы начались. Свет потушили в зале. Шар стеклянный под потолком крутился. Красивый шар из стекла и кусочков зеркала. И елкой пахло. Так хорошо пахло. Меня десятиклассник танцевать пригласил, Юрка Вязовский. Он меня где увидит, так и ест глазами. А мне он не нравился. Лицо прыщавое, руки потные, а глаза, как у собаки побитой. Но сам себя высоко ставил — голову вверх держал. Стихи свои читал на концерте. Я их не запомнила — длинные. Одним словом все можно было сказать: «Спасибо, партия, за Новый год». И в газету Вязовский стихи писал. В коридоре газета висела. Пришибленный он был, этот Юрка. Увидит, что нет никого, подойдет к газете и шепотом: «Поэт Юрий Вязовский. Я — поэт, Юрий Вязовский... Стихи поэта Юрия Вязовского...» И пошел шепотом свои стихи повторять. Тоже про партию: «Прошла весна, настало лето, спасибо, партия, за это...» И дальше там было: «Партия — наш рулевой! Будем мы вместе с тобой». На каждом плакате в Ахиллее такие стихи. Мозги сушить не надо — успевай переписывать...

Пригласил он меня на танец и начал на ухо шептать: «Сабина! Дивное имя, Сабина! Дитя... Дитя природы дикой...» — «Ой! Смех! Я дитя? Ты очень взрослый!» Он глаза закатил: «Это образно! Это я образно!» — И начал стихи мне свои шептать. Сперва про цыганку-молдаванку, что убирала виноград. А потом про всех цыганей, как они шумною толпою по Бессарабии кочуют.

«Ты это сам сочинил?» — спрашиваю.

«Сам,— вздохнул Юрка.— Нравится?»

«Нет, не нравится!»

«Почему?»

«Потому что неправду ты сочинил,— отвечаю.— Где ты видел, чтоб цыгане у нас кочевали, да еще шумной толпой? Сейчас на каждого цыгана по милиционеру».

Юрка на меня поглядел, как старый на малого глядит.

«Эх, Сабина! Ничего ты не понимаешь».— А сам еще ближе ко мне прижался и пошел про траву и луга на ухо шептать.

Мне смешно стало. Горе ты луковое, думаю.

На улицу после танцев вышли, вцепился в меня, целоваться полез. Думал, со мной можно по-всякому.

Дала ему по морде. Аж самой жалко стало, так сильно ударила. Ничего, будет знать...

Но не обидно мне. Не думаю я об этом. Нет. Приятно. Все равно мне приятно про Новый год вспомнить. Игрушки на елке красивые были. И все танцевали. И лица у всех были не такие, как в будний день видишь. В будний день на гажё скучно смотреть. Гажё на нас не похожи. У гажё кровь медленней в жилах течет. Они, взять любого, как сонные мухи. Они сами в себе потерянные. Глянь на лица! На базаре, на улице — все как мешком пыльным прихлопнутые. Отчего? Что есть в этой жизни страшного? Что людям в этой жизни надо? Немножко здоровья надо. Немножко покушать надо и выйти в красивом на улицу. А что? Что еще? Ничего больше нет в жизни другого. Но гажё этого не понимают. Они и одеты красиво, и здоровье имеют, и кушать имеют что, а глянешь на них — жалко их. Они жизни не чуют. Солнца не чуют. Ветра весеннего. И только, когда праздник был, только на Новый год, когда шар из стекла крутился,— все мы были похожими. Все танцевали под одну песню. Я эту песню запомнила: «Шел парень по улице...» называлась. И еще, еще одна там была очень модная: «Ночь настала, все в доме уснули. Только кошка не спит...» Я эту песню пела. Со школы домой шла — пела и танцевала. Дорога до Карагмета одна. Я одна. Дунай ветром дышит, в камыше

ветер ночует. Ветер, ветер, пою, подними меня к небу, ветер! Подними мою душу, самую близкую к сердцу душу. У меня много душ, у меня много лиц. Есть плохая я, есть хитрая, есть тебя обману и любого другого. Есть я грязная, всякая есть, самая-самая, грязная. Есть с обидой, такой обидой, что горло могу перегрызть. На людей, на торговок обида за то, что били меня, когда я хотела есть, на мачеху у меня обида за то, что не вспомнила обо мне, когда я ночью за кузней мерзла. На Васо большая обида за то, что меня пыкылимос сделал. А только скажу, в самое сердце тебе скажу — горе тебе, если будешь обидой жить. Горе, большое горе всякому человеку, если у него главной души нет. Самая чистая должна еще быть у человека душа. Чистая как колодец в степи. И чтоб он, когда ему трудно станет, заглянул в этот колодец, напился и дальше пошел, дальше легче будет — я знаю. Знаю, есть у тебя этот колодец, и у меня есть на самом донышке сердца. Там тепло. Я сама там живу, там угольки в кузне горят, там отец мой, Тома Бужор, накрывает меня кожухом, когда я воды ему принесла из Дуная. Там вся моя прошлая жизнь. И отца моего, и отца твоего, и всех нас, всех, кто в Бессарабии родились, и давно умерли — в горе, в заботах, в холоде, в темноте, всех, всех. И я это вижу. Я там, в прошлом, люблю бывать. Я царевной себя вижу. Вижу шатер. Ночь. Дунай под луной, костры горят. Кони пасутся, люди сидят у костров, песни поют. А я старшая. Я царица. Я сижу у шатра в черном платье. Я покой стерегу. Всей вортэчии[1] покой. И меня все слушают. Все знают, что я, Сабина Бужор, царевна над ними. Я бирэво в вортэчии. Я строгая, но справедливая. Кто что умеет делать, люди мои? Ты гадаешь? Гадай. Ты кузнец, ты огонь в кузне держи. А ты? Ты что с кнутом без лошади ходишь? Вино ходишь пьешь? Тебя плеткой надо побить. Иди — к гажё. Иди! Пусть у нас будет мир, пусть работают люди. Пусть у нас дети рождаются на вольном просторе. А я буду за всеми смотреть. У меня один глаз в темноте, второй — на солнце. Я весь мир вижу. Весь мир чую. Ветер! Солнце! Вы меня слышите?

Голову подниму — не царица я, и нет моей вортэчии. День будний. Дунай за дорогой к морю бежит. А я иду по горячей земле, и нет на мне черного платья, я в школьной форме иду. Не новая форма, носили ее — хабарь продал за два сталина. Иду, не пою, не танцую. Все мои мысли, вся чистая я, там в далекой душе, глубоко, глубоко, в колодце степном...

Куда я иду? В школу? Из школы? Праздники кончились. Не хочу я туда идти. Не хочу я видеть учителей. Ничего я от них о жизни своей не узнаю. Не хочу я арифметику и химию слушать.

На кого я учусь? На кого я там выучусь? Веришь, веришь? Ни разу не думала — кем я стану. Наталья Степановна всем бумажки раздала. Все написали, что инженерами, химиками, летчиками и врачами станут. А я не писала.

Я им сказала: «Я хочу стать царицей над всеми!» И они надо мной смеялись. Я жалела, что так сказала. Я домой шла. Я думала. Никем я стать не хотела. Я сама уже есть. Я с рожденья самой была. Я хочу меж людями ходить. Вот школу окончу, пойду...

Не судьба мне была окончить. Нет, не судьба...

Урок физкультуры был. Я не пошла. Сказала, что формы спортивной нет. А форма была у меня. Я не хотела ее надевать. Я уже взрослой была. Учитель по физкультуре, Семен Тимофеевич, показывал мне, как «ножницами» в высоту прыгать. А сам за грудь меня щупал. Мне было противно. Он старый был, и жена у него в старших

[1] Товарищество.

классах учительницей была. Я ему говорю: «Не надо мне ваши «ножницы»!» И не стала ходить. И в тот день не пошла.

Физкультура окончилась, Олька Елская вбежала в класс, в парту полезла. Я думала — за пирожками. У нее в парте много еды было. Смотрю, побледнела и закричала:

«Где мои сережки? Я их сняла! Я их в парту положила!»

Заплакала. И все на меня посмотрели. Яшка Вайсман, Хлебников Лешка — все как один. Я никогда в школе ничего не брала. Могла бы, а не хотела. Гляжу на Ольку Елскую. Дура ты, думаю. Кто сережки под парту прячет? У нее с камешком красным сережки были. У нее одной на весь класс. Ходила и хвасталась.

«Ты не плачь,— говорю.— Твой отец мясом торгует, он тебе еще купит. Что уставилась? Не брала я твоих сережек...»

«Нет! Ты взяла,— Олька в ответ.— Ты, ты, цыганка, воровка!»

«Я воровка? Я?» — схватила ее за волосы. Учителя помешали. Слетелись как мухи. Мензурка, Наталья Степановна, завуч, Виктор Аркадьевич Заваруха. И все на меня уставились.

Виктор Аркадьевич говорит:

«Спокойно, спокойно, товарищи! Все улики против тебя, Бужор...»

«Наплевать мне на ваши улики! — я говорю.— Не брала я сережек...»

«А мы сейчас проведем дознание! — Заваруха в ответ.— Идем-ка в учительскую...»

«Пожалуйста! Хоть в учительскую, хоть куда. А сережек я не брала».

В учительскую меня привели. Виктор Аркадьевич с Натальей Степановной вышли за дверь. А Мензурка осталась.

«А ну, раздевайся!»—мне говорит.

Глянула я на нее — глазам и ушам своим не поверила. Ах ты, осадок в пробирке. Раздеваться перед тобой? Нет! К столбу меня привяжите за волосы. Кнутом по глазам стегайте. А раздеваться не буду. Пошла к двери. А Мензурка за мной.

«Постой, милая!»

«Лошади скажешь: постой!» — Оттолкнула ее. Она в угол, где карты висели, упала. Платье задралось. Трусы я увидела — длинные, байковые. Смешно стало. Акации во дворе расцветали, а она в байковых трусах ходит. Смех, смех...

Я к двери подбежала — на ключ была дверь закрыта. Я в окно выпрыгнула. Прибежала домой.

Через ночь и полдня отец Ольки Елской к нам пришел, Васо пожаловался. Васо из Чимишлии приехал. Магарыч с молдаванами пил. Пьяный приехал.

«Мэй, мэй, мэй! — говорит.— Сабина! Отдай гажё сережки! Я тебе сам лучше куплю!»

«Не брала я сережки! Не брала!»

Васо ударил меня кнутом. Он боялся меня. Но перед отцом Ольки Елской хотел показать, что не боится. Я злая сделалась. Кнут сломала, в лицо Васо бросила. Ушла со двора. Он меня сильно ударил. Но мне не было больно. Мне обидно было. За что они так со мной? Почему они мне не поверили? Не я одна не была на физкультуре. Портняга Сашка не был. Курил в классе. Сипаткин Володька не был. По партам бегал. Почему им ничего не сказали? Почему одну меня в учительскую повели? Что, у меня тавро на лбу? Не брала я сережек. Бог мне свидетель...

На ахиллейском вокзале всю ночь просидела. Есть захотела. Пощипала одну гусыню. Она рядом пшено носом клевала. Сталины в

платочке за пазухой у ней были. Не хотела я брать их. Я как в школу пошла, столько случаев было взять, а не брала. Я в школе другой стать хотела. Я думала, что я другая, не как мои братья и сестры. А теперь все равно стало.

Тридцать сталинов было в платочке гусыни. Я их проела. Днем ходила по улицам. Ночью на барже спала. Баржа пустая стояла на берегу. Когда дождь был, я спала на барже. Когда было сухо — там не уснешь. Крысы всю ночь бегали. Мне было страшно. Но в Карагмет возвращаться мне не хотелось. Никого я там не боялась, ни мачехи, ни Васо. А жить не хотелось с ними. Душу под камнем держать не хотелось. Жила в Ахиллее. Ночь пересплю, утром шла на вокзал. Жизнь, сам знаешь, какая — день поешь, день голодной ходишь. Но запас удачи был у меня. В милицию не попала ни разу.

Осенью стало плохо. Осенью я на вокзал перестала ходить. Мне такая жизнь не нравилась. Для себя жить — скучно жить. Я хотела в Одессу поехать. Там мой брат, Бабали, шмутки у моряков покупал, на привозе толкал. Сталинов много имел. В Карагмет приезжал, говорил: «Послушай, Сабина! В Одессе зимой и летом навар...» Я хотела поехать в Одессу. Но только не в зиму. Летом можно в одном платье ходить. А зимой много вещей на себе носишь. Зимой человек старее, чем летом... Я до весны хотела дожить. Долго ждать было. Ой, как долго. На улицах ветер уже гулял, в лужах вода замерзала. Я по улице шла на вокзал, есть очень хотелось. Запах хлеба почуяла. Пошла на запах, один переулок, второй — вышла к пекарне. Гляжу, объявление на заборе:

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ.

Может, меня возьмут, думаю. Я в контору пошла. Там Два Степана сидел. Так его называли. Он штаны на ремне носил, а на брюхе подтяжки. Толстый был очень. Глаза красные, как у свиньи недорезанной, а брови, ресницы — белые. Тоже сладкое очень любил. Я только вошла, он меня всю глазами ощупал. Обрадовался:

«Кто к нам пришел? К нам булочка с маком пришла!»

«Ага! — отвечаю.— А в середке с изюмом...»

«Да? — спросил Два Степана. За руку меня взял — ладонь, как мясо сырое: — Приятно, приятно... С изюмом я очень люблю...»

«А больше ты ничего не любишь? — спрашиваю.— Я работать пришла...»

Он еще больше обрадовался:

«Какой сюрприз! Давай паспорт».

«Паспорта нет...»

«Ладно. Свидетельство о рождении принесешь. Оформим. А пока иди в ночь...— И губы свои облизал: — В виде исключения...»

Я пошла в ночь. Тяжело было. А платили мало. Сталины поменялись на хрущевы. На две недели их не хватало. Я на вокзале могла бы за час больше взять, чем на пекарне за месяц. Но не хотелось мне на вокзал идти. Душа моя, та, что к сердцу поближе, меня не пускала. Мне до весны дожить надо было. Я нервы свои сохранить хотела. Буду работать, себе говорю. И работала.

Хлеб только запах приятный имеет. А выпекать его — руки отвалятся. Я поддоны тягала, формы тягала. Жарко было. Дотерплю до весны, думала. В Одессу поеду. Я еще молодая рвать свои жилы. Одна я там и была молодая. Все, кто работал со мной, давно уже в жизни своей, как с ярмарки, домой возвращались. Со мной в смене двое было таких. Ветеран и тетя Паша Гречиха. Я их терпеть не могла. Паша все время спала. Минута свободная, легла в закутке и мешком накрылась. А Ветеран — тот не спал, языком чесал. И все пустое. Послушаешь — снег во дворе, а у него кони траву едят. Любил языком чесать. Формы с тестом на «градус» в печку положим, он сядет на стульчик и начнет вспоминать, как он в войну пекарем воевал. Не война — ярмарка. В Венгрии он мадьярок щупал. В Румынии — вино пил ведрами. А из Австрии пальто на обезьяннем меху привез и часы золотые...

Я не слушала. Сидела в сторонке, в окно глядела. Ветеран не давал покоя.

«Что приуныла, Сабина? — спрашивал.— Ты не падай духом — падай брюхом!» — И гы-гы-гы!

Я не стерпела.

«Что скалишься, конь старый?»

Ветеран Пашу Гречиху в бок толкал.

«Слышь, Пашуня? А я еще конь! Да-а-а! Борозды не попорчу при случае...» — И снова — гы-гы-гы!

Паша Гречиха отмахивалась:

«Сиди-и-и! Конь! Мерин ты актированный. Что под ухом гудишь? Чуешь, горелым тянет?»

«Сожрут и горелый! — посмеивался Ветеран.— Помню, в Австрии...»

Но мы не слушали. Мы с тетей Пашей «амбразуру» откроем — точно, горелым тянет.

«Ты куда смотрел? Куда?» — тетя Паша кричала.

А Ветерану было хоть бы что.

«Не горюй, Пашуня! Ночная выпечка — не калач с маком. Поставим ее раком...— И мне подмигивал.— Верно я говорю, Сабина?»

«Отстань от меня, языкатый!»

«Не обижайсь, красотуля! Жизнь на свете скука, а без слова мука. Ты погадай мне лучше. Что меня в жизни ждет?»

«Тюрьма тебя ждет!»

Ветеран уже не шутил, обижался.

«Ты не каркай, не каркай!»

«А что мне каркать? — я ему говорю.— Ты сколько масла до хаты своей унес?»

«Кто унес? Ты видала?»

«Видала. Что испугался? Не бойсь, никому не скажу...»

Кому говорить?

Я думала раньше — на пекарне только мука и дрожжи, ну соль еще. А там все, что голодному не приснится, было. Масло было, орехи грецкие, орехи маленькие, сироп спиртовый в стеклянных банках стоял, яйца, изюм, мак рассыпной, сахар — все было. И все это добро они по хатам своим тянули. Как куры при мельнице жили. И Ветеран, и Паша Гречиха, и Два Степана. Я даже не знала, что гажё могут такими быть. Я про себя думала, я о всех нас, щявале, думала. Все нас за воров считают. Пусть так считают. Мы воровали, и я воровала. Но я всегда знала, что я ворую. Меня с детства мачеха воровать научила. Я украду. Пусть поймают меня. Я отпираться не буду. А они крали — не сознавались. Они на доске висели. Ветеран, Паша Гречиха. Под стеклом висели. «Победители соревнования» — было написано на доске сверху. А снизу: «Ветераны труда». За рупь двадцать не купишь их. Собрания очень любили. Ветеран на пиджак медали цеплял. За Венгрию, где он мадьярок щупал. За Румынию, где он вино ведрами пил, и Австрию, откуда пальто и часы золотые привез. Два Степана тоже пиджак с галстуком надевал. Сидел за столом, шеей вертел. И их рядом с собой сажал. «Проголосуем, товарищи, за наш актив,— говорил, и Ветерану по имени-отчеству: — Слово имеет Семен Петрович...»

Ветеран вставал и начинал читать по бумажке чужим голосом:

«Я предлагаю, товарищи, взять повышенные обязательства! Наша продукция всегда на столе у народа! Приложим усилия, чтобы она была в лучшем виде...»

Ага! В лучшем... Знал бы народ, что у него на столе. Хоть в простом хлебе, хоть в сдобной выпечке. Мы верту́ты[1] пекли, булочки тоже пекли, и никто из народа с проверкой не приходил. Только начальники иногда. Два Степана их сиропом спиртовым поил. Они в цех даже не заходили. А в цеху на стене цифры висели: сколько масла положено в тесто, сколько яиц. Я цифры запомнила. На чан двадцать килограмм масла надо было положить. А они и пять не клали.

Смена начнется, Паша Гречиха говорит Ветерану:

«Петрович! Надо процентовку закладывать...»

Ветеран масла ящик в цех принесет. Вместе с Пашей на куски проволокой это масло нарежут — кусок в чан, по два куска себе.

«Сабина! Давай формы неси!..» — кричит Ветеран. А сам на двери поглядывает. Знал по часам, когда Два Степана должен прийти.

Приходил.

«Добрый вечер, товарищи. Как у вас с процентовкой?»

«В норме, Степан Степанович! Мы пекаря фронтовые»,— хвастался Ветеран. А сам уже мешком пустым свою сумку обкутал и сверху уселся.

«В норме, значит? — переспрашивал Два Степана.— Проверим.— На палец тесто возьмет, на язык попробует, губы сморщит.— Да-а, норма соблюдена...» И пошел на свой склад себе «процентовку» резать. Сумка у него была, как два чемодана. Набьет полную и несет в свой «Москвич». Багажник закроет, а до дому до хаты не ехал. Ночь, день — на пекарне пасся. Паша Гречиха его жалела.

«Вы б отдохнули, Степан Степанович...»

«Нет, Паша! — вздыхал Два Степана.— Не могу. Домой приду, лягу спать, а сердце мое тут, с вами...»

Крепкое сердце имел. С утра сиропа спиртового из банок стеклянных пил. Лицо как бурак красным станет, глаза сплющит, пыхтит меж лотков, как кот сытый. Только работать мешает. Мне в цеху жарко было. Я ночью на воздух выйду. И он сбоку.

«Что, булочка, отдыхаешь? — И на небо кивал: — Глянь! Ваше солнышко светит. Ух, ух, как глазки блестят! Сколько живу, таких поджаристых глазок не видел...— Сядет рядышком, шею, лицо платком вытирает.— Душно,— жаловался.— Как душно...»

Мне смешно и жалко было его.

«Ты б, Степан Степаныч, поменьше кушал, не будет душно».

«Язычок у тебя. Язычо-ок! — жмурился в потемках Два Степана и хлопал себя по животу ладонью, как по бочке полной.— Что? Не нравлюсь, что толстый? Эге-е-е! Ничего ты не понимаешь. Хорошего человека должно быть всегда много... А? Слышишь, ягодка? — Ко мне наклонялся — по́том от него тянуло, перегаром тянуло. Дышал, несчастный, как сом из воды, а туда же: — Дай я тебя поцелую в щечку, дай, булочка ты моя...»

Тошно мне становилось. Провалился бы ты совсем, чтоб не видеть только.

Оттолкну его от себя. Чую в спину уже другой голос. Как на собрании:

«Я бы тебе не советовал так с начальством обращаться. Ты кто? Ты без паспорта. Ты даже не штатная единица. На птичьих правах. Ты — есть. Но тебя нету. Так что давай по-хорошему...— И снова ко мне лез, снова шептал замороченным голосом: — Идем до меня в кабинет... Погадаешь мне на судьбу и разлуку... Идем, моя булочка

[1] Калачи (мест.).

сладкая... Не ломайся... С начальством надо жить тихо-мирно... А? Правильно я говорю?» — И губы свои слюнявые к моему уху тянул.

«Уйди от меня! — кричу.— Убери свои руки...»

Вырвусь. И в цех. На глазах у Паши Гречихи и Ветерана он из себя начальника строил, меня не трогал.

Работаю, хлеб на лотки складываю. Есть не хочу. Тошно мне от запаха этого хлеба.

Выйду под утро на зорьку. Стою замученная. Жалко себя. Одна я. Одна. И под луной, и под солнцем. Вон оно, уже всходит над крышами. Вон, люди в окнах. В тепле и в покое. Свое счастье за стенами прячут. Каждый свое. Сердце сожму. Зубы стисну. Бог мой! Ветер, тучи! Быстрее бегите по небу. Дайте мне до весны дожить. До тепла, до акации майской. Я на поезд сяду, в Одессу поеду! К морю поеду! Куда глаза мои смотрят поеду...

Не уехала. Бо̀гдана встретила. Бо̀гдана полюбила. Не думала раньше, что смогу полюбить. Не знала, что есть на свете любовь. Когда меня пьяный Васо пыкылимос сделал, я мертвая душой стала. Старой старухой стала. Умом жила — сердце, как ветка надломленная, было. Все видела, все понимала, слова разные слушала про любовь, когда ко мне приставали, а только словам не верила. Я ту ночь вспоминала, я знала, что за словами дальше будет, и тошно мне было. Трудно мне было. Все мне слова про любовь говорили. Молодые и старые, холостые, женатые — всякие. Я по улице пройти не могла. Мне вслед языками чмокали. Я себя в зеркало видела. Я волосы свои видела, и глаза, и кожу трогала, но забывала свое лицо. Мне больше обиды было, чем радости. Другие девушки — русские, молдаванки, хохлушки, не лучше меня были, и на них смотрели мужчины. Но не так смотрели. Их красоту уважали, их в кино приглашали, цветы им дарили, а мне гадости говорили. Я думала, что это так потому, что я видом цыганка. Я и другие наряды носила, юбку по моде носила, и кофточка у меня была заграничная. А только они все равно гадости говорили. Что у меня в лице есть такое, что мне можно гадости говорить? Чем я хуже молдаванок, хохлушек и русских?

Люди, люди! Молодые, старые, женатые и холостые — все про меня плохое думали.

А Бо̀гдан — нет. Бо̀гдан был не такой. Он мне как солнце горячее душу согрел. Сердце мое согрел. Я снова на свет родилась. Я все плохое, все гадкое от людей позабыла.

Не приставал он ко мне — нет. Он на пекарню по делу пришел. Два Степана его позвал. Я работала в день и увидела его из окна. Со спины сначала увидела. Он высокий был. В плаще был и в шляпе. Таких шляп никто не носил. Черная, поля широкие. Два Степана руками размахивал. Говорил что-то. А Бо́гдан молчал, слушал. Он был как чужой, совсем чужой на пекарне. Он только слушал. Потом обернулся. Меня не увидел. На окна глянул. Один только раз глянул, а сердце мое, как уголек, загорелось. Бог мой! Бог! Что это? Что есть любовь? Когда слова говорят? Когда тебя за руку берут? Цветы дарят? Нет, нет! Любовь — это один взгляд, и твое сердце в огне. Пусть, пусть мое сердце сгорит, только чтобы он всю жизнь на меня глядел.

Один, один только раз на меня он глянул, а я про себя забыла. Мне Паша Гречиха что-то кричала, а я не слышала. Холодом жарким

душу мою обожгло, когда я его увидела. Лицо у него было смуглое, волосы черные и усы. Я подумала, что он наш — щявале. Нет, нет, не щявале. Он мне потом рассказал, что мать его русской была, а отец молдаванин. И глаза у него были отцовские. Не черные, а как желудь спелый. Глянет раз на тебя и, кажется, все про тебя уже знает, всю твою душу, до самого чистого донышка знает. Скольким я людям судьбу гадала, скольким угадывала. А Бòгдана разгадать не могла. Пробовала. И линии у него на руке помню. Самая главная — жизни, до сорока лет доходит, а дальше обрыв, дальше две тоненькие тянутся, а с линией жизни не сходятся. Я боялась ему говорить об этом. Я о прошлом его гадать пробовала, тепло от ладони чуяла, сердце его горячее чуяла, а сказать ничего не могла. Будто не ему, а себе гадала. А самой себе доли-судьбы не нагадаешь. Нет, нет, себе самому никто еще не сумел нагадать. Потому что себе самому только счастья желаешь. Так, так, тебе говорю.

Гляжу на него — кто он и что он — не знаю.

Стоят они вдвоем у забора. Высокий забор в пекарне. Плакатом обтянут. «НАША ЦЕЛЬ — КОММУНИЗМ!» — написано на плакате. А сверху колючая проволока на железяках. Зачем эту проволоку повесили? Кто через нее перелазить надумает? Не было таких дураков на пекарне. Все в проходную шли. Два Степана «Москвичом» вывозил. А Ветеран и Паша Гречиха своим ходом сумки с маслом тащили. Макуха, охранник, в будке сидел, червяк малокровный. Зиму и лето в войлочных сапогах ходил. Очки толстые на нос нацепит, высунется в окошко и Ветерану: «Что несем, Семен Петрович?» А Ветеран в ответ: «Что несем — все наше, народное...» Иногда, под настрой, и Макухе подкидывал «процентовку» в газете: «На! Поправляйся! А то нюх потеряешь...» Макуха и рад. Он, как собака, в своей будке сидел. А что за спиной его делается — не хотел видеть. Все мимо него пронести было можно. И проволоку колючую на забор вешать не надо.

Нет, висела. И плакат про коммунизм висел. Два Степана к нему подошел, потянул, палец гвоздем уколол, разозлился, дернул сильнее, под ноги бросил. На забор показал Бòгдану. Бòгдан кивнул и пошел к проходной, как чужой сам себе. А куда? Куда он пошел? Я в халате белом была. Я хотела, как есть, побежать за ним. Не успела. Выбежала — его нет. Нигде. Кляла себя, что не узнала, кто он, откуда. Где хоть живет? К Два Степана хотела спросить подойти. Не за так, пусть обнимет меня, а стерплю. Только б сказал, кто этот человек.

Я уже и решилась так сделать. Только Бòгдан пришел через смену в пекарню.

Рабочие фанеру к забору прибили, до самой проволоки высотой. Бòгдан стал на скамейку и быстро-быстро начал углем рисовать. Сперва непонятно было. Потом краской по углю обвел, и получилась картина. Комбайны едут по полю. Хлеб убирают. А с краю тетка стоит. Лицом — фотокарточка Паши Гречихи. Хлеб держит на рушнике. У самой рот до ушей. Вот, мол, люди, глядите! Все в этом хлебе по процентовке — все двадцать килограммов масла. А сверху, над картиной, слова:

«ХЛЕБ — БОГАТСТВО И БЛАГОСОСТОЯНИЕ СОВЕТСКОГО НАРОДА!»

Два Степана вокруг картины бегал. То с одного боку глянет, то с другого. По плечу Бòгдана хлопал: «Талант! Золотые руки!» Правду, правду сказал — золотые.

Вся смена вышла на эту картину глянуть. Грузчики Паше Гречихе кричали: «Гречка! Ставь магарыч! Ты как невеста вышла!» Гречиха отмахивалась: «Дулю вам с маком, а не магарыч!» А самой тоже было приятно. Она молодой на картине была нарисована. Точная копия.

Только хлеб на рушнике не похожим вышел. Мы на пекарне одни «кирпичи» для народа пекли. А на картине хлеб был круглый и пышный. Ясно, что с «процентовкой» такие выходят.

Всем, кто глядел, картина понравилась. Два Степана увел Бòгдана в красный уголок. Надо, сказал, цифры на стендах подкрасить для агитации масс...

Бòгдан два дня цифры красил. Я мимо него раз пять проходила, а подойти не сумела. Сказать что не знала. Бог мой! Счастье мое! Что это так? Почему это так? У меня много слов есть в душе. Есть как лед холодные. Есть как уголь горячие! Сладкие есть! Есть покрепче кнута. А тут все позабыла. Будто рот мой ниткой зашили. Что? Что я скажу? Как к нему подойти...

Подгадала, когда он вышел из проходной, и за ним. Иду, а сердце мое онемело. В спину его гляжу. Вот сейчас, вот сейчас оглянется. «Оглянись! Оглянись, мой хороший! Сладкий мой, оглянись! Оглянись, мой любимый!» — шепчу.

Нет, не оглянулся. Он по проспекту Свободы шел. Я в проулок свернула, вышла навстречу. Глянула на него.

Хочешь душу узнать человека? Погляди, когда он один сам с собой. Сам с собой человек ближе к своей душе. Много грусти узнаешь, если одинокого встретишь. И Бòгдан мой был одиноким. Идет, в землю глядит. Я сердцем почуяла — камень в его душе. Мне боязно стало. Вот сейчас, вот сейчас он со мной поравняется. Я на себя посмотрела. Я красивой хотела быть. Я волосы распустила, чтобы ему понравиться. Голову подняла — он к «Чайной» подошел. Там под навесом разливным торговали. Сидели за столиком двое — грелись вином. Бòгдана увидали, обрадовались.

«Привет, Пикассо!»

«Дай на стакан, Пикассо!»

Бòгдан карман вывернул — два хрущева им дал. Я б и одного не дала. Знаю я этих стаканщиков. С утра до вечера на вино собирают. А он дал, он не жадный был. Сам тоже выпил. Но за столик не сел: «В другой раз, ребята...»

Ребята обиделись.

«Пикассо! Посиди с нами...»

«Имя его — Пикассо? Или фамилия? — думаю.— Чудная фамилия. Никогда не слыхала...»

Вижу, он по ступенькам спустился и шляпу на брови надвинул, будто в себе самом на замок закрылся. Я вышла навстречу. Сердце мое сильно стучало. Я как с обрыва прыгнула.

«Сколько время?» — спросила.

«У меня нет часов»,— он ответил. Остановился. Глаза прищурил и посмотрел на меня, как будто потрогал глазами.

«Молдаванка?»

«Цыганка»,— ответила я, и жарко моему лицу стало.

«Цыганка? Интересно...— сказал себе самому. А сам на меня смотрит: один глаз прищурит, потом второй.— Интересно... Подними, пожалуйста, голову... Вот так...— И улыбнулся: — Как же тебя зовут такую красивую?»

«Сабина...»

«Сабина... И имя красивое...»

Я осмелела.

«А тебя?»

«Что?» — переспросил он.

«Тебя как зовут?»

«Бóгдан... Сын Бóгдана...— И замолчал. Забыл обо мне, себя забыл. В своей душе спрятался. У себя самого спросил: — Где я мог тебя видеть? »

«Не знаю. Может, на улице?»

«Нет, нет. Не в этом дело. Не в улице дело...»

И снова задумался. Такую я ему загадала загадку — не отгадать вовек.

Идем рядом, молчим. Вечер был. Ты знаешь, какие бывают вечера в Ахиллее. В центре машины, в проулках собаки бездомные. Солнце, помню, еще светило и ветер с Дуная дул. Я была легко одета, но мне не холодно было. Только казалось, что все на нас смотрят и вот сейчас крикнет кто-нибудь вслед гадость какую.

Бóгдан голову поднял.

«Посмотри вон на то окно! — сказал.— Нет, не туда... «Собес» видишь?»

«Вижу...»

«Что ты видишь?»

«Решетку...»

«А за решеткой оттенок видишь?»

Я пригляделась. Правда. Оттенок. Солнце светило в окно. Пожаром окно горело. Красиво было. Я раньше внимания не обращала.

«Как это схватить?» — спросил Бóгдан.

«Что схватить?»

«Написать...»

«Кому написать?»

Он улыбнулся.

«Написать, значит нарисовать...»

«Ты и так хорошо рисуешь...»

«Откуда ты знаешь?»

«Я видела. Я комбайны видела! И хлеб на рушнике видела...»

Он губы сжал. Ему плохо стало. Я почуяла — плохо. Будто я его сильно обидела.

«Это халтура, Сабина. И хлеб, и комбайны...»

Я не поверила.

«Нет! Неправда твоя! Нет! Это красиво! Тетка с хлебом на Пашу Гречиху похожа. Как фотокарточка!»

Он усмехнулся.

«Вот это и плохо, когда фотокарточка...»

«Почему, почему плохо?»

Он остановился и посмотрел на меня. Очень внимательно посмотрел.

«Понимаешь, Сабина... Главное в человеке — характер. Душа... Самое трудное — это душу схватить. Вот ты, например... У тебя в лице несколько выражений. У тебя не простое лицо. Твоя душа мерцает...»

«Как мерцает?» — не поняла я.

Он улыбнулся.

«Я не могу тебе объяснить, Сабина. На тебя надо долго смотреть...»

Я осмелела:

«Ну и смотри! — И голову подняла.— Сколько хочешь смотри...»

Он взял меня за руку: током горячим по телу прожгло. Я хотела, чтоб он меня крепко-крепко обнял. А он не обнял. Он спросил:

«Хочешь посмотрим закат на Дунае?»

«Хочу...»

Мы к Дунаю пошли. Мне было чуднó. Я не понимала, зачем нам смотреть закат. Я его сто раз видела в своей жизни. И на зорьке,

— восход. И зимой, и летом. Я в Измаил на ярмарку с мачехой ездила. Все я видела. Только не так, как он видел. Я жизнь видела, а он краски в жизни. Начал мне объяснять все цвета и оттенки. Я даже не знала, что столько оттенков бывает. И на вербах оттенки, и цвет дымки на другом берегу Дуная, и как солнце в воде отражается, и много всего.

«Самое трудное,— он мне сказал,— это передать цвет вóды...»

«Что тут трудного? — спрашиваю.— Вода желтая...»

Он улыбнулся, чудно улыбнулся, будто виноват передо мной.

«Нет, Сабина,— сказал.— Это только так кажется на первый взгляд. Посмотри вон туда. Видишь, грань между светом и тенью. Ближе к нам лаковый отблеск, а дальше волнистая рябь. Вот эту грань между ними передать очень трудно...».

«А зачем тебе эта грань?» — я спросила.

«Надо,— сказал.— В этом весь смысл...»

Чуднó было мне его слушать. Зачем, думала я, он себе этими гранями голову забивает? Золотые руки у человека. Два Степана верно сказал. Богатым мог стать. Дом построить, машину купить. Без обмана, своими руками. Я видела в Тараклии на ярмарке художник картины свои продавал. Красивые, очень красивые. На одной розы жарким цветом горят. На второй лебеди в озере плавают. А посреди озера островок. Трава зеленая, и домик под черепицей красной. За розы художник десять хрущевых просил. За лебедей — пятнадцать.

Картин с лебедями у него было много. Может, штук десять, а может, и двадцать. Пятнадцать помножить на двадцать — кучу хрущевых в день заработать можно.

«Ты тоже такую картину,— Богдану говорю,— нарисуй!»

Он улыбнулся и волосы мои погладил.

«Лебеди — это тоже халтура, Сабина. В лучших вариантах — подражание примитивистам...»

«А кто это — примитивисты?»

«Есть такие художники,— объяснил.— Только они тоже грань чувствуют. Примитивизм — тонкое дело. Грань переступил и получатся лебеди, по пятнадцать рублей за штуку...» — За руку меня взял, ладонь мою своими ладонями обхватил, подул губами:

«Скучно тебе все это слушать?»

«Неправда твоя! Не скучно...»

«Скучно, скучно — вижу. Ну-ну! Не сердись. Расскажи о себе...» — А сам ладонь мою дыханием своим греет, сердце мое греет. Мне жарко стало. Все тело мое задрожало. Я обнять его захотела. Сильно, сильно обнять. В глаза его заглянула, и тоже мне показалось, что я его уже где-то видела. Не на улице, нет, а будто он снился мне, когда я одна была, когда я домой возвращалась со школы, когда я сама с собой была, как солнце, как ветер. Когда я к себе самой возвращалась, в чистый колодец, на самое дно души возвращалась, когда я ночь над Дунаем видела, людей у костра видела, песни их слышала, когда я сама была сильной, царевной была. У шатра сидела, и он, Богдан, со мной рядом был. Только я об этом ему не сказала. Я о последнем, близком, ему рассказала. О школе, не про сережки, а про то, что учила, ему рассказала. Я хотела, чтобы он не подумал, что я темная и забитая. Про химию рассказала, про Наталью Степановну, как она к доске меня вызывала. Он слушал. Внимательно слушал. Он умел слушать. А когда я про географию вспомнила, улыбнулся и ладонь мою крепко сжал:

«Молодец, Сабина! Все верно. Главный город у нас — Ахиллея. А река — Дунай... Мы здесь рождены...— Помолчал, прищурил глаза в далекую дымку на том берегу и себе самому повторил: — Здесь рождены! А своего не знаем... И хотят, чтобы не знали...— Потом ко

мне обернулся: — Ты дрожишь... Замерзла? Хочешь ко мне пойдем?»

Спрашивает. Конечно, хочу. Куда скажет, туда и пойду. Только бы вместе с ним...

На квартире он жил по Севастопольской улице, у Эльвиры. Она вторую полсотню лет давно разменяла. А красилась, как молодая, и брови выщипывала, и губы помадой в три слоя подмазывала. Днями на картах себе гадала. Смех! На картах себе гадать — себя самого обманывать. Когда ни приду — сидит на веранде, карты «рубашками» вверх на столе разложит. «Чирвы», «бубновые» под один локоть, «дамы» в сторонку, а себе одних королей и валетов подсунет и шепчет:

«Где ж ты мой суженый? Где ж ты мой интэрэсный? А? А? Подскажи, Кунечка?»

А Кунечка рядом сидит на стуле — хвост распушил, глаза желтые жмурит — на хозяйку свою не глядит. Эльвира карты смешает, возьмет его на руки:

«Куня! Ну что ты такой пэчальный сигодня? Ты кушать хочешь? Куня мой кушать хочет. Иди, иди сюда!— посадит его на шею, сидит, трясется, подшептывает: — Куня хло́пчичко! Куня ма́льчичко! — И давай его целовать в морду кошачью. Поцелует, скривится: — Фу! Фу! От тебя рыбой пахнет! Ты нечистоплотный, Куня! Брысь отсюда! — Одеколоном шею помажет.— Фу! Фу! — морщится.— Какой пакостный запах у рыбы».

А сама рыбой жила. У рыбаков живца мелкого купит, насолит и у «Чайной» продает. Хрущев — штучка, два — кучка. Жила не тужила. За комнату Богдана тридцать хрущевых брала. Я бы и двух не дала. Не комната — коридор. Окошко маленькое. Стены цвелые — сыро, как в погребе. Из вещей — кровать, стол и стул! Бо́гдан, мой Богдан! Я б лучше тебе нашла. Цыган бездомный лучше жил. А Бо́гдану хоть бы что. С хозяйкой вежливо поздоровался:

«У меня гости, Эльвира Леонтьевна...»

Эльвира на меня глянула, губы накрашенные поджала, всю меня с ног до головы обсмотрела, руки в бока уперла и говорит:

«Богдан! Я тебе скока раз говорила? Шоб с вокзалу тут никого не было!»

Ой! Смех! А сама ты откуда, думаю, чучело крашеное? Да таких, как ты, и на вокзал не пускают...

Но промолчала — связываться не хотелось. А Бо́гдан, гляжу, застеснялся.

«Ничего, ничего, Эльвира Леонтьевна...— И меня под руку взял: — Проходи. Вот сюда. Садись, будь как дома. Холодно? Ничего, мы сейчас. Мы сейчас...»

Хлеба принес, брынзы принес, вина полграфина принес.

«Ешь, Сабина. Ешь. Ты, наверное, есть хочешь...»

«Я хочу? Не хочу я. На хлеб смотреть не могу,— говорю.— Я его каждый день с маслом ем. Булочки ем...»

Неправду ему сказала. Зачем я сказала неправду? Не ела я хлеба с маслом. И булочки тоже не ела. Все они были подсчитаны. А масло Два Степана в кладовке держал, на замке.

Богдан стол к кровати подвинул, меня усадил, улыбнулся:

«Хлеб с маслом — это хорошо».

Выпили с ним. Он вино как воду пил. Не хмелел совсем, только молчаливым сделался. О своем думал, забыл обо мне. Потом вскинул голову, будто только что меня увидал.

«Извини. Ты не скучай. Скучать не надо! Хочешь, картины тебе покажу?»

«Зачем спрашиваешь?»

Никогда, нигде я таких картин не видела. Одним цветом они нарисованы были. Я тебе этот цвет словами не могу передать. Но, может, ты и сам его видел. Вечер видел, когда солнца нет, когда ночи нет, и луны нет, а тревожно на сердце...

Все картины я помню, все как одну.

На одной — Дунай нарисован. Вербы растут у воды, старые вербы, и слышно, как ветер шумит. Тучи по небу бегут. А за вербами хаты стоят, па́пурой [1] крытые. Темные хаты. Только в одной, крайней, желтеет окошко. Гляжу на него и чую — в той хате горе большое. Хочется крикнуть, побежать туда хочется, позвать человека. А людей нет. Ни души нет...

Сердце мое онемело. Сижу и молчу.

Богдан другую картину мне показал. Женщина молодая на ней нарисована. На прысьбе [2] сидит, руки сложила, большие, не женские руки. Глядит на меня. И такая печаль у нее в глазах, такое горе большое, что я и смотреть на нее не смогла. Голову опустила. Потом еще раз глянула. За руку Богдана взяла.

«Богом клянусь! Это мать твоя!..»

«Да,— Богдан ответил.— Мама моя...»

Картину к стене повернул, вина выпил, руки сцепил за спиной, начал ходить по комнате, разговаривать начал. Не со мной, а с кем-то чужим за черным окном:

«Оптимизма во взгляде нет! Дай вам платок вышитый и скрипача посади рядом! А если я не могу?! Не могу я! Я запомнил ее такой. Она голодной была...»

«Богдан! Богдан! Ты что? Что с тобой?» — я спросила.

«Ничего. Ничего, извини! — Волосы мои ладонью пригладил. Сам нервный стал, пальцы трясутся.— Сейчас, сейчас... Вот! Эту смотри...»

Еще одну показал картину. Тоже вечер без солнца. Мать Богдана сидит за столиком во дворе, старая женщина рядом сидит. И чудно, чудно — столик кажется перевернутым. Мамалыги кусок на столике, луковица, соль в сольничке. А не падают, держатся, как приклеенные. Мать на меня смотрит, бабушка смотрит. Сидят, не вечеряют. Смотрят и смотрят. Я Богдана руку взяла.

«Кого они ждут? Почему столько горя в глазах? Богдан, кого они ждут?»

Он на меня посмотрел, себе самому сказал:

«Значит, верно. Ожидание я передал.— И на картину глянул: — Это поминки, Сабина. Брат мой умер... Вот, смотри...»

Еще одну показал картину.

Улица. И вечер на улице. Мать Богдана с бабушкой гробик на тачке везут. А в гробике — мальчик. Маленький, совсем маленький, ручки сложил. Тоже чудно — гробик кажется перевернутым и сейчас упадет на меня. Крикнуть мне захотелось: «Поправьте, чтоб не упал!» В глаза матери глянула, бабушке в глаза глянула. А они сквозь душу мою глядят. Они ничего не видят: их горе слепыми сделало. Они идут вдоль плетня камышового. А на плетне змеюкой длинной плакат за угол заворачивает. И белыми буквами на плакате написано: «...ВУЕТ СОВЕТСКАЯ БЕССАРАБИЯ». Я слова прочитала, а душу мою не слова, а мальчик мертвый притягивает. Смотреть на него не могу, а смот-

[1] Тростник.
[2] Завалинка.

рю. Камень сердце сдавил. «Упадет сейчас, гробик, думаю, упадет на холодную землю...»

Руками лицо закрыла. Больно мне на душе стало.

«Последняя...» — сказал Богдан. И вытащил из-под кровати еще одну, большую, как две газеты. Я глянула. Бог мой! Да я это уже видела! Клянусь матерью, видела. Двор на картине, как наш, в Карагмете, машина железная стоит у ворот. Хата стоит. Двери открыты. Два гажё военных выводят во двор человека. А третий гажё стоит у машины и курит. Бог мой! Так было, так уже было, когда моего отца забирали, Тому Бужора, отца моего!»

«Богдан! Ты видел, как моего отца забирали?»

«Разве у тебя одной забрали отца?» — он спросил.

Картины все под кровать спрятал, вина выпил и стал снова ходить по комнате, нервный стал, горячий стал. Снова в окно глядеть стал и кому-то там говорить начал, доказывать начал, спорить начал. Слово скажет — прислушается и, будто в ответ что-то услышит, словами горячими отвечает:

«Что? Искажение истории, говорите? А что такое история? Это моя жизнь, это жизнь моего отца, моей матери, брата. И я пишу так, как жил! — К окну подошел и кулаком в темноту погрозил: — Да! Да! Как жил! Вы мне свои глаза не вставите!»

Мне жутко сделалось. Я к нему подошла, взяла его за руку.

«Бóгдан... Бóгдан! Кому ты кричишь? Там никого нет...»

Он на меня глянул. Губы дрожат, руки дрожат. Я стакан вина ему налила. Он выпил. Утих. Погладил мои волосы.

«Да, да. Нет никого. Извини...— И лицо мое приблизил к себе: — Скажи! Сабина, скажи мне, тебе понравилась хоть одна картина? Хоть одна... Скажи...»

«Мне все понравились!» — я ответила.

Неправду ответила. Не так ответила. Я не поняла — нравятся они мне или нет. Я думала раньше, что картина — это когда красиво. Когда цветы, солнце. А то, что он рисовал,— там красоты не было. Там жизнь была. А я эту жизнь и сама повидала. Я хотела радость увидеть, солнце увидеть.

Но я так ему не сказала. Я не хотела его обижать.

«Понравились! — я повторила.— Очень понравились...»

«Правда?»

«Правда! Правда!»

Он как ребенок стал малый. Обнял меня, сильно обнял. Душа моя, как птица, взмахнула крыльями и к сердцу его полетела. Прижалась к нему. Мне тепло стало. Мне больно стало и сладко. «Крепче меня обними,— шепчу.— Задуши меня! Сердце мое возьми! Люби меня! Люби меня сильно! Не будь таким грустным. Служить тебе буду! Ты счастье мое...»

Стала жить у него. Эльвира первые дни на меня косилась. Я ей двадцать хрущевых дала. Подавись, думаю. Купи на них колбасы своему Куне «хлопчичку» и целуйся с ним. А нам не мешай. Сердце нам не морочь.

Я женой Богдана стала. Я родней жены ему стала. В тюрьму попаду, умру, в землю сырую меня закопают — не пожалею. Самые чистые ночи я с Богданом прожила. Как он меня обнимал! Как целовал! Как сладко мне было с ним! Я ночи ждала. Я просила Бога: «Те авел а менгэ кадя рят пе састимасте!» [1] Пусть у нас так и будет! Пусть всю

[1] Пусть эта ночь будет нам на здоровье!

жизнь нашу так и будет! Всю жизнь... А что эта жизнь? Одна ночь с любимым. Ты знаешь, ты это сам знаешь...

Ночью мне жарко было. Ночью Богдан меня обнимал, и я как лоза с его телом сплеталась. От него пахло мужчиной. Он в первые ночи не пил много, он крепкий был, жаркий был, а волосы мягкие, и седых было много. Он любил меня. Он мою грудь целовал, он говорил, что у меня кожа шелковая. Он нежным был с моим телом. Даже там, где мужчины бывают грубые. А он нежным был. Он умел ласкать. Мы всю ночь друг друга любили. Засыпали — во сне любили. Мне спать не хотелось. Совсем не хотелось. Я не думала, я никогда не знала, что это так сладко — любить. Я рождалась в те ночи и умирала. И он был веселым, он легкий душой был. И нам хорошо было вместе. И тихо в комнате было. Луна в окошко глядела. Я свою голову на грудь ему положу и слушаю, как его сердце стучит. Иногда он с кровати вставал и, если было у нас вино, выпивал. Я много людей пьющих видала. Один полстакана выпьет — три дня ум свой найти не может, второй от пива за нож хватается. А Бóгдан мой — нет, вино Бóгдана поначалу не портило. Оно его душу грело. Глаза блестят в темноте, на меня глянет, ладонью щеку погладит: «Сабина,— шепчет.— Сабина!» — «Что, мой любимый?» — «Ничего...» И глядит на меня. Свет от луны в глазах его, теплый свет. «Ты знаешь,— мне говорит.— Сколько всего в моей жизни было...»

И начинал про себя рассказывать. Про детство свое рассказывал. Я не могу тебе передать, как он умел рассказывать... У меня слов таких нет... Он в красках рассказывал. У него все дни, все его прошлое в цвете было. Самый его любимый был цвет — солнца по вечерам, в детстве, когда он жил с матерью, братом, бабушкой и отцом в Рени. Это от Ахиллеи выше по Дунаю. Он про отца любил вспоминать. Он говорил: «Я на всю жизнь запомнил запах лозы...» Отец его мастер был, он эту лозу собирал у Дуная. Он плел из них кресла, корзины, стулья. Он никому никогда плохого не сделал. Он радость людям делал. А гажё военные сказали отцу: «Советская власть не нуждается в твоих стульях. Ты — единоличник. Мы тебя научим коллективному труду!» — И забрали его, утром забрали. Богдан остался один с братом, матерью, бабушкой. Мать его с братом в Засуху умерли. А бабушка его воспитала. Он, как и я, нужду-горе знал. Он в пятнадцать лет работать пошел. Он на малярных работах работал, на стройке работал каменщиком, грузчиком тоже работал. Он с детства картины свои рисовал. Он всем картины свои показывал. Все говорили, что линии у него не такие как надо. Все, кому он показывал, хотели, чтоб линии были круглые, чтоб в хатах свет горел электрический и чтобы люди смеялись и пели. А Богдан так не умел рисовать. Он картины свои собрал и поехал в столицу по карте, в Москву, где на художников учатся. Он большим бирэвò картины свои показывал. Он три раза ездил показывать. Бирэвò тоже сказали, что линии нужно круглые. И учиться его не взяли.

Я слушала. Мне обидно стало. Я сказала Богдану:

«Ты не верь бирэвò! Они нашу жизнь не знают. Твои картины хорошие». Он на меня посмотрел и ответил:

«Что толку что хорошие? Кому это надо? Это никому не надо...»

«Зачем ты так говоришь? Мне надо! Ты для меня рисуй!»

Он мою руку погладил: «Ты знаешь, Сабина, так, как я писал, я уже не могу писать. А то, что сейчас пишу — это халтура».

Я не поверила его словам. Я не понимала, почему он халтурой картины свои называл. Никто в Ахиллее не говорил, что это халтура. Никто! Все на его картины смотрели. Они везде в Ахиллее висели. На площади и на улицах. Возле горсовета большая картина висела. Большая как стена — на столбах. Хохлы на ней нарисованы были в шап-

ках бараньих, молдаване с виноградом в корзинах, рыбаки — с рыбой. А между ними — черный, курчавый, с глазами, как яйца вареные. И все за руку держатся. Всем весело. Хохлам, молдаванам и черному.

С одной стороны картины молдаване с хохлами хлеб убирают комбайнами. А с другой — хлеб этот черному дарят и на ракету его ведут. И краски красивые на картине были, и солнце там было. Я на пекарню шла, смотрела — мне радостно было. Это Богдан нарисовал. Мой Богдан! Он, он! Только он так красиво рисует. Не халтура его картины. Нет, не халтура. За халтуру хрущевы не платят. А ему по две пачки хрущевых платили. Бирэво̀ в горсовете платили. Бирэво за халтуру платить не будут. Они цену хрущевым знали. Они работу Богдану каждый праздник давали. Богдан газету домой приносил. Там было красным подчеркнуто, какие слова писать на плакатах. Он на кровать сядет, глядит на эту газету, посмеивается: «Да-а-а! Сплошное да здравствует...»

А вечером из мастерской приходил, руки от краски белые. Выпьет вина, голову опустит, сам себя спрашивает: «До чего ты дошел?»

Мне его жалко было. Сердце мое терзалось. Я его утешала:

«Бо̀гдан, ты Бо̀гдан! Возьми мою душу — не грусти, не печалься, любимый. Что мне сделать, чтоб ты не грустил? Что сказать тебе? Как сказать? Я не понимаю твоей печали. Сердцем клянусь — не понимаю. Зачем горевать? От чего? Ты здоров! Я люблю тебя! Что еще в жизни надо? И хрущевы у нас есть».

Много хрущевых он получал. Мне на пекарне столько за год не иметь. А не жадный был. Для него деньги — бумага. Он мне часики подарил. Мы шли по улице. Он говорит: «Сабина! Хочешь часики?» Дорогие купил — шестьдесят хрущевых отдал. Я поцеловала его. А он сказал: «А сейчас пойдем на базар...»

Он любил на базар ходить. Он радовался:

«Сабина! Смотри, какой оттенок у помидоров!» А я уже разбиралась в его оттенках: «Это торговки,— ему говорю,— помидоры водой смочили для вида...» А он: «Все равно — красиво...» И не смотрел на цену. Возьмет три кило. А торговка под низ мятых подложит...

Я с ними ругалась:

«Вы что делаете? Кошелки вы рваные? Зачем обманываете? Счас как влеплю помидором в глаз — запомнишь меня!»

А Бо̀гдан спорить с торговками не любил: «Оставь их, Сабина! Хочешь брынзы? Брынза и помидоры — пища богов!»

Вкусно — правда. Только он сам и крошки не ел. Ему главное хрущевы было потратить.

С базара идем мимо церкви. А там убогий с рукой сидел. Богдан ему — на́ двадцать хрущевых!

«Богдан,— я говорю.— Ты ему зарплату дневную отдал...»

«Не жалей, Сабина...»

«Я не жалею. Я знаю — ему больше одного хрущева никто не дает!»

А он улыбался:

«Ничего. Я ему за все грехи свои отдал авансом...»

«Ой! Простая твоя душа! Какие у тебя грехи? У младенца больше грехов...» А он поглядит на меня, губы сожмет. «Нет...— тихо скажет.— У меня тоже хватает». И замолчит. Сам для себя чужой станет. Весь мир для него чужой. Идет и под ноги смотрит. У ресторана сетку с помидорами мне отдавал. «Сабина. Я посижу часик. Ты домой иди...»

Не часик! Весь вечер сидел в ресторане. Всегда, всегда, когда у него появлялись хрущевы, он в ресторане сидел.

Ресторан... Один вход — два прохода. Название только красивое — «Голубой Дунай». Заходи в ночь-полночь — пару хрущевых красной морде в мундире дай и сиди до закрытия.

Богдана там все знали. Он только плащ свой снимал в гардеробе, а баян, гитара и барабан, микрофон друг у друга рвали:

«Сегодня у нас в гостях знаменитый пейзажист, портретист и маринист! Поприветствуем дорогого гостя! Все! Все! Поприветствуем!»

Барабан начинал стучать, гитара — бренчать, баян — кнопки перебирать. И получалось — «Семь сорок».

Стаканщики руки вверх тянули:

«Пикассо! Пикассо пришел!»

«Пикассо сегодня в наваре!»

«Садись к нам, Пикассо!»

«Пикассо, дай на стакан!»

Давал. Музыкантам давал. Стаканщикам давал.

Не на стакан, не на два — коньяком дорогим поил. Простой, простой он, как хлеб с солью, был. Не стоили они коньяка дорогого. Богом клянусь — не стоили. Хотелось ему сказать. Хотелось домой увести. Но не любил он, когда я туда заходила. «Тебе здесь не место!» — так говорил.

Эх, сердце, душа! Знал бы ты, какие места я видала, какую я жизнь видала, какую гадость видала...

Но не спорила с ним. С мужчиной не надо спорить.

Ждала его. Как собака ждала. Хотелось его увести. Охотников много сидело с ним рядом — в карманы заглядывали. А когда на порог выходил — ни одного не было, чтобы домой проводить. Раз одна прицепилась накрашенная, я ей лицо расцарапала. Она — босоножки в руки и убежала — передумала провожать. Я и сама его провожу.

Он не пьяный был. Не скажешь по виду, что пьяный. Весь хмель на душе у него был, душу давил, чудным делал. Ему много нельзя было пить. Пить человеку можно, когда он веселый, а когда камень на сердце — вино еще хуже сделает. Чудной, чудной он был пьяным. Со мной не хотел идти. Увидит меня, губы сожмет, воротник на плаще поднимет. «Не иди за мной! — говорил.— Я хочу быть один...» — «Как скажешь, душа моя!»

Я отставала. Он шел по улицам. Он шел и смотрел на свои плакаты и на картины смотрел. Он камнем в картину свою запустил, в ту, что висела у горсовета. Милиция на машине подъехала. Один к нему подошел, крикнул второму: «Пикассо гуляет!» И не забрали его, уехали. А он побежал. Он не мог на одном месте сидеть. Он город из края в край оббега́л. Он к Дунаю бежал. Сам с собой разговаривал: «Бабушка! — кричал сам себе.— Бабушка ты меня слышишь? Ночь! Здесь черная ночь! Я не боюсь! Я никого не боюсь!» — И оглядывался. И возвращался на площадь, и снова к Дунаю бежал.

У меня очень ноги болели: я всюду за ним ходила, пока хмель его душу мучил.

Потом он слабел. Он садился в сквере у клумбы. Сидел сам с собой и оглядывался. Я уже знала, если он сел — можно к нему подойти. «Богдан! — я говорила.— Пойдем...» Он смотрел на меня. Долго смотрел. Он как ребенок мать обнимает, меня обнимал. Он говорил: «Сабина! Прости меня...» «За что ты прощения у меня просишь? Ты сам по себе! Ты человек вольный,— я отвечала.— Хочешь — сиди здесь, хочешь — пойдем домой...»

Он слушался. Он меня как ребенок слушался. Обнимет меня. Остановимся в переулке. Волосы мои погладит. «Цыганка ты, молдаванка! — вздохнет.— Никому я в этом мире не нужен...»

Мне не нравились эти его слова.

«Почему ты так говоришь? Не говори так. Не думай так. Ты мне нужен. Я тебе нужна. Ты мой родной. Ты единственный мой. Ты хороший, ты очень хороший. Я тебе ничего не скажу. Ты как хочешь живи. Только послушай меня. Прошу тебя, сердце мое. Не будь ты простым. Не будь. Не показывай свою душу чужим. Ты вино пьешь, а они твою душу пьют. Не пей с ними. Ты со мной выпей. Я станцую тебе. Я спою. Ты со мной грустным не будешь. А с ними не пей! Не давай им хрущевы. Вон, тому, что за дверью стоял, морде красной в мундире, зачем десять штук отдал? Он тебе кто? Брат? Кум? Сват?! Он хабарь паскудный...»

Богдан молчал, слушал. В губы меня целовал:

«Не жалей,— говорил,— Сабина! Какая работа, такие и деньги...»

Домой придем, а Эльвира не спит. На кухне сидит со своим Куней «хлопчичко», короли с вальтами тасует, «интэрэсную» масть дожидается, старая кляча. Увидит, что мы пришли, губы подкрасит, куда там — царица какая.

«Богдан! — кричит.— Я женчина тэрпеливая! Но мое тэрпение имеет границы. Я прошу дать мине за квартыру...»

Богдан карманы свои выворачивал — ветер в карманах. Умолять ее начинал, упрашивал:

«Эльвира Леонтьевна, подождите, пожалуйста... Если хотите, я вас изобразить могу в виде русалки на фоне дунайских верб?»

«Не надо мине никаких русалок! — выламывалась Эльвира.— Мине гроши надо!»

«Эльвира Леонтьевна! У меня временное финансовое затруднение»,— упрашивал Богдан. Так упрашивал — травой стелился. Гордость свою мужскую терял. Зачем, зачем он ей волю давал? Она хвост поднимала, курица дохлая. Она кричала:

«Мине не интэрэсуют ваши затруднения. Я знаю, откуда затруднения! — И на меня пальцем показывала.— Вы б с этой своей фифой поменьше шлэндали. Я вас уверяю, она вас голым оставит! Она сюда мне цыгань приведет!»

Меня эти слова как кнутом по лицу стегали.

«Чтоб язык у тебя отсох, чучело крашеное! — я отвечала.— Что тебе цыгане плохого сделали? Что? Что?»

Пугалась она. Куню своего в охапку, дверь на цепочку и тявкала, как собака:

«Воровка! Воровка! Цыганское отродье!»

«Что я у тебя украла? Что? Скажи еще слово — глаза твои выцарапаю...»

А она из-за двери.

«Я честная женщина! Я это так не оставлю. Меня всюду знают! Я милицию позову...»

Дверью — хлоп. И закрылась на сто замков. Зови, думаю, милицию. Она к тебе и без вызова сама скоро приедет, спекулянтка ты старая.

Богдана раздену, уложу на кровать. А сама сижу, голос Эльвирин слушаю. Такая у меня злость на нее была. Дрожала вся. Ах, ты чучело! За такую комнату тридцать хрущевых брать. Холодно, простыни, наволочки сырые. И я еще — воровка. Что я у нее украла? Стерва поганая. Облить бы тебя керосином, чтоб ты сгорела со своим Куней...

Голос Эльвирин утихнет — мне легче. Я Богдана одеялом накрою. Он как ребенок малый всегда засыпал. А потом начинал ворочаться, душа его мучилась, камень хотела скорее сбросить. кричал во сне, бабушку звал, мать свою звал. Просыпался.

За руку меня брал. Рука мокрая — лицо жаром горит.

«Сабина! Сабиночка! Достань! Прошу тебя очень... Достань...»

Его слово — закон. Шла доставать. Ночь-полночь. Бежала по улице. Где окно горит — там всегда было. Приносила. Он выпивал. Озноб его тело бил. Пальто накидывал. Ходить начинал по комнате. От окна к двери. От окна — к двери. Сам с собой разговаривал. Шепотом разговаривал. Потом картины свои доставал, ставил рядком у стены. Лампу на пол ставил. Керосиновая была у нас лампа. Эльвира свет электрический нам отрезала. Нагорает, сказала, много.

Лампа у нас горела. Богдан стоял на коленях. Картины свои рассматривал. Ту, на которой мать его с бабушкой за столом сидят, долго рассматривал. Я на кровати лежала. Он думал, я сплю и не слышу, а я слышала все. Он шептал: «Мама, прости меня! Прости меня, мама... Это никому не надо... Ничего не было... И тебя не было... Меня не было...— Утихал. Тень от его спины ложилась на потолок. Черная тень. Он руками голову сильно сжимал, засыпал, сидя. И вдруг, как кнутом подстегнутый, вскакивал.— Нет! — кричал.— Неправда! Было. Все было. Это моя судьба. Я — есть! И земля моя есть. Меня не будет, а земля моя будет... Я должен работать. Должен, должен...» — И снова по комнате начинал ходить. Снова кому-то там, за окном говорил: «Врете! Если земля моя есть, значит, и я не умру. Ничего-о-о! Держись, Богдан. Надо держаться...»

Лампу ставил на стол. Лист белой бумаги брал и начинал рисовать. Карандаш у него был толстый, из угля. Быстро, быстро он рисовал. Нервный был. Рвал бумагу, чистый лист брал, в окно кричал: «Врете! Я есть! Есть я...»

Я засыпала, не хотела его тревожить. Он ко мне подошел. Глаза его желудевые черными были.

«Сабина! Ты спишь? Встань, Сабина... Сядь вот здесь, у окна... Сними все... Вот так... Так, сиди...»

Я сидела. Мне холодно было. Из окна дуло. Мне неловко было, что он меня голую видит. Когда я с ним вместе лежала — это одно. А так сидеть было неловко. Но я ничего не сказала. Пусть рисует. Ему легче станет. С души его камень тяжелый свалится.

Быстро он рисовал. Только не нравилось мне. Не похожей я получалась. У меня тело совсем другое, а он худой меня рисовал. И плечи худые, и лицо и глаза — не мои. Будто я очень голодная. Ему тоже не нравилось. Он портрет мой порвал. И одетой меня рисовать начал. Я в кофте сидела. А он в куртке молдавской меня нарисовал, и в платке, и розы в руках я держала. И снова я себя не узнала. Лицо как у куклы вышло. И я, и не я. Он и этот портрет порвал. Слабым сделался. На кровать упал. Я потушила лампу. Рядом легла. Он вниз головой лежал. «Не могу,— шептал сам себе.— Не могу...» Лицо ко мне повернул — глаза мокрые. Я ладонью почуяла — мокрые.

Сердце мое заболело. Я ласкать его стала. Я его волосы гладила. Я его целовала. Я ему говорила: «Богдан! Родной мой! Не плачь! Лучше меня побей! Лучше мне сделай больно, пусть я заплачу, только себя держи...»

Жалела его. А в душе у меня, как черная кошка дорогу перебежала. Горько мне было слабость его видеть. Мужчина не должен плакать. Последнее дело, когда мужчина плачет. Да было бы из-за чего, из-за картинки.

«Богдан, мой Богдан! Ложись спать, а завтра еще раз меня нарисуешь...»

Он на спину лег, тихо сказал:

«Ничего у меня не получится. Я сам виноват...»

«Богдан! Богдан! Не терзай ты себя! Ни в чем ты не виноват». А он усмехнулся, грустно так усмехнулся:

«Виноват, Сабина... Перед собой виноват...— Сел на кровати, одеялом накрылся, долго сидел так, потом говорит:— Ты знаешь, что такое настоящий художник? Это когда до конца идешь...— Голову опустил, лицо руками закрыл.— Дурак... Дурак... Надо было на стройке работать... К черту эту халтуру... Я виноват. Надо было идти до конца! До конца! А теперь ничего уже не получится...»

«Получится! Богдан! Получится,— я его успокаивала.— Ты знаешь, у меня тоже в жизни так было. Знаешь, такие дни были — жить не хотелось. У всех такие дни бывают. У каждого человека, у гажё, у нас, щявале... Нужно глаза закрыть и уснуть. Уснуть и забыть. А завтра день будет. Ты усни. Слышишь? День будет, тепло будет. Вишни цвести будут. Акации будут цвести. Мы уедем с тобой. Хочешь? В Одессу уедем. А хочешь, в Крым... Там всегда лето...»

«Нет, Сабина,— ответил Богдан.— Я уже в этой жизни наездился. Для меня что Крым, что Сибирь — декорация. Я здесь хочу умереть...»

«Зачем ты о смерти заговорил? Богдан! Живому о смерти нельзя говорить...»

Но он не слушал меня, он свои мысли думал, свое сам себе доказывал.

«Не надо,— шептал.— Не надо мне было ездить... Черт с ним, с этим конкурсом. Знатоки-и! Ну и что, что самоучка? Все великие были самоучки. Все равно к себе придешь. У меня своя манера. Да! Перевернутая перспектива. Я так видел. Видел! — И ко мне обернулся.— Вот рука. Не моя рука, Сабина... Я уже так не могу писать. Ты понимаешь, я раньше писал и не думал, когда писал. А сейчас — думаю. Я уже знаю, как надо и как не надо писать... А это гроб для художника. Ты меня слышишь, Сабина? Что ты молчишь? Что ты так на меня смотришь? Почему ты так на меня смотришь?»

«Я не смотрю. Я слушаю. Я тебя слушаю, Богдан...»

«Нет. Ты на меня странно смотришь. Ты мне не веришь?»

«Верю, родной мой! Я всем словам твоим верю...»

Он успокаивался. Волосы мои гладил:

«Да, да... Я понимаю... Чистая ты душа... Холодно... У нас холодно... Иди принеси. Одну. А? — Бутылку давал мне пустую. Точно сказал он — рука не его. Пальцы дрожали.— Иди,— умолял.— Я прошу...»

Шла. Бежала. Утро скоро, мне на смену идти. Бежала. Если не принесу — сам пойдет. Я не хотела, чтобы его видели на улице. Он художник. Все увидят — художник пьяный. Картины его в Ахиллее висят, а он пьяный. И бирэвó увидят. Не будут ему хрущевы платить. Я бежала.

Он радовался, когда я вино приносила. Я только молила Бога, чтобы он не пил много. Он от стакана не сразу память терял, он первым стаканом душу спасал. Он ласковый становился. «Цыганка ты моя, молдаванка! Спасительница моя! Я ведь тебе ни о чем не рассказывал. Хочешь, о Бессарабии расскажу?»

И начинал мне рассказывать о нашем крае. Он умный был. Он очень много книжек читал. Все учителя в школе, все как один, и ногтя на его мизинце не стоили.

Зачем я училась? Что я узнала? Что столица у нас Москва? Что река у нас Волга? Нет, нет, Богдан мне о Дунае рассказывал. Он о земле нашей рассказывал. Какая она древняя, наша земля, какой она раньше вольной была и как ее турки грабили. И о людях рассказывал. К нам всякие люди бежали. Русские и хохлы, болгары и липоване, казаки беглые, всякие. И про румынов рассказывал, как они нашу землю украли, как людей мучили, как на своем языке русских, хохлов и болгар разговаривать заставляли насильно...

Много рассказывал. Долго рассказывал. Глаза теплым светом горели. Душа в его теле рождалась. Обнимал меня, крепко меня обнимал и шептал:

«Ты понимаешь, Сабина, все написать невозможно. Жизни моей не хватит. Но главное я написал. Я то, что сам пережил, успел написать... Вот смотри...— И снова картины свои начинал показывать. Сперва ту, где мать его с бабушкой за столом сидят.— Это голод, Сабина... Смерть брата. Я назвал ее «Поминки»... А эта чуть раньше написана... Сорок четвертый год, освобождение... Я назвал ее «Осеннее утро».— И снова показал мне ту картину, где гажё военные его отца забирают.— Вот смотри! — зашептал.— Возле машины стоит человек в кожаном пальто. Он курит... Это власть. Стена. Лица его ты не видишь. Я сделал три варианта, а лицо не получалось. Решил так оставить. Спину оставил. Лицо у власти не имеет значения. Он для меня не главный в картине. Вот, вот этот главный. Рядом стоит. Это сосед наш, пьяница, Митря... Никогда не работал. Пустая душа. Вот он, в кожухе рваном, шепчет на ухо человеку в пальто. Видишь? Вытянул губы... Вот с кем осталась Советская власть... С шептунами осталась. Шептуны всегда будут. Они всех продадут. Они при любой власти будут, пустые души. Вот они, самые страшные. Я на этого Митрю смотреть не могу. Он и сейчас ходит за мной. Видишь, смотрит в окно? Видишь, Сабина?»

Я за руку его крепко схватила. Я закричала:

«Богдан! Там нет никого!..»

Он покачал головой, допил вино. Подмигнул мне:

«Я вижу. Я все вижу, Сабина...»

Я легла в постель. Мне стало страшно. А он не лег со мной. Он ходил. Он всю ночь мог ходить по комнате.

Утром мне жалко было глядеть на него. Сидел на кровати, в пальто на голом теле. Вещей у него было мало. Он о вещах не думал. Небритый сидел, глаза красные. Окоченел душой.

Тень за окном мелькнула. Он вздрогнул. Голову поднял. Гость пришел к нему. Из мастерской. Тоже художник. Рыжий, вертлявый, руки и ноги как на резинках пришиты. Забегал по комнате. Рука об руку трет — рот до ушей:

«Пикассо! Праздники на носу!»

Богдан сидит: не видит, не слышит.

Вертлявый к нему наклонился:

«Ты что, Пикассо? Ты в штопоре, Пикассо? Бурмакин новые кисти привез. Белила привез. Живем, Пикассо!»

«Не пойду никуда»,— Богдан ответил.

«Да ты что, Пикассо? — удивился вертлявый.— Ты посмотри на улицу, Пикассо! Утро красит нежным цветом, Пикассо!»

«Красьте его без меня...» — тихо сказал Богдан.

«Тэ-э-эк! — почесал голову вертлявый.— Штопор глухой...» Дернулся к двери, пропал, как не было.

Богдан лег на кровать — уснул. Я на работу пошла. Вернулась — нет его. Оббежала весь город. Нигде найти не могла. Вернулась обратно. Сидит у окна. На рамку материю натянул. Чистая была материя, из мешковины. Глядел на нее. Линию провел углем — вытер. Всю ночь просидел, ничего не нарисовал. Я к нему подошла.

«Богдан! Ложись...»

«Нет. Я должен историю нашу писать. Я продолжать должен...»

«Завтра напишешь. Сейчас уже ночь. Ты устал. У тебя глаза красные...»

«Ничего, ничего. Принеси вина...»

Принесла. Он сидит, как сидел. Две линии на картине.

«Что же ты ничего не рисуешь?» — спросила.

«Надо в цвете,— сказал.— Краски нужны. Кисти...»

«Ты поешь, Богдан. Я брынзы купила. Пища богов, ты сам говорил...»

Не притронулся к брынзе, свое повторял:

«Краски нужны. Хорошие краски...»

Я в Измаил на «ракете» поехала. Красок ему купила, олифы купила. Он мешковину олифой помазал. «Надо грунт сделать,— сказал.— Хороший грунт надо сделать». Лицом очень схудал. Руки дрожат, вина просил принести.

Я несла.

К весне хуже стало. Хрущевы кончились у меня. Я в пекарне мало хрущевых имела. Тридцать в аванс, пятьдесят в получку. Эльвире давала за комнату, еду покупала. Краски покупала. Они дорого стоили. Вино тоже стоило. Он много стал пить. Он уже мне не рассказывал про Бессарабию. Он молчаливый стал. Он говорил: «Когда я работаю, Митря за мной не следит...» И садился к столу. Голую меня рисовал. Грудь отдельно, голову отдельно. Глаза отдельно. «Надо по мысли идти,— шептал сам себе.— Мысль рождает образ...» И много других слов говорил. Я не понимала. Мне его жалко было. Я не могла смотреть, как он себя мучает. Я не знала раньше, что художники так себя мучают. Я хотела, чтобы он «халтуру» свою рисовал. Там мне было понятно все. Там краски красивые были, там молдаване, хохлы и черные улыбались, там солнце светило. Но «халтуру» ему уже рисовать не давали. Вертлявый пришел и сказал: «Я твои кисти возьму, Пикассо! Ты — вольная птица!»

Богдан ему ничего не ответил. Он днями сидел, рисовал. Вечером на кровать ложился, пальцем в окно показывал: «Видишь? Стоит... Хитрец! Он думает, я его не узнаю... Эй! Митря! Митря Чокой! Заходи...— И наказывал мне: — Принеси нам вина, Сабина...»

«У меня нету хрущевых, Богдан!»

«Врешь!»

«Богом клянусь! Пусть мне между пальцами их положат! Если я вру...» [1].

«Найди, где хочешь!»

«Найду, мой родной... И выпить найду и покушать. Тебе надо покушать. Ты худой, ты очень худой стал...»

На пекарне масла взяла. Первый раз взяла. Сошкребки взяла. Ветеран с Пашей Гречихой «процентовку» делали, желтое сверху ножом счищали. Сошкребки делили между собой. Я подглядела, где Ветеран свою долю спрятал,— взяла. Под лифчик себе заховала. И хлеба буханку взяла. «Кирпич» был помятый. Но ничего, Богдан поест. У меня получка не скоро. Он должен поесть. Ему сила надо. Он мужчина. Ему историю рисовать надо.

Я понесла сошкребки и хлеб через проходную. Никогда ничего не боялась. С мачехой гусынь щипали, и не боялась. А в этот раз мое сердце было неспокойным.

Когда боишься — всегда погоришь.

Макуха меня попутал. Из будки вышел, в руку вцепился. Зубы железные выставил. Стоит и за пазуху мою смотрит, четырехглазый червяк. Как заметил, что я сошкребки с хлебом несла? Два Степана

[1] Деньги между пальцами по цыганскому обычаю кладут покойнику.

на «Москвиче» с полным багажником выезжал — не замечал. Ветеран и Паша Гречиха с полными сумками мимо будки шли — тоже не видел. А меня подцепил. Потащил в будку. Двери на ключ закрыл, акт начал писать. Мне все равно стало. Сошкребки растаяли — платье к телу прилипло. В окно глянула. Все, кто работал в первую смену, как вороны слетелись.

Два Степана первый пришел. Глазки свои поросячьи сплющил.

«Доигралась, булочка?.. Я это ожида-а-ал! — И Макухе: — Давай-ка сюда вещественное доказательство. Та-ак! Буханка хлеба... Что еще?»

Я сошкребки ему в морду бросила.

«На, подавись!»

Думала — ударит сейчас. Нет. Чтобы ударить, нужно мужчиной быть. Сошкребки с лица платком вытер, понюхал.

«Та-а-ак! Отметь, Олег Николаевич,— Макухе сказал: — Масло вологодское. Высшего сорта. Полкило...— И мне акт протянул: — Подпиши!»

«Я неграмотная...» — говорю.

«Хорошо...»

На второй день я на работу пришла. Он актив собрал в Красном уголке. За стол сел. Ветеран рядом и Паша Гречиха. Людей собрали.

Судить меня стали товарищеским судом.

Чудно глядеть на них было. Я с мачехой, Ганой, гусынь на вокзале щипала. Мачеха учила меня, как простой прикинуться, как лицо и голос менять. Вспомнила я, как она учила меня, глядела за стол, где актив сидел, думала: "Гана ты Гана! Далеко тебе и всем нам щявале до них, активистов. Вот кому на вокзал идти. Вот кто любого словами обкрутит и без веревки удушит..."

Чудно, чудно было. Я их всех знаю, они матом ругались, хихикали, как черви мучные ползали, под себя гребли. А за стол сели — другие стали.

Два Степана первый голос подал:

«Ну что ж, разберемся, товарищи, в этом вопиющем происшествии!» — И на Пашу Гречиху глянул как хозяин на собаку свою глядит. Та — рада стараться, залаяла чужим голосом. Двух слов связать не умела. Ходила, мешком прибитая. Не поймешь: или спит наяву, или во сне живет. А тут — нате, проснулась.

«Я скажу вам, товарищи,— начала тарабанить.— Чуяло мое сердце, что она нечистая на руку. И вот вам, пожалуйста, результат!» Буханку хлеба взяла со стола, всем показала. И на меня такими глазами глянула, будто я ее мать родную во сне удушила.

Сижу на первом ряду. Думаю. Бог мой! Кто меня судит?

Два Степана мигнул Ветерану: давай и ты пару раз гавкни.

Ветеран воды выпил, встал:

«Да, товарищи! Вот оно, так сказать, подрастающее поколение... Мы за них, так сказать, под пулями были, жизни своей не жалели. Чтоб они, значит, могли хлеб на столе иметь... А получается, что они этот хлеб у трудового народа из рота вытягивают...»

Тут я уже не стерпела.

«А ты?! — Ветерану крикнула.— Ты о народе думал, когда «процентовку» до своей хаты тягал? А ты? — на Два Степана глянула.— Сколько масла, муки «Москвичом» своим вывез? А меня за буханку помятую судите? Ворюги вы! Ворюги вы первые!»

Керосином в огонь слова мои были. Закричали они, глаза удивленные сделали. Макуха, сторож, со стула вскочил, начал брехать. Я его голоса никогда не слыхала. Сидел и сидел в своей будке. А тут, как пчела его укусила:

«Товарищи! Я двадцать лет состою в охране! У меня десять грамот за добросовестный труд! Я никогда не видел, чтобы в нашем коллективе хоть кто-нибудь крошку народного добра вынес!»

«Ой! Не смеши ты меня! — я крикнула.— Не видел он! Очки себе новые выпиши, дышло ходячее! Кто тебя «процентовкой» снабжает? Не ветеран производства?»

Ветеран кулаком по столу стукнул.

«Я этого не потерплю! Я воевал! Я награды имею!»

«Слыхала я про твои награды! И про войну твою слыхала! Ты под пулями не бывал. Ты у солдат хлеб воровал!» — крикнула я. А потом думаю: зачем я кричу? К окну повернулась, гляжу на небо в решетке.

Два Степана услышала голос. Встал он. Лицом обиженный — хоть сама заплачь на него глядя.

«Да, товарищи! — вздохнул.— Случай в нашем коллективе беспрецедентный... Вы знаете, я даже сегодня ночью уснуть не мог...»

«Ешь меньше на ночь, Степан!» — я выкрикнула.

Актив на меня зашикал. Два Степана головой покачал, повторил жалобно:

«Да-а, уснуть не мог. Думал. Как же так получилось, что рабочая, Бужор, попыталась опорочить наш коллектив? — И палец свой толстый вверх поднял: — Коллектив! Награжденный! Переходящим! Красным знаменем! За производственные показатели. А? Как же так получилось?»

Все, как мыши притихли. Ветеран оглянулся — на месте ли знамя. Точно — на месте. Стоит в углу. Из красного бархата. На знамя бархат нашли. А в магазинах простого ситца не купишь, платье пошить.

Два Степана платочком лицо свое вытер — глянул в зал.

«Такой наглости, товарищи, такого, я не боюсь этого слова, цинизма и наплевательского отношения к здоровому ядру нашего предприятия, я в своей жизни не видел...— Галстук на жирной шее ослабил, на меня глянул.— Я, товарищи, честно скажу. Я хорошо знаю рабочую Бужор. Я помню тот день, когда она вступила в наш коллектив. Я протянул ей руку! Прояви себя, Бужор! Ты молодая! А молодым, как в песне поется, везде у нас дорога...»

«Да заглохни ты! — не утерпела я.— Слушать тошно. Дорога... Что ты мне предлагал, когда я в ночную работала? Что? Душа твоя вывернутая. Скажи!»

Не покраснел даже. Крови для совести у человека с рождения не было, чтобы краснеть.

«Ну, вот видите? — руками развел.— Видите, дорогие товарищи? О чем можно тут говорить?»

«Не о чем говорить!» — подбрехнул Ветеран.

«Не о чем!» — Паша Гречиха тявкнула.

«Тихо, товарищи! — Два Степана поднял руку.— Возмущение ваше, товарищи, мне очень понятно.— И снова на меня глянул.— А ведь мы, Бужор, хотели тебя на поруки взять. А после таких твоих слов, после такой клеветы, я думаю, и, надеюсь, актив меня тоже поддержит, в нашем здоровом коллективе тебе не место!»

А где тебе место? — хотела я спросить у него.— Где? Кабан старый в галстуке...

Не спросила. Что у глухих спрашивать?

Вышла я из пекарни. Иду по улице. Ни о чем не думаю. Все я и так раньше знала.

Мачеха учила меня: гажё — стая ворон. Одному можно гадать. Двое к тебе подойдут — не связывайся. Заклюют.

Связалась. Что теперь делать? Ученая буду. Ничего. Не пропаду. Не могу я пропасть. Будьте вы прокляты. А меня Бог простит. Бог меня видит — не обидит. Не пропаду. Мне Богдана жалко. Как он там, Богдан мой? Что он сейчас один делает? Я перед ним виновата. Я ему хлеба не принесла. Масла не принесла. Он мужчина. Его кормить надо. Что я скажу? Что я ему скажу?

Пришла. Он лежит на кровати. Я на картину глянула. Вся в клетку картина. Красные клетки, синие, желтые. Он меня увидал, поднял голову, усмехнулся:

«Ну, как? Настоящий кубизм!»

Я ничего не поняла. Я не знаю, что такое «кубизм». Я много слов его языка до сих пор не знаю.

Долго он на клетки глядел. Чужой совсем стал. Мне стало жалко его. Мне хотелось, чтобы все было, как раньше. Я хотела лежать с ним. Я хотела, чтоб он мне рассказывал о своей жизни. Я голос его слушать любила.

Но он молчаливый стал.

Я к нему подошла. Я его обняла. Он оттолкнул мою руку. Я его в шею поцеловала, он отвернулся. Слабый он стал от вина. Он меня раньше долго любить мог. А вино и картины всю его силу мужскую выпили. Но мне это не надо было. Ничего мне не надо этого. Богом тебе клянусь — не надо. Только бы сердце его ко мне не усохло.

«Богдан! — я говорю.— Ты не смотри на клетки. Посмотри на меня...»

Он на картину кивнул.

«Что, не нравится?»

«Нравится. Все что ты делаешь — нравится! — И сама на картину глянула: — Красиво. Очень. Только...»

Он подхватился с кровати.

«Что? Что только?»

«Не знаю... Ты сказал, что историю нарисуешь. История — это земля, трава и люди... А клетки... Клетки — это арифметика...»

Я пожалела, что так сказала. Он засмеялся. Нехорошо засмеялся, потом схватил меня за руку, крепко схватил.

«Ты? Ты меня будешь учить? Ты? Меня?»

«Бог с тобой! Сердце мое! Кровь моя! Не хочу я тебя учить! Я хочу, чтоб тебе было радостно жить. А ты не рад. Твое сердце в тоске и печали. Ты не любишь меня? Ты меня больше не любишь? Обними меня... Обними меня крепко...»

«Отстань!» — он сказал. И к картине своей подошел. Тюбик краски выдавил и пальцем клетки замазывать начал. Потом на меня глянул.

«Раздевайся!»

Думала, он меня рисовать голую будет. А он мою грудь начал краской мазать. Правую — синей. Левую — красной. Отошел в угол, смеяться начал. Потом заплакал. Долго плакал. В окно поглядел и в угол забился.

Я не могла его в постель уложить. Я уснула. Он ночью ко мне подошел. Близко, близко ко мне наклонился. Я услышала, как он дышит. Я открыла глаза. Он разглядывал мое тело, лицо мое — всю меня долго разглядывал. Потом зашептал:

«Я, кажется, понял... Ты с ним сговорилась...»

Мне стало страшно. Я на постель села.

«С кем? С кем сговорилась, Богдан? Бог с тобой...»

Он отошел от меня, пригрозил пальцем:

«Меня не обманешь. Не-е-ет! Ты Митрю ко мне привела. Ты! Ты! Он не знал, где я живу... Ты его привела... Вот он, вот он в окно подглядывает».

«Богдан! Родной мой! Там никого нет! Я никого не приводила! Я не знаю Митрю! Убей меня — не знаю. Убей! Убей! Богом тебе клянусь, я тебе зла не желаю...»

Он оставил меня. Задумался. Забыл, о чем говорил. Утром ушел. Я пошла за ним. Он шел и оглядывался. Сам с собой разговаривал.

Стаканщики у «Чайной» сидели.

«Эй, Пикассо! — один крикнул.— Иди, вмажем...»

«Не надо,— второй ответил.— Он уже свое вмазал...»

Богдан имя свое услыхал, побежал от них. Оглядывался. Голову в плечи прятал.

Вечером вернулся домой. С Эльвирой уже не разговаривал. Дверь закрыл. Замка в двери не было. Он ножку от стула в ручку просунул.

«Никого не пущу,— сказал: — Вы меня так не возьмете!»

Я вина ему принесла. У меня сорок хрущевых остались последних. Он вино выпил. Но пьяным не стал. Сидел и молчал.

Эльвира в дверь постучалась.

«Мое тэрпение,— закричала,— имеет границы! Плати за квартыру и забырай свои бэбэхы! Гэть отсуда!»

Богдан ее не слушал. Я вышла. Дала ей тридцать хрущевых. Последних. Больше у нас с Богданом ничего не осталось. Ни одного не осталось хрущева. Сколько их надо для счастья? Скажи! Скажи мне! Думаешь, много? Я много хрущевых в руках держала, пачками их держала. Десять, двадцать пять — куча! Большую кучу держала. Только всегда знала — это бумага. Она не даст тебе счастья! Она судьбы твоей не изменит. Она обманет тебя. Она глаза тебе медом замажет. Тебе покажется, что ты сильный. Красивый. Что тебя любят. Что ты все можешь. А это обман, обман. Самый старый обман на свете. Сталины и хрущевы слепыми людей делают! Они душу сушат! Кровь выпивают, несчастными делают, больными и старыми делают. А для счастья не много надо. Богом клянусь — не много. Сколько я сталиных и хрущевых имела, памяти в голове не хватит, а счастливой была, когда двадцать копеек нашла. Мачеха Гана с Васо жила, я голодной была. Двадцать копеек нашла на базаре. Купила себе пирожков с горохом. Четыре штуки купила. За кузней сховалась и съела. И рада была. И запомнила эти двадцать копеек. На всю свою жизнь запомнила. Но тогда я одна была. Мне одной много не надо. А сейчас у меня Богдан есть. Богдана надо кормить. Поесть что-нибудь надо достать, хоть крошечку хлеба достать...

Я на вокзал пошла. Тепло на вокзале было. Безродным воздухом пахло. Люди проезжие на скамейках сидели. Найти одного надо, думаю. Гусыню найду, думаю. Нагадаю ей молодого, с машиной и дачей. Сидели гусыни, много гусынь сидело, но не могла я гадать. Чтобы гадать — легкое сердце надо иметь. Когда на сердце легко — горе, чужую судьбу, как свою видишь, легче на сердце примешь — удача будет.

Нет, не могла я гадать. Не легко мне на сердце было. Нет радости в сердце, нет и охоты. В туалет зашла, глянула на себя в зеркало. Эх, щявале, щявале! Ты это? Ты на меня глядишь? Сабиной тебя зовут? Нет, нет, это не ты, Сабина. Это печаль твоя, это забота твоя на тебя глядит. Ты заботу свою понимаешь. И на лице у тебя забота. Никто на лицо не посмотрит. Худая ты стала, как камышинка под ветром. Круги черные под глазами. От ночей круги, от бессонных ночей, от мучения Богдана. От тоски его, от печали. К кому я с таким лицом подойду? Не будет удачи мне. Нет, нет. Зачем я так говорю? Зачем себе ворожу? Будет, будет удача. Я не одна. Богдан сидит, меня ждет. Богдану надо поесть и вина выпить. Надо себя держать, Сабина. Ты

не горюй, Сабина. Будет еще в нашей жизни тепло, весна будет. Ты еще молодая, твои волосы пышные, на лице ни морщинки, глаза твои жаром горят. Приди, приди мне, удача, сердцу своему наказала.

В зал вошла. Кинула глазом. Людей, как волос на голове. Пригляделась. Учила меня Гана, мачеха. Не спеши, говорила. Хитрой будь, как лиса. Тихой будь, как овечка. А гажё всегда найдутся. Сами тебе хрущевы свои отдадут. Только ты не спеши. Слушай сердцем, глаза закрой, сразу почуешь слабые души. Вот, вот они! У одних билет в голове, другие дурью маются. Тихо, тихо стой. Что ты чувствуешь? Глаза по лицу, как ветки, стегают, пропусти, пропусти мимо. Казенных людей пропусти, на лица смотри, на местных смотри. Местные, как вороны — богачи, три хрущева в кармане. Этих не трогай. Тихо, тихо стой. Вот, вот этот. Чуешь, как сердцу жарко? Этот, этот к тебе с удачей. Рядом совсем стоит. Не гляди на него. Тихо, тихо стой. Кто он? Кто? Горячо сердцу. Не казенный, не местный. Борода с рюкзаком. Ветер гулящий. Знаю. Я бородатых знаю. На край земли едут зубы свои терять, с железными возвращаются. И этот такой. Глядит на меня. Улыбнулся. Бог мой! Верно — железа во рту полно. А что в кармане? Что у тебя, милый, в кармане? Теплый ты, вижу, стену плечом подпираешь и глядишь, глядишь на меня. На! На! Хорошо меня разгляди. Я платок распущу. Вот моя грудь. Видишь, видишь? И я вижу, глаза твои жидкие вижу. Подходи, подходи...

Подошел. Губы скривил.

«А ты апще ничего-о-о!» — сказал.

«И ты мужчина красивый,— я отвечаю.— Ты от матери вырос красивой. Ты в молоке в детстве купался...»

«Нищак! Я торчу! — сказал борода. И ко мне наклонился:— А скажи мне, чего я желаю?»

«Скажу, молодой! Скажу, красивый. Тебе сладкого хочется...»

«Я торчу! — Борода качнулся, псиной собачьей дохнул на меня: — Торчу! Но! Сладкое — это потом. Ты секешь? Я без булды грю... Корешок мой, Санька Патлач. Патлача Саньку знаешь? На трубопроводе — первый ас... Он сказал, то есть Санька сказал, кореш мой, Санька... Вася! — сказал.— Вырвесся на юга! Первым делом арбуза моченого спробуй. Водяра под арбуз — нищак...»

Эх, дурак ты, Вася, дурак, думаю. И кореш твой тоже дурак. А сама к нему ближе, ближе. В глаза его обсосанные гляжу.

«У тебя вкус хороший, Вася! — шепчу.— Ты мужчина. И вкус твой мужской. Правду тебе говорю...»

Вася икнул: — «Верю! В точку бьешь, девочка...»

Бабушка твоя тебе девочка, думаю.

«В сердце, в сердце я бью твое! — И под руку его крепко взяла.— Вином угостишь? Я тебе арбуз моченый достану. Из-под земли тебе арбуз достану».

«Вином? — удивился Вася.— Абижа-а-аешь! Я апще вина в рот не беру. Я водяру употребляю. Хлебаешь водяру?»

«С тобой, мой хороший, я керосин хлебать буду...»

«Керосин, не-е! Керосин не кондиция. А водяра — нищак! Водяру мы щас... Нет проблем».— Таксисту мигнул. Не торговался. Хрущевы вытащил из кармана, из левого, видела я, из левого, не потайного, из пачки, ленточкой перевязанной. У таксиста глаза заблестели.

«Может,— Васе сказал и кивнул на меня,— тебе с дамой сэрца достопримечательности Аххылэи показать? С вэтэрком..»

«Езжай, езжай!— говорю.— Катальщик. Нам некуда ехать...»

«Свободен, шеф!— икнул Вася.— Дама права: нам некуда ехать!— И затянул голосом тошным:

Нам некуда больше спеши-и-ить!
Нам некого больше люби-и-ты!
Ямщик, не гони лошаде-е-ей!

А? Нищак? Подпевай. Первым голосом можешь? Я сам, без булды грю, бас-гитара. Ансамбль «Тюменские зори» слыхала?»

«Слыхала, родной мой, слыхала... Каждый вечер по радио слушаю».

«Нищак! Я грю, в ансамбле, ла́бал... Дай мне гитару... Сбацаю. А? Тебя как зовут?»

«Любовь... Любовь я...»

«Нищак! Где пить будем?»

Вася, ты Вася! Было б что пить. А где — найти можно...

В скверик его повела. Он к горлышку присосался. А пачка хрущевых из его кармана уже на груди моей грелась.

«Па́ла, таксист!— сказал Вася и поглядел на бутылку:— Ну, пала!.. Это не водяра... Компот это!»

«Ты не кричи, не кричи, мой хороший! Ты арбуз моченый хотел... Хотел арбуз моченый?»

«Арбуз — нищак! Я торчу! — икнул Вася.— Тащи! На закусь тащи».

«Сейчас. Я сейчас. Жди меня. Я сейчас...»

Ветром горячим меня понесло. Жди! Жди арбуз, Вася! Принесу, Вася! Ка̀на барёна ле́хкэ пе па̀лма бал! [1].

Бежала проулками. Пачка хрущевых горячим углем мою грудь обжигала. За углом, у Дуная, у самого бережка, у вербы старой вытащила...

Бог мой! Не из того кармана взяла. По одному хрущеву в пачке — сто штук всего...

Ничего, ничего, Сабина! Спасибо скажи и за это. Не гневай удачу. Пусть будет сто.

Выпить купила, поесть купила. За комнату Эльвире вперед дала. Месяц так жили...

Бо́гдану хуже стало. Солнце светило, он не вставал, лежал на кровати. Ночью ходил по комнате. Все краски — желтые, синие, черные — из тюбиков на клетки выдавил. На пол бросил. Топтал ногами, плакал, смеялся. Старые картины из-под кровати достал. Поставил рядком у стены. Ту, где отца его га̀жё военные забирают, долго разглядывал. Лампу на пол поставил, стал на колени и зашептал:

«Отец! Ты меня слышишь? Куда тебя увезли? Скажи... Я скоро приеду к тебе... Отец! Я к тебе приеду...»

Пальто на голое тело накинул, сел на кровать.

Мне стало жутко. Я встала с постели. Обняла его.

«Богдан! — сказала.— Куда ты поехать хочешь? Ночь! Видишь, ночь на дворе... Богдан!»

«Надо ехать, Сабина,— ответил.— Надо... Все равно меня заберут... Митря — предатель...» — голосом тихим сказал, будто во сне разговаривал.

Не глядел на меня. Не могла я поймать его взгляда. Нервный стал. Пугливый стал. На окно глядел.

Ночью, под утро, схватил меня за руку.

«Сабина! Ты слышишь? Они идут. Они заберут нас... Всех заберут...»

«Богдан! Ты что говоришь? Не бойся. Пока ты жив, мой любимый, не бойся! Никто тебя не заберет! Я всем горло перегрызу! Ложись рядом... Я согрею тебя... Ты усни. Ты не думай... Не жги свою душу...

[1] Когда у тебя волосы иа ладони вырастут!

Ложись... Давай я тебя обниму. Прижмись ко мне... Усни... Скоро весна... Солнышко будет — весело будет... Уедем в Одессу... В Крым уедем... Ты будешь историю рисовать... Я хрущевых тебе достану. Много достану...»

Он не слушал меня. Он не глядел на меня. В пол глядел. Упрямо глядел. Свое повторял:

«Нет, Сабина. Поздно. Они меня всюду найдут... Видишь? Митря смотрит в окно... Ночь... Он не спит, Митря... Ночь, черная ночь. Чистый аспид... Чистый, без примеси... Надо белила достать... Надо ночь замазать... Я знаю. Я не так делал. Я грунт слабый делал... Аспид проступает... Белила... Принеси мне белила! Мне много белила надо, Сабина! Слышишь?»

«Слышу, слышу, родной мой... Не мучай себя. Прошу тебя, сердце мое. Я достану белила... Сколько хочешь достану. Я тебе разной краски достану. Голубой, красной, зеленой... Ты успокойся... Усни. Ты худой стал, Богдан. Ты ничего не ешь... Я хлеба тебе принесу. Брынзы тебе принесу. Тебе надо покушать. Мужчина должен покушать. Я сейчас принесу. А завтра поеду за красками в Измаил... Первой «ракетой» поеду. Ты усни, усни, мой родной. Я сейчас...»

На вокзал побежала по новой. Удачу искать побежала. Только не знала, что удачи не будет. Затих легкий ветер удачи. Крылья сложил. А я не почуяла сердцем. Я о Богдане думала. Я о себе забыла. Бежала, о нем думала.

Холодная ночь была. Вода холодная падала с неба. Злая вода. А на вокзале тепло было. На вокзале всегда тепло. Найду, сейчас я найду глупого га́жё! С хрущевыми гажё найду. Спасу Богдана. Белила ему куплю, покушать куплю...

Люди сидят на вокзале. Много людей. Люди вы, люди! Сколько вас проезжающих нашу землю топчут? Сколько казенных, с холодными душами, ездят по нашей земле! Молодых, старых, умных и хитрых сердцем. И все глядят на меня. Не спеши, не спеши, Сабина. Надо хорошего гажё найти, чтоб много хрущевых имел. Не по одному, по пять— десять в пачке... Найду, найду. Что в рюкзаках ваших, люди? В чемоданах, коробках, узлах? Куда вы везете наше добро? Куда сами едете? Что ищете, люди? Счастья? Счастье нигде не найдешь, если в душе твоей солнца не будет. Люди, вы люди! Вижу я вас, сердцем вас чую. Вот ты, в костюме сидишь, с портфелем сидишь. Тонкогубый. Книгу читаешь. Что ты там прочитаешь? Нет правды в книгах. Книги бирэво хитрые пишут, химию пишут, историю пишут, чтобы детей обхитрить. И ты тоже хитрым стать хочешь. Бирэво хочешь стать. Большим бирэво. В кабинете хочешь сидеть. Муку, масло до хаты таскать. Вижу я, вижу тебя. Ты мне хрущева не дашь. Ты удавишься за хрущева. И гадать я тебе не хочу. У тебя судьбы нету, ты — осадок в пробирке. Портфель для тебя — мать и отец. А ты? Ты кто такой? Ты — местный, ты кожухом пахнешь бараньим. Ты на базаре был, брынзу овечью продал. Купил колбасы, рыбы копченой купил. Тебе тоже судьба не нужна. Колбаса, брынза — твоя душа. Ты копейки считаешь, а в перине твоей тысячи спрятаны. Умрешь, и дети твои эти тысячи по ветру пустят, перегрызутся. Не помянут тебя добрым словом. А скажут, что мало оставил. Врагами станут, на могилу твою не придут. Глупый, глупый ты, гажё. Гадай не гадай тебе — глупым и жалким умрешь.

Где? Где найти подходящего?

Я на перрон вышла. Дизель стоял «Ахиллея — Бульбоки». Не было и здесь никого. Холодно, мокро было. Нету тебе удачи сегодня, Сабина, себе говорю. Нет — есть! Есть удача, есть мой Бог...

Гусыня с сумкой на подножку вагона взбиралась. Пыхтела, добра

много в сумке имела. Лицо белое, волосы белые. Химия — волосы. Перстни на пальцах. Один, второй с камешком. Есть, есть удача, Сабина. Есть. Надо за ней поехать. До Алуата доеду. Утром обратно вернусь. Посмотрю, пощупаю, что у нее под крылышками. Жирная. Вижу, что жирная. Чужая здесь. И я чужая. Овечка я. Я почему в Алуат еду? Я к матери еду. Я в Алуате живу. Отец нас бросил. К отцу ездила. Он меня выгнал. Я домой возвращаюсь. К себе в Алуат возвращаюсь.

Стой! Не спеши, гусыня. Вот, вот села на лавку. Не вижу ее. Не думаю, что она есть на свете. Свои мысли думаю. Отец мой плохой. Хлеба не дал. Голодная я. Домой еду. Спать хочу. Есть хочу. Но не прошу. Тихая я. Не умею просить.

Надо к ней ближе сесть. Нет, место занято. Дедок у окна. Газетку читает. Читай, читай, пирожок ни с чем. Ты нам мешать не будешь. Казенные спят, нет казенных. А я овечка. Я в окно гляжу. Сейчас дизель отъедет.

Гусыня платок развязала. Пуговицу расстегнула на кофте. Кофта богатая. Три складки на белой шее — отъелась. Где? На каком белом хлебе? Видела. Я таких уже видела. Они за прилавками стоят в магазинах. Они в буфетах пивом торгуют. Телом жирные, глазами трусливые. И перстни на пальцах, и цепочка на шее из золота. Магазинного, не нашего золота. На меня посмотрела. Сумку у ног толстых поставила. И сумка толстая. Замки золотые.

Старичок от газетки своей оторвался.

«Сумочку можно поставить на полку,— посоветовал, перец сушеный.— Давайте я помогу...»

Помоги, помоги, разорви свою грыжу, старый дурак.

Гусыня захлопала крыльями.

«Ой, спасибо вам! Не надо, спасибо! — И сумку ногами прижала. Есть, есть в сумке добро. Еще одну пуговицу расстегнула на кофте, платочком лицо потное вытерла.— Ах, как здесь душно! Замаялась я с этой дорогой...»

«Замаялась...» Слово не наше. На «а» говорит. «Акай», акай, а мы посмотрим, послушаем.

Была бы охота слушать. К сыну едет. Сын сфицером служит. Телеграмму ей дал. Мама! Приезжай к нам на свадьбу». Езжай, езжай, душа потная. Свадьба хорошая будет у сына. Ты сумку добра подаришь снохе, и хрущевы свои пивные подаришь. Вижу, где они у тебя. На левой груди в лифчике спрятаны. Любой-каждый увидит. Ты левую грудь пальцами трогаешь. Толстая пачка, чую, толстая. Левая грудь больше правой. Щекотно тебе от твоих пивных денег. Не доберусь. Не успею до Алуата добраться. Чтоб ты уснула! Спи, спи, усни! Ты поспать любишь, ты свое тело толстое любишь! Усни, усни!

Нет, не хотела гусыня спать. Колбасу из сумки достала. Не на свадьбу везла колбасу. На вокзале купила. Из дохлой собаки была колбаса. На свадьбу другую везла, в сумке две палки стояли, в пленку завернутые. Обрадуется сноха! Поцелует тебя в пухлую грудь. Там, где хрущевы запрятаны, поцелует.

«Порезать у вас не будет чем?» — спросила.

Дедок из кармана ножик достал. Ничего себе ножик у старого таракана. Таким ножиком людей убивать в темном месте.

«Позвольте...»

Режь, режь, тебе тоже отломится...

«Спасибо вам! — Гусыня в сумку полезла.— Яблочек не хотите? Из нашего сада яблочки...»

Ах, ах, свет небесный. Сейчас будет хвастаться. Какой у нее садогород. И какое она варенье варит.

«Бери яблоко, девушка...»

Возьму, возьму. В глаза только твои гляну, на самое дно души твоей гляну. Нет у тебя души. Пустота потная.

«Спасибо вам! Спасибо от сердца! Я таких яблок не видела...»

Сто лет бы их не видать — зубы сломаешь.

«Тамбовская антоновка,— гусыня ответила.— Самые лучшие яблоки в мире...»

Ах, ах! Дура ты, дура! Самый лучший в мире — это виноград. И то один сорт — «дамский пальчик». Приедешь — сын угостит.

«Правда, правда, вкусное очень...»

«И колбаску бери. Ешь колбаску, девушка...— На дедка глянула:— А вы что? Подсаживайтесь, не стесняйтесь...»

«Спасибо. Я сыт...» — дедок ответил.

Дурак он твою вокзальную колбасу есть. Он на ту, что в сумке осталась, глаза вострил. Не обломится тебе, дед, читай газету. Ничего, что голодным уснешь, зато — умным.

У гусыни тоже газета была, не для чтения — курицу жареную заворачивать. Любит гусыня курицу. Куриные крылышки пальчиками в перстеньках пощипывать начала. Дай и мне! Дай! Жадюга тамбовская!

Не дала, отрыгнула курятиной.

«Ах, какая дорога длинная! — вздохнула.— Так далеко мой Виталик служит. Ни разу к нему не ездила.— И на меня глянула: — Доедай, доедай колбаску, девушка... Это загар у тебя? Или ты от рождения?»

Загар. Под луной загорала.

«От рождения, тетя...»

«Какой шоколадный цвет кожи... Ты красивая, девушка... — И зубы свои показала — все из пивного золота.— Была я в Сочах, загорала,— начала вспоминать.— Море мне очень понравилось. А рынок — нет. Цены — ну просто обалденные! Помидоры — десять рублей килограмм! Персики — пятнадцать. Это какую зарплату надо иметь?..»

Не обеднеешь, пивная душа. У тебя на левой груди тыща хрущевых лежит. Усни, усни поскорее...

Не хочет гусыня спать.

«А у вас тут почем?» — у меня спросила.

«Помидоры? Или персики?»

«Помидоры хотя бы...»

«Не знаю, тетя. Я на базар не хожу. У нас свои. И помидоры свои. И персики. Вишня, черешня — все свое».

«У вас свой дом?»

«У меня?»

«У родителей, я хотела сказать...»

Вольный ветер мои родители.

«Да, свой, свой, каменный, двухэтажный».

«А сейчас ты домой едешь?»

«Домой...»

«Ты работаешь или учишься?»

«Учусь, тетенька. В училище я учусь... Художницей буду...»

Дедок зашуршал газеткой и посмотрел на меня. Что смотришь? Читай, перец старый.

«Как интересно!» — обрадовалась гусыня.

«Интересно. Очень! Я с детства мечтала художницей стать...— Что я ей говорю? Зачем это ей говорю? Я не это сказать надумала.— Да, тетя, с детства... Я поступила... Очень трудно учиться. Я хотела свое рисовать. А нас «грунт» заставляют делать...»

«Грунт?» — переспросила гусыня.

«Да, «грунт». Мы на рамку мешок натягиваем. Мешок только ку-

бинский подходит. От сахара. А потом олифой мажем, а сверху шпаклевкой. Когда высохнет, мы «кубизм» рисуем...»

«Чего, чего?» — переспросил дедок.

«Кубизм» дурак старый не знает.

«Это клетки. Красные, желтые, синие. На «кубизм» очень много краски идет. Мы краску сами покупаем: «аквамарин», «сурик», «белило». Нам не дают белило... Мешки дают. А краски на свои покупаем...»

«Да, да,— кивнула гусыня, будто что понимает.— В наших учебных заведениях всюду так. У моей сестры мальчик во второй класс ходит. Одни расходы. А говорят: бесплатное обучение...»

«Жизнь дешевле не будет,— пообещал голодный дедок и зашуршал газетой.— Вот пожалуйста... У нас кукуруза — царица полей. А в Японии, пишут, уже воздухом торговать начали...»

Гусыня о цене на японский воздух не стала спрашивать.

Зевнула. Бог мой! Зевнула. Вагон дернулся, покатил. Стучите, колеса, стучите. Спи, не проснись, спи, спи. Дедок нас оставит. Усы прокуренные. Выйдет, выйдет сейчас, не утерпит, подышит дымком, в окно поглядит, о воздухе из Японии помечтает. А ты спи, спи, усни, гусыня моя. Пусть тебя ангелы заберут на небо. Вот так, так, ладошку свою под щеку положи. Ты летишь, ты на небе уже. Там твое счастье, там сноха тебе двойню уже родила. Ты к ней и без сумки доедешь. Не обеднеешь — я знаю, знаю. Такие, как ты, на белой скатерти хлеб белый с маслом едят, на хрущевых спят. Хрущевы худых не любят, хрущевы толстых любят. Спи, спи, моя гусочка. Вот и дедок спичками загремел. Иди, иди, покури натощак, читатель задроченый. Иди, не гляди на меня. Я тоже сплю, я глаза закрыла, я покой гусочки стерегу. Уходи, уходи! Стучи колесами, дизель, спи, спи, гусыня. Тебе сейчас сладкий сон снится. Ты свекровью не хочешь быть, ты еще сама молодая, ты сама еще погулять хочешь. Гуляла, гуляла в Сочах с офицером. На базар с ним ходила. Офицер тебе персики покупал, по пятнадцать рублей за кило, помидоры тебе покупал. Ты о таком женихе всю свою жизнь мечтала. Он тебе по ночам снился, когда ты уснуть не могла на перине. На! На! Посмотри на него! Вот он пришел к тебе, твой офицер. Обними его, поцелуй, сапоги сними офицерские. И он тебя поцелует, в правую грудь поцелует, левой у тебя нет и не было никогда. Спи, спи. Вот так, вот он, твой узелок — платочек вышитый. Отпусти, отпусти его. Поцелуй офицера, и ноги, ноги ослабь, ты мешаешь ему. Ему сумка твоя не нужна. Вот так, так, сумка вам не нужна. Ты с офицером лежишь, на мягкой перине лежишь. Он целует тебя. Как он сладко тебя целует — усы у него мягче крыла воробьиного. Тебе хорошо, тебе хорошо с ним. Не буду, не буду на вас смотреть, мешать вам не буду. Все, все, прощай, теща тамбовская! Я ухожу, мне надо уйти. Вот дома алуатские побежали. Дедок уже покурил, сейчас вернется; он в тот тамбур пошел, мне с ним видаться не надо; я в этот пойду. Все, все — меня нет, ухожу. Скорее стучите, колеса: сейчас Алуат будет, я пересяду на ахиллейский, меня Бóгдан мой ждет. Прощай, прощай! Сейчас выйду. Ночь меня спрячет, ночь спасет. Как медленно поезд идет, очень медленно. И дверь не открыть. Нет, воздухом двери закрыты. А если попробовать? Нет, нет, крепко закрыты.

«Может, помочь тебе?» — кнутом стеганул по спине чужой голос.

Прощай, воля, Сабина, прощай удача...

Двое стояли в шинелях. Один брюхатый с усами кошачьими, второй горбоносый, облизывал красные губы.

«Помочь, спрашиваю?» — еще раз спросил.

Все. Все. Не успею. Сейчас дверь откроется. Воздух шумит. Угадал, черт казенный, рукой дверь от меня заслонил.

«Не спеши, не спеши! Дай на тебя посмотреть...— И подмигнул усатому.— Петь! А овечка каракулевая...»

Петя поправил ремень на шинели.

«Сумка — тоже, ниче... — И ко мне подошел: — Где ты ее взяла?»

«Моя! Моя эта сумка! Моя, люди добрые...»

«Мы — добрые. Эт-то то-о-очно! — сказал горбоносый и подтолкнул меня обратно в вагон, дохнул в щеку вином кислым: — Так! У кого ты сумку взяла?»

«Моя это сумка. Моя...»

Бог мой, хоть бы гусыня сейчас не проснулась.

Нет — Бог меня больше не слышал. Криком гусыня кричала, хлопала крыльями.

«Милиция! Обокрали! — кричала.— Меня обокрали!..»

Усатый на лавку сел.

«Успокойтесь, гражданка. Ваша сумка?»

Гусыня в ручки вцепилась, глаза вскинула:

«А деньги? Деньги! Сыну! Мой сын офицер! Товарищ сержант! Деньги... Мои... кровные... Моим трудом заработанные! Она! Она! Воровка! Украла! — И вцепилась мне в волосы. Я не могла увернуться, лицо ее поганое расцарапать: держал меня за руку горбоносый.— Воровка! Воровка! — кричала гусыня.— Мои кровные... Деньги! Мои!»

Дедок коленки поджал, ладошки потер друг о дружку, зацокал зубами:

«Я сразу... Я сразу, товарищ сержант... Я ее раскусил сразу, художницу эту. «Кубизм» эту... Зна-а-аем мы ваш «кубизм»! Жизни от вас нима, ворюги! «Кубизм» зна-а-аем...»

«Что ты знаешь, душа газетная? Заглохни, огарок хренов! Ты ее сам обокрал!»

«Я? — язык прищемил дедок.— Я? Товарищ... Товарищ сержант. Я сорок лет...»

«Разберемся!» — поднял руку усатый.

«Эт-то точно!» — кивнул горбоносый, и глаза его скользкие полезли щупать меня, голодным зверем полезли за пазуху. Нет, не хочу. Не дамся меня ощупывать. Подавись ты своими хрущевыми.

«На! — бросила я платочек гусыне,— возьми свои трудовые!»

Горбатым станет трудовой человек, чтобы столько иметь. Много в платочке было хрущевых: коричневые, зеленые, красные были...

«Два, три, четыре, восемь,— считала гусыня и голову вскинула:— Товарищ сержант! Сто рублей не хватает...»

«Куб — бизм!» — лязгнул зубами дедок. Еще что-то сказал. Не услышала я, вырвалась, схватила гусыню за горло.

«Сто? Ах, ты, гнида поганая! Гнида! Гнида! Чтоб ты сдохла!»

Горбоносый меня оттащил, я вырывалась, кричала:

«Брешет она! Брешет, паскуда! Я ей все отдала! Все! Все! Паскуда! Гнида! Гнида!..»

«Та-а-ак! Разберемсь, разберемсь...» — Усатый начал писать, лоб свой наморщил, будто думать умеет.

«Что пишешь? Что пишешь? — я закричала.— Начальник! Я все отдала! Все! Что пишешь? Не пиши! Ты неправильно пишешь! Ты карандаш не в ту руку взял...»

«Поговори, поговори у меня,— огрызнулся усатый и на дедка глянул: — Свидетель! Как ваша фамилия?»

«Я свидетель? Я? — оглянулся в окно дедок.— Нет! Я в свидетели не пойду. На словах — скажу, а в свидетели, не-е-т...»

«Постой, постой, дед! — горбоносый вмешался.— Ты видел, как дело было?»

«Я б и вас не видал, када б вы не пришли».

«Отказываетесь, значит, от показаний?» — спросил горбоносый, но без обиды.

«Категорически! — замахал руками дедок.— На словах — пожалуйста. В свидетели — категорически!» — И в угол забился, газетку раскрыл, про японский воздух начал читать...

Усатый бумагу спрятал и на гусыню взглянул:

«Значит, так... Вам, как пострадавшей, придется выйти... Сейчас остановка будет. Пятнадцатое отделение. Напишете, сколько у вас денег пропало...»

«Ой! Ой! — захлопала крыльями теща тамбовская.— Бог с ними, со ста рублями... Товарищ сержант... Бог с ними. Пусть подавится... Мне к сыну надо... Мне на свадьбу... Сын женится... Вот телеграмма».

«Ладно, дело ваше...— отмахнулся усатый и за руку меня взял: — Двигай!»

В тамбур вышли. Толкнули меня к двери. Закурили, шепотом разговаривать начали. Дизель шел, не было остановки.

Ночь на мою душу упала, темная ночь. Куда я еду? Куда? Мне к Бо́гдану надо. Богдан меня дожидается. Он один. Ему одному долго нельзя быть. Бог мой...

Поглядела на них, в глаза поглядела:

«Отпустите! Молодые! Красивые! Удачи вам пожелаю! Счастья, здоровья! Большими бирэво́ стать пожелаю! Отпустите! Я все ей отдала. Сумку и деньги отдала... Я сто рублей не взяла... У нее совести нет...»

«А когда денег много, совесть не надо,— горбоносый мне улыбнулся, сладко так улыбнулся. И усатому подмигнул: — А? Вишенка, Петь...»

Усатый зевнул:

«Смотри, может червивая».

«Проверим...»

Дизель остановился.

Горбоносый толкнул меня к двери. Крикнул усатому: — «Ахиллейским вернусь...»

И потянул меня за собой в темень ночную.

«Идем, идем,— зашептал.— Дознание проведем... Не боись... Что дрожишь? Не дрожи, моя вишенка...— Обнял меня, псиной от него пахло, вином пахло. Я увернуться хотела, я убежать хотела. Где мы? Что это за станция? Сроду тут не была. Темень, черная темень вокруг. Огонек далеко-далеко на небе горит.

«Стой! Куда ты меня ведешь? Подожди...»

Не ответил, тянул меня за руку.

«Отпусти. Я прошу... На сто лет тебе счастья желаю. Отпусти... Я отдала... Я все отдала...»

«Все? — спросил горбоносый.— Нет, все ты не отдала... Кое-что у тебя еще есть...»

«Пусти. Ну?..»

Не отпустил. Я споткнулась, упала.

«Больно... Пусти... Не убегу я... Пусти...»

«Кто тебя знает? У тебя ножки хорошие... Быстрые ножки...— И дернул за руку: — Вставай! Не рыпайся. Протокол у меня... Факт с поличным... Секешь, вишенка?» — И дальше меня потянул. Я голову в небо подняла. С неба иголки колючие падают. Бог! Бог! Защити меня! Спрячь меня!

Глянула на него.

«Постой! Я прошу... Куда ты меня ведешь? Постой, молодой-красивый...»

«Щас, щас,— отозвался,— есть тут одно местечко... Комфорта не обещаю... Но лучше чем кэпэзэ... Щас согреемся... Расскажешь свою биографию... Не спеша, подробно расскажешь...»

Голос у него хриплым был, пальцы железные крепко меня держали, глазами собачьими в темень глядел, все видел, не споткнулся ни разу, знал, куда мы идем. Знал, знал...

Акация в темноте живой тенью качнулась, забелела стена, окна без стекол, черные окна.

«Все! Вот и отель наш. Прошу!» — толкнул меня в душную темень; соломой гнилой запахло, кизяком запахло. Фонариком посветил и повалил меня на гнилую солому. Псиной, кислятиной от него несло. Я дышать не могла. Я голову вывернула, крышу худую увидела, небо увидела, чистое было небо, ветер гнал тучи и луна светила, луна на меня глядела. Два Степана сказал: «Ваше солнце...» Нет, это не наше солнце. Нет, в этом свете нашего солнца. Это нас не согреет. Никто не согреет. Никто не спасет. Правду Богдан сказал: «Никто не спасет». Богдан, мой Богдан! Что со мной делают? Что делают?!

«Пусти! Собака! Пусти...— руками что силы было хотела его оттолкнуть.— Пусти! Что ты делаешь? Душа псиная... Пусти... Веди меня к власти своей! В тюрьму веди...»

«Зачем в тюрьму? — прохрипел горбоносый.— Такую вишенку в тюрьму? Не-е-ет...» — И губами своими слюнявыми к груди моей присосался, кофту порвал, железными лапами в тело вцепился.

«Пусти! Слышишь? Заразная я... Болею я... Пусти-и!»

«Испугала! Кого испугать захотела? Костáки не испугаешь... Не-е-ет! Костаки свое возьме-е-ет! Стой, стой — не рыпайся...» Шинель свою псиную расстегнул, придавил мне коленом живот.

«Больно! Мне больно, слышишь? Пусти! Я сама...»

«Так бы сразу...» — Отвалился, запыхался.

Отдохни, отдохни, думаю. Я сниму, я все с себя сейчас сниму.

Небо глядело в окно, чистое небо. Луна глядела. Спаси меня, ночь, спаси, луна. Рванулась я, что было силы рванулась, к небу рванулась. Вот оно близко, вот луна близко. Еще один шаг!

Нет, не смогла вырваться. Схватил меня за ногу.

«Сама, говоришь? Я-я-ясно!» — И упал на меня, как зверь дикий упал, как коршун упал, рот мой ладонью вонючей закрыл, вошел в меня, всей своей силой собачьей вошел, стонал, шею мою кусал, грудь кусал. Господи, сколько ты можешь так мучить?

«Оставь меня. Больно! Оставь!»

«Щас! Щас! Давай! Мой размер, мой! Давай!» — хрипел, потом меня повернул, в шею зубами вцепился. Я зубы стиснула. Огнем меня всю прожгло!

«Что ты! Больно! Больно! Собака! Что делаешь?»

Васо пьяный такого со мной не делал...

«Зверь, гад! Пусти меня, гад. Больно. Мне больно».

Не отпускал. Гадости говорил. Матом ругался.

«Повтори, что сказал...— шептал.— Повтори, что сказал... Так слаще... Слаще так... Так... Так... Так...»

Ослаб. Отпустил меня. Огнем мое тело горело. Хотела встать. Не могла. Охоты вставать не было.

Он закурил. Мне тошно стало. Умереть хотела. Жить не хотела. «Не хочу. Не хочу»,— сердце стучало. Богдан! Что со мной сделали! Что со мной сделали, Богдан? Как я теперь в глаза твои гляну? Умереть. Хочу умереть. Жить не хочу.

Голову подняла. Лицо его увидала собачье. Губы слюнявые красные от папиросы.

«Что ты там шепчешь, вишенка? — спросил.— Чертей на меня посылаешь? Давай! Давай! Я в чертей не верю...»

Фонарик искать свой начал, спичками чиркал, а я лежала, у меня не было сил слова сказать.

Свет по соломе прошел.

«Ух ты! — голос его услыхала.— Ахиллейский через тринадцать минут...» — Зашуршал соломой, псиной собачьей дохнул на меня: — Да-а-а! Такой я еще не пробовал... Адресочек оставишь?»

«Уйди! Уходи! — крикнула и в лицо его плюнула.— На, собака! На!»

Сейчас он ударит. Должен ударить, подумала. Нет, не ударил, зашептал, сладким шепотом зашептал:

«Еще! Еще раз плюнь... Ну, еще раз, вишенка!»

Я голос его не узнала. Я не могла понять, почему он просит, чтобы я плюнула?

Не было у меня силы и плюнуть. Я солому гнилую в рот себе затолкнула, чтоб он не слышал, что плачу.

«Чтоб ты сдох,— сумела сказать.— Сдох!! Сдох! Сдох!»

Голова моя кругом пошла.

Он сел рядом со мной, потушил фонарик.

«Сдох...— повторил.— Нет, Костаки не сдохнет. Костаки жить долго будет. Сколько власть будет, столько и Костаки будет. Костаки всех вас иметь будет. Какая понравится — всех...»

«Сдохнешь! Сдохнешь! — я прошептала.— Грех твой собачий отсохнет!»

«Грех? — Спичку зажег, закурил, папиросу вонючую, дымом дохнул на меня.— Грех... Никто еще на мой грех не жаловался...— Наклонился ко мне, зашептал: — Дурочка ты... Ну повезли б мы тебя в отделение... Ну сдали б по протоколу... Ну? Дальше что? Попала бы в зону... Ты знаешь, что это — зона? Там бы тебя вся охрана имела. Там бы ты не меня одного — взвод пропустила...— И рядом прилег.— Эх ты-ы-ы! Воровать не умеешь. Сумку не надо было брать. За километр видать: не твоя сумка...»

Я не ответила. Сил не было отвечать. Все мое тело горело огнем. Холодно было. Господи! Хоть бы ушел он, думаю. Кровь из меня шла. Он все порвал. Господи! Уйди! Пусть уйдет. Ничего не хочу. Я ничего не хочу.

Зашуршала солома. Он встал.

«У тебя деньги есть?» — спросил тихо, как хлеба просят.

Я не ответила. Не могла ответить.

«Слышишь? Деньги есть у тебя? В пять двадцать четыре ахиллейский пойдет...»

Я голову подняла.

«Уйди! Богом прошу! Не надо мне твои деньги поганые...»

«Ух ты-ы! — усмехнулся.— Какие мы гордые! А у той, у кого взяла, что, не поганые были?»

«Уйди! Уйди... Видеть тебя не могу...»

Ему хоть бы что.

«Не могу-у! А может, ты у нее все-таки сто рубчиков отстегнула, а?»

«Да! Да! Отстегнула! Отстегнула...»

«Брешешь! А вот тут ты, вишенка, бре-е-шешь! Костаки глаза имеет. Костаки ты не обманешь. Не отстегнула ты. А надо, надо было отстегнуть. Тетка — стерва хорошая. Я б ее засади-и-ил... Только скажу тебе: таких не посадишь...— И руку мне протянул: — На! Возьми рубель. На! Билет купишь...»

«Убери! Не возьму! Убей — не возьму... Гад!»

Наклонился ко мне. В лицо его глянула. Не узнала. Другое лицо у него было. Глазами побитой собаки глядел:

«Знаю...— тихо сказал.— Я гад. Знаю... Вставай. Проведу... Не бойся...»

«Уйди! Уйди от меня. Ради Бога! Прошу! Уйди...»

«Дело твое...»

Зашуршал соломой. Пропал в темноте. Голос его услышала за стеной.

«Прости, если можешь...» — крикнул.

«Чтоб ты сдох! Чтоб глаза твои черви съели! Чтоб змея твою кровь выпила!» — крикнула я. А злости в душе на него уже не было. Я его поняла, я душу его поганую поняла. Такие, как он, смерти своей, как праздника, ждут. Много греха у него. Я — не последний.

Шаги стихли. Я тоже хотела встать. Но не могла. Тело огнем горело. Солома была сырой, как сырая земля. Я дрожала. Хотела заплакать, а сил плакать не было. Ничего во мне сильного не было. Пусто было в душе, пусто на сердце.

О смерти думала. Когда Васо меня пыкылимос сделал, я тоже думала. Но тогда стыдно было. А сейчас стыда не было. Сейчас вся кровь из души моей вытекла. Я уже ничего не хотела. Смерть радостью мне показалась. Пусто, как в пустой хате, в душе моей было. Лед холодный — душа. Тело горело — душа замерзала. Умру, никто меня не найдет здесь, подумала. Никто не вспомнит. Никто, никогда обо мне не вспомнит. Спи, спи, Сабина. Когда пусто, надо уснуть. Нет! Как уснуть? А Богдан? Бог мой! У меня Богдан есть! Бог мой! Бог мой! Надо идти. Надо обратно идти. Он меня ждет. Богдан, мой Богдан. Я встану. Сейчас я встану. Только согреюсь немножко. Сейчас будет тепло. Угли горят. Жаром горят. Отец мой, Тóма Бужор, в белой рубахе в кузне стоит. Угли жарко горят. Я вижу лицо отца. Он улыбается. Он манит меня рукой. «Сабина! — шепчет.— Покажи людям фокус! На, на, Сабина! — И достает уголек щипцами из горна. Красный, горячий уголек.— На! Проглоти, Сабина... Ты что, боишься, Сабина?» — «Нет, тáтэ... Нет! Я ничего не боюсь... Как скажешь, так я и сделаю. Я все для тебя сделаю...»

Я проглатываю уголек. Мне становится жарко, мне очень жарко. Отец! Дай мне воды, отец. Где ты? Почему тебя нет? Куда я иду? Люди кругом. Солнце кругом. Баро форо! Все на меня глядят. Я бегу. Мне надо бежать. Я хочу напиться воды. Я к Дунаю бегу. И они за мною бегут. Гàже бегут. Казенные гàже бегут. «Воровка! Воровка! — гусыня кричит.— Деньги украла! Мои трудовые деньги...»

Бог мой, они меня догоняют. Бог мой! Не брала я ваших денег. Бог мой! Спаси меня! Спрячь меня...

Глаза открыла — жаром тело горит. Пить хочу. Очень пить хочу. Тело чужое. Пусто в душе. Пусто на сердце. Надо идти. Богдан один, он там один. Почему я лежу? Надо встать. Сейчас встану, силы найду и встану. Бог мой, дай мне силы! Воды дай! Жарко! Бог мой, мне жарко. Очень жарко. И ладошка жаркая гладит мое лицо. Лоб мой гладит. Я знаю, знаю — это дáле! [1] Дале моя. Я ее никогда не видела, но знала, чистой душой своей знала — она найдет меня... Дале! Как зовут тебя, дале? Почему ты меня не вырастила? Мне жарко, дале! Не бросай меня, дале. Возьми меня в свою хату. Дай мне веник, я подмету в твоей хате. Я ходить за тобой буду, любить тебя буду, дале моя родная. Не бросай, не бросай меня.

«Дочка! Дочка моя,— позвала дале.— Ты чего здесь лежишь, дочка моя?»

---

[1] Дале — мать.

Меня жарким током ударило. Я подняла голову, открыла глаза. Нет, нет — это не Дале моя! Дале моя — красивая, молодая. А эта старей старости старой. Ей и гадать не надо — вся жизнь позади. Стоит, на палочку опирается, глядит на меня:

«Дочка! Что ты лежишь здесь? Мэй, мэй, мэй! На сыром разве можно лежать?»

«Можно, бабушка...» — Я встать хотела. Голова закружилась.

«Да ты заболела! Лоб горячий... Платье... Мэй, мэй, мэй! Кто ж тебя так?»

«Ветер ночной...— я ответила и в глаза ее глянула: — Помоги встать... Мне надо идти... Меня Бòгдан ждет...»

«Господи! Да куда ж ты пойдешь? Куда ж ты такая слабая? — руку свою протянула.— Идем... Идем до меня... Идем, молока дам. Идем... Я туточки, с краю живу... С Милкой живу. Идем, идем, обопрись об меня... Ой, горечко, горечко...»

Взяла она меня под руку. Подняла. Свет в глазах моих закружился, стены, сарай, крыша худая — поплыли красным, синим, зеленым — «кубизмом» поплыли. Бог мой! Бог мой! Что с тобой сделали, Сабина? Бог мой, Сабина! Какая ты слабая стала... Кто она, эта старушка? Кто я ей? Не знаю. А голос родней родного. Ведет меня, а сама еле ногами перебирает. Сама еле ходит...

Есть, есть добрые люди на свете. Кто тебе скажет, что нет, не верь. Тот, кто сказал, сам злой на людей. Злому не верь. Злой злом живет. Не верь. Есть добрые люди. Не ищи среди богатых. Богатые неба не видят. Солнца не видят, луны не видят. Богатым хрущевы видеть мешают. У бедных хрущевых нет. Сироты — добрые люди. Душа у них близко к сердцу. На горе чужое душа у них близкая. А достатка, богатства они не имеют.

Жила эта старушка одна в хате — халупа бывает богаче. Только и радость, что с Милкой жила. Тепло у нее было в хате. Посижу, думаю, отогреюсь, пойду. Надо идти. В Ахиллею мне надо идти. Меня Богдан ждет.

На лежанку легла день, ночь, еще один день, еще одна ночь — встать не могла. Жаром тело горело.

Старушка меня лечила. Как ее звали — не знаю. Не спросила, забыла спросить. Себя забыла. А она нет — она за мной, как за внучкой, ходила. Маслом подсолнечным тело растерла, травой поила. Горькой была трава, а жар из меня выгоняла, слабость мою выгоняла. И молоко я от Милки пила. Козу ее звали Милкой. Старушка с ней, как с человеком живым разговаривала, гладила ее, щеткой по шерсти чесала. «Ешь, ешь, Милка, соломку совхозную,— приговаривала.— Не нравится, да? По глазам вижу — не нравится. А ты потерпи, потерпи, кормилица. До травки с тобой доживем, до травки зеленой... Ешь, ешь, молочка дай... Кружечку молочка доченьке дай. Захворала доченька. Видишь, Милка?»

Милка глядит на меня. Глаза человечьи, все понимает. А старушка ладошкой лоб мой горячий гладит.

«Дал мне Бог радость,— шепчет.— Я теперь не одна. Теперь у меня две живые души. Как сухая лоза живу. Руки, глянь на мои руки. Бей черепицей — не отобьешь. Не мои руки. Всю жизнь работала. На хозяев работала, в совхозе работала. А сичас сама с собой хозяйную...»

«Какое хозяйство? Где у тебя хозяйство, бабушка? Два казана и лампа на керосине. Приблуди кто ночью — голодным уйдет»,— шепчу ей в ответ. А может, кажется, что шепчу. Может, я сплю? Нет, не сплю, слышу, гляжу на нее, думаю. Вот она, жизнь, у нее какая. Хуже, чем у нас, щявале. Мы нигде не работали, ни в совхозах, ни на хозяина, но хлеб белый и нам попадался. А ты? Что ты в жизни имела?

Мне жалко, мне ее очень жалко стало...

«Зачем ты жила, бабушка? — я спросила.— Зачем ты на свет родилась?»

Она ко мне наклонилась, ладошкой мой лоб погладила:

«А зачем люди живут? Зачем лоза растет? Значит, так надо. Надо, доченька. Из лозы виноград родит. Вишня растет — тоже родит. Не будет родить — умирает. И я родила. У меня пять детей было — умерли с голоду. Братья, сестры были — все умерли. Я одна под Богом живу. Бог человеку не все с полной чаши дает. Одному богатство дает, а здоровья забудет дать. А мне богатства не дал, зато на земле долго держит...»

Вечером лампу зажгла, мамалыги сварила, дала поесть мне, из ложечки кормила. Рядышком села.

«Зажилась я, доченька, на земле. Меня Бог не берет. Братья и сестры, дети мои, по ночам ко мне ходят. Зажилась я. Правду тебе говорю. Богу молюсь: «Прибери ты меня... Что ты меня оставил одну? Может, забыл, что я есть у тебя? Забыл, забыл...— И ладошкой, сухой, как дощечка, погладила мои волосы.— Живи у меня. Чуешь? Живи, дочка. Умру, хату тебе оставлю...»

«Нет, нет. Не хочу. Не хочу,— шепчу ей в ответ. А, может, кажется, что шепчу.— Это не жизнь... Лучше по людям ходить. Нет, бабушка. Не смогу я так жить...»

«Ну, гляди...» — И молиться начала, долго она вечерами молилась. У нее Бог в углу нарисованный был, черный, глаза тоже черные. Я не могла на него глядеть, отворачивалась, а он на меня глядел. Зачем, зачем ты молишься ему, бабушка? Не слышит тебя твой Бог. Нет, не слышит. Он бедным не помогает. Он богатых хранит, хитрых хранит, злым помогает. Не морочь свою душу, бабушка. Не верь, не услышит тебя твой Бог. И меня не услышал. Я знаю. Я одно хорошо знаю, когда удачи нет, и Бог не поможет. Бог мой — удача. Когда есть удача — и Бог рядом. Он хитрый. Он знает: когда есть удача, его все зовут. Он праздники любит чужие, когда и вино на столе, и мясо, и хлеб, а к голодному он не идет. С голодным и бедным он не поделится. Не молись, не молись, бабушка, не поможет Бог. Ты уже старая. Очень старая. И я буду такая. Нет, нет, не хочу старой быть. Не хочу одной быть. Нет, нет, я живу, я еще молодая, у меня Богдан есть. Он меня ждет. Что я лежу? Может, он меня ищет? У него хлеба нет, брынзы нет, красок нет. Ему историю рисовать надо. Всех нас нарисовать надо. И старушку эту, и горбоносого зверя собачьего. И детство мое, и школу, и всех учителей, и эту хату, и Милку. Она молока мне дала. Соломы гнилой поела, а дала молока. Богдан! Я тебе все расскажу. А ты нарисуй, нарисуй все. Слышишь?

Не слышал Богдан. Не было Богдана. Лицо старое, старое, как кора на акации, склонялось ко мне, ладошка гладила мою голову, холодной водой смачивала, пить мне давала. Я спрашивала у нее, какой день? Сколько я здесь живу? А она считать не умела, она годами меряла время...

Бог мой! Бог мой! Пошли мне удачу!

Утром встала, мне легче стало.

«Пойду я, бабушка. Спасибо...»

«Ты Богу спасибо скажи,— ответила.— Перекрестись. Умеешь креститься?»

«Умею. Только меня не крестили...»

«Это ничё,— сказала она.— Ты в душе Бога имей. Бог с тобой...»

Как ее звали? Не знаю. Заехать хотела к ней. Заплатить ей хотела. Не заплатила, не заехала. Сейчас о ней думаю. А в тот час не думала. О Богдане думала. Тяжело было на сердце, что пустая к нему иду, больно идти было. Ничего, буду богатой. Буду здоровой. Мне Богдана надо увидеть.

Не увидела. Во двор вошла — ставня на окне закрыта. Богдан днем ставню не закрывал. Под окном сирень росла. Он говорил: «Я напишу картину: «Ахиллейская сирень» или «Вид из окна».

Не было вида.

Сердце мое забилось. Я на веранду пошла. Эльвира рыбу солила стаканщикам у «Чайной» на продажу. С Куней своим разговаривала:

«Куня, хлопчичко! Куня, мальчичко! Это соленая рыбка. Тебе соленого есть нельзя. Ты себе печень испортишь...»

Меня увидала, руки от соли стряхнула, брови свои выщипанные подняла:

«Что явилась, невеста? А твоего жениха нет. В санатории твой жених! На казенных харчах. Я ему говорила, я знала, что так получится. Зна-а-ала!..»

«В каком санатории? Что языком мелешь?»

«Ой, ой! В каком? В том самом. Где алкоголики отдыхают... Допился! До белой горячки допился! А я говорила. Я ему всегда говорила!»

«Закрой рот свой, чучело крашеное!»

Не стала я с ней разговаривать. В комнату побежала. Поцеловала замок.

«Стой! — закричала Эльвира.— Там тебе нечего делать! Нá свои бебехи! На, забери и уматуй!» — кинула мне узелок, кофту мою, платье кинула.

«Босоножки где мои? — я спросила.— Где мои босоножки, душа твоя рыбья!»

Не вспомнила я в ту минуту про свои босоножки. Я хотела в комнате Богдана посидеть. Не могу объяснить почему, но хотела. Очень хотела.

Не пустила Эльвира. Закричала:

«Не видала я твоих босоножек. Ничего не знаю. Давай, давай мотай у свой табор. Нечего тут тебе делать! Богдан за месяц мне тридцать рублей не отдал. Он тарелку разбил от сервиза. Китайский сервиз! Я в милицию счас пойду...»

«Сдохла бы ты со своим китайским сервизом! — я ей ответила.— А тридцать рублей пусть тебе в гроб между пальцами Куня положит!»

Выбежала на улицу. Солнце в небе светило! Землей пахло! Черепица на крышах паром дышала. Тепло. Тепло к нам пришло, Сабина. Поздно пришло. Опоздала ты! Бог мой! Опоздала! В Одессу с Богданом собиралась ехать. В Крым ехать. Там море, там гáжё богатые в санаториях отдыхают. А у нас тут — ни Крыма, ни моря, у нас тут один санаторий — в Кислицах. Для бедных, потерянных, со всего нашего края — болгаров и русских, хохлов, молдаваней, от вина потерянных, от рождения, от жизни поганой. И Богдан мой там! И Богдан в Кислицах...

Я побежала по улице.

Тетка мимо меня шла, мальчика за руку вела. Посторонилась, крикнула вслед: «О! Гляньте! Уже чтось украла. Средь бела дня украла...»

Я украла? Что она? Что она так говорит? Узелок мой... Платье и кофта мои... Люди, вы люди! Зла не хватит с вами ругаться. Мои, мои это вещи, платье и кофта мои. И рубашка Богдана. Байковая в полоску, рукава в краске. Я стирала ее, а краску не отстирала. Богдан, мой Богдан... Что ж ты меня не дождался? Я, я виновата. Одна я виновата. Не надо мне было сумку брать у гусыни... Гад, гад горбоносый... Сволочь собачья правду сказал. Сумка меня попутала... Богдан, Богдан! Я виновата. Зачем ты уехал, Богдан? Как я без тебя буду? Родной мой, сердце мое. Мне тяжело с тобой было. А без тебя я — как ветка отрезанная. Без тебя я слепая, глухая. Ты — свет мой, ты голос мой. Ты — глаза мои. Подожди меня, Богдан. Я приеду к тебе. Час на автобусе до Кислиц. Один час...

Может, ты был в наших Кислицах. Может, видел и знаешь: за посадкой акациевой «санаторий» стоит. Ворота большие и будка с окошком, как на пекарне, Макухи собачья будка. Только там не Макуха сидел — курица старая с бородавкой под носом, кофту на свадьбу себе вязала, а может, на смерть.

Я постучалась в окошко.

«Пусти меня, тетенька...»

«Не приемный день сёдня»,— тетка ответила. И головы не подняла. Очень гордая, что в будке собачьей сидит. Сказать бы ей, что ее гордость стоит. Да что злить? И так злей собаки.

«Пусти, дорогая начальница! Пусти! Добрая ты душа. Муж у меня тут лежит...»

Вязать перестала. Глаза свои замороженные на меня подняла. Приятно стало, что доброй душой ее назвала. Все, все люди любят, когда их по шерсти гладят. Волки душой, лисицы, змеи ползучие. С рождения кровь друг у дружки пьют. А добрым быть каждый хочет.

«Муж, значит? — спросила.— Что-то ты рано замуж пошла».

«Такая судьба моя, тетенька! Ночка темная нас повенчала. Пусти! — повторила я снова.— Богом прошу. Муж у меня там. Мой муж...»

«Муж! Объелся груш...» — проворчала. И на меня в один глаз глянула, вроде кофту свою недовязанную на меня примерить надумала.

«Лежит тут один цыган, в буйном,— сказала.— Тока он в мужья для тебя староватый...»

«Тетенька! Мой муж не цыган. Мой муж — художник...»

Засмеялась, в нитку глаза сплющились.

«Художник?! У нас, милая, тут все художники! — И снова на меня поглядела с прикидкой.— Ишь! Художник! Художник тебе сережки купил?! Золотые, небось, сережки. А?»

«Золотые, тетенька, золотые!»

«Вижу, вижу, что не медные... И где вы тока золото достаете?»

«Где достаем? Из таблицы, тетенька...»

«Это какой таблицы?»

«В школу иди — там узнаешь!..» — крикнула я. Ах ты, курица толстобрюхая, думаю, сережки ей мои приглянулись. Облизнешься — и вдоль забора махнула. Не могут быть, думаю, посетители дураками, чтобы за вход через будку собачью золото свое отдавать. Нет, не могут. И не ошиблась. Дырка была в заборе — машиной въезжай. И тропка утоптана.

Я пролезла. Пошла по тропинке. Чисто было вокруг. Тихо было. А на сердце нехорошо стало. Тревожно на сердце стало. Сквозняком

потянуло по сердцу, будто в чужую хату я забралась. Сейчас, вот сейчас меня схватят.

На дорожку асфальтовую вышла. Клумбы увидела, черную землю увидела. Люди в халатах байковых тюльпаны садили. Один садил, двое смотрели.

«Где Богдан лежит?» — я у них спросила.

Один обернулся: лицо худое, глаза стеклянные. К дереву подбежал, ветку нагнул, почки сцарапал и мне: «На! На!»

Я оттолкнула руку.

Он сам эти почки в рот свой набил. Зубы зеленые. Начал жевать, жадно жевать. Второй из-за дерева выскочил: глаза блестят, слюна течет по губам, на меня уставился.

Мне страшно стало. Я побежала. Оглянулась.

Тетка в белом халате шла по асфальту, несла под халатом что-то, рукой бок придерживала.

«Тетечка! Родненькая...— крикнула я.— Где Богдан лежит? Муж мой, Богдан...»

Поглядела она на меня. Боком стояла, подправляла под халатом сверток, чтоб не упал.

«Тебя кто сюда пропустил? — строго спросила.— Седня день какой, знаешь?»

«Я издалека приехала, тетечка! Я из Тамбова приехала...»

«Из Тамбова она приехала! — головой покачала тетка.— И где вас только черти не носят... А кто он, твой Богдан? — спросила. — В каком блоке?»

«Не знаю. Не знаю, тетечка!»

«Не знает она! — обиделась тетка. — С чем он лежит, Богдан твой? По пьянке или припудренный?»

Я растерялась.

«Нет, нет! Он не припудренный... Я не знаю... Не знаю я...»

«Вон! Белый домик видишь? Иди туда... Дежурный врач скажет».— Тетка рукой махнула, а сама к воротам пошла.

Рядом был белый домик. Маленький, чистенький, как игрушка на елке. Пошла я к нему. Мне страшно было идти. Люди из окон с решетками на меня глядели: старые, молодые, с глазами дикими. Бог мой! Мне страшно. Я не могла глаза эти видеть. Кожу с меня эти глаза сдирали. Больно, больно мне стало...

Я дверь открыла в домике — картину увидела. На стене картина висела. Большая картина. Не Богдан ее рисовал. Нет, нет, не стал бы он ее рисовать. Знаю, знаю. Он сказал бы, что это — халтура. Богдан, мой Богдан. Я сама поняла. Я теперь сама поняла, что это халтура. Это неправда. Это не жизнь. Люди на этой картине смеялись и танцевали, все танцевали, со всего нашего края — хохлы и болгары, молдаване и русские. Никогда я не видела, чтоб все они так танцевали, и все за руки друг друга держали, и цыган на скрипке играл. Никогда я не видела, чтоб все веселились, как на этой картине. Бог мой! Почему они танцуют? Почему веселятся? Здесь горе, здесь люди ум потеряли, здесь у людей глаза страшные. Они не смеются и не танцуют. Это неправда. Халтура это. Я знаю, я теперь знаю, зачем эту картину повесили здесь. Бирэво из горсовета повесить заставили, хрущевы художнику заплатили, чтоб горе закрасил — весельем, чтоб страх и болезнь людей наших радостной краской закрасил. Халтура, неправда! Я поняла, Богдан, сама поняла. Один раз моргнуть не успела, а поняла. Отвернулась от этой картины, не стала смотреть. Еще одну дверь открыла. Доктора увидала. Он в белом халате сидел за столом. Два дела делал: пилочкой ногти чистил и книгу читал. Лекарствами в комнате пахло. Тихо было. Доктор голову поднял, лицо у него было круглое, белое и руки — белые. Глаза наши встретились, и я почуяла, что

он человек очень добрый. Только усталый душой, но добрый. Такому не погадаешь, такой сам тебе на сто лет вперед нагадает.

«Вы ко мне?» — он спросил.

Я оглянулась — никого сзади не было.

«Я к Богдану,— я сказала.— Муж мой у вас...»

«Муж? — переспросил доктор.— Он в каком блоке?»

«Я не знаю. Ей-богу, не знаю...»

«Садитесь, прошу...»

Доктор пилочку между страницами положил и книгу закрыл. «Нравственные письма» — было на книге написано. Тетрадку открыл.

«Как фамилия вашего мужа?»

«Пикассо! Пикассо, фамилия...»

«Та-а-ак...— сказал доктор.— А ваша фамилия?»

«Бужор... Сабина Бужор...»

«Какой сегодня день? Число?» — спросил доктор.

«Не знаю. Не знаю, какой... Мне к Богдану надо...»

«Успокойтесь...— Он встал, налил мне воды из графина.— Выпейте. Вы очень возбуждены...»

«Спасибо, доктор... Я ехала. Я Богдана видеть хотела. Его Пикассо фамилия... Он художник...»

«Да, да, понимаю. Ну, а отчество вы его знаете?»

«Богдан. Сын Богдана...»

Доктор начал водить по тетради пальцем.

«Богдан сын Богдана,— зашептал.— Богдан Богданович... Сколько лет ему?»

Не знала я, что ответить. Я никогда не спрашивала, сколько ему лет.

«Ему двадцать пять лет... Нет... Ему тридцать лет...»

Доктор на меня поглядел. Я почуяла: ему жалко меня, и он хотел мне помочь. Но я дура. Дура набитая. К мужу приехала, а не знаю, сколько ему лет, фамилии его настоящей не знаю. Сейчас меня доктор выгонит.

Нет — не выгнал.

«Выпейте еще воды,— сказал он.— Успокойтесь, пожалуйста...— И снова на меня глянул. В душу самую глянул, самую дальнюю, чистую мою душу и улыбнулся: — Вы,— спросил,— наверное, не были дома, в тот день, когда его привезли?»

«Да, да, не была. Я в Измаил поехала. Он мне сказал — краски купить, белила...»

«Белила?»

«Да, да, доктор, белила. Он хотел ночь белой краской замазать...»

«Очень интересно,— сказал самому себе доктор.— Значит, у него уже тогда началось. Так, так...— перелистал две страницы в тетради, поднял глаза на меня: — Мунтян фамилия вашего мужа. Мунтян Богдан Богданович. Тридцать пять лет, художник-оформитель Ахиллейского быткомбината. Лежит в пятнадцатом блоке. Сходится?»

«Сходится, доктор, сходится. Пустите меня к нему. Очень прошу. Богом прошу...»

«Ну-ну, так уж и Богом,— доктор сказал.— Можно и без Бога.— И в окно глянул: — У нас в пятнадцатом свой Бог — Ланиста».

«Кто?»

«Нет, нет. Я так,— доктор ответил: — Идите в пятнадцатый... Постойте, вот вам записка. Ланиста — человек строгих правил...» — И написал мне бумажку.

Я вышла и прочитала:

«ФОМЕНКО! ПРОПУСТИ К БОГДАНУ МУНТЯНУ». И закорючка внизу — фамилия доктора. Но я не разобрала. Мне непривычно было к фамилии Богдана привыкать. Мунтян, Мунтян, я шептала. Непривычно. Пикассо лучше. Кто такой Пикассо? Почему его так называли? Все называли. Все, все. А я не знала, что он Мунтян. Богдан Богданович Мунтян. Ничего, пусть будет Мунтян. Все равно Богдан. Мой Богдан...

Нашла я пятнадцатый блок. Синей краской было написано на стене, что пятнадцатый. Большой блок, каменный, решетки на окнах и двери с окошком. Я постучалась — окошко открылось. Грубый голос спросил: «Хто там еще?» Я бумажку дала. Загремели запоры железные, много запоров. Бог мой! Что они прячут? Там люди больные лежат. Кто к ним полезет? Кому нужен больной человек?

Дверь открылась, вошла я.

Кашей горячей пахло, сладко пахло. Я вспомнила, что не ела. Ничего, потерплю. Я умею терпеть. Огляделась. Фоменко увидела. Он тоже в белом халате был. Голова лысая, а усы, как у цыгана, только рыжие. Глянул на меня сверху вниз:

«Ну и шо? На судьбу погадать пришла?» — спросил.

«На разлуку, Тимофей Ларионыч»,— ответили сзади.

Я оглянулась. Тетку увидела, ту, что к проходной шла. Она за столом стояла, масло делила ложкой. В горячую воду ее опустит и шарик масляный кладет в тарелку. И тут по «процентовке» живут, подумала. И тут домой тянут сумками. Тянут, и как еще тянут. У тетки и у Фоменко лица блестели от масла.

«На разлуку лучше, Тимофей Ларионыч,— повторила делильщица.— Пускай на разлуку тебе погадает...»

«Я с тобой и так не расстанусь,— пообещал тетке Фоменко и на бумажку глянул: — Пра-пус-ти, Фамэнко. А имя-отчество где? Командиры, ити вашу в двадцать. Вас много — Фамэнко — одын...»

«А хто там у белом доме седня?» — спросила делильщица.

«Читатель,— ответил Фоменко и спрятал бумажку в карман, оглядел меня с ног до головы.— На, прикинь!» — дал мне халат: две таких как я, в этом халате поместятся. Я рукава подвернула. Делильщица за спиной засмеялась.

«Тимофей Ларионыч! Невеста, глянь!»

«Счас женим»,—сказал Фоменко и по коридору меня повел. Он впереди, я сзади шла, в затылок ему глядела. Толстый затылок был у него: три складки на масле больничном наел. Стучал сапогами как конь. Зачем ему сапоги, я подумала. Он не военный, он врач. Врачи в сапогах не ходят. Нет, нет, он не врач. Он выше врача. Он бирэво̀ здесь, большой бирэво̀. Хоть бы спросил что-нибудь. Слово одно. Нет, молча шел, руки в карманах халата держал, на меня не смотрел, вроде нет меня, цокал подкованными сапогами. К двери подошел, вытащил из кармана ручку, открыл дверь, и следом за мной закрыл, а ручку в карман.

Мне жутко стало. Он и меня закроет, подумала, и не выпустит. Чует душа — не выпустит. Вот, еще одна дверь. Тоже ручкой открыл, на меня глянул, вспомнил, что я следом иду.

«А хто он тоби, Богдан?» — спросил.

«Муж мой»,— ответила я.

«Муж? — переспросил Фоменко.— Эге-е-е, жинка! Не скоро ты с им у кровать ляжешь...»

«Ничего. Подожду...»

«Жди, жди. Я рази что говорю? Жди, нэ журы-ысь!» — И дверь открыл.

Гноем, гнилью цвелой в комнате пахло. Сильно пахло. Я не знала, что люди живые могут так пахнуть. Я все запахи знаю, я в жизни все повидала, я на помойках кости искала, копыта, старые вещи, и там гниль была, но не так сильно пахло — там ветер был, а здесь окна были закрыты, с решетками окна, белилами крашены. Я голову подняла. И снова картину увидела. Снова халтуру увидела. Луг нарисованный был на картине, солнце в небе светило. Молдаване, русские и хохлы на лугу плясали. Смеялись. Бог мой! Зачем они и здесь халтуру повесили? Нет здесь травы, нет здесь солнца и ветра нет. Здесь воздух тяжелый. Здесь горе живет. Горе в лицо глядит. С боков, сзади глядит.

Люди больные, ум потерявшие, на кроватях сидели, лежали, ходили взад и вперед. Молодые, старые, всякие, молдаване и русские, хохлы и болгары. И все на меня глядели. Глазами царапали, раздевали.

«Рота, подъем! — крикнул Фоменко.— Шо? Шо приуныли, орлы? Седня пятница — банный день! — И мне подмигнул: — Нэ журысь, жинка! У нас тут — во!» — Палец свой вверх поднял, подмигнул. Я на людей посмотрела. Я лицо любимого увидеть хотела.

«А Богдан где? Где Богдан мой?»

«Богдан? — усмехнулся Фоменко.— Богдан в отдельной палате! — И зашагал в конец комнаты, дверь открыл, крикнул: — Эй, пэрэляканый [1], принимай жену...»

Сердце мое забилось, сильно забилось. Я вошла в комнату. Решетку белую на окне увидела. Банка от помидор на окне стояла. Так и запомнила я эту банку от помидор. И две веточки в банке засохшие. Рядом с окном кровать. Богдан сидел на кровати, глядел в окно. Я не узнала его. Богдана своего не узнала. Он бородатый был. Черная борода и усы черные. Я подошла к нему. Я на кровать села.

«Богдан! — позвала тихонько.— Богдан! — И за руку его взяла. Руку поцеловала: — Богдан! Это я — Сабина... Я... Богдан...»

Он поглядел на меня, как на белую стену глядят.

«Богдан! Я пришла к тебе, Богдан! Родной мой! Счастье мое! Это я, Сабина. Ну? Посмотри на меня. Не будь чужим! Богдан, родной мой, не будь чужим...»

Он не ответил, и я заплакала. Я не могла поверить, что он меня не узнает. Не верю, не верю! Он должен меня узнать. Должен. Сейчас, вот сейчас он узнает. Сейчас улыбнется, волосы мои ладошкой погладит. «Сабина,— скажет,— Сабина, любимая...»

Нет, не сказал. Не улыбнулся. Глядел в окно. За решетку глядел. Глаза его карие не мигали. Родные глаза. Нет таких глаз у тебя. Ни у кого нет. У него грустные очень глаза. Даже когда он смеялся — вечер в глазах стоял. Тихий вечер. Когда солнце висит над крышами, когда ветер летит с Дуная, когда над всем нашим краем флуер [2] играет, и я этот край вижу, людей наших вижу, тихих, покорных людей, себя чистую вижу, царицей вижу над всем нашим краем.

«Богдан! Мой Богдан! Посмотри на меня! Ты забыл Сабину свою? Богдан? Забыл? Это я, я пришла к тебе, я. Слышишь, как сердце мое стучит? Богдан, мой Богдан. Видишь, тепло к нам пришло? Скоро акации зацветут. Ты не болей, мой родной. Тебе не надо болеть. Тебе историю рисовать надо. Никто, кроме тебя, не нарисует историю нашу. Ты сам говорил — никто. Я тебе красок достану — белила достану, аквамарины и сурика. Услышь меня, Богдан. Родной мой, услышь!

Как в стену мои слова. Не слышит Богдан. Смотрит в окно.

[1] Перепуганный (укр.).
[2] Пастушья дудка (молд.).

Фоменко к нему подошел. В лицо заглянул, ладонью своей по щеке его хлопнул.

«Та-а-ак! Поставим диагноз! — сказал.— А ну-ка, в очи мени глянь! — И мне подмигнул: — Усё ясно! У него сичас торможение нервных клеток. Есть такие клетки в голове. Ниче-е-е! Вылечим... Фомэнко всех вылечит... Прыходь через месяц, дивчина!»

«Я никуда не пойду! — я сказала.— Богдан! Я буду с тобой. Слышишь, Богдан?»

«Ты шо? Руську мову нэ розумиешь? — спросил Фоменко.— Я диагноз тебе сказал: в торможении он...»

«Не пойду! Никуда не пойду!» — я ответила. Усмехнулся Фоменко, усы свои рыжие облизал, похлопал меня по плечу:

«Не-е-е! Так не пойдет дело. Это —медицинское учреждение, а не гостиница...» — И за руку меня потянул. Бог мой! Какая рука у него была сильная, крепче клещей рука. Поднял меня с кровати. На руки поднял. Я вырваться не могла. Понес меня к двери, успокаивал, как дитя малое: — И чего, спрашивается, переживать? Така гарна дивчина! Найды соби цыгана! Живи з им, кохайся...»

«Не нужен мне цыган! Никто мне не нужен! Мне Богдан нужен... Вылечи его, доктор. Богом прошу... Я тебе денег дам! Сколько душа твоя хочет, дам...»

«Денег? — переспросил Фоменко и на ноги меня в коридоре поставил.— Деньги — цэ дело хорошее... Тут надо подумать. Тут тэрапия надо. А тэрапия — это ого-го-о! Ниче, нэ журысь. Вылечим. Раз Фомэнко сказал, значит — вылечим...»

Видела я, как он лечил. Я все видела. Я всю их жизнь, с утра и до вечера, видела. Я каждый день почти приезжала в Кислицы. Все меня уже знали. Всем я хрущевы возила. Была у меня удача. Хрущевы пошли. Чистые, новые. Гажё проезжих много было в Ахиллее. К теплу, к морю ехали. Я на вокзал ходила, я чемоданы брала, вещи брала, кошельки толстые. Я ничего себе не купила. Я все в Кислицы везла. Через будку собачью шла. Курице старой мохера дала, два мотка. «И как ты угадала, что мне мохер нужен? — она спросила.— Иди! Иди! Хоть живи у нас»,— так сказала.

В ночь-полночь я могла прийти.

Все меня в пятнадцатом блоке знали. Делильщицы масла, их трое было, и повариха была, и уборщица — все меня знали. Смеялись сперва. «Глянь! Опять к переляканому! Как собачка...» — повариха так говорила. А уборщица, пожилая была, ей ответила: «Дай Бог, чтоб за тобой так бегали, Марья Санна...»

«За ней не побегут! — Фоменко смеялся.— Вона сама от кого хочешь убежит. А? Марь Санна?»

Он тоже ко мне привык. Я ему куртку овечью достала. Болгарскую куртку. Он ее под халат надевал. Меня всегда пропускал. Только стукну в окошко, он тут.

«А-а! Сабина! Прохо-о-одь! Диагноз у Богдана твоего той же самый. Температура нормальная, а клетки на торможении... Иды, иды, побачишь сама...»

Я шла. Я никого не боялась в палате. Ни старых, ни молодых. И они меня не трогали. Они нормальные были люди. Как ты и как я, как любой каждый. Только голодные очень. Бог мой, какие голодные! Собака бездомная больше ела. Делильщицы масла им мало давали, хлеба мало давали. Кашей жидкой кормили. На воде кашу варили. А на стене листок в столовой висел. Про мясо было на листке написано, про виноград и помидоры.

Я что могла, то носила. Я всех их жалела. Я помидоры носила, я им отдавала. Богдан не ел помидоры. Я принесу, первые из теплицы, на кровать сяду.

«Богдан! — прошу.— Поешь...»

Он не ел. Мне обидно было. Он любил помидоры. Он брынзу любил. Я овечью брынзу ему носила. Свежую, мягкую, а он не ел. Фоменко все забирал, а меня успокаивал: «Ничо-о-ого! Вылечим...»

С утра начинал лечить. В палату входил: «Подъем, рота! — кричал.— Слушай приказ! Переходим на летнюю хворму одежды: халат и кальсоны сатиновые. Байковые всем сдать на хранение. Срок — одна минута...»

Все его слушались. Все боялись. Он всех по утрам пересчитывал. Во двор выводил на «тэрапию» — землю копать, цветы садить и деревья известкой белить.

«Раз, два! Раз, два! Рота, стой!» — кричал.

Доктор из белого домика выходил.

«Тимофей Ларионыч! Не пережимай... Здесь не казарма, Тимофей Ларионыч...»

«При чем тут казарма! — огрызался Фоменко.— Тут дисциплина должна быть. Устав и порядок!»

«С тобой не соскучишься...» — отвечал доктор и прятался в белом домике ногти пилочкой чистить и «Нравственные письма» дочитывать. В пятнадцатый блок только вечером заходил. Шел между койками, нос морщил. Лекарство больным давал, чтоб спали ночью. Фоменко над ним смеялся.

«От чита-а-атель! Лекарство им! Лекарство — химия!» — а «химию» у людей отнимал. Пьяным делался, а не шатался. Спать не давал. Кто не по уставу халат снял, свет включал. «Рота, подъем!» — кричал.

Богдана он не трогал. Богдана я откупила. Я сорок хрущевых платила Фоменко за Богдана. Фоменко сказал:

«Будешь мэни гроши давать — он у меня як Христос за пазухой будэ жыты...»

Я давала. Он Богдана не тревожил. Только посмеивался:

«Шо, голубкы? Вдвоем вам туточки хорошо? Га? Шо, Сабина, мовчить чоловик твий? Я ж сказал — торможение...» — И уходил из палаты.

Мы оставались одни. Но не было нам хорошо. Богдан ни ночью, ни днем не спал. Все в окно смотрел. Боялся, что Митря за ним придет. Я ему говорила, что никто не придет. Он не слушал меня, он жил, как во сне, он свое повторял: «Митря придет. Сейчас Митря придет...» А раз я черешни ему принесла, он не ел, только взглянул на них и будто проснулся.

«Мои картины не должны храниться в сырой комнате...» — тихо сказал. Не мне об этом сказал, просто сказал. А я знаю, что мне. Я перед ним виновата. Потому что картин его уже нет. Я два раза была у Эльвиры, я на коленях у ней просила, хрущевы давала. «Отдай мне картины Богдана!» — я просила. А она мне ответила: «Ты поздно приехала. Богдан мне тридцать рублей должен остался. Я его всю мазню продала! Я за нее и десятки не выручила...»

Десять хрущевых? За всю историю нашей жизни, за все мучения Богдана, за его душу больную? За страх ночной, за то, что я с ним мучилась? Десять хрущевых...

Хотела убить Эльвиру. Хотела узнать, кому она продала. А она и сама не запомнила.

Я, я виновата. Как я в глаза Богдану гляну? Он спросит меня про картины. Должен спросить.

Нет, не спрашивал. Как будто и не рисовал никогда. Сидел и смотрел в окно. А я на него смотрела. Ждала, Бога молила. чтоб ум его прояснился. Хоть на одно мигание века...

Есть Бог мой на свете. Дождалась.

Солнце в тот день светило в окно. Всех из палаты Фоменко на «тэрапию» вывел.

Мы с Богданом только остались. Он на подоконник глядел. Окно открытое было. И левая створка от ветра качалась — солнечный лучик плясал на стене. Богдан рукой этот лучик потрогал, улыбнулся, на меня посмотрел, узнал меня, тихо сказал:

«Сабина! Если б ты знала, как я устал...»

«Богдан! Родной мой! Богдан...» — Я заплакала. Я обняла его, поцеловала. Я смеялась и плакала.

Он посмотрел мне в глаза.

«Ты почему плачешь, Сабина?»

«Богдан! Любимый мой! Я не плачу! Я рада, что ты узнал меня... Богдан! Родной мой, любимый, счастье мое...»

«Сабина, Сабина,— он тихо ответил.— Моя хорошая, моя верная Сабина...» — И ладонью своей мою голову повернул, вправо и влево. Он раньше всегда так делал, он говорил: «Я хочу твою душу схватить...» Он рисовать меня будет, подумала я. Он стал здоровым!

Я тумбочку быстро открыла. Карандаши вытащила. Я три коробки ему купила: «Спартак», «Живопись» и «Искусство». Я уголек у котельни нашла и тоже в тумбочку положила. Он любил угольком рисовать. Была в тумбочке и бумага. Он бумагу шершавую очень любил. Пачку бумаги ему дала.

«На, Богдан! На, рисуй, мой любимый! Рисуй, Богдан...»

Он увидел карандаши. Он увидел бумагу и закрыл лицо ладонями.

«Не надо! — прошептал чуть слышно.— Не надо! Митря смотрит. Митря не спит...»

И снова душа его потонула в потемках. И снова я виновата. Проклинала себя. Зачем? Зачем я ему карандаши показала? Зачем показала бумагу? Не надо было показывать.

Уехала я из Кислиц. Я душой своей мучилась. Я виноватой себя считаю. Через два дня и две ночи снова приехала.

Не могу без него. Хоть часик с ним посидеть хочется. Хоть одним глазком на него поглядеть. Я боюсь его одного оставлять. Боюсь, что Фоменко будет его «уставу» учить. Он там главный — Фоменко. Он — большой бирэво! Его все боятся. Доктора не боятся, а Фоменко боятся. Я доктору говорила. Я пришла к нему в белый домик.

«Ты для чего здесь сидишь? Скажи! Для чего? Фоменко людей мучает! Отбирает лекарство! Спать не дает. Прогони его!» — я сказала.

Доктор взглянул на меня, улыбнулся, как дитю малому улыбаются.

«Ну, хорошо, прогоню! — мне ответил.— Другой придет. Понимаешь? — Встал из кресла. Руки под мышки, ко мне подошел: — Ты, Сабина, хорошая девушка... Ты добрая девушка... Но ты пойми... Дело ведь не в Фоменко, дело в системе...»

«Что ты мне говоришь? Какая система? Ты сам для чего? У тебя сердце есть? У тебя руки из теста? Что ты ногти пилочкой чистишь? Что читаешь сидишь? А людей не лечишь! Богдана моего не лечишь!»

Хоть бы что доктору. Сел в свое кресло и улыбается. Доброго из себя строит. Поняла я его доброту. Видела я таких добрых. Они со всеми — «тю-тю-тю». Они «вы» всем говорят. Голоса не повысят, а сами, как солнце зимой, светить — светят, а только не греют.

Обидно мне стало, хоть плачь.

«Попей-ка лучше воды»,— доктор сказал.

«Сам пей свою воду! Не буду я пить! Что? Что сидишь улыбаешься? Брось книгу читать! С умом не родился — умным не станешь. Не суши свои мозги. Иди лечи Богдана! Иди! Тебе за что деньги платят?»

Сидит, улыбается, пальцами круглыми стучит по столу.

«Ты эмоциональная девушка, Сабина. Очень эмоциональная...— Но читать перестал, книгу закрыл, глянул в окно.— Платят, говоришь? Да-а-а! Большие деньги мне платят...— И снова на меня посмотрел, как на дите малое.— Эх, Сабина, Сабина,— вздохнул.— С нашей медициной хандроза банального не вылечишь... А о Богдане я и не говорю...»

«А ты скажи! Скажи! Ты доктор! Ты лекарство ему пропиши... Я достану. Я знаю, какое надо... Ему надо лекарство, чтобы он Митрю в окне не боялся. Да! Да! Такое лекарство Богдану надо... Ты только скажи, как оно называется?»

Доктор встал. Из графина в стакан воды налил. Выпил.

«Нет, Сабина, такого лекарства у нас...— тихо сказал.— Нет и не скоро появится...»

«Ты правду мне говоришь? — я спросила. — Правду? Скажи!»

«Правду, Сабина...»

Я в Ахиллею вернулась. Пусто в душе моей было. Пусто на сердце. Я к Дунаю пошла, села на берегу, про себя забыла. Долго сидела. До вечера просидела. На вербы глядела на том берегу, на дымку над вербами и на дорожку от солнца на тихой воде. На уголек красный солнце было похоже. Не жаркий, не злой, а как в горне кузнечном в детстве моем. Я долго глядела на уголек. Он на глазах моих таял. Он грел мою душу, грел мое сердце. Я голову вскинула — удачу почуяла! Теплый ветер в лицо мне дохнул, поднял душу мою, самую чистую душу мою, и на легких крыльях понес над водой и деревьями. Мне хорошо стало! Мне радостно стало! Я весь наш край увидала! День увидала, вечер, ночь и луну, и густую траву, и костры у воды, и людей. Наших вольных людей! Смелых и добрых людей! Они дружно живут, они песни поют, а я их покой стерегу. Я царица над ними. Я в черном платье сижу у шатра...

Бог мой! Какую картину я увидала! Кто, кто ее для меня нарисует? Кто, кроме тебя, мой Богдан любимый, ее нарисует? Ты — вера моя! Ты — жизнь моя! Счастье мое! Богдан! Мой Богдан! Родной мой Богдан!

Я имя любимого повторяла, и сердце мое проснулось. Сердце мое крепко забилось, сердце спросило: что ты сидишь, Сабина? Почему ты сидишь? Кому ты поверила? Доктору ты поверила? Что он знает, тот доктор? Какую правду он знает? Он твоей правды не знает. И не узнает. Бог с ним... Пусть сидит себе в белом доме, пусть книгу свою читает. А я и сама с головой. Я знаю, что делать. Знаю, знаю! Я в Одессу сейчас поеду. К морякам в порт пойду. Моряки за границу плавают. Лекарство для Богдана привезут. Какое надо лекарство ему привезут! Самое лучшее ему привезут! Ты слышишь меня, молодой-красивый? Ты слышишь — я чую. Ты сердце имеешь, душу имеешь. Дай Бог удачи тебе! Счастья-здоровья! Долго живи! С миром в душе живи. Прощай! Я поеду. В Одессу поеду.

Кирилл Померанцев

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Кирилл Дмитриевич Померанцев — старейший русский поэт. Он родился в 1906 году, до 1920-го жил в Полтаве, а потом — Новороссийск — Константинополь — Париж... Тринадцати лет поступил учиться в техническое училище Парижа, работал на заводе граммофонных пластинок, в войну участвовал в Сопротивлении, после войны занимался декоративной росписью шелковых тканей... Успешно трудился в журналистике. Писал стихи и прозу — роман «Между двумя Ничто», воспоминания «Сквозь смерть». Ученик Георгия Иванова, К. Д. Померанцев никогда не издавал своих стихов, и по сей день имеется лишь ставший библиографической редкостью его сорокасемистраничный, форматом в записную книжку сборничек стихотворений, собранный и напечатанный заботами почитателей и друзей поэта и яростно отвергаемый и безжалостно уничтожаемый самим автором (Кирилл Померанцев. «Стихи», издательство «Ритм», Париж, 1986).

Многие годы Кирилл Дмитриевич Померанцев является сотрудником «Русской мысли». Живет в Париже.

В 1989 году подборки стихов Померанцева появились в журнале «Октябрь» (№ 8) и «Литературном обозрении» (№ 11).

Редакция приносит благодарность Василию Павловичу Бетаки, Наталии Александровне Вишневской и Игорю Анатольевичу Васильеву за помощь в подготовке публикации.

* * *

Что, если все — о, все без исключенья, —
Христос, Лао-Цзе, Будда, Магомет,
Не то что бы поверили в виденья,
Но просто знали, что исхода нет,

Что никогда не будет воздаянья:
Там — пустота и ледяная тьма;
И лгали нам в безумьи состраданья,
Чтоб жили мы, а не сошли с ума?

* * *

Ты мне больше не снишься. Наверно,
Мы с тобой рассчитались давно.
Всё продумано, все правомерно,
Всё до ужаса предрешено.
Подытожены мысли и чувства,
Пересмотрены схватки с судьбой.
Раньше так говорил Заратустра,
В наши дни — океанский прибой.

* * *

Взошла луна. В сиянии ночном
Безмолвна необъятность океана,
Как будто благодатная нирвана
Сошла на мир с его никчемным злом,
Как будто мир блаженно почивает,
Не ведая, что сам в себе таит.
Так человек: он — то, что он скрывает,
Он — то, о чем вовек не говорит!

* * *

Над черной землею забрезжил рассвет.
Пробился сквозь ставни чахоточный свет.

А мы — все о том же: «Права и свободы...
Вселенская ночь... Окаянные годы...»

Дымились окурки, кружились умы,
«Вот если бы только... вот если бы мы...

Готовые к жертвам, готовые к бою...»
О, как же мы были довольны собою!

* * *

О, страшный мир... Не тот, что с содроганьем
Готовится к неслыханной войне,
Но тот, другой, что в мертвой тишине,
Как черви, точит темное сознанье...

А этот мир, где каждый день и час
Пропитан злобой, завистью и мщеньем —
Лишь слабое земное отраженье
Другого мира, дремлющего в нас.

* * *

Пускай звенят, пускай летят пустыни,
Сегодня ты, а завтра я помру...
Мы позабыли, блудные, о Сыне,
Заканчивая нудную игру.

Застряли звезды в рваной стратосфере,
Летит Земля в свинцовое ничто,
Готовится еще отплыть к Цитере
Из Валансьена шелковый Ватто.

Сегодня день Святого всепрощенья.
Благоухает колокольный звон,
И не нарушат высшего решенья
Какие-то Москва и Вашингтон.

* * *

От снега поднимается сиянье,
Как будто звезды на снегу горят,
Как будто розы, затаив дыханье,
Чуть слышно меж собою говорят:

Проникни в тайну, скрытую от века,
Склонись к истокам первозданных рек,
Бог человеком был для человека,
Чтоб Богом стал для Бога Человек!

* * *

Как будто на белой упавшей звезде,
Зеленая елка стоит на кресте.

Веселые свечи на елке горят,
И звезды цветные играют не в ряд.

Закрой же глаза и открой их потом,
И станет зеленая елка крестом,

Огромным крестом в мировой пустоте...
И розы венком расцветут на кресте.

* * *

Ну вот. Я никому не нужен.
Прошла зима, пришла весна.
Но не сверкнет мне «ряд жемчужин
Апрельской ночью» у окна,
И не появятся, как раньше,
В уставшей бредить голове
Мечты о будущем реванше,
О встрече в будущей Москве.

Бесчинствует парижский вечер,
Сады цветут наперебой...
И вот — не за горами встреча
Последняя: с самим собой.

* * *

Меня уж нет. Меня не существует.
Остался лишь оптический обман,
Замедливший рассеяться туман,
Степная пыль, кружащаяся всуе.

И вообще — существовал ли я
Самой в себе неповторимой тварью,
Иль только вспыхнув, растворился гарью
В космической тревоге бытия?

Все — прах. Все — тлен. Мечты, надежды, сроки...
Бесстрастна леденеющая высь,
И в черный бархат вписанные строки
Уже в посмертный пурпур облеклись.

* * *

Я так скучно, так мелко старею:
Стал придирчив, ворчлив и болтлив,
Были б деньги — махнул бы в Корею,
В Абиджан или в Тананарив.

Потому что известно с пеленок:
Хорошо только там, где нас нет.
Это скажет вам каждый ребенок,
Каждый русский и каждый поэт.

Потому что (и это известно!)
Что прожившим всю жизнь наобум,
Нам под старость становится тесно
От себя и от собственных дум...

* * *

Как унизительно убоги
Все наши склоки и дела,
И смехотворны эти тоги
Вершителей добра и зла.

Но перед царственным закатом
Смиренно голову склоним:
Нет правых. Все мы виноваты,
Все мирром мазаны одним.

* * *

В каком-то полуобалденье
Не то в аду, не то в бреду,
Вдруг, словно головокруженье,
Ложится звездное смиренье
На золотую ерунду.

Бежит минута за минутой
Блаженной микротишины,
И чудится мне почему-то,
Что все мы будем спасены.

* * *

Войди, как, бывало, входила,
Взгляни, как умела смотреть.
Неважно, что жизнь не простила
И не научила стареть.
Неважно, что те же страницы
Лежат между мной и тобой,
Уедем, сбежим за границу,
Уйдем в океанский прибой,
А там — превратимся в движенье,
В поэзию, в солнечный блик!
Ведь ты — мое воображенье,
А я — твой послушный двойник.

* * *

Ужель, не слыша, не дыша,
В каком-то сне оцепенелом
Томится сорок дней душа
Над разлагающимся телом

И рвется в этот мир она,
Как надоедливый проситель.
О, неужели так страшна
Ее небесная обитель?!

* * *

Налей чайку, и если можно — крепче,
Без сахару. А коньячку подлей.
Ты думаешь, с годами будет легче...
С годами будет много тяжелей.

* * *

Все в мире проходит. Все в мире прошло.
И, как говорится, травой поросло,
Великодержавной травою забвенья, —
Крушенье основ и другие явленья:

Бессмыслица зла и бессилье добра,
Скитанья и жизнь на авось, на ура,
А все-таки как-то прошло, прожилось —
Порой на ура, а порой на авось.

* * *

Как дивно в солнечном закате
В сиянье или в полумгле
Увидеть черное распятье
Огромной тенью на Земле,

Увидеть всю судьбу земную,
Где каждый путь — есть крестный путь,
И эту логику стальную
Очеловечить как-нибудь!

* * *

Июльский воздух листья сушит,
Проносит пыль по мостовой,
В мясных торжественные туши
Сияют сытой желтизной.

А мы идем, бредем неспешно,
Толкуем о добре и зле
На этой маленькой и грешной,
Очаровательной земле.

* * *

Темнеет небо понемногу,
Ложатся тени на дома.
День пережит и, слава Богу,
Я не сошел еще с ума,

И не повесился в уборной,
Иль, разогнав мотоциклет,
Какой-нибудь тропинкой горной
Не ахнул через парапет.

Напротив, я еще куражусь, —
Кому-то льщу, кому-то вру,
Чего-то жду. И не отважусь
Пресечь позорную игру.

Зато я понял непреложно,
Всё потеряв и всё сгубя,
Что если ненавидеть можно,
То только самого себя.

* * *

Я ем и пью, хожу в редакцию,
Пишу дурацкие статьи,
А между тем живу в абстракции,
В нирване, в полузабытьи.

Живу в тупом оцепенении,
Следя в полуночной тиши
За судорожным сердцебиением
Моей затасканной души.

* * *

Одни надеются на Бога,
Другие слушают Москву,
А я в клокочущей тревоге,
В тупом отчаянье живу.

Так бьется в зыбком непокое
Пустая лодка о причал...
Любовь... А что это такое?
Друзья...
Простите, не слыхал.

* * *

Кто вызвал в этот мир меня
Из пустоты небытия
И бросил в нищету и в холод,
И смысл в страдании нашел?

Я видел все. Я все прошел:
Надеялся, когда был молод,
Потом надеяться устал,
Потом и верить перестал.

О, страшный мир! Так, леденея,
Года последние ползут.
Так листья осенью желтеют
И, с веток падая, гниют.

* * *

Когда-нибудь, о, я уверен в этом,
Проснувшись ночью, вдруг увижу я,
Что за окном едва заметным светом
Как будто занимается Земля.

Как будто все — и ночь, и город спящий —
Преобразил неведомый рассвет.
И это будет не от звезд сходящий,
Но к звездам поднимающийся свет.

* * *

Всё, как было — Россия, Америка,
Будет или не будет война?
Тишина. Вдоль лазурного берега
Шелестит, рассыпаясь, волна.

Всё, как прежде — ничто не меняется:
Тот же звездный спускается мрак...
Человек умирать собирается,
А посмотришь, и выжил, чудак!

* * *

Проходят дни. Меняется
Все виденное мной.
Иное начинается
Под солнцем и луной.

Иное, неизвестное,
Стирающее в прах
Все, что работой честною
Мы строили в веках.

Бесы

Не гнусавит попик деревенский —
«Господи, прости...»
Разгулялся Петька Верховенский
По Святой Руси.

Зимний ветер крутит на дороге
Белый снег кольцом.
Смотрит в поле Николай Ставрогин
Каменным лицом.

Шигалев подсчитывает трупы,
Как игрок очки,
Сузились бессмысленно и тупо
Тусклые зрачки.

Федька силу каторжную мерит,
«Вот, как развернусь...»
Помолись, кто в Бога еще верит,
За шальную Русь.

* * *

Ни в атомную катастрофу,
Ни в благоденствие людей,
Я верю только лишь в Голгофу
Бессмертной родины моей.

Голгофа значит — Воскресенье...

Но прежде нисхожденье в ад,
Сквозь Петроград и Ленинград,
Сквозь тьму и мерзость запустенья —

Марксистско-ленинский парад.
«О Ты, пространством бесконечный,
Благослови на крестный путь,
Чтоб этот мир бесчеловечный
Очеловечить как-нибудь.»

* * *

Пусть будет так. Хоть быть могло иначе,
Лишь одного случиться не могло:
Чтоб эта жизнь была сплошной удачей,
Чтобы хоть раз немного повезло.

Спускалась ночь над сказочным Парижем,
Зажглись огни на «Плас де л'Опера»...
Что ж — поплетусь: пора к себе, под крышу,
А может быть, и вообще пора.

* * *

Горный вечер робко пробивался,
Нам уже пора спускаться вниз.
От реки густой туман поднялся
И в вечернем воздухе повис.

Тихо всё. Среди снегов застывших
Слышишь — будто листья шелестят:
Это души никогда не живших
С душами умерших говорят.

* * *

И ты когда-то в ужасе спросил
О смысле, о бессмыслице, о Боге,
Осенний дождь устало моросил,
Кружились листья на большой дороге.

Как листья осыпаются года,
И кружатся в огне воспоминанья,
И ночь ложится нежно, как всегда,
Сквозь сумрак негасимого сознанья.

* * *

Что смерть? — Простая пересадка
Из мира этого в другой,
Где мы — хоть это и несладко —
Уже стоим одной ногой.

Есть тайна страшная в твореньи,
Ее не разгадать вовек
Ни логикой, ни умозреньем,
И эта тайна — ЧЕЛОВЕК.

* * *

Я жду письмо, но от другой Марины.
Я жизнь люблю, но разве это жизнь?
Гудят гудки, блаженствуют витрины,
Клубится пар покинутых отчизн.

Но, может быть, прощенье, как и мщенье,
В конце концов, такое же ярмо?
И, заблудившись в перевоплощеньях,
Я позабыл, что разорвал письмо.

* * *

Не удалась. Совсем неважно,
По чьей вине не удалась.
Лишь первый раз признаться страшно,
Что жизнь напрасно пронеслась
И до сих пор напрасно длится...
А для того, чтоб умереть,
Совсем не стоило родиться
И уж тем более, стареть.

* * *

Исцели меня в жизни моей,
Снизойди пред концом страшных дней,
Дай то время прожить возле славы Твоей
И возлей на меня благодатный елей.

Я погряз во грехе, я в зловонной тюрьме,
Даже имя Твое я боюсь написать.
Исцели, если Ты не устал исцелять.

* * *

Прошла, рассеялась гроза.
Но если ты живым остался,
Не изнемог, не помешался,
Ты смерти не смотрел в глаза,

И смертью не был ты отмечен,
И не постигнешь никогда
Ни ужаса последней встречи,
Ни тайны Божьего лица.

* * *

Тобой замученные дети,
Детьми замученная ты...
О, что безжалостней на свете
Твоей безжалостной судьбы?

Моя страна... О, буди! буди!
Да низойдет дамасский свет!
О, родина, молю о чуде.
Но чуда нет, но чуда нет.

Андрей Сахаров

ВОСПОМИНАНИЯ

В июне или июле 1967 года мне по просьбе М. А. Леонтовича передали конверт, в котором было письмо Ларисы Богораз — жены находившегося тогда в Мордовском лагере Юлия Даниэля — о тяжелом положении ее мужа с просьбой помочь, и статья, нечто вроде художественного репортажа о ее поездке к мужу в лагерь. Я как раз собирался улетать на объект и взял письмо с собой.

Приехав на объект, я из своего кабинета по ВЧ* позвонил Андропову. Сказал, что получил письмо, в котором сообщается о тяжелом положении Даниэля, просил его вмешаться и принять меры. Андропов сказал, что он уже получил 18 сигналов на ту же тему (я уже тогда отнесся к этим словам с некоторым недоверием), он проверит эти сообщения, а меня очень просит прислать подлинник полученного мною письма. Я спросил — зачем? Он ответил — ради коллекции. Я, однако, все же сделал вид, что не понял его слов о подлиннике, и, перепечатав полученное письмо, послал Андропову копию. Через полтора месяца на московскую квартиру мне позвонил заместитель Генерального прокурора Маляров (тот самый, который в августе 1973 года будет выполнять другое поручение КГБ, объявляя мне «предупреждение»). В этот раз Маляров сказал, что тов. Андропов поручил ему проверить сообщение о Даниэле. Он осуществил эту проверку. В настоящее время мне нет оснований беспокоиться об этом деле, так как к 50-й годовщине Октябрьской революции будет широкая амнистия, и Даниэль, так же как и Синявский, будет освобожден.

Я тогда поблагодарил его за это сообщение, оказавшееся, однако, ложным — амнистия не была распространена на политзаключенных (как обычно). Рой Медведев потом уверял меня, что якобы решение об исключении п/з на этот раз было принято в последний момент, но мне (как всегда у Медведева) неизвестны источники его информации, и я вправе в ней сомневаться.

В 1967 году я был вовлечен еще в одно общественное дело большого значения — проблему Байкала. Уже несколько лет перед этим в «Комсомольской правде», в «Литературной газете» и в некоторых других газетах начали появляться тревожные статьи на эту тему, некоторые из них были написаны очень остро и убедительно. Речь шла об угрозе, которую представляет для Байкала осуществляемое на его берегах промышленное строительство, сопровождаемое к тому же рубкой лесов, лесосплавом, спуском в Байкал отходов химического производства. Байкал — одно из величайших озер в мире, гигантский резервуар пресной воды, ценность которой растет в мире с каждым днем, а самое главное — это уникальное явление природы, гордость и украшение страны, в какой-то мере — ее символ. Мое участие в борьбе за Байкал было безрезультатным, но очень много значило лично для меня, заставив вплотную соприкоснуться с проблемами охраны среды обитания и в особенности с тем, как она преломляется в специфиче-

---

Продолжение. Начало см. «Знамя» №№ 10, 11, 12 за 1990 г.

* Служебные аппараты, которыми пользуются в основном для административных переговоров и между городами, и между учреждениями. Число таких аппаратов в стране очень ограничено. ВЧ расшифровывается как Высоко-Частотная. На диске надпись: ВЧ связь КГБ СССР.

ских условиях нашей страны. Уже в Горьком я ознакомился с книгой Комарова (псевдоним, изд. «Посев»), которую очень рекомендую интересующимся — в ней содержится огромный материал по всем основным аспектам проблемы среды обитания в СССР, в том числе и по Байкальской.

Расскажу подробнее свой опыт. В один из первых месяцев 1967 года ко мне пришел молодой человек, студент Московского энергетического института, член созданного при ЦК комсомола Комитета защиты Байкала. Он предложил мне принять участие в заседаниях Комитета, ознакомиться с проблемой и, если я сочту возможным, примкнуть к защите Байкала. Дело показалось мне серьезным, и через несколько дней я пришел в здание ЦК комсомола в проезде Серова, где происходили заседания Комитета. Среди его членов я помню: академика Петрянова-Соколова (известного изобретением противопылевого фильтра Петрянова); авиаконструктора Антонова, — писателя и журналиста Волкова (ранее много лет проведшего в сталинских лагерях); члена Главгорстроя РСФСР, к сожалению, я забыл его фамилию; вместе с Волковым он был самым активным и информированным членом Комитета; биолога-лимнолога Никольского и, наконец, знакомого мне студента, представлявшего в Комитете ЦК комсомола. Меня ознакомили со множеством поразительных документов по Байкалу, а также по другим экологическим проблемам. Петрянов рассказал, в частности, о промышленном загрязнении воздуха, это его специальность. В ряде мест — положение катастрофическое. Все данные о загрязнении воздуха тогда, а насколько я знаю, и сейчас, засекречены. Работники Госстроя рассказали о необычайно убыточном по своим отдаленным последствиям затоплении угодий при строительстве равнинных электростанций.

Со своей стороны я провел собственные изыскания, встретившись с профессором Рагозиным, специалистом по целлюлозной промышленности — в то время как раз строительство большого целлюлозного комбината было центральной темой. Что же я узнал?

Еще в конце 50-х годов министр бумажной промышленности Орлов дал указание строить на Байкале большой целлюлозный комбинат. Цель — производство особо прочной вискозы для авиационного корда (основа шин). Предполагалось, что в более чистой байкальской воде при полимеризации будут образовываться более длинные молекулы вискозы и соответственно нити будут прочнее. В производственных условиях это предположение потом не подтвердилось. Еще важней, что авиационная промышленность отказалась от вискозного корда, заменив его металлическим. В результате цель строительства комбината именно на Байкале, которая с самого начала была несоизмерима с причиняемым ущербом, вообще исчезла. Но комбинат продолжал строиться, и целые армии чиновников, защищая ранее принятое вредное и бессмысленное решение, а фактически — честь мундира, продолжали настаивать на его необходимости для государства, для обороны страны (обычный «окончательный» аргумент). Рассказывают, что Орлов выбрал место будущего строительства, катаясь на катере со своими приближенными. Не вылезая на берег, он просто указал в этом направлении пальцем. Когда строительство началось, защитники Байкала выяснили по старым документам, что это как раз то самое место, где в прошлом веке во время знаменитого «Вернинского» землетрясения под воду ушел целый кусок суши площадью в 15 га. Комбинат строился в сейсмоопасном месте. Пошли телеграммы в Москву. Но строительство не отменили, что было бы единственно правильным решением, — его передали новому субподрядчику, а именно Министерству среднего машиностроения (Петрянов сказал: «Вы знаете, кто главный губитель Байкала? — Ваш Славский»). Старый проект зданий комбината заменили новым, сейсмостойким — конечно, до определенной балльности, которая превосходится раз в 50 или 100 лет. Стоимость строительства возросла во много раз. Теперь это были многоэтажные корпуса на стальных опорах, глубоко уходящих в землю, на которые подвесили сверкающие алюминием и стеклом конструкции стен и перекрытий. Это было чудо строительного искусства, жаль только, что вредное и бессмысленное с самого начала. Министерству среднего машиностроения в благодарность за эти подвиги разрешили рубить лес в водоохранной зоне Байкала. Но главная проблема была — очистка сточных вод. Соответствующие институты разработали систему

биологической очистки, после которой сточные воды по каналу направлялись в Ангару, минуя Байкал. Правда, специалисты — защитники Байкала нашли слабые места в этой системе (потом их опасения с большим избытком оправдались). Была создана экспертная комиссия Академии наук под председательством академика Жаворонкова, весьма далекого от этих проблем, но готового выполнить волю президента Академии, а тот — волю Госплана СССР.

Комитет по спасению Байкала имел в своем распоряжении обширные материалы о влиянии на Байкал и его ареал различных факторов воздействия человека — лесосплава на впадающих в Байкал реках, отчего уже погибла молодь большинства рыб, в том числе байкальского омуля (в 1860 г. омуль имел общероссийское пищевое значение, конкурирующее с говядиной, а теперь мы только поем про «омулевую бочку»); аварийных сбросов отходов; порубки лесов, пожаров и т. д. Суть дела сводилась к тому, что в Байкале сложилась замкнутая экологическая система, для которой катастрофой будут почти любые изменения. Предложения Комитета сводились к объявлению зоны Байкала запретной для промышленного использования и переноса уже построенных предприятий в другие места (которые указывались; при этом учитывались различные экономические факторы). В целом проект был не слишком дорогим, много дешевле уже затраченного. Документы Комитета с подписью, кроме нас, также одного из секретарей ЦК ВЛКСМ и приложением писем граждан в редакции «Литературной газеты» и «Комсомольской правды» (некоторые из общего числа 7000) были направлены в ЦК КПСС.

Я решил также лично позвонить Л. И. Брежневу (это был мой последний разговор с ним). Брежнев был очень любезен и доброжелателен по тону, пожаловался на крайнее переутомление и сказал, что проблемой Байкала занимается Косыгин, я должен обратиться к нему. К сожалению, я этого не сделал вовремя, сразу. Я никогда не имел дела с Косыгиным, не знал его лично и опасался, что без подготовки мой звонок ему не будет полезен. Это, несомненно, была моя ошибка. Я не знал отношений Косыгина и Брежнева и не понял, что Брежнев просто устраняется, оставляя неприятное дело другому. Я же думал, что, позвонив по важному вопросу человеку, который стоит во главе государства, я сделал все необходимое, максимум возможного и что при желании они (Брежнев и Косыгин, которых я не разделял) примут меры.

Через короткое время я узнал, что в Совете Министров состоялось заседание, на котором было принято окончательное решение. От Академии наук присутствовали М. В. Келдыш (президент) и, кажется, Жаворонков (председатель Комиссии АН по Байкалу, специалист по неорганической химии). На заседании Косыгин спросил Келдыша:

— Каково будет мнение Академии? Если защита ненадежна, мы отменим строительство.

Отвечая, Келдыш доложил решение Комиссии Жаворонкова о полной надежности системы очистки вод и всей системы защиты Байкала. Вероятно, Келдыш был искренен или почти искренен, когда, фактически своим личным авторитетом, санкционировал губительное решение. В больших делах всегда приходится чем-то жертвовать, выбирать наименьшее зло и т. п. Экологическая опасность, вероятно, представлялась ему гораздо менее существенной, чем членам комсомольского Комитета по Байкалу. Но при всем том я уверен, что в значительной степени позиция Келдыша, ход его мыслей, восприимчивость к аргументам той и другой сторон объясняются тем, что Академия наук является в административном смысле частью гигантской бюрократической машины, в вершине которой стоят отделы ЦК, Госплан, министерства и т. п. От этой машины зависят ассигнования на науку, снабжение и т. п. Поэтому для Келдыша, для Президиума АН СССР естественнее всего не идти против этой машины и, если можно, не копаться в аргументах «романтических смутьянов», *a priori* считая их демагогией, преувеличением, вообще глупостью.

Через два года комсомольская экспедиция уже могла фотографировать на Байкале массовую гибель рыбы и зоопланктона от аварийных сбросов отравленных стоков, которых, однако, вроде бы не было — согласно инструкции, аварийные сбросы в журнале не регистрировались. На бумаге, как всегда, все было в порядке.

1968 год: Пражская весна. «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе»

К началу 1968 года я был внутренне близок к осознанию необходимости для себя выступить с открытым обсуждением основных проблем современности. В предыдущих главах я пытался объяснить, как моя судьба, доступные мне специфические знания, влияние идей открытого общества подводили меня к этому решению. Осознанию личной ответственности способствовало в особенности участие в разработке самого страшного оружия, угрожающего существованию человечества, конкретные знания о возможном характере ракетно-термоядерной войны, опыт трудной борьбы за запрещение ядерных испытаний, знание особенностей строя нашей страны. Из литературы, из общения с Игорем Евгеньевичем Таммом (отчасти с некоторыми другими) я узнал об идеях открытого общества, конвергенции и мирового правительства (И. Е. относился к последним двум идеям скептически). Эти идеи возникли как ответ на проблемы нашей эпохи и получили распространение среди западной интеллигенции, в особенности после второй мировой войны. Они нашли своих защитников среди таких людей, как Эйнштейн, Бор, Рассел, Сцилард. Эти идеи оказали на меня глубокое влияние; так же, как названные мною выдающиеся люди Запада, я увидел в них надежду на преодоление трагического кризиса современности.

В 1968 году я сделал свой решающий шаг, выступив со статьей «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе».

Случилось так, что это был год Пражской весны.

О событиях в Чехословакии я узнавал в основном по радио. Еще за год до этого (поздновато, конечно) я купил приемник ВЭФ и время от времени, не очень регулярно, за исключением 1968 года, слушал Би-би-си и «Голос Америки». В 1967 году — о событиях Шестидневной войны. А в 1968 году самыми волнующими стали новости из Чехословакии (я слышал передачу исторического документа «2000 слов» и многое другое). В эти месяцы все чаще стали также заходить Живлюк и Р. Медведев, от них я также узнавал много дополнительных важных сведений. Казалось, что в Чехословакии происходит, наконец, то, о чем мечтали столь многие в социалистических странах,— социалистическая демократизация (отмена цензуры, свобода слова), оздоровление экономической и социальной систем, ликвидация всесилия органов безопасности внутри страны с оставлением им только внешнеполитических функций, безоговорочное и полное раскрытие преступлений и ужасов сталинистского периода («готвальдовского» в Чехословакии). Даже на расстоянии чувствовалась атмосфера возбуждения, надежды, энтузиазма, нашедшая свое выражение в броских, эмоционально-активных выражениях — «Пражская весна», «социализм с человеческим лицом».

С началом событий в Чехословакии совпали, конечно, гораздо меньшие по своему значению и масштабам, но все же примечательные события в СССР. Это кампания в защиту только что осужденных Гинзбурга, Галанскова и Лашковой, получившая название «подписантской кампании» (она описана в книге, составленной А. Амальриком и П. Литвиновым). Было собрано более тысячи подписей, в основном среди интеллигенции. В условиях СССР — это необычайно много, еще за несколько лет перед этим нельзя было и подумать вообще о сборе подписей в защиту «вражеских элементов». Да и потом этот уровень уже не достигался (может быть, за немногими исключениями). Правда, потом каждый из подписывающих яснее понимал последствия своей подписи для себя и семьи, так что цена подписи возросла. Тогда же, в 1968 году, КГБ явно перепугался. Против подписывающих были приняты жесткие меры — увольнения (с занесением в «черный список»), жесточайшие проработки, исключения из

партии. «Подписантская кампания» (вместе с несколькими другими аналогичными) сыграла большую роль как предшественник нынешнего движения за права человека. Она была как бы отражением в миниатюре Пражской весны.

Я должен, однако, к своему стыду, сознаться, что подписантская кампания опять прошла мимо меня, так же как ранее дело Даниэля и Синявского (об этом я уже писал), а еще раньше — дело Бродского. Я узнал о ней задним числом, уже во время работы над своей статьей, от Живлюка и Медведева; почему они молчали раньше, не знаю.

Во время одного из своих визитов (вероятно, в конце января или в начале февраля 1968 г.) Живлюк заметил, что очень полезной — он не конкретизировал, почему и для чего — была бы статья о роли интеллигенции в современном мире. Мысль показалась мне заслуживающей внимания, важной. Я взял бумагу и авторучку и принялся (в начале февраля) за статью. Очень скоро, однако, тема ее изменилась и расширилась...

Писал я, в основном, на объекте, после работы, примерно с 19 до 24 часов. Приезжая в Москву, я брал черновики с собой. Клава понимала значительность этой работы и возможные ее последствия для семьи; отношение ее было двойственным. Но она оставила за мной полную свободу действий. В это время состояние ее здоровья все ухудшалось, и это поглощало все больше ее физических и душевных сил.

Свою статью я назвал «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Это название соответствовало тому тону приглашения к дискуссии со стороны человека, не являющегося специалистом в общественных вопросах, который казался мне тогда наиболее правильным. По своей тематике статья далеко вышла за упомянутую Живлюком — в ней обсуждался очень широкий круг тем, определивший почти всю мою публицистическую деятельность в последующие годы, и в основном с тех же позиций. Основная мысль статьи — человечество подошло к критическому моменту своей истории, когда над ним нависли опасности термоядерного уничтожения, экологического самоотравления, голода и неуправляемого демографического взрыва, дегуманизации и догматической мифологизации. Эти опасности многократно усиливаются разделением мира, противостоянием социалистического и капиталистического лагеря. В статье защищается идея к о н в е р г е н ц и и (сближения) социалистической и капиталистической систем. Конвергенция должна, по моему убеждению, способствовать преодолению разделения мира и тем самым — устранить или уменьшить главные опасности, угрожающие человечеству. В результате экономической, социальной и идеологической конвергенции должно возникнуть научно управляемое демократическое плюралистическое общество, свободное от нетерпимости и догматизма, проникнутое заботой о людях и будущем Земли и человечества, соединяющее в себе положительные черты обеих систем. В статье я писал подробно (и как мне кажется — со знанием дела) об опасностях ракетно-термоядерного оружия, об его огромной разрушительной силе и сравнительной дешевизне, о трудностях защиты. В соответствии с общим планом статьи я писал о преступлениях сталинизма (не приглушенно, как в советской прессе, а в полный голос), о необходимости полного разоблачения сталинизма, о решающей важности для общества свободы убеждений и демократии, о жизненной необходимости научно регулируемого прогресса и опасностях неуправляемого, хаотического прогресса, писал о необходимых изменениях внешней политики.

В статье сделана попытка очертить глобальную футурологическую позитивную программу развития человечества. Я при этом сознавал и не скрывал от читателя, что в чем-то это — утопия, но я продолжаю считать эту попытку важной.

В статье, по сравнению с моими последующими общественными выступлениями, почти не представлена тема защиты конкретных людей от конкретной несправедливости, конкретного беззакония. Это принципиальное дополнение внесла потом жизнь (велика в этом роль Люси). Следующий очень важный шаг — защита прав человека вообще, защита о т к р ы т о с т и общества как основы международного доверия и безопасности,

основы прогресса. Своей статье я предпослал эпиграф из второй части «Фауста» Гете:

Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идет на бой!

Эти очень часто цитируемые строки близки мне своим активным героическим романтизмом. Они отвечают мироощущению — жизнь прекрасна и трагична. Я писал в статье о трагических, необычайно важных вещах, звал к преодолению конфликта эпохи. Поэтому я выбрал такой оптимистически-трагический эпиграф, и я до сих пор рад этому выбору. Много потом я узнал, что этот поэтический эпиграф привлек внимание моей будущей жены — Люси, понравился ей. Она, совсем ничего не зная обо мне, будучи вообще очень далекой от академических кругов, увидела в выбранном мною эпиграфе что-то юношеское и романтическое. Так этот эпиграф установил между нами какую-то духовную связь за несколько лет до нашей фактической встречи. Хочу все же добавить несколько слов о своем понимании гетевских строк. Это поэтическая метафора, и в ней нет поэтому императивности, фанатизма. Другая сторона истины, тоже близкая и важная для меня, заключается — если опять использовать поэзию — в прекрасных строках Александра Межирова:

Я — лежу в пристрелянном окопе,
Он — с мороза входит в теплый дом.

Мысль Межирова тут: борьба, страдание, подвиг — не самоцель,— они оправданы лишь тем, что другие люди могут жить нормальной, «мирной» жизнью. Вовсе не нужно, чтобы все побывали «в окопе». И такая же истинная, освобожденная от метафоричности авторская мысль Гете, как я убежден. Не только тот достоин жизни и свободы, кто идет на бой. Смысл жизни — в ней самой, в обыкновенной «теплой» жизни, которая, однако, тоже требует повседневного неброского героизма. Строчки эпиграфа часто ассоциируются с призывом к революционной борьбе. Но это, помоему, суженная интерпретация. Пафос моей статьи — отказ от крайностей, от непримиримости и нетерпимости, слишком часто присущих революционным движениям и крайнему консерватизму, стремление к компромиссу, сочетание прогресса с разумным консерватизмом и осторожностью. Эволюция, а не революция как лучший «локомотив истории». (Маркс писал: «Революция — локомотив истории».) Так что «бой», который я имел в виду,—мирный, эволюционный.

Я пытался найти как можно лучшее построение статьи (поэтому я переделывал ее несколько раз) и придать ей литературную форму. Однако лишь построение представляется мне более или менее удачным, соответствующим цели статьи, форма же очень несовершенна. У меня тогда не было никакого опыта литературной работы, не с кем было посоветоваться, и, кроме того, мне явно в ряде мест не хватило вкуса.

«Размышления» (буду ниже для краткости пользоваться этим сокращением) были закончены в основном в середине апреля. Жорес Медведев пишет в одной из своих публикаций, что я якобы печатал статью у нескольких машинисток секретного отдела, чтобы никто не догадался о ее содержании. Эту выдумку, свидетельствующую о моей наивности, повторяет, к сожалению, и Солженицын. На самом деле я печатал у одной машинистки секретного отдела. Я совершенно не исключал того, что рукопись при этом попадет в отделы КГБ, ведающие идеологией. Но мне важней всего было не подставлять себя с самого начала под удар, занимаясь тайной деятельностью,— все равно она была бы раскрыта при моем положении. Фактически же, я думаю, что КГБ переполошился, только когда рукопись пошла по рукам в Москве. До этого сведения о рукописи были, вероятно, только в контрразведке, которой она была безразлична. В конце мая (только!) на объекте был объявлен аврал КГБ и приняты меры по усилению бдительности таможен в Москве. Как мне сказали, в целом в операцию «Сахаров» тогда якобы были вовлечены две дивизии КГБ (вероятно, впрочем, это некоторое преувеличение) — но все зря. Но я забежал вперед.

В последнюю пятницу апреля я прилетел в Москву на майские праздники, уже имея в портфеле перепечатанную рукопись. В тот же день ве-

чером (неожиданно, вероятно, случайно) пришел Р. Медведев с папкой под мышкой, которую он мне оставил, а я ему дал на прочтение свою рукопись. В его папке были последние главы книги о Сталине — в новой редакции. Медведев рассказал мне, что якобы начальник отдела науки ЦК С. П. Трапезников очень вредно влияет на Брежнева и тем самым на всю внутреннюю и внешнюю политику. Под влиянием этого рассказа я включил в «Размышления» упоминание о Трапезникове, о чем сожалею. Персональный выпад вообще не соответствовал стилю и духу статьи — призывающей к разуму, к терпимости и компромиссу; не соответствовал моей манере и характеру. Кроме того, в данном случае я воспользовался чужой непроверенной информацией. Я теперь, в особенности после встречи с Трапезниковым в 1970 году, сильно сомневаюсь в том, что информация Р. Медведева о большой негативной (и вообще — большой) роли Трапезникова правильна.

Через несколько дней Рой Медведев пришел еще раз. Он сказал, что показывал рукопись своим друзьям (я ранее разрешил ему это), что все считают ее историческим событием. Я дал ему дополнение о Трапезникове, а он мне — письменные, но не подписанные отзывы своих друзей (среди них, как я теперь догадался, были Е. Гнедин, Э. Генри, Ю. Живлюк, Е. Гинзбург, еще кто-то из старых большевиков, кто-то из писателей). Я сделал кое-какие изменения и уточнения в рукописи и опять отдал Медведеву. Он сказал, что сделает две-три закладки, и спросил, учитываю ли я, что при распространении рукопись может попасть за границу. Я ответил, что вполне учитываю (мы объяснялись на бумажке).

18-го мая я по какому-то делу заехал на дачу к научному руководителю объекта Ю. Б. Харитону. Я сказал ему, между другими темами разговора, что пишу статью о проблемах войны и мира, экологии и свободы убеждений. Он спросил, что же я буду с ней делать, когда закончу. Я ответил:

— Пущу в самиздат.

Он ужасно заволновался и сказал:

— Ради Бога, не делайте этого.

Я ответил:

— Боюсь, что уже поздно что-либо тут менять.

Ю. Б. заволновался еще сильней, но перешел к другой теме, ничего больше не сказав о статье (а в дальнейшем он делал вид, что этого разговора вообще не было, и я не препятствовал ему в этом). В первых числах июня (числа 6-го, вероятно) я вместе с Ю. Б. ехал на объект в его персональном вагоне. Мы сидели за столом в салоне (кроме салона, в вагоне было большое купе Ю. Б., маленькое купе для гостей, купе проводников и маленькая кухонька; если гостей было больше, то им приходилось спать в салоне на сдвинутых стульях и раскладушке, я сам часто так ездил). Дождавшись, когда уйдет проводница Клава, принесшая ужин, Ю. Б. начал явно трудный для него разговор. Он сказал:

— Меня вызвал к себе Андропов. Он заявил, что его люди обнаруживают на столах и в вещах у некоторых лиц (т. е. при негласных обысках.— **А. С.**) рукопись Сахарова, нелегально распространяемую. Содержание ее таково, что в случае ее попадания за границу будет нанесен большой ущерб. Андропов открыл сейф и показал мне рукопись. (Ю. Б. сказал это в такой форме, что было понятно — Андропов помахал рукописью, но не дал ее посмотреть. Нельзя сказать, чтобы это было выражением уважения к трижды Герою Социалистического Труда.) Андропов просил меня поговорить с вами. Вы должны изъять рукопись из распространения.

Я сказал:

— Я дам вам почитать эту статью, она со мной.

Мы разошлись — Харитон в свое купе, где был письменный стол и настольная лампа, я в свое. Как всегда, в этом вагоне дореволюционной постройки было очень душно, но я сразу заснул. Утром мы вновь встретились.

— Ну как?

— Ужасно.

— Форма ужасная?

Харитон усмехнулся:

— О форме я и не говорю. Ужасно содержание.

Я сказал:

— Содержание соответствует моим убеждениям, и я полностью принимаю на себя ответственность за распространение этой работы. Только на себя. «Изъять» ее уже невозможно.

Конец месяца прошел без особых событий. Я продолжал работу над статьей, но боюсь, что она при этом не становилась лучше, а только несколько увеличивалась в объеме. Этот слегка переработанный вариант я послал Брежневу (и показывал Ефимову, одному из авторов «Конституции II»; он сказал, что новый вариант ему нравится меньше); я не знал, что в это время уже были сделаны попытки несколькими лицами передать мою рукопись за рубеж — через корреспондента американской газеты «Нью-Йорк таймс», но он отказался, опасаясь подделки или провокации; затем в середине июня Андрей Амальрик передал рукопись корреспонденту голландской газеты (кажется, «Вечерний Амстердам») Карелу ван хет Реве.

10 июля, через несколько дней после очередного приезда на объект и ровно через семь лет после памятного столкновения с Хрущевым, я стал слушать вечернюю передачу Би-би-си (или «Голоса Америки», я не помню) и услышал свою фамилию. Передавали, что в вечерней голландской газете 6 июля опубликована статья члена Академии наук СССР А. Д. Сахарова, который, по мнению некоторых специалистов, является участником разработки советской водородной бомбы. Статья содержит призыв к сближению СССР и стран Запада и к разоружению, описывает опасности термоядерной войны, экологические опасности, опасность догматизма и террора, опасности мирового голода, резко критикует преступления Сталина и отсутствие демократии в СССР. Статья содержит призыв к демократизации, свободе убеждений и к конвергенции как альтернативе всеобщей гибели (я, конечно, не помню точно характера комментариев и пишу сейчас то, что хотел бы услышать и что потом не раз слышал).

Я понял, что дело сделано. Я испытал в тот вечер чувство глубочайшего удовлетворения! На другой день я должен был лететь в Москву, но перед этим в 9 утра заехал на работу. Войдя в свой кабинет, я увидел за письменным столом Юлия Борисовича (он приехал на какое-то совещание). Я сказал:

— Моя статья опубликована за границей, вчера передавали по зарубежному радио.

— Так я и знал,— только и смог с убитым видом ответить Ю. Б.

Через пару часов я поехал на аэродром. Больше в свой кабинет я уже никогда не входил.

В последней декаде июля (точной даты я не помню) меня вызвал к себе Славский. На столе перед ним лежал перевод моей статьи из голландской газеты.

— Ваша статья?

Я просмотрел, сказал:

— Да.

— Это то же самое, что вы послали в ЦК?

— Не совсем, я несколько переработал.

— Дайте мне новый текст. Может, вы сделаете протест, заявите, что за рубежом опубликовали предварительный вариант без вашего разрешения?

— Нет, я этого делать не буду. Я полностью признаю свое авторство опубликованной статьи, она отражает мои убеждения.

Несомненно, Славский очень хотел, чтобы я выступил с хотя бы частичным протестом по поводу опубликования моей статьи за рубежом, пусть даже по поводу второстепенных редакционных неточностей. К счастью, я не попал в эту ловушку. С явным неудовольствием Славский продолжал:

— Сегодня мы не будем обсуждать ваши убеждения. Секретари обкомов звонят мне, оборвали ВЧ, они требуют, чтобы я не допускал контрреволюционной пропаганды в своем ведомстве, принял жесткие меры. Я хочу, чтобы вы подумали об этом, о том положении, в которое вы ставите всех нас и себя в первую очередь. Вы должны дезавуировать антисоветскую пропаганду. Я прочитаю ваш исправленный вариант. Я жду вас у себя через три дня, в это же время.

Через три дня он сказал:

— Я прочитал, это практически то же самое. В вашей статье очень много вредной путаницы. Вы пишете об ошибках культа личности так, как будто партия не осудила их. Вы пишете о привилегиях начальства, но ведь и вы сами пользовались этими привилегиями. Люди, несущие на себе такую колоссальную ответственность, такую непомерную нагрузку, должны иметь какие-то преимущества. Это все для пользы дела. Вы противопоставляете начальству интеллигенцию. Но разве мы, руководители, не есть истинная народная интеллигенция? Ваши рассуждения о конвергенции — абсолютная утопия, глупость. Нет никакой гуманизации капитализма, нет никаких социалистических черт в их социальных программах, в акционерном соучастии — и нет никакого госкапитализма в СССР. От преимуществ нашего строя мы никогда не откажемся. А капиталистам конвергенция ваша тоже ни к чему. Партия осудила ошибки культа личности, но без жесткой руки нельзя было сделать огромное дело — восстановление разрушенного войной хозяйства, ликвидацию американской атомной монополии — вы тоже приняли в этом участие. Вы не имеете морального права осуждать наше — сталинское — поколение за его ошибки, за допущенную жестокость. Вы пользуетесь плодами нашего труда, наших жертв! Конвергенция — утопия. Мы обязаны быть сильными, сильней, чем капиталисты,— тогда будет мир. В случае войны, в случае применения капиталистами ядерного оружия против нас мы обязаны немедленно и без колебаний применить всю нашу силу — и не только против стартовых позиций, а против всех объектов, которые нужно уничтожить для победы.

Насколько я понял и помню, речь шла только об ответном ядерном ударе, но сразу — максимально сильном, включая города и промышленные центры противника; и самое главное — Славский совершенно обошел вопрос о том, что, кроме нашей силы, может способствовать предотвращению войны. Ясно, что в мире, полном противоречий, конфликтов и недоверия, в мире, где силой располагают обе стороны,— голая сила слишком ненадежная гарантия мира и разумности политики. Славский игнорировал как глупость мои рассуждения об открытом обществе, отказе от противостояния, сближении. Я сказал, что в своей статье я писал об опасности для человечества подобного подхода — без свободы мнений, без открытого обсуждения вопросов, от которых зависит судьба человечества, решаемых в тиши кабинетов принявшими на себя бремя ответственности (и привилегий) людьми. В конце разговора я поднял вопрос о Чехословакии. Есть ли гарантия против интервенции в эту страну; это было бы трагедией. Славский сказал, что вопрос о Чехословакии обсуждался в ЦК, вооруженное вмешательство исключено, если в Чехословакии не произойдут открытые контрреволюционные акты насилия, подобные тем, которые имели место в Венгрии. Никакие разговоры, собрания, заявления нас не волнуют. (21 августа все это оказалось ложью, но, быть может, решения были приняты уже после нашего разговора; кроме того, Славского, вероятно, не допускали до обсуждений на самом высшем уровне.)

Я столь подробно пересказал свой разговор со Славским, так как это было почти единственное относительно серьезное обсуждение «Размышлений» (и вообще моих выступлений на общественные темы) с представителем власти.

Через пару недель Ю. Б. вызвал меня к себе домой и сказал, что Ефим Павлович (Славский) просил меня не ездить на объект. Я спросил об аргументации.

— Е. П. опасается провокаций против вас.

— Это глупости. С чьей стороны?

— Е. П. сказал, что таково его распоряжение. Вы должны пока оставаться в Москве.

Фактически это было отстранение от работы. Мне не оставалось ничего другого, как подчиниться. Я остался в Москве. Моя семья с 1962 года жила в Москве постоянно, приезжая на объект обычно летом, но в этом году они были в Москве.

22 июля «Размышления» были опубликованы в США в газете «Нью-Йорк таймс». Это была вторая газетная публикация вслед за голландской. В течение августа некоторые американские университеты опубликовали статью в своей университетской печати; много подобных перепечаток было и потом. Начался поток публикаций, отзывов, дискуссий (к сожалению, я не располагаю даже малой долей этих откликов. То немногое, что у меня

было, сейчас мне тоже недоступно). Я помню, что, по данным Международной книжной ассоциации, общий тираж публикаций в 1968—1969 годах составил 18 млн. экземпляров, на третьем месте после Мао Цзедуна и Ленина, и — на эти годы — впереди Ж. Сименона и Агаты Кристи.

Высокую оценку за рубежом «Размышления» получили в интеллигентно-либеральных кругах. Принадлежащие к ним люди увидели в моей статье не только большое совпадение с их взглядами (об опасности термоядерной войны, о демократии, о важности интеллектуальной свободы, о необходимости помогать слаборазвитым странам экономически, об экологической опасности, о наличии положительных черт и у социализма и у капитализма и т. д.), но и подтверждение реальности их надежд! Ведь родственный голос донесся с той стороны железного занавеса и исходил от представителя той профессии, которая у них обычно ближе к «ястребам», чем к «голубям». Некоторые (правда, в основном журналисты) считали даже, что моя статья — это пробный шар Советского правительства, желающего сделать новый реальный шаг к ликвидации опасности войны, и что я — чуть ли не подставное лицо. Моя статья нравилась также и людям более консервативных взглядов, увидевшим в ней острую критику реально осуществленного в СССР общества. Экологические, гуманитарные, научно-футурологические аспекты статьи были по душе всем. В общем, по широте и глубине воздействия на общественное мнение Запада статья стала событием, при всех ее ясных мне уже тогда недостатках (о некоторых из них я писал выше).

В СССР статья тоже распространялась весьма широко (это ведь было время расцвета самиздата) и вызывала горячий отклик. К сожалению, в ближайшие годы многие пострадали за ее распространение. Фамилии некоторых из них я знаю — это Павленков, Пономарев, Назаров. Из отзывов из СССР мне запомнилось письмо П. Г. Григоренко («...дорога ложка к обеду»,— писал он, давая очень высокую оценку роли статьи и ее основным концепциям). Было еще несколько аналогичных отзывов. А. И. Солженицын прислал развернутое изложение тех, в основном критических, замечаний, которые он мне высказал при встрече (об этой встрече я расскажу ниже). Это была, по существу, статья, впоследствии опубликованная в сборнике «Из-под глыб». При публикации А. Солженицын изменил заглавие. В моем экземпляре было «Муки свободной речи». Из зарубежных отзывов мне особенно был приятен отзыв известного физика-теоретика, одного из создателей квантовой механики, Макса Борна, который прислал свою книгу воспоминаний на немецком языке с очень теплой надписью. В сопроводительном письме он писал, что восхищен моей смелостью и разделяет большинство мыслей; однако ему кажется, что я переоцениваю социализм — он всегда считал, что это учение рассчитано на дураков; впрочем, он, как он пишет, живя в Англии, голосовал за лейбористов. «Воспоминания» М. Борна уже после его смерти опубликованы в СССР — однако при публикации опущены (и это никак не оговорено) рассуждения автора на общественные, моральные и философские темы — опущена целая глава, но русский читатель никак не может это выяснить. «Воспоминания» Борна написаны после его возвращения в ФРГ, где он прожил последние годы жизни: он пишет, что не мог не вернуться к липам Рейна (его упрекали за этот шаг).

Из других зарубежных отзывов мне памятно письмо Джорджа Пира (лауреат Нобелевской премии мира). Очень интересно письмо Поремского. Там содержалась широкая подборка отзывов прессы на мою статью, в том числе статья автора письма. Особняком стояло письмо, полученное из ЮАР. Автор, после ряда комплиментов в мой адрес, переходит к критике большевизма с позиций великорусского шовинизма. Он приводит антирусские цитаты из Ленина, однако, как мне кажется, не точные (ссылок он не дает). В первые месяцы после появления статьи все эти письма свободно приходили по почте. Впрочем, вероятно, это была лишь малая доля адресованной мне корреспонденции.

21 августа я вышел купить газету. На первой странице сообщение, что по просьбе, полученной от ряда деятелей Коммунистической партии и правительства ЧССР (не названных ни тогда, ни после — это была явная фальшивка), войска стран Варшавского пакта вступили на территорию Чехословакии, исполняя свой интернациональный долг. Началось вторжение. Эти трагические события всем хорошо известны. Это не только было крушение надежд, связанных с Пражской весной, но в еще большей степени — саморазоблачение всей системы «реального социализма» — его косности, неспособности вынести любые попытки изменений в сторону плюрализма и демократизации, даже рядом. По-видимому, наиболее опасными и «заразными» для этой системы представились два наиболее естественных с точки зрения нормального здравого смысла шага — отмена цензуры и выборы на партийный съезд без спущенных сверху списков.

Последствия вторжения для всей «мировой системы социализма», для распада убежденности в преимуществах осуществленного в СССР строя и возможностей его исправления у миллионов его прежних сторонников в СССР и во всем мире — огромны.

По случайному совпадению в день вторжения начался суд над Толей Марченко. Толя и его будущая жена Лариса Богораз (ранее — жена Юлия Даниэля) — удивительные люди, с которыми меня столкнула судьба. Лично я с ними встретился позднее, после освобождения Ларисы Богораз из ссылки, а Толи — из заключения. Марченко, еще совсем молодым рабочим, попал первый раз в тюрьму по обвинению в участии в драке (он совсем не был виноват, но суды у нас часто решают такие дела без особой скрупулезности, а тут еще была замешана местная национальная политика). Марченко бежал, пытался перейти иранскую границу и попал на второй срок уже в политический лагерь в Мордовии, где встретился с Юлием Даниэлем. В значительной мере именно влияние этого человека изменило всю жизнь Марченко, направило ее по новому пути — напряженных внутренних поисков, сомнений, нонконформизма, общественной активности — и в то же время противоборства, жертв, страданий. Отличительная черта Толи — абсолютная внутренняя честность, которая с обывательской точки зрения может даже выглядеть упрямством — но это не упрямство, а принципиальность. По выходе из заключения Марченко, имевший уже большой опыт лагерной и тюремной жизни, написал книгу «Мои показания», в которой он с удивительной конкретностью и точностью рассказал о той по-новому варварской системе, которая пришла на смену сталинскому ГУЛагу. Книга Марченко — один из истоков нашего правозащитного движения. «Мои показания» получили распространение в самиздате, издавались и переиздавались за рубежом. Эта книга, как и вся независимая позиция Марченко, причина ненависти к нему КГБ. Суд 1968 года происходил по незначительному, но типичному поводу — якобы Марченко, приехав к Ларисе Богораз в Москву, пробыл у нее более трех суток, не имея прописки в Москве, и тем самым нарушил паспортный режим. Для кого-то нарушения такого рода могли сойти с рук, но не для ненавидимого КГБ Марченко. Приговор — один год заключения, но для КГБ этого было слишком мало. В лагере против Марченко возбудили новое дело — якобы в бане на вопрос, почему он такой худой, Марченко ответил: коммунисты у меня всю кровь выпили. Лагерный суд приговорил его еще к двум годам заключения. О дальнейшей удивительной и трагической судьбе Анатолия Марченко я рассказываю в последующих главах.

Тогда, утром 21 августа 1968 г., всех «своих», подходивших к зданию суда, встречал Павел Литвинов (внук известного участника революции и наркома иностранных дел в 30-х годах М. М. Литвинова, замененного на этом посту Молотовым, когда восторжествовал курс на сближение с гитлеровской Германией). Он говорил каждому подходившему:

— Наши танки в Праге!

Через четыре дня, в воскресенье, 25 августа Павел Литвинов, Лариса Богораз и еще пятеро (Вадим Делоне, Виктор Файнберг, Константин Бабицкий, Владимир Дремлюга и Наташа Горбаневская) провели знаменитую, ставшую исторической, демонстрацию на Красной площади против советского вторжения в Чехословакию. По всей стране проходили митинги «в поддержку» этой акции. Большой смелостью было уже не прийти на такой митинг, многие за это поплатились. Никакой голос против не проникал во внешний мир. В эти дни выступление П. Литвинова, Л. Богораз и их товарищей было действительно чудом, тем поступком, который восстанавливает честь целой страны. Они простояли на Лобном месте только минуту. Потом на них набросились гебисты-дружинники, стали бить, вырывать и рвать плакат «Руки прочь от Чехословакии!». Всех семерых аресто-

вали. Но дело было сделано. Машины, в которых везли Дубчека, Смрковского и других насильно привезенных в Москву чешских руководителей, промчались по площади через минуту после расправы.

Я не знал о готовящейся демонстрации. Кто-то из демонстрантов пришел ко мне накануне, но не застал (была только Клава). Он ничего не сказал ей о причине и цели своего посещения. Отсутствовал же я, возможно, не совсем случайно. За полчаса до прихода посетителя ко мне прибежал Живлюк. Он сказал: «Андрей Дмитриевич, едемте сейчас вместе со мной к Вучетичу. Он вас ждет. Это очень важно сейчас. Вучетич вхож к «самому», возможно, и эта встреча — не его инициатива. Эта встреча может спасти многих и многое».

Я подумал, что в любом случае ничего не теряю, и поехал. Я был далек от среды и взаимоотношений в мире искусства и плохо представлял себе, что такое Вучетич. (Он, несомненно, был талантливым скульптором, занимавшим крайне правые, почти погромные позиции в общественном плане.) По дороге Живлюк сказал мне:

— Вы увидите Шахмагонова, рукопись которого я вам приносил.

Действительно, однажды Живлюк принес мне напечатанный на машинке рассказ, который он охарактеризовал, как превосходящий по смелости и глубине Солженицына. Оценка показалась мне сильно преувеличенной. Рассказ был «новогодний» — об одиноком отставном старом гебисте, к которому в новогоднюю ночь неожиданно являются гости на «Чайках» и «ЗИМах», ставят на стол шампанское (которое было ему не по карману) и вместе встречают Новый год. Среди гостей — Главный конструктор космических кораблей (читай — Королев). После их отъезда гебист вспоминает давнюю новогоднюю ночь, когда он сделал «поблажку» своим подопечным (он был, кажется, начальником следственной или обычной тюрьмы). В общем, тема — воздаяние за добро в применении к ГБ (против чего, в принципе, у меня нет возражений).

Вучетич действительно ждал нас. Это был человек среднего роста, с громким голосом и соответствующими манерами, но с заметными следами недавнего инсульта. Вскоре подъехал Шахмагонов. Они с Вучетичем обнялись и троекратно, по русскому обычаю, поцеловались. Вучетич повел меня по своей мастерской, показывая вещи «на заказ» и «для души». Среди вещей «на заказ» — огромная фигура Матери-Родины для Сталинградского мемориала.

— Меня спрашивает начальство, зачем у нее открыт рот, ведь это некрасиво. Отвечаю: А она кричит — за Родину... вашу мать! — заткнулись.

Проект мемориала Курской дуги. На меня произвела впечатление голова молодого танкиста (мрамор, более метра). Он только что убит. Скульптор сумел передать в мягких линиях склоненного лица прелесть чистой молодости, почти юности, и одновременно — ужас войны и смерти, охватывающей тело. Для души — Ленин в последние годы жизни, в тяжелых, непереносимых раздумьях.

С Вучетичем я больше не встречался. Я слышал, что он лепил мой скульптурный портрет по памяти и по фотографиям.

Как мне рассказали, Шахмагонов был секретарем Шолохова и составил для него погромную речь на XXIII съезде; говорят, что он генерал КГБ. В 1969 году он пришел ко мне с предложением написать статью, близкую по темам и идеям к «Размышлениям», для издательства «Советская Россия». Статья должна быть проходимой, т. е. приемлемой для советской цензуры. Я думаю, это была ловушка с целью моего «приручения». Я поехал в редакцию и оставил там тезисы статьи. Через несколько дней Шахмагонов позвонил, что, очевидно, ничего не выйдет — даже название статьи, где было слово «демократизация», показалось «вызывающим». Кому? Я думаю, что руководству КГБ.

О демонстрации на Красной площади мне рассказал на следующий день Солженицын. Это была моя первая встреча с ним. Уже давно сотрудница научной библиотеки ФИАНа Тамара Хачатурова, вдова погибшего в сталинских лагерях инженера и знакомая первой жены Солженицына Решетовской, передавала мне предложения Солженицына о встрече. Но эта встреча все время откладывалась и наконец произошла 26 августа, в первую «чехословацкую» неделю на квартире одного из моих знакомых. Солженицын пишет в своей книге «Бодался теленок с дубом», что я произвел

на него сильное впечатление при этой первой встрече. Я могу сказать то же самое. С живыми голубыми глазами и рыжеватой бородой, темпераментной речью (почти скороговоркой) необычно высокого тембра голоса, контрастировавшей с рассчитанными, точными движениями, — он казался живым комком сконцентрированной и целеустремленной энергии.

В начале встречи, раньше даже, чем я вошел в комнату, Солженицын тщательно занавесил окно, выходившее во двор. А. И. пишет, что, кажется, эта встреча прошла незамеченной органами. Мне же кажется, тут он ошибается (вероятно, гораздо чаще в подобных вопросах ошибаюсь я; я, так же как и Люся, полностью игнорирую надзор, слежку, обычно не замечаю ее — нам нечего скрывать, мы не занимаемся тайной деятельностью и не хотим тратить душевные силы, чтобы думать об армии этих высокооплачиваемых «наблюдателей»). Во всяком случае, водитель «такси», которое я взял тут же у дома, вел со мной не совсем обычные разговоры — какие сволочи эти интеллигенты и еще что-то в этом роде, провоцирующее.

Я к тому времени прочитал очень многое из написанного Солженицыным, относился к нему с огромным уважением и продолжаю так же относиться к нему и сейчас, даже в еще большей степени после эпохального «Архипелага ГУЛаг» (хотя реальная жизнь сложна и отношения наши не просты; да они и не могли быть простыми у двух столь непохожих людей, при выявившихся различиях позиций в некоторых важных вопросах).

Я, в основном, внимательно слушал, а он говорил — как всегда, страстно и без каких бы то ни было колебаний в оценках и выводах. Он начал с комплиментов моему шагу, его историческому значению — прервать заговор молчания людей, стоящих близко к вершине пирамиды. Дальше он остро сформулировал — в чем он со мной не согласен. Ни о какой конвергенции говорить нельзя (тут он почти слово в слово повторил Славского). Запад не заинтересован в нашей демократизации, а сам запутался со своим чисто материальным прогрессом и вседозволенностью, но социализм может его окончательно погубить. Наши же вожди — бездушные автоматы, которые вцепились зубами в свою власть и блага, и без кулака они зубов не разожмут. Я преуменьшаю преступления Сталина и напрасно отделяю от него Ленина — это единый процесс уничтожения и развращения, он начался с первых дней и продолжается до сих пор; изменения масштабов и форм — это не принципиально. Погибло от террора, голода, болезней (как их следствие) 60 миллионов — это по данным проф. Каганова. Названная мною цифра (более 10 млн.) погибших в лагерях — преуменьшена. Неправильно мечтать о многопартийной системе — нужна беспартийная система, всякая партия — это насилие над убеждениями ее членов ради интересов ее заправил. Неправильно мечтать о научно регулируемом прогрессе. Ученые, инженеры — это огромная сила, но в основе должна быть духовная цель, без нее любая научная регулировка — самообман, путь к тому, чтобы задохнуться в дыме и гари городов.

Я излагаю эти тезисы по памяти, спустя тринадцать лет, не имея их записей. Вероятно, более близка формально к тогдашним словам А. И. упомянутая статья в «Из-под глыб». Но общий дух позиции Солженицына, как он представляется мне теперь, с добавлением последующих наслоений, кажется переданным правильно.

Я сказал, что в его замечаниях, конечно, много истинного. Но моя статья отражает мои убеждения. Она конструктивна, как мне кажется, — отсюда и некоторые упрощения. Главное, как мне кажется, — указать на опасности и указать возможный путь их устранения. Я при этом рассчитываю на добрую волю людей. Я не жду ответа на мою статью сейчас — но я думаю, что она будет влиять на умы. Если я что-то не так написал, я надеюсь это еще исправить в будущем. Но я должен о многом прежде подумать.

Солженицын рассказал о демонстрации накануне, и мы оба выразили беспокойство о судьбе арестованных. Через несколько дней я позвонил по этому вопросу Андропову. Когда-то Курчатов распорядился пускать меня в Институт атомной энергии в любое время, без пропусков и формальностей, и его секретарши выполняли это до поры до времени (пока не сменились). Я пошел в кабинет А. П. Александрова, директора института, и позвонил по ВЧ. Я сказал Андропову, что «очень обеспокоен судьбой арестованных после демонстрации на Красной площади 25 августа. Они де-

монстрировали с лозунгами о Чехословакии — этот вопрос привлекает большое внимание во всем мире, в том числе в западных компартиях, и приговор демонстрантам обострит ситуацию».

Андропов сказал, что он крайне занят в связи с событиями в ЧССР, он почти не спал последнюю неделю, вопросом о демонстрации занимается не КГБ, а Прокуратура (он имел в виду, видимо, статью об уличных беспорядках, формально отнесенную к Прокуратуре). Но он думает, что приговор не будет суровым (трое из демонстрантов были приговорены к ссылке, двое к лагерю на 2 года, Файнберг направлен в спецпсихбольницу *).

Это был мой второй и последний разговор с Андроповым.

Болезнь и смерть Клавы. Меморандум Сахарова, Турчина, Медведева. Семинар у Турчина. Григорий Померанц

В 1968 году состояние здоровья Клавы резко ухудшилось. Ее постоянно мучили сильные боли в области желудка, она заметно похудела. Еще в 1964—1965 годах у нее открывались сильные желудочные кровотечения, дважды она теряла сознание. Первый раз (в сентябре 1964 г.) меня при этом не было, Клава рассказала мне об этом по телефону. Вторая потеря сознания произошла через несколько дней, к тому времени я приехал с объекта и в момент обморока находился рядом. Я успел подхватить ее, предохранив от ушибов при падении, тут же сбегал в соседнюю поликлинику, подошедшая сестра сделала ей уколы от спазмов сосудов; вероятно, это было ни к чему. Клаву положили в кремлевскую больницу, к которой я был прикреплен с 50-х годов (это была очень привилегированная больница, с великолепным оборудованием, лучшими лекарствами, но квалификация многих врачей и особенно система их отношения к пациенту не всегда были на высоте; ходила поговорка: «Полы паркетные, врачи анкетные»). В больнице у Клавы диагностировали желудочное кровотечение, но не предложили операции, так же, как через семь месяцев в клинике Петровского в апреле 1965 года, куда ее положили после нового, тоже очень сильного кровотечения. Почему ее не оперировали, я не знаю; может быть, это могло бы спасти ее от гибели через четыре года.

В сентябре 1968 года нашего сына Митю направили вторично на 2 месяца в детский санаторий Совета Министров в Железноводске для лечения последствий перенесенной им инфекционной желтухи и лямблиоза. В санатории дети продолжали учиться, там были свои преподаватели и воспитатели. Задним числом мы поняли, что в этом санатории была очень нездоровая атмосфера детского снобизма, щеголяния положением родителей и жестокого преследования детей из нечиновных семей.

В сентябре я впервые после многолетнего перерыва поехал на международную конференцию (до этого я воздерживался от таких поездок — у меня всегда не было свободного времени, и я опасался, что при моих дилетантских знаниях я многого не пойму — зря, конечно; после того, как я был лишен допуска к секретной работе, свободное время появилось). Это была очередная Гравитационная конференция — по принципиальным проблемам теории гравитации, ее применения в космологии и связям с теорией элементарных частиц. Очень интересным было для меня и место проведения конференции — столица Грузии Тбилиси. Я там раньше никогда не бывал, и на меня произвел большое впечатление этот прекрасный город (через четыре года я вновь поехал туда с Люсей). Я очень много получил

* В. Дремлюга был приговорен к 3 годам лишения свободы; В. Делоне — к 2 годам 6 месяцам, еще 4 месяца были добавлены ему за предыдущий неотбытый условный срок. **(Прим. ред.)**

от докладов на конференции, еще важней были личные контакты со многими учеными из СССР и зарубежных стран. До тех пор весь круг моих научных общений был — Я. Б. Зельдович и еще несколько человек. Уже по дороге, при вынужденной остановке в Минводах, я имел много интересных бесед. Среди моих спутников был молодой тогда теоретик Борис Альтшулер, незадолго перед этим я был оппонентом его диссертации (это был сын Л. В. Альтшулера, моего сослуживца по объекту). На одном из заседаний конференции я сделал доклад о нулевом лагранжиане гравитационного поля. К сожалению, я не доложил работу о барионной асимметрии. Кажется, тема доклада была выбрана по совету Я. Зельдовича, состоявшего в организационном комитете конференции. Зельдович, как я уже писал, тогда отрицательно относился к работе о барионной асимметрии. Вероятно, я должен был проявить больше настойчивости, но мне и самому хотелось доложить свою последнюю работу, тем более имевшую прямое отношение к теме конференции.

Среди зарубежных участников был профессор Уилер (известный своими работами по гравитации, а также — на заре его научной деятельности — совместной работой с Н. Бором о физике процессов ядерного деления). Яков Борисович познакомил меня с ним. Пару часов мы имели с ним очень интересную, запомнившуюся мне беседу в ресторане «Сакартвело». Говорили и о науке, и об общественных проблемах (впрочем, что́ говорили о них конкретно, я сейчас не помню).

В октябре мы с Клавой получили путевки в санаторий Совета Министров в Железноводске. Мне дали в кремлевской больнице медицинскую карту очень неохотно, найдя у меня серьезные, согласно справке, сердечно-сосудистые заболевания, не дающие якобы возможности поехать на юг (хотя в Железноводске в октябре совсем не жарко). Клаву же нашли практически здоровой (при этом и она, и я проходили обязательное рентгенологическое обследование желудка и кишечника — у Клавы в это время была уже поздняя стадия рака желудка). Наше пребывание в санатории совпало с концом пребывания нашего сына в детском санатории. Мы иногда видели его во время прогулок. В одну из первых встреч он отвел нас в сторону и взволнованным шепотом попросил отныне называть его не Митя, а Дима. Я так и не знаю, под чьим влиянием и почему он принял это решение, огорчившее меня (оно разрывало какую-то связь с сахаровской семьей, моего отца Дмитрия в семье родителей звали Митя; но моя мама стала звать своего мужа Дима).

Путевки в санаторий Совета Министров я легко получил, вероятно, потому, что в Хозяйственное управление Совета Министров, где я до этого уже несколько раз получал путевки по общему списку номенклатурных работников, присланному из Министерства среднего машиностроения, не было сообщено об изменении моего статуса. Еще в 1969 году, уже после смерти Клавы, я еще раз получил там путевки. Но в 1970 году, после выступления по делу Жореса Медведева, положение изменилось; от кремлевской больницы, поликлиники и аптеки я также был откреплен.

Октябрь 1968 года в Железноводске был последним спокойным месяцем нашей жизни с Клавой. Она как-то отошла, чувствовала себя лучше, чем летом в Москве. Мы много гуляли, как когда-то в молодости. В эти дни узнали о том, что наша старшая дочь Таня родила нам внучку Марину. Конечно, мы страшно волновались, а потом, когда все разрешилось, — радовались.

Мое пребывание в санатории Совета Министров, среди высокопоставленных чиновников, в это время было уже парадоксом. При моем приближении разговоры часто прекращались. В автобусе санатория, стоя спиной к говорящим, я как-то услышал разговор о недопустимости проявить «слабость» по отношению к крымским татарам, «рвущимся в Крым».

— Крым — территория государственного и международного значения.

Разговаривая в своем кругу, чиновники откровенно указывали на истинную причину совершающегося беззакония. Я не выдержал и повернулся к говорящим с восклицанием:

— Но ведь это их родина!

Тут собеседники молча отвернулись от меня и молчали до конца поездки. Другой любопытный разговор двух сотрудников ЦК КПСС слыша-

ла Клава. Речь шла о только что выпущенном на экран советском фильме «6 июля» (о восстании левых эсеров в 1918 году):

— Такой фильм нельзя выпускать на экраны. Ленин в нем показан в минуту сомнений, почти слабости. Это недопустимо.

В разговоре, по-моему, интересна чувствительность работников идеологического аппарата КПСС к малейшим проявлениям «человеческого лица» (исторически истинным или придуманным, это все равно) в канонизированном образе «создателя советского государства». Не случайно в этот же год по «человеческому лицу» в Чехословакии прошлись гусеницами танки.

В последние дни в Железноводске Клаве опять стало хуже, у нее начались закупорки мелких сосудов рук. Это уже было началом конца, но, к счастью, мы об этом не знали. В конце декабря Клаву прямо с амбулаторного приема у терапевта в кремлевской поликлинике направили в больницу. В конце января следующего года мне сказали, что у нее неоперабельный рак. Я решил взять ее домой, чтобы она провела хотя бы несколько недель в домашней обстановке. Какие-то светлые минуты Клава имела, особенно от общения с дочерьми и сыном, который как младший стал особенно внутренне важен для нее в эти дни.

Во второй половине февраля боли стали непереносимыми, и инъекции уже больше не снимали их. В один из последних дней дома Клава смотрела по телевизору соревнования по фигурному катанию (ей они всегда были интересны). На экране — радостно-возбужденное лицо венгерской спортсменки Жужи Алмаши сразу после победы в трудном состязании, полное молодости и здоровья. Клава внимательно, с каким-то особенным выражением прощания с жизнью смотрела на нее, потом сделала знак выключить телевизор. Больше при ее жизни мы его уже не включали. Последнюю неделю Клава провела в больнице.

В эти дни, в состоянии отчаяния и горя перед лицом неотвратимой гибели Клавы, я «схватился за соломинку» — кто-то мне сказал, что некая женщина в Калуге разработала чудодейственную вакцину против рака, эту вакцину проверяли в лаборатории проф. Эмануэля, он очень заинтересован. И я решился поехать в Калугу. Изобретатель вакцины была фанатически убежденная в своей правоте женщина, врач по образованию, уже несколько лет (выйдя на пенсию) она в домашних условиях готовила свой препарат. Она дала мне коробку с ампулами, категорически отказавшись взять деньги.

— Мое лекарство бесплатно. Если оно поможет, вы поступите так, как вам велит ваша совесть,— поможете мне деньгами. Мне надо очень много денег для приобретения оборудования и чтобы платить моим замечательным помощницам, они ведь тоже должны жить. Вы можете помочь мне и вашим влиянием, в Академии наук, в Министерстве здравоохранения. Этот негодяй Блохин пытается добиться решения министерства, запрещающего мои опыты.

Я привез ампулы в Москву за день до смерти Клавы, ей сделали один укол. После ее смерти остаток лекарства я вернул доктору из Калуги, как она просила.

Накануне смерти Клава еще успела раздать подарки больничным сестрам и нянечкам к Женскому дню 8 марта. Утром 8 марта я с детьми приехал навестить ее; нам сказали, что за несколько часов до этого она потеряла сознание. Но минутами Клава как бы приходила в себя, что-то говорила. Последние слова, которые я мог разобрать: «Закройте окно. Дима простудится».

К вечеру 8 марта Клава умерла. Она похоронена (после кремации, что очень расстроило Алексея Ивановича, приехавшего на похороны) в Москве, на Востряковском кладбище, недалеко от того поселка (теперь вошедшего в черту города), где в 1945—1946 годах мы жили с ней и Таней. Я, к сожалению, из-за прошлых ссор не послал сообщения о смерти Клавы ее матери Матрене Андреевне и сестре Зине, и их не было на похоронах. Теперь мне стыдно за этот поступок.

Несколько месяцев после смерти Клавы я жил как во сне, ничего не делая ни в науке, ни в общественных делах (а в домашних тоже все делал механически). В мае 1969 года меня вызвал к себе Славский. Он спросил меня, не буду ли я возражать, если меня переведут на постоянную работу в ФИАН (где в 1945—1948 годах начиналась моя научная работа). Я сказал, что буду очень рад. Директор ФИАНа академик Д. В. Скобельцын был несколько обеспокоен, хотя, насколько я знаю, не возражал. Вскоре в ФИАН пришли из министерства мои документы — личное дело и трудовая книжка и что-то еще, какое-то письмо. Я стал старшим научным сотрудником теоретического отдела, начальником отдела тогда формально был И. Е. Тамм, но фактически он тяжело болел и уже не мог приезжать в ФИАН. После смерти Игоря Евгеньевича теоротдел стал официально называться «имени И. Е. Тамма». Мне была назначена зарплата 350 рублей, в дополнение к зарплате академика (400 рублей). При этом от меня явно не ждали никакой научной продукции — важно было прилично избавиться от меня на объекте. (Я, конечно, пытаюсь делать научные работы, продуктивность моя меня не очень удовлетворяет, но большинство ученых-академиков, находящихся в гораздо более спокойных и нормальных условиях, чем я, тоже с годами уменьшают свой научной выход. Что делать...)

В августе мне разрешили поехать на несколько дней на объект, забрать вещи и сдать коттедж (точней, половину, в которой мы жили с начала 1951 года). В этот приезд я совершил поступок, который считаю неправильным. За 19 лет работы на объекте, не общаясь почти ни с кем, даже с родственниками, и почти никуда не выезжая, мы тратили много меньше денег, чем я получал. Большая часть этих накопленных денег (в них вошла и Государственная премия) находилась на объекте на сберкнижке. Я решил пожертвовать эти деньги на строительство онкологической больницы, в фонд детских учреждений объекта и в Международный Красный Крест на помощь жертвам стихийных бедствий и голодающим. Фактически, как мне сообщили, мое пожертвование было переведено на строительство онкологической больницы и в фонд Красного Креста, общая сумма 139 тыс. рублей в равных долях. Детским учреждениям объекта почему-то перевод не был сделан. Председатель Общества Красного Креста академик Митерев позвонил мне с выражением благодарности и заверил меня, что деньги будут использованы в точном соответствии с моей волей «на благородные цели» (его слова). Он сообщил, что на заседании правления Общества будет принято решение об избрании меня почетным членом Правления (подтверждений этому я не имею, но я получил официальное письмо с выражением благодарности). От онкологов я не имел никаких откликов. Мое внешне такое «широкое» и «благородное» действие представляется мне неправильным. Я потерял контроль над расходованием большей части своих денег, передав их «безликому» государству. Через несколько месяцев (еще в 1969 году) я узнал о существовании общественной помощи семьям политзаключенных и стал регулярно давать деньги, но мои возможности были при этом более ограниченными. Я потерял возможность оказать денежную помощь некоторым своим родственникам, которым она была бы очень кстати, и вообще кому-либо, кроме брата и детей. В этом была какая-то леность чувства. И наконец, я потерял очень многое в позициях своего противоборства с государством, которое мне предстояло. Но, что касается этого последнего, в 1969 году я умом мог уже ощущать это противоборство, но по мироощущению я все еще был в этом государстве — не во всем с ним согласный, резко осуждающий что-то в прошлом и настоящем и дающий советы относительно будущего — но изнутри и с сознанием того, что государство это мое, ведь я уже дал ему нечто неизмеримо большее, чем деньги (ничтожные по государственным масштабам).

В конце октября 1969 года ко мне пришел один физик (М. Герценштейн). Он принес работу, в которой пытался доказать невозможность черных дыр. Я не согласился с его аргументами. Но эта дискуссия вернула меня к научным вопросам. Я написал работу под названием «Многолистная Вселенная» (в другом смысле слова, чем в работах 1979—1982 гг.) и опубликовал в препринтах Отделения прикладной математики, посвятив памяти Клавы. Я возвращался к жизни.

В первые недели 1970 года Живлюк пришел ко мне с ладным молодым человеком, которого он представил — это Валя Турчин. Я уже знал эту фамилию — по сборнику «Физики шутят» и по первому варианту самиздатской статьи «Инерция страха». Турчин начал свою работу как

физик, защитил диссертацию, затем увлекся кибернетической проблемой алгоритмических языков (может, я не точно называю тему, я плохо знаю эти вещи). Его уже начали «притеснять», но пока еще не очень сильно. У Турчина была идея — написать обращение к руководителям страны, в котором отразить одну, но ключевую, по его мнению, мысль — необходимость демократизации и интеллектуальной свободы для успеха научно-технического прогресса нашей страны. Он говорил, что проблема демократизации, конечно, шире, но именно такой «прагматический» подход больше всего может увенчаться успехом и послужить началом более широкого разговора с властью. Турчин предлагал написать это обращение совместно с ним мне и Живлюку, а подписать его должны были, по его первоначальной мысли, я и другие пользующиеся влиянием люди либеральных взглядов — академики, писатели, кинорежиссеры и т. п. Идея мне понравилась, и вскоре Турчин, Живлюк и я представили свои проекты. Решено было сделать гибрид из проекта Турчина (взяв его за основу) и моего, сделать это вызвался я. Развивая мысль Турчина, я при этом написал довольно неудачное, как я теперь думаю, введение. Остальные части статьи я потом несколько раз переделывал, но начало осталось без изменений. Трудней всего, однако, оказалось найти влиятельных и либеральных, а главное, достаточно смелых людей для подписи. Я первым пошел ко Льву Андреевичу Арцимовичу, который незадолго до этого, встретившись со мной на площади Курчатова, сказал, как высоко он и все, с кем он говорил в научном мире в СССР и за рубежом (он только что вернулся из поездки в США), ценят мои «Размышления», в особенности за их конструктивный характер. Арцимович прочитал «Обращение», сказал, что оно кажется ему полезным, но подписать он его не может:

— Я буду говорить с вами откровенно. Я только что женился, мне нужно содержать две семьи, нужно много денег; и лишиться хотя бы части дохода было бы очень плохо. К Михаилу Александровичу (Леонтовичу) не ходите — он никогда не будет подписывать концептуальный документ, не им составленный. Сходите к Петру Леонидовичу (Капице).

Капица был главной фигурой в намеченном мною и Турчиным списке! Скоро я уже сидел в мягком кресле на втором этаже его дома-дворца, стоявшего в саду Института физических проблем. Академику Капице тогда было 76 лет. До самой смерти он сохранил ясность и оригинальность мыслей и их выражения. Говорить с ним было чистое удовольствие, хотя у него проскальзывали нотки поучения и снисхождения к моей неопытности и наивности. Но я к таким вещам нечувствителен.

В начале разговора Петр Леонидович сказал, что он был изумлен и обрадован, прочитав мои «Размышления». По его словам, его поразило, что я, человек совсем другого поколения и жизненного опыта, о многом думаю и многое понимаю так же, как он. Я был у Капицы несколько раз, по его советам переделывал некоторые места в «Обращении» — портил его ради компромисса. В конце концов, он подписать отказался, сказав, что напишет от себя, посоветовавшись с Трапезниковым, — он считал, что, когда пишешь подобный документ, надо лучше понимать адресата, его психологию и систему ценностей. Насколько мне известно, Капица ничего не написал.

Во время этих встреч Капица рассказал кое-что о своей жизни. Хотя многое я уже знал раньше, это было интересно. Капица уехал на Запад после того, как от испанки умерла его первая жена и двое детей. Его послали как бы на стажировку — тогда, в начале 20-х годов, многих обещающих ученых направляли за границу таким образом. Он стал работать у Резерфорда (после смерти которого написал замечательные воспоминания о нем); потом уже самостоятельно начал работать над сверхсильными (по тому времени, до магнитной кумуляции) магнитными полями и занялся физикой низких температур, получил мировую известность, женился и вроде не собирался возвращаться в СССР. В начале 30-х годов по личному поручению Сталина с ним начались переговоры о возвращении в Советский Союз. Среди «соблазнителей» был некто Фишер (это его подлинное имя) — тайный советский агент, через много лет при аресте в нью-йоркской гостинице, когда к нему ворвутся агенты ФБР с криком: «Мы знаем о вашей шпионской деятельности, полковник», — на-

звавший себя Абель (вымышленное имя; все эти сведения из интересной книги К. Хенкина «Охотник вверх ногами»). Капица сумел выторговать себе неслыханные условия — как для будущего Института, его статуса (у него не было даже отдела кадров), архитектуры, производственной базы и бытовых условий для сотрудников, так и для себя лично. Он вернулся, в 1939 году стал академиком, и в эти же годы сделал главное открытие своей жизни — сверхтекучесть гелия и главное изобретение — турбодетандер для производства жидкого кислорода. (Теперь вся кислородная промышленность во всем мире, имеющая такое значение для металлургии и множества других производств, пользуется турбодетандерами.) К этому же времени относится гражданский подвиг Капицы — защита арестованных по обвинению в контрреволюционной деятельности Л. Д. Ландау и В. А. Фока. В то время такой шаг был смертельно опасен. Но кроме смелости, для успеха еще нужно было сочетание интеллектуальных и психологических качеств и исключительное положение Капицы. Он рассказал мне историю своих действий и показал свои письма к Сталину того времени — в меру дипломатичные, в меру правдивые, в меру хитроумные. По делу Ландау Капица беседовал с всесильным Меркуловым (расстрелянным в 1953 году по делу Берии). Тот положил перед ним следственное дело со «страшными обвинениями».

— Я гарантирую, что Ландау не будет больше заниматься контрреволюционной деятельностью, — сказал Капица.

— А он очень крупный ученый?

— Да, мирового масштаба.

(Тут я вспоминаю резолюцию Гиммлера на доносе на Гейзенберга, что тот — белый еврей. Гиммлер написал: «Гейзенберг слишком крупный ученый, чтобы его уничтожить или убить».)

Ландау, как до этого Фок, был освобожден. В камеру к Фоку пришел сам Ежов. Фок, этот «страшный заговорщик» — согласно обвинению — сказал:

— Я Фок, академик. С кем я имею сейчас дело?

Ежов, который, вероятно, считал, что все должны узнавать его по портретам и падать в обморок при виде его зеленых глаз, оторопел.

В 1946 году Капица отказался принимать участие в разработке атомного оружия, был отстранен от руководства институтом (вместо него назначили А. П. Александрова) и жил несколько лет под угрозой дальнейших неприятностей. Капица выдвигал тогда на первый план не идейные соображения, а несогласие по организационным проблемам и нежелание подчиняться людям, которых он считал ниже себя в научном отношении. Поэтому он отвечал не за антипатриотизм или саботаж, а за недисциплинированность или, как говорили в аппарате Берии, за хулиганство. Я думаю, однако, что тут была не только уловка, а действительное сочетание разнородных причин, в какой комбинации — трудно сказать.

Во время наших встреч Капица показал мне рукопись книги известных путешественников Ганзелки и Зикмунда о путешествии по СССР, присланную ему авторами. Их богато иллюстрированные фотографиями книги о путешествиях в Африку, Южную Америку и другие страны много издавались в СССР, но тут «вышла осечка». Хотя книга написана с большой симпатией к нашей стране, но в силу многих откровенных замечаний и наблюдений таких сторон жизни, которые обычно не попадают в поле зрения туристов, а нам — примелькались, она оказалась неприемлемой для цензуры. Ганзелка и Зикмунд пишут о непостижимом расточительстве, в особенности по отношению к природным ресурсам, к продуктам людского труда, о том, как под колесами тяжелых грузовиков превращается в пыль антрацит, которого хватило бы на всю Чехословакию; об армиях партийных чиновников, их некомпетентности. Поездка Ганзелки и Зикмунда пришлась на момент отставки Хрущева; с сарказмом пишут они, как «чиновники выстраивались в очередь для присяги новому руководству». В какой-то форме фактически Ганзелка и Зикмунд пишут о закрытости страны, об ее информационной глухоте и немоте. Из их книги я заимствовал сравнение нашей страны с автомобилистом, одновременно нажимающим на газ и тормоз.

В 1970—1972 годах, когда я обращался к Капице с общественными просьбами, я не встречал никакой поддержки. Мотивы отказа были

с моей точки зрения неудовлетворительными, демагогическими. Распространенное мнение о роли Капицы в деле Ж. Медведева (о котором идет речь ниже) и в некоторых других аналогичных делах — вероятно, преувеличено.

Надо ли упрекать в этом человека, сделавшего до этого много хорошего?.. В отношениях с сотрудниками, во внутриакадемических и издательских делах позиция Капицы, говорят, не всегда была безупречной. М. А. Леонтович называл Капицу «Кентавр» — получеловек, полуживотное. Но он его любил. И, я думаю, это отношение было заслуженным.

Добавление. Март 1988 г.

В 1987—88 гг., после возвращения из Горького, мне стало известно, что П. Л. Капица по крайней мере дважды выступал в мою защиту с письмами на имя Председателя КГБ Ю. В. Андропова и Л. И. Брежнева. Первое из этих писем отправлено Андропову 11 ноября 1980 года и содержит просьбу об изменении положения моего и Ю. Ф. Орлова. Письмо на шести страницах, приведу некоторые отрывки.

«Меня, как и многих ученых, сильно волнует положение и судьба наших крупных ученых, физиков А. Д. Сахарова и Ю. Ф. Орлова. Создавшееся сейчас положение можно просто описать: Сахаров и Орлов своей научной деятельностью приносят большую пользу, а их деятельность как инакомыслящих считается вредной. Сейчас они поставлены в такие условия, в которых они вовсе не могут заниматься никакой деятельностью». Далее П. Л. пишет об отношении Ленина к Павлову и Чернову, о своем споре с Тито о скульпторе Мештровиче и обсуждает общую проблему роли инакомыслящих в творчестве и общественной жизни. Он, в частности, пишет: «В истории человеческой культуры, со времен Сократа, нередко имели место случаи активно враждебного отношения к инакомыслию... таким образом, чтобы появилось желание творить, в основе должно лежать недовольство существующим... надо еще обладать талантом. Жизнь показывает, что больших талантов очень мало, и поэтому их надо ценить и оберегать... Чтобы выиграть скачки, нужны рысаки. Однако призовых рысаков мало, и они обычно норовисты. ...На обычной лошади ехать проще и спокойнее, но, конечно, скачек не выиграть». Кончает П. Л. Капица следующими словами: «Если увеличивать методы силовых приемов, то это ничего отрадного не сулит.

Не лучше ли попросту дать задний ход?»

Андропов ответил 19 ноября, то есть через восемь дней. У меня нет текста ответа Андропова, но я несколько минут держал его письмо в руках и постараюсь вспомнить содержание.

Андропов пишет, что его огорчило письмо Капицы. «Философская проблема инакомыслия не сводится к той трактовке, которую даете ей Вы... Например, террористы тоже являются инакомыслящими, но мы их не поддерживаем» (здесь и далее цитаты по памяти, так что кавычки не следует понимать буквально). «Что касается Сахарова, то он давно встал на путь подрывной деятельности и является автором более 200 документов, содержащих самую — не помню эпитета — клевету. Он выступил в защиту террористов, осуществивших взрыв в метро, т. е. по существу в защиту терроризма» (не слишком ли много пишет Председатель КГБ об этой скользкой теме, нет ли в этом какого-то психологического подтекста? Во всяком случае, у меня поддержки терроризма не было). «Орлов осужден судом за преступную деятельность... Сахаров много раз посещал посольство США. А Вам известно, как они гоняются за нашими секретами. Это также было учтено при решении вопроса о высылке Сахарова... Задний ход, о котором Вы пишете, невозможен».

4 декабря 1981 года, во время нашей с Люсей голодовки за выезд Лизы, Петр Леонидович послал письмо на имя Л. И. Брежнева. Вот его полный текст:

«Глубокоуважаемый Леонид Ильич!

Я уже очень старый человек, и жизнь научила меня, что великодушные поступки не забываются. Спасите Сахарова. Да, у него большие недостатки и трудный характер, но он великий ученый нашей страны. С уважением. П. Л. Капица».

Как известно, 8 декабря Лизе был разрешен выезд.

Письмо Капицы, быть может, тоже сыграло тут свою роль, наряду со многими другими усилиями в нашу поддержку.

Я ознакомился с приведенными письмами в мемориальном музее П. Л. Капицы. Там же я узнал о некоторых других, ранее неизвестных мне выступлениях П. Л. в защиту репрессированных в 30-е годы (кроме Ландау и Фока).

В ходе поисков тех, кто бы мог подписать наш документ, я вместе с Живлюком поехал к известному кинорежиссеру М. Ромму. В 30-е годы он поставил фильмы о Ленине (вполне в духе официальной трактовки, они демонстрируются иногда и до сих пор), а в 60-е годы — трагический документальный фильм «Обыкновенный фашизм». На полдороге между ними был еще фильм об ученых-атомщиках «Девять дней одного года». «Обыкновенный фашизм» быстро прошел по экранам и почти не возобновлялся (а в 1977 году нам с Люсей удалось посмотреть его в маленьком кинотеатре в Сочи — мне в первый раз). Темой фильма был гитлеровский фашизм и его преступления, убогость и ложь; но сила материала, сила искусства делала фильм обвинением и разоблачением фашизма вообще, и в том числе его советского варианта. Несомненно, Ромм фильма «Ленин в Октябре» и Ромм «Обыкновенного фашизма» — это два совершенно разных человека, которых разделяет целая жизнь. Именно с этой констатации начал он разговор со мной. Слова Ромма:

— Когда мы с Каплером делали фильмы о Ленине, мы были искренни. Но сейчас другое время, и мы все другие.

Он явно колебался и мучился, прежде чем отказаться подписать «Обращение». Но технический прогресс не был его заботой, а он в то время работал над большим документальным фильмом о людях его поколения, который он считал делом своей жизни, искуплением и объяснением. Я не знаю судьбы этого фильма. Может, он не был закончен до смерти Ромма. Может, до сих пор лежит в спецхране (или его фрагменты). Добавление 1988 г. Недавно отрывки из этого фильма демонстрировались по советскому телевидению.

К этому времени мы с Турчиным поняли невозможность привлечь кого-либо для подписи и решили выпустить документ под своими подписями. Я был (насколько помню) инициатором привлечения в качестве третьего Р. Медведева, мне казалось, что концепция его книги о демократизации (которую Рой тогда кончал) — близка к нашей. Турчин горячо меня поддержал. Так появился документ за тремя подписями. Но Рой Медведев не несет ответственности за якобы «соглашательский» дух документа, как думает Солженицын («Теленок...»). Это была концепция «наведения мостов» Турчина, которую я принял. (Медведеву принадлежит одна лишь редакционная правка. Он внес — не бесспорное — исправление в то сравнение с автомобилем, которое я заимствовал у Ганзелки и Зикмунда.) Подписав «Обращение», мы пожали друг другу руки, и я сказал полушутя — теперь мы крепко повязаны, в случае чего будем друг друга вытягивать. Через два с половиной месяца я показал верность этим словам в деле Жореса. Однако и личные, и идейные отношения с братьями Медведевыми вскоре стали неприязненными. Они мне определенно разонравились. Отношения с В. Турчиным были хорошими вплоть до его отъезда в эмиграцию в 1977 году, после чего всякая связь прекратилась.

В 1970 году на квартире Турчина проходил неофициальный семинар, который я иногда посещал. Идея была такая — сейчас, после гибели надежд Пражской весны, очень важно осмотреться, укрепить свой идейный, исторический и философский багаж, чтобы сохранить в каком-то, хотя бы узком кругу, искру неортодоксальной мысли. (Валя при этом вспоминал сборник «Вехи» и другие идеологические искания 900-х годов русской истории.) Встречи были очень непринужденными и теплыми, чему способствовало участие в них жены Турчина Тани. Она снабжала всех чаем и сладостями, после чего садилась в уголок и записывала тезисы выступлений, особенно старательно — своего мужа. Сейчас, вероятно, подобный семинар был бы невозможен (КГБ не допустил бы). (Написано в 1982 г. Сейчас опять, вроде, можно.) Наиболее интересными и глубо-

кими были доклады Григория Померанца — я впервые его тогда узнал и был глубоко потрясен его эрудицией, широтой взглядов и «академичностью» в лучшем смысле этого слова. Докладов Померанца было три или четыре. Я не помню их точных тем. Но они нашли отражение в последующих замечательных книгах — сборниках статей и эссе, — к которым я и отсылаю сейчас читателя. Основные концепции Померанца, как я их тогда понял (может, не полно), — исключительная ценность культуры, созданной взаимодействием усилий всех наций Востока и Запада на протяжении тысячелетий. Необходимость терпимости и компромисса и широты мысли. Нищета и убогость диктатуры и тоталитаризма, их историческая бесплодность. Убогость и бесплодность узкого национализма, почвенности. Эти мысли, выраженные Померанцем с большим блеском и тактом, иногда с горьковатым юмором, — очень мне близки. Мне кажется, что вклад Померанца в духовную жизнь нашего времени недостаточно пока оценен. И уж совсем несправедливы нападки на него, которые иногда приходится читать. Я не знаю обстоятельств личной жизни Померанца. Но весь его облик свидетельствует о полной самоотверженного и повседневного труда, стесненной в материальной сфере жизни независимого и честного интеллигента.

Тогда же состоялась моя вторая встреча с Солженицыным (по его инициативе), опять организованная Хачатуровой на даче Ростроповича, где в это время жил Солженицын. Я взял с собой Турчина, у которого были идеи привлечения Солженицына к какому-то совместному изданию. Солженицын был очень раздосадован приездом Турчина и холодно отказал ему. (А я рассуждал по себе — я был только благодарен Живлюку за то, что он так же неожиданно привел ко мне Турчина несколькими месяцами ранее.)

По желанию Александра Исаевича мы сначала говорили с ним вдвоем, потом — втроем с Турчиным. Солженицын высказал свою оценку «Меморандума» — гораздо более положительную и безоговорочную, чем «Размышлений», — мне тогда показалось, что должно быть наоборот. Я тогда не понимал, что обращение к своим вождям — каким формально выглядел «Меморандум», хотя на самом деле это частично было приемом, — для него все же приемлемей, чем призыв к сближению и конвергенции с «потерявшим себя» Западом. Была и другая — важнейшая — причина: он радовался, что я прочно встал на путь противостояния (я не помню его точного слова).

Я спросил его, можно ли что-либо сделать, чтобы помочь Григоренко и Марченко. Солженицын отрезал:

— Нет! Эти люди пошли на т а р а н, они избрали свою судьбу сами, спасти их невозможно. Любая попытка может только принести вред им и другим.

Меня охватило холодом от этой позиции, так противоречащей непосредственному чувству.

Весной 1970 года меня неожиданно вызвали в ЦК КПСС, к начальнику Отдела науки Сергею Павловичу Трапезникову — к тому самому, о котором я написал в «Размышлениях». Но когда я пришел, «Размышления» даже не упоминались, так же как недавние выборы в АН, на которых Трапезников не собрал нужного числа голосов. Речь шла исключительно о «Меморандуме» Сахарова, Турчина и Медведева. Трапезников был очень любезен, в начале разговора он вызвал свою секретаршу и сказал:

— Валя, принеси-ка нам чайку на двоих, надо угостить академика.

За чаем он сказал, что я во многом прав, когда говорю о важности разоблачения культа личности и развития демократических принципов. Но партия у ж е полностью разоблачила Сталина. Что же касается демократизации, то намечены далеко идущие меры в этом направлении. Но, прежде чем заниматься этим, мы должны решить ряд неотложных вопросов материального характера — ведь человек прежде всего должен дышать и питаться, а потом уже все остальное. В ближайшее время будут представлены на всенародное обсуждение важнейшие законы о землепользовании, об охране воздуха, об увеличении сельхозпродукции. Я пытался вставить, что все, что он говорит, конечно, важно, но это текущая работа среднего звена управления, а высшее руководство должно разрешить принципиальные вопросы, без решения которых работа среднего звена может оказаться на холостом ходу. Я также сказал, что ликвидация культа неполна, пока реабилитированные — ни один — не призваны к руководству, пока многое еще скрывается. Я пытался поставить вопрос о политических репрессиях, в частности, о Григоренко. По первой теме он сказал, что мы и так зашли дальше, чем следовало, исходя из интересов государства в целом — нельзя разжигать страсти и разрушать построенное. По второй теме, о репрессиях:

— Государство имеет право защищать себя!

— Даже нарушая собственные законы? (Я не уверен, спросил ли я это явно.)

Наш разговор не был таким последовательным, он все время перемежался личными отступлениями и воспоминаниями Трапезникова. Они довольно интересны. Трапезников вспомнил, как в начале 30-х годов он — тогда совсем молодой комсомолец — был мобилизован на борьбу с саранчой в Поволжье. Он ехал в машине, вместе с другими. Неожиданно, на большой скорости, дверца открылась — ни он, Трапезников, ни водитель не проверили, надежно ли она была закрыта. Водителем был тогда тоже молодой Леонид Брежнев. Трапезников выпал, получил тяжелую травму — разрыв спинных мышц (или связок, я не понял). Он несколько месяцев пролежал в больнице, потом вышел и был назначен секретарем райкома КПСС, кажется, в Горьковской области. Но болезнь вновь обострилась, он опять должен был лечь в больницу — на два года неописуемых, как он говорит, мучений. Это его спасло — два его преемника, так же как предшественник, были арестованы и, вероятно, погибли. Брежнев же не забыл молодого парня, в несчастье которого он, видимо, чувствовал себя отчасти виноватым или просто ему сочувствовал. В послевоенные годы при каждом перемещении Брежнева — а они все время шли по восходящей линии — он «тянул» за собой Трапезникова, тот же, конечно, платил ему абсолютной преданностью, так что расчет был обоюдным (обычная, вероятно, система в большинстве бюрократических структур, в советской, во всяком случае). В конце беседы Трапезников сказал:

— Я согласен, что нужно обсудить ваши предложения. Я позвоню Румянцеву, чтобы он организовал обсуждение в своем институте.

Я:

— Конечно, в этом обсуждении должны принять участие Турчин и Медведев.

Трапезников промолчал.

Академик Алексей Матвеевич Румянцев в то время был директором Института конкретных социологических исследований. Я дважды встретился с ним в Президиуме АН, в котором Румянцев тогда занимал какой-то пост. Я не знал, что в это время положение Румянцева становилось все более шатким; выдвинувшись десятилетием раньше, он в это время оказался слишком склонным к реформам и демократизации (вероятно, в каком-то очень ограниченном смысле, а впрочем, кто его знает). Во время разговоров со мной он выглядел очень обеспокоенным, как будто я представлял для него смертельную опасность. А может, так оно и было?

Я до сих пор не знаю, зачем меня вызвал к себе Трапезников. Лично посмотреть на смутьяна в своей епархии? Или попытаться меня перевоспитать? Или чтобы как-то нейтрализовать мою «вредную» роль на академических выборах? (К слову, ни до этого, ни после я не выступал против кандидатуры Трапезникова, хотя не скрывал своего мнения, что он не подходит для Академии. Когда в первый раз кандидатура Трапезникова провалилась, перепуганный Келдыш позвонил Брежневу. Тот, говорят, спокойно ответил: «Ну и что. Я ведь тоже не академик».) Вероятно, все эти три мотива играли свою роль. Но, быть может, была и четвертая цель — устроить «подкоп» под Румянцева, подложить ему «свинью» в моем лице? Эту точку зрения высказал Живлюк, ссылаясь на какие-то неведомые мне источники информации. Во всяком случае, Румянцев уклонился от каких-либо открытых обсуждений «Меморандума» в рамках Института, сославшись на отсутствие официального указания со стороны Трапезникова.

Трапезникова я видел еще раз — на выборах Келдыша на следующий срок на пост президента. Он подошел ко мне, пожал руку и, обращаясь на «ты» (как к «своему»), спросил, собираюсь ли я голосовать за Мстислава Всеволодовича. Я сказал, что да. Он удовлетворенно отошел в сторону.

Валерий Чалидзе. Дело Григоренко. Спасаю Жореса

В середине мая я впервые познакомился с Валерием Чалидзе, сыгравшим важную роль в моей дальнейшей судьбе. (Я знал о Чалидзе и его самиздатском журнале «Общественные проблемы» от Р. Медведева.) Он позвонил по телефону, назвал себя и осведомился, знаю ли я его фамилию. Я сказал:

— Да, знаю.

— Тогда это облегчит дальнейшее.

Мы встретились, и он предложил мне примкнуть к совместной надзорной жалобе по делу Петра Григорьевича Григоренко (надзорная жалоба — предусмотренная законом форма обжалования любым лицом или группой лиц решения суда или какого-либо нарушения закона, направляемая в Прокуратуру).

Жалоба, составленная Чалидзе, была подписана Татьяной Максимовной Литвиновой (дочерью наркома иностранных дел М. М. Литвинова), Григорием Подъяпольским (будущим членом Комитета прав человека и моим будущим другом), Чалидзе и мною, и я отнес ее по адресу. Я до освобождения П. Г. Григоренко из психиатрической больницы в 1974 году никогда не видел его, но много о нем слышал уже к моменту звонка Чалидзе. Полученное мною от него в 1968 году письмо по поводу «Размышлений» глубоко тронуло меня.

История Петра Григорьевича Григоренко, человека удивительной судьбы, мужества и доброты, оказавшего огромное влияние на диссидентское движение в СССР, подробно описана им самим. Вкратце же она такова. Генерал-майор, участник Отечественной войны, в 1961 году на открытом партийном собрании выступил с критикой ошибок Хрущева, которые, по его мнению, содержат в зачатке возможность возникновения нового «культа личности». В 1964-м насильственно помещен в специальную психиатрическую больницу (психиатрическая больница-тюрьма, о них я еще буду писать), лишен генеральского звания. После снятия Хрущева освобожден, но не восстановлен в звании и должностях. Написал известную самиздатскую работу о первых месяцах войны и ответственности Сталина за трагедию поражений и трудностей того времени (в связи с обсуждением книги Некрича «22 июня 1941 года»).

Вместе с этой книгой статья Григоренко явилась одним из наиболее авторитетных и убедительных свидетельств по волнующему всех людей в нашей стране вопросу. Принял большое участие в борьбе крымских татар за возвращение на родину в Крым. При поездке в Ташкент на процесс крымских татар арестован, помещен в специальную психиатрическую больницу (1969 год). Именно к этому периоду относится наша надзорная жалоба.

В 1971 году в самиздате появляется анонимная (тогда) заочная экспертиза, доказывающая факт психического здоровья Григоренко (впоследствии этот вывод подтвержден видными психиатрами США). Автором экспертизы был молодой врач-психиатр Семен Глузман, в 1972 году арестованный и осужденный на 7 лет заключения и 3 года ссылки (формально — по другому обвинению). Дело Григоренко фигурирует также в обвинениях Буковскому.

В 1974 году Григоренко под давлением широкой кампании протестов во всем мире освобожден. Здоровье его сильно подорвано, но он полон энергии. В 1976 г. он — член Московской Хельсинкской группы. В конце 1977 г. выезжает с женой в США для операции и свидания с сыном, ранее эмигрировавшим. Через несколько месяцев Григоренко лишен гражданства и тем самым права возвращения в СССР. В последующие годы он продолжал принимать активное участие в общественной жизни, а также написал прекрасную книгу воспоминаний. В феврале 1987 года Петр Григорьевич умер в США после длительной тяжелой болезни.

Мое взаимодействие с Валерием Чалидзе, начавшееся в мае 1970 года по делу Григоренко, вскоре продолжилось в связи с рядом других дел, а отношения стали дружескими (об их временном омрачении я пишу в одной из следующих глав).

29 мая мне позвонил Рой Медведев и с большим волнением сообщил, что его брат Жорес насильно помещен в психиатрическую больницу в Калуге. Ему ставят диагноз вялотекущей шизофрении — основываясь на анализе его произведений, как якобы доказывающих раздвоение личности (и биология, и политика), — а на самом деле это месть все еще сильных в аппарате лысенковцев за статьи и книгу против них. И все его поведение якобы доказывает отсутствие социальной адаптации.

Для меня это была новая важная проблема (вслед за делом Григоренко) — использование психиатрии в политических целях — и старая проблема — борьбы с лысенковцами. И наконец — дело солидарности, после совместного меморандума с братом Жореса. И я «ринулся в бой».

Случилось так, что в эти дни я плохо себя чувствовал. У меня была повышенная температура — 38 с десятыми, не знаю точно почему, и очень сильные боли внизу живота, время от времени заставлявшие меня присаживаться где попало. (Через месяц мне пришлось пойти на операцию грыжи.) Но я чувствовал на себе ответственность за дело Жореса Медведева и перебарывал себя (часто потом и у меня, и у Люси повторялась подобная ситуация, когда надо действовать несмотря на болезнь). Уже на следующий день я поехал в Институт генетики, где директором был Н. П. Дубинин, ставший к тому времени академиком.

В этот день там проходил международный симпозиум по вопросам биохимии и генетики. Было много гостей из социалистических стран и человек двадцать — тридцать из западных. Перед заседанием я подошел к доске и написал на ней следующее объявление: «Я, Сахаров А. Д., собираю подписи под обращением в защиту биолога Жореса Медведева, насильно и беззаконно помещенного в психиатрическую больницу за его публицистические выступления. Обращаться ко мне в перерыве заседания и по моему домашнему адресу». (Далее адрес и телефон.)

Никто мне не мешал. Я вышел в коридор и стал ждать. Дубинин увидел мое объявление одним из последних, стер его и во вступительном слове резко высказался в том смысле, что не следует, как Сахаров, смешивать науку и политику (примерно за год до описываемых событий Дубинин перестал присылать мне поздравления к праздникам в память о совместной борьбе).

В перерыве ко мне подошли два или три человека и подписались под обращением, еще двое пришли из лабораторий. Но главный поток подписей был дома — у меня и у Валерия Чалидзе, который предоставил для этого свою квартиру, точней, комнату в коммунальной квартире (там жили еще две или три семьи). Комната была довольно большая, с одним окном-дверью на балкон, выходившим во двор с видом на соседние окна и высотный дом. У Валерия были свои представления, что такое уборка и порядок, и это отразилось на облике комнаты — но свои записки и другие вещи он находил мгновенно. На стене висели старинные сабли и кинжалы, рядом под стеклом была коллекция разных диковин — камней, сушеных скорпионов и т. п. Но главным в комнате был диван — на нем Валерий возлежал в княжески-небрежной позе, разговаривая с многочисленными, сменявшими друг друга гостями. В диссидентском мире к нему пристало прозвище Князь — и он носил его с достоинством. Очень многие приходили к нему посоветоваться — одним из первых среди диссидентов (вслед за А. С. Есениным-Вольпиным) Валерий освоил уголовный и уголовно-процессуальный кодекс, а его острый аналитический и критический ум как бы был создан для той юридической «игры», в которую оказался вовлеченным диссидентский мир. Уважали его почти все, многие любили. Мне он при первой же встрече сказал, что его главная

цель — не дать людям садиться, помочь им избежать провокаций властей и от друзей (последнее — моя формулировка). И это действительно была его линия. В тот майский (или первый июньский) день к Валерию съехался весь диссидентский мир (а кто не успел, пришел уже ко мне домой). Так я одним махом узнал почти весь тогдашний «круг» — Таню Великанову, Гришу Подъяпольского и его жену Машу, Сережу Ковалева (он, конечно, был среди опоздавших — потом я узнал, какую огромную нагрузку нес он на себе уже тогда; но еще он отличался какой-то особой ему свойственной добротной медлительностью, раздумчивостью) и многих других. Все они подписывали составленное мною обращение — Сережа подписался дважды: за себя и за своего друга Сашу Лавута, уполномочившего его на это. Все названные мною стали потом моими друзьями. Гриша Подъяпольский умер в 1976 году — очень рано. Его жена Маша живет в Москве, но не может приехать в Горький, где я живу в строжайшей изоляции под круглосуточным милицейским надзором. Последний раз я видел ее год назад, когда ее задержали на горьковском вокзале при попытке приехать ко мне (написано в 1981 году). Все остальные — арестованы, осуждены и находятся в лагерях Мордовии и Перми.

Уже в первые дни стало ясно, что мои необычные действия были неожиданными для властей и вызвали большое беспокойство. Вскоре к этим усилиям добавились протесты других — поэта Твардовского, с которым был знаком Р. Медведев, писателя Дудинцева и других, художников и ученых. Через несколько дней меня вызвал президент АН СССР Келдыш и стал упрекать в недопустимых действиях. Я возражал ему. Он сказал, что посоветуется с министром здравоохранения СССР академиком Б. Петровским. 12 июня я был вызван на совещание в Министерство здравоохранения, также были вызваны выступавшие в защиту Медведева академики Астауров и Капица, Келдыша представлял на совещании академик Александров (ныне президент). Петровский открыл совещание словами, что оно посвящается делу больного Медведева. Директор Института судебной психиатрии Г. Морозов сделал медицинское сообщение (очень осторожное), затем выступили Капица — как всегда, остроумно и осторожно, Астауров и я (оба решительно за освобождение). После моего выступления Александров бросил реплику, что обращения Сахарова к Западу показывают, что ему самому надо подлечиться в смысле умственного здоровья. Петровский закрыл совещание, обещав решить вопрос о выписке в рабочем порядке. Через неделю — на 19-й день после насильственной госпитализации — Жорес Медведев был освобожден. Никто из заключенных в психиатрические больницы (и до Медведева, и после) так быстро из них не выходил, случай Медведева в этом отношении — совершенно исключительный.

Киевская конференция. Дело Пименова и Вайля. Появляется Люся. Комитет прав человека. Самолетное дело

В июле я провел месяц в больнице, где мне сделали операцию грыжи. Поправившись, я решил поехать в Киев на традиционную, так называемую Рочестерскую, международную конференцию по физике элементарных частиц. Перед поездкой я заехал к Игорю Евгеньевичу. Как я уже писал, в это время он уже несколько лет жил с аппаратом искусственного дыхания, но продолжал работать и общаться со множеством людей. Весной, летом и осенью И. Е. жил на даче в Жуковке (теперь — поселок Академии наук недалеко от Москвы; в 1956 году И. Е. и я получили по постановлению правительства там дачи, расположенные рядом). Именно в Жуковке состоялась эта наша встреча, одна из последних. Игорь Евгеньевич постоянно лежал в комнате нижнего этажа. Когда я вошел, то увидел, что у него гости — наш общий друг, сотрудник теоретического отдела ФИАНа Евгений Львович Фейнберг и известный зарубежный ученый, профессор Виктор Вейскопф. Вейскопф — автор нескольких вошедших в историю науки работ (в особенности по квантовой теории поля) и крупный организатор науки, многолетний директор ЦЕРНа — Европейского научно-исследовательского центра по изучению элементарных частиц. Игорь Евгеньевич и Вейскопф были друзьями еще с 30-х годов. Они очень тепло встретились. Потом Вейскопф говорил, как он был потрясен, увидев И. Е. в таком состоянии. Вики (как его звали друзья) вспоминал прошлое и среди прочего рассказал такой эпизод. Он родился и вырос в Австрии (как и Паули — научный руководитель и соавтор его первых работ). В конце 30-х годов его вызвали в швейцарскую полицию (тогда тесно сотрудничавшую с гитлеровской) и объявили, что он — советский шпион.

— Как, почему?

— Вы посещаете в Москве проф. Тамма, а тому предоставили в Москве новую квартиру. В условиях советского жилищного кризиса это явное свидетельство, что Тамм — сотрудник НКВД.

Все объяснения были бесполезны. Вейскопф должен был покинуть Швейцарию без права когда-либо в нее возвращаться. Когда его назначили директором ЦЕРНа, это «когда-либо» уже не действовало.

Евгений Львович Фейнберг, привезший Вейскопфа к Тамму, имел после этого выговор в Иностранном отделе АН СССР:

— Какое вы имели право организовывать встречу Сахарова с Вейскопфом?

— Во-первых, я ничего не организовывал, а во-вторых, какое это имеет значение — ведь через неделю Сахаров и Вейскопф поедут в Киев, там они все равно смогут общаться, сколько захотят.

— В Киеве за это будет отвечать КГБ Украины, а здесь — мы! Вы не должны были делать это здесь.

В Киеве я действительно свободно общался с иностранными учеными, хотя, вероятно, чтобы свести эти контакты к минимуму, меня поселили в 15 километрах от иностранцев. Особенно мне запомнилась получасовая беседа в саду университета с проф. М. Гольдхабером, проявившим интерес к тому, что я думаю о положении в мире, в СССР и США. Разговор происходил на чудовищной смеси английского и немецкого.

Вернувшись в Москву, я зашел к Валерию Чалидзе. Он был озабочен предстоящим судом над двумя людьми, обвинявшимися в распространении самиздата и зарубежных изданий. Их фамилии были Пименов и Вайль. Первая из этих фамилий была мне известна. Еще в 1968 году во время конференции в Тбилиси Пименов подошел ко мне, представился как бывший политзаключенный и выразил заинтересованность моими «Размышлениями». Я вспомнил также, что в мае 1970 года нашел в почтовом ящике письмо от Пименова, где он сообщал о создавшемся для него угрожающем положении — об обыске и вызове его в горком. Это письмо, как я потом узнал, привезла из Ленинграда (где жил Пименов) Люся, с просьбой доставить мне. Так что была возможность увидеть мне ее на полгода раньше, чем это произошло фактически. Но Люся решила не ездить ко мне, а попросила одного из своих друзей опустить письмо в почтовый ящик.

Пименов был арестован в июле. Другой обвиняемый — Вайль — оставался на свободе, но должен был дать подписку о невыезде. Пименов, по профессии математик, работал к моменту ареста в ленинградском филиале Математического института им. Стеклова, а Вайль — в Курске в театре кукол. Оба они были и раньше обвиняемыми по одному и тому же политическому делу в конце 50-х годов. Это было время, когда Хрущев заявил, что у нас нет политических заключенных. На самом деле был некий, довольно глубокий минимум на Гулаговской кривой, но никак не нуль. В это время много людей было освобождено по амнистии и частично — по реабилитации (еще больше не дождалось освобождения), а новых политических арестов, действительно, тогда было немного. Правда, в лагерях продолжали находиться осужденные на 25-летние сроки — их не коснулись ни амнистия, ни пересмотр Уголовного кодекса в 1958 году, снизивший максимальный срок заключения до 15 лет (вопреки обычной процедуре снижение максимального срока не имело обратной силы — об этом был принят специальный закон, утвержденный Верховным Советом; известны

случаи осуждения на 25 лет уже после принятия нового Кодекса, но до вступления его в законную силу).

Первое дело Пименова — Вайля как раз приходилось на этот минимум, оно подробно описано в блестящей мемуарной книге самого Пименова «История одного политического процесса». Пименов отбыл в заключении 6 лет; срок был сокращен с определенных приговором десяти лет по ходатайству математика академика А. Д. Александрова, знавшего первые работы Пименова, и президента Академии наук, тоже математика М. В. Келдыша. Вайль отбыл свой срок заключения полностью.

Новое дело Пименова — Вайля было первым, с которым я вплотную соприкоснулся. Я расскажу о нем подробней, чем о некоторых последующих, в которых повторяются с незначительными вариациями те же черты беззакония и лицемерия властей.

Суд был назначен на 14 октября в городе Калуге. Не вполне законный выбор места проведения суда — не в Ленинграде, где жил главный обвиняемый, а в этом старом русском городе (ставшем таким памятным для меня), очевидно, диктовался соображением иметь поменьше огласки. Одна из постоянных проблем, возникающих при политических процессах,— нахождение адвоката. Трудности ее связаны, во-первых, с положением и позицией адвоката. Если он честно выполняет свой долг профессиональной защиты и, тем более, проявляет симпатию к взглядам или действиям подсудимого, то ему грозят крупные неприятности — часто увольнение, конец успешной карьеры, исключение из партии и т. п. Ясно, что лишь немногие готовы к этому. Поэтому слишком часто адвокат оказывается «вторым прокурором» или, в лучшем случае, пустым местом. Но, кроме этого, трудности связаны с тем, что лишь малая часть адвокатов имеет право вести политические дела. Существует полуофициальная система «допусков» (разрешений), и можно предполагать, что в конечном счете решающее слово принадлежит тут не Коллегии адвокатов или ее председателю, а все тем же всевластным органам КГБ. И нежелательные для КГБ (но хорошие с точки зрения защиты) адвокаты часто либо вообще не имеют допуска, либо лишаются его после первого же неосторожного действия.

В то время эти проблемы стояли несколько менее остро, чем сейчас. В этом и некоторых других делах большую роль играл Валерий Чалидзе, имевший знакомства в адвокатском мире. Одним из этих дел было так называемое «Ленинградское самолетное», о котором я пишу ниже.

В сентябре — октябре я несколько раз бывал у Валерия, он рассказывал мне о деле Пименова и Вайля. Во время одного из этих визитов к Валерию у него сидела красивая и очень деловая на вид женщина, серьезная и энергичная. Валерий беседовал с ней, полулежа на диване, по своему обыкновению. Со мной он ее не познакомил, и она не обратила на меня внимания. Но когда посетительница ушла, он с некоторой гордостью сказал:

— Это Елена Георгиевна Боннэр. Она почти всю жизнь имеет дело с зэками, помогает многим!

Я почему-то спросил:

— Она что, из «Хроники»? («Хроника текущих событий» — информационный самиздатский машинописный журнал, я дальше буду подробно о нем писать.)

Валерий ответил:

— К сожалению, нет. Если бы такой умный и выдержанный человек участвовал в «Хронике», дело было бы много лучше. (Валерий сделал приписку на полях рукописи, в которой утверждает, что никогда не говорил этого. Но тут память ему изменяет. Для меня первая встреча с Люсей была событием, и я помню все относящиеся сюда детали.)

Я думаю, что Валерий был несправедлив к издателям «Хроники», но мне приятна данная им характеристика Елены Боннэр. Через год Елена стала моей женой (я ее зову Люся, как ее звали в детстве и как ее зовут все ее теперешние друзья и близкие, и всюду в этой книге употребляю это имя).

Я решил поехать на суд Пименова и Вайля. По совету Валерия я позвонил Келдышу с просьбой обеспечить мое присутствие на суде.

— Ну, что он там опять натворил?

Я объяснил, что не натворил, а что это «самиздатское дело». На мою просьбу Келдыш не ответил ни да, ни нет. Но, видимо, что-то предпринял.

Меня, быть может, поэтому, а быть может и нет, пускали на суды вплоть до августа 1971 года. Через несколько дней ко мне неожиданно приехал Зельдович.

— У меня к вам серьезный разговор. Я очень хорошо отношусь к вашему трактату, к его конструктивному духу. Вы должны пойти к Кириллину, чтобы создать при Совете Министров группу экспертов, которая помогла бы стране перестроить технику и науку в прогрессивном духе. Это то, чем вы можете быть полезны, это будет конструктивно. Я знаю, что вы собираетесь поехать на суд Пименова. Такое действие сразу поставит вас «по ту сторону». Уже ничего полезного вы никогда не сможете сделать. Я вас уговариваю отказаться от этой поездки.

Я ответил, что я уже «по ту сторону». Советы Кириллину могут давать многие, вся Академия. Я не знаю, полезно ли то, что я собираюсь сделать. Но я уже бесповоротно вступил на этот путь.

Валерий не считал возможным, чтобы я ехал в Калугу на электричке, как «простые смертные» — я должен был явиться там «как бог из машины». Он договорился с одним из знакомых, имевшим автомашину, и часа в четыре утра мы выехали. Это была моя вторая поездка в этот город (и не последняя). Валерий поехал вместе со мной. К 9 утра мы были на месте. Протиснулись узким коридорчиком, в котором, прижавшись друг к другу, стояли приехавшие из Москвы и Ленинграда друзья и знакомые обвиняемых, в их числе — сослуживцы Пименова по Математическому институту и многие московские инакомыслящие, которых я уже знал по делу Медведева. Около лестницы стояли милиционеры и дружинники и не пускали на второй этаж, где должен был вскоре начаться суд (как будет мне знакома эта картина беззакония!). Милиционер спросил меня:

— Ваша фамилия?

Немного растерявшись, я ответил:

— Моя фамилия академик Сахаров.

— Пройдите.

Стоявшая одной из первых около милиционера невысокая, чуть сутулая немолодая женщина ласково погладила меня по руке. (Этот простой импульсивный жест поразил меня. В том «абстрактном мире», в котором я жил раньше, такое не встречалось! Женщина эта была Наташа Гессе, большой Люсин друг из Ленинграда. Но все это я узнал много позже. Наташа стала и моим другом.)

Валерия не пустили. Я один прошел наверх. В зале на первых скамьях сидели жена и отец Пименова, Боря Вайль (он, как я писал, не был арестован) и его жена, свидетели. Все остальные скамьи были заняты специально привезенными из Москвы «гражданами» в одинаковых костюмах; их одинаковые серые шляпы ровными рядами лежали на подоконниках. Это были гебисты. Такая система — заполнять зал сотрудниками КГБ, а также другой специально подобранной и проверенной публикой — с предприятий и из учреждений, райкомов и т. п.— является стандартной для всех политических процессов. Цель, видимо, двоякая — во-первых, есть предлог не пускать в зал друзей подсудимого, его единомышленников, а иногда — и родственников; дескать, зал переполнен, интересующиеся граждане пришли раньше. А интересующиеся граждане обычно откровенно скучают, читают газету. Во-вторых — создать в зале атмосферу враждебности к подсудимым. Это чувствуется даже, когда в зале молчание. А ведь можно подать реплику, глупо захохотать в самый трагический момент и — быть может, это главное — аплодисментами встретить приговор. Даже смертный! «Народ», таким образом, приветствует, а не безмолвствует.

В этот раз суд не состоялся (не мог прибыть адвокат Вайля, или он еще не был назначен, я не помню). Через неделю (20 октября) я приехал вновь, опять на машине, но уже без Валерия. Опять приехало человек тридцать друзей Вайля и Пименова, в их числе смогла приехать Люся. На этот раз она уже знала, кто я, мы познакомились. В перерыве Люся расставила на подоконнике бутылки с молоком и бутерброды для приехавших на суд; она предложила и мне, я, правда, отказался, предпочитая что-нибудь горячее. Пообедал я в буфете на втором этаже (куда завезли кое-что для гебистов, и нам осталось), вместе с Вайлем и его женой, тоже Люсей. Они оба мне очень понравились. Вечером в ресторане я пил чай с Наташей Гессе и

от нее впервые узнал о Ленинградском «самолетном деле», глубоко меня взволновавшем.

Суд длился три дня. Это действительно было типичное «самиздатское» дело. На процессе было трое подсудимых, третьей была некая З., знакомая Пименова. Он давал читать ей самиздат и стихи лагерных поэтов, она перепечатывала их в свою тетрадку. З. жила одна. В некий день, в ее отсутствие, «неожиданно» произошла авария водопровода в квартире над нею. Заботливые мужчины из домоуправления открыли дверь в ее комнату, но обнаружили не воду, а самиздат на книжной полке. Так началось дело, в которое сразу оказался вовлеченным Пименов, а потом и Вайль, к которому по поручению Пименова зачем-то ездила З. Перепуганная до полусмерти З. на следствии и суде всячески помогала обвинению. В частности, она показала, что по поручению Вайля послала в Новосибирск по почте заказной бандеролью книгу Джиласа «Новый класс» (кому — она «не помнила»). Но при этом она добавила, что точно помнит — одновременно с книгой она послала по другому адресу кофточку кому-то из своих родных и знакомых.

(Это было единственное обвинение против Вайля. Адвокату Вайля Абушахмину впоследствии, к моменту кассационного суда, удалось раскопать почтовые документы, с несомненностью доказывающие, что ничего подобного не было. В регистрационной книге адвокат нашел запись об отсылке кофточки, но не обнаружил никаких следов того, что З. посылала что-либо в Новосибирск! В других делах КГБ действовало осторожнее, но тогда — в 1970 году — еще мало было опыта в подтасовках, ведь в сталинское время доказательств вообще не требовалось. По закону кассационный суд должен был отменить приговор ввиду «выявления новых обстоятельств» и назначить новое судебное разбирательство. Но кассационный суд вместо этого полностью игнорировал изыскания адвоката — это одно из наиболее наглядных доказательств беззаконности всего этого дела.)

Перед приговором ко мне в коридоре подошел прокурор. Он спросил:

— Как вам нравится процесс? По-моему, суд очень тщательно и объективно рассмотрел все обстоятельства дела.

Мне кажется, он искренне ожидал, что я выскажу восхищение судом и его собственной прокурорской речью. Даже в глазах прокурора, знавшего, конечно, что я приехал как единомышленник подсудимых, я все еще оставался в какой-то степени «своим», а похвала московского академика была бы лестной. Однако я сказал:

— По-моему, весь суд — абсолютное беззаконие.

Он помрачнел и отошел в сторону.

Приговор — 5 лет ссылки каждому. Борю Вайля тут же в зале суда взяли под стражу, это было страшно. Но по советским меркам приговор был удивительно мягким — быть может, тут еще непривычное мое присутствие оказалось существенным. Перед приговором подсудимые произнесли свои «последние слова». Речь Пименова растянулась на три часа, была остроумной и глубоко аргументированной. Вайль сказал одну фразу: «Граждане судьи, приговор определяет судьбу подсудимого, накладывает след на всю его жизнь; но он накладывает отпечаток и на души тех, кто его выносит, — будьте справедливы».

Я уже собрался уходить из зала суда, когда ко мне подошла страшно взволнованная жена Пименова Виля. Она сунула мне в руки какую-то зеленую папку и прошептала:

— Спрячьте и пронесите вниз. Тут документы, которые освободят Револьта (это имя Пименова).

Потом выяснилось, что Пименов сумел передать ей почти на глазах у конвоя папку с обвинительным заключением, его выписками из следственного дела и «последним словом». При нормальном порядке вещей во всем этом не было бы ничего секретного или чрезвычайного. Но в наших условиях пропажа таких документов — действительно чрезвычайное событие, и действия Револьта и Вили, пожалуй, были не оправданными ситуацией и слишком вызывающими. В данном случае от больших неприятностей спасла меня моя еще сохранившаяся «неприкосновенность». Я сунул папку под куртку и прошел вниз, мимо милиционеров, мимо группы наших, среди которых была Люся. Вместе со мной вышел один молодой человек (доктор Апухтин), приставленный ко мне Валерием в качестве врача и телохранителя. Мы быстро доехали до вокзала и прошли в вагон электрички (почти пустой). Через несколько минут после того, как поезд тронулся, в наш вагон перешли из последнего Люся и ее, а вскоре и мой друг Сережа Ковалев. Они забрали у меня часть документов из папки и прошли дальше по ходу поезда. После я узнал, что сразу после моего ухода пропажа папки была обнаружена, всех находившихся в зале суда задержали, в том числе Вилю. За Люсей и Сережей, поехавшими на вокзал, устремилась погоня. Последний участок пути по перрону Люся и Сережа бежали бегом и успели вскочить в поезд за секунду до отхода, так что автоматические двери захлопнулись перед носом преследователей.

На другой день, чтобы замять скандал, было необходимо вернуть папку. Мне позвонил Валерий и сказал, что сейчас ко мне приедет дочь «известной вам особы, вы ее легко узнаете — очень похожи». Вскоре приехала дочь Люси — Таня вместе с одним молодым человеком (опасались, что я побоюсь отдать ему папку, как совсем мне незнакомому, а на Танином лице действительно запечатлелось, чья она дочь). Я отдал им папку, и к концу дня она была уже в Калуге.

За несколько недель до описанных событий Валерий неожиданно заехал ко мне (что с ним не часто бывало). Он принес составленную им «благодарность» в связи с освобождением из психбольниц по распоряжению свыше нескольких девушек и юношей, недавно помещенных туда по политическим мотивам (среди них была Ира Каплун, недавно погибшая в автомобильной катастрофе, и Вячеслав Бахмин, арестованный в 1981 году *). Я подписал этот документ, хотя подумал, что власти могут счесть такую благодарность еще более обидной, чем протест. Затем он, сильно волнуясь, изложил на бумажке свои идеи относительно организации Комитета прав человека — как он писал, — добровольной, независимой от властей ассоциации для изучения и обнародования положения с правами человека в СССР. О создании такой ассоциации он предполагал широко объявить — в частности, сообщить иностранным корреспондентам. Я отнесся к этому предложению с интересом, но одновременно с большими опасениями. Независимая ассоциация — это очень важно, это что-то совсем новое. На самом деле, не совсем. За год до того несколько людей организовали Инициативную группу по защите прав человека. Первым действием группы было обращение в ООН по вопросу нарушения прав человека в СССР. Затем группа делала открытые обращения (адресованные уже не в ООН, а к общественности) систематически. Я думаю, что именно образование Инициативной группы, вместе с началом издания «Хроники», явилось оформлением движения за права человека в СССР в том смысле, как оно известно сейчас во всем мире — в рамках закона, с помощью гласности, независимо от властей. Даже идея Комитета прав человека выдвигалась в какой-то форме Инициативной группой (ее членом А. С. Есениным-Вольпиным). Другими членами Инициативной группы были: Г. Алтунян, В. Борисов, Т. Великанова, Н. Горбаневская, М. Джемилев, С. Ковалев, В. Красин, А. Лавут, А. Левитин (Краснов), Ю. Мальцев, Л. Плющ, Г. Подъяпольский, Т. Ходорович, П. Якир, А. Якобсон. Некоторые из них потом стали моими друзьями; многие сейчас в заключении.

Обо всем этом я не знал или знал настолько поверхностно, что забыл. Не это заставило меня отнестись к ценной инициативе Валерия с настороженностью. Во-первых, меня пугал предполагавшийся юридический уклон в работе Комитета — понимая важность такого подхода, наряду с другими, я не чувствовал, что это мое амплуа. Кроме того, и это главное, понимая, что гласность, обнародование выводов — самое решающее и неизбежное в деятельности такого рода, я опасался, что Комитет, в особенности благодаря своему броскому названию (что в его названии нет слова «защита», никто не заметит!) — привлечет слишком широкое к себе внимание, вызовет излишние «ложные» надежды у тысяч людей, ставших жертвой несправедливостей. Все это — письма, просьбы, жалобы — повалится на нас. Что мы скажем, ответим этим людям? Что мы не Комитет защиты, а Комитет изучения? Это будет почти издевательством!

---

* И. Каплун и В. Бахмин были освобождены из Лефортовского следственного изолятора КГБ. **(Прим. ред.)**

Эти опасения я высказал Чалидзе в той первой беседе. К слову сказать, все они потом оправдались сторицей. Причем больше всего «шишек» упало на мою голову, писали в основном академику. В октябре наш разговор кончился ничем, но мысль запала мне в голову.

Сразу после моего приезда из Калуги меня вызвал к себе мой, тогда уже бывший, начальник Ю. Б. Харитон. Он передал мне просьбу председателя КГБ Андропова срочно позвонить ему. Я спросил:

— А почему, в таком случае, он сам мне не позвонит?

— Ну, у этих людей свои представления об авторитете и церемониалах.

Ю. Б. дал мне номер городского служебного телефона Андропова. Прежде чем позвонить ему, я зашел к Чалидзе, и тот сказал:

— К начальству не идут с пустыми руками. Если вы можете вернуться к моему предложению, Комитет прав человека будет хорошим фоном для разговора.

Валерий был, конечно, не прав (или слегка лукавил. Валерий написал недавно на полях рукописи, что сказанное им о пустых руках было явной шуткой, добавление 1987 г.). Я не шел к начальству, а меня попросил позвонить Андропов, по каким-то своим «соображениям», и никакой «фон» мне был не нужен. Но я согласился тогда с Чалидзе. Комитет казался мне важным делом, и я решил пренебречь своими опасениями. Устав Комитета писал Валерий; эти игры меня не интересовали, я их с радостью предоставил Валерию, который занимался этим со вкусом.

Поначалу членов Комитета было трое — кроме нас двоих, еще друг Чалидзе Андрей Твердохлебов, молодой теоретик, незадолго перед этим ушедший из аспирантуры и работавший в Институте информации. 4 ноября 1970 года мы подписали Устав, это дата организации Комитета.

В течение первых десяти дней ноября я неоднократно звонил Андропову по указанному мне Харитоном телефону. Дежурный неизменно отвечал: товарища Андропова сейчас нет (или он занят), позвоните, пожалуйста, завтра. В конце концов мне сказали — больше не звоните, товарищ Андропов сам свяжется с вами (конечно, никто со мной не связался). Видимо, что-то изменилось в его планах относительно меня или с самого начала это была «игра».

Продолжение следует

К 100-летию со дня рождения поэта

Осип и Надежда Мандельштам

ИЗ ПИСЕМ 1936—1938 гг.

Н. Я. Мандельштам — Н. Н. Грин

<№ 1. 4 августа 1936 г., Задонск>

4 августа 36 г. Задонск (Вор<онежская> область) ул. К. Маркса, 8

Милая Нина! Я пишу вам после долгого молчания — и письмо мое не лирика, а глубокая проза. У меня сейчас исключительно тяжелая жизнь. Уже полгода, как Ося серьезно болен. Первые тяжелые, угрожающие жизни припадки начались в январе. Дегенерация сердечной мышцы на почве склероза (преждевременного — ему 45 лет) — кардомиопатия, миокардит. Он перенес острый аортит. Сейчас резкое расширение дуги аорты. За это время несколько тяжелых припадков (падал на улице, выносили из театра и т. д.). По неделям был на камфаре.

Есть признаки рассеянного склероза и, как говорят врачи — несомненный склероз сосудов мозга. У него месяцами было непрерывное головокружение даже в постели. Врачи запретили работать, читать. Но сам он даже и не мог бы читать и только сейчас после полугода — он впервые берет книги с работы (он служил в театре) — его сняли. Городская комиссия направила его на ВТЭК для получения официальной инвалидности.

О лечении (специальном) не может быть и речи. Все хлопоты не привели ни к чему. Литфонд давал ему путевку, но ехать лечиться нельзя. Но, когда я решила отвезти Осю в деревню, я просила перевести ценность путевки в деньги, то мне в этом отказали. В результате я все-таки Осю вывезла в деревню (жара в городе опасна — прямая опасность, по словам врачей, для жизни).

Живем мы очень плохо — и что хуже — очень тревожно. Заработков нет никаких. Ося работу потерял, а мне работу не дают. Все поездки в Москву кончались ничем, и я перестала ездить. (В последний раз Воронежский союз пис<ателей> вызвал меня телеграммой к больному Осе). Уже полгода я буквально не могу отойти от больного.

Мы живем на то, что нам присылает Женя. Это очень нервно, криво и косо. Жене никто не помогает. Осины братья вдвоем прислали 100 рублей и написали 10 гнусных писем о том, что больше оторвать у своих детей они не могут.

Вам это положение знакомо. Твердо молчит Союз С<оветских> пис<ателей>, работы нет, болезнь. Единственное, что остается, это помощь друзей и вот о чем я вас прошу: в Москве и Ленинграде сейчас никого нет. Но в Коктебеле наверное отдыхают какие-нибудь писатели. Съездите в Коктебель. Если там есть кто-нибудь из поэтов — Осе помогут. Ни один поэт не откажет. В прошлом году вдова Волошина предлагала Осе помощь. Она бедная женщина. Не берите у нее денег. Но она смогла бы поговорить с кем-нибудь из приехавших. Если есть 1—2—3 человека — они дадут немного денег. Мы сейчас очень урезываем себя во всем, и всякая помощь ощутительна. Я хочу как можно дольше прожить в деревне. В Воронеже меня ничего не ждет— никаких денег или заработков я получить не могу. За комнату в Воронеже (частную по 200 р. в месяц) не плачено. Мы можем остаться на улице. Когда вы получите это письмо — телеграфируйте — можете ли вы съездить в Коктебель. Не пишите — письмо может меня не застать.

Я попробую задержаться до 15 авг. Если не будет помощи со стороны — увезу Осю в Воронеж — на полную пустоту. Я жду телеграмму. Отрицательный ответ — тоже хорошая вещь — это реальность. Поэтому прошу вас — если вы не можете съездить в Коктебель — тоже телеграфируйте. Я жду телеграммы.

Целую. Надя.

Адрес. Воронежская обл. город Задонск. Ул. Маркса, 8. Мандельштам.

Я забыла сказать: в Воронеже мы жить не будем — у нас нечем уплатить за комнату. Только поедем ненадолго, а устраиваться на зиму придется в районе, а это очень тяжело с больным — без квал<ифицированных> врачей.

О. Э. Мандельштам — Н. Я. Мандельштам
<№ 2. 20-е числа октября 1936 г., Воронеж>

Надик, милый мой новорожденный дружок!

Горячо целую. Невероятно как хочу тебя видеть.

Скоро, скоро будем вместе. Я никогда так по тебе не скучал и так к тебе не рвался. Слышишь?

Надик?

До свиданья.

Твой Няня.

Я еще много-много буду тебя *нянчить*, как прежде, по-настоящему беречь, радовать.

Надик маленький, приди ко мне.

О. Э. Мандельштам — В. Я. Хазиной
<№ 3. Середина апреля 1937 г., Воронеж>

Дорогая Вера Яковлевна!

Обращаюсь к вам с большой просьбой: приезжайте, поживите со мной. Дайте возможность Наденьке спокойно съездить по неотложным делам. Ехать ей придется на этот раз надолго. Почему я вас об этом прошу? Сейчас объясню.

Как только уезжает Надя, у меня начинается мучительное *нервно-физическое* заболевание. Оно сводится к следующему: за последние годы у меня развилось астматическое состояние. Дыхание всегда затруднено. Но при Наде это протекает мирно. Стоит ей уехать — я начинаю буквально задыхаться. Субъективно это невыносимо: ощущение конца. Каждая минута тянется вечностью. Один не могу сделать шага. Привыкнуть нельзя. В прошлый отъезд (7 дней) со дня на день делалось хуже. Остаться со мной некому. Успокаивают меня только *свои* люди. А у нас и чужих знакомых почти нет. В прошлый раз я перенес это как острую болезнь. Дошел накануне Надиного приезда до того, что хотел явиться в любую больницу. Цеплялся за людей. Сидел часами в чужих местах (в учреждении, среди рабочего дня) — лишь бы быть около кого-нибудь.

Я тогда заклялся, что больше этого не перенесу. Потом остается глубокий след.

Это заболевание имеет много глубоких причин. Что делать? Вся надежда на ваш приезд. В остальном — я совершенно нормальный человек. Поверьте, что я не буду вам в тягость и вы даже не догадаетесь, не поверите мне, какую услугу вы оказываете мне и Наде.

Побыть со мной придется минимум две недели. Бытовые условия будут хорошие. Уютнейшая комната. Славная хозяйка. Лестницы нет. Все близко. Телефон рядом. Центр. Весна в Воронеже чудесная. Мы даже за город с вами поедем.

А без вас — болезнь и невыносимое по остроте и физическое и психическое состояние.

Я прошу вас не замалчивать моего письма. Прошу ответить на него немедленно телеграммой. Письмо покажите Евг<ению> Яковлевичу и Шуре. Они вам помогут выехать.

Крепко верю в ваше желание нам помочь.

Ваш Ося.

О. Э Мандельштам — Е. Я. Хазину
<№ 4. 10 апреля 1937 г., Воронеж>

Дорогой Евгений Яковлевич!

Еще раз вам сообщаю, что Надя больна. Ежедневная температура 37,6—9, очень резкое исхудание. Кроме того, ежедневно по нескольку часов резкие боли в области печени, принуждающие лежать.

Как это ни странно, врачу Надя не показывалась. Чуть ей лучше — забывает. А большей частью нет 20 рублей на профессора, а в амбулаторию ходить не стоит: мы знаем, как там внимательны.

До последнего дня Надя температуру от меня скрывала или неправильно объясняла.

Денег у нас на 2—3 дня еще есть. То есть попросту 25 рублей. Какое же тут лечение? 10 р. в день на двоих — это минимум, *исключающий* всякую диету, режим, платного врача и т. д. Что же делать?

Завтра я думаю свести Надю к профессору. Что же касается до Москвы — страшно ее отпускать. Боюсь, как бы не расхворалась, не слегла и мы бы не очутились отрезаны друг от друга. Прежде всего я выясню, *что* с Надей и что ей *объективно* требуется, и срочно вам сообщу — без всяких «скидок» на наше положение. А пока что сообщаю одно: больничная клиническая помощь в Воронеже *неприемлема* (кроме хирургической). Больницы (терапевтические) переполнены. Как мне говорил пр<офессор> Герке — иногда дают в день до 12 *отказов* острейшим больным (восп<аление> легких и т. д.) и *ни одного приема*. Лежат в коридорах. Индивид<уальный>уход — минимальный. Значит — или дома, в воронежск<ой>комнате — или отправить куда-нибудь на серьезное настоящее лечение. Я прошу вас немедленно поговорить с кем-нибудь из Надиных подруг, нельзя ли *ради нее*, забыв обо мне, серьезно ей помочь. Сделайте это, не дожидаясь диагноза. Состояние так или иначе очень плохое. Образ жизни исключает всякие шансы на поправку. Виды на будущее — скорее *отрицательные*. Не лишнее вам сообщить, что на днях получил от «Знамени» письмо, вполне товарищеское, но с отклонением стихов. Это весьма отрадно. Потому что явилось просветом в беспредельной покинутости. *Может, это хоть немного подымет ваше настроение и поможет вам что-нибудь предпринять для Нади*. Поговорить *только о ней*.

В Воронеже мы начисто изолированы. С 13 числа средства на жизнь, то есть чай, хлеб, кашу, яичницу — иссякают. Занять не у кого. Надо думать только о Наде. Я готов, как вам уже говорил по телефону, расстаться с ней на какой угодно срок ради подлинного ее лечения, но не ради деловой поездки, *которая ей не под силу и может кончиться нашим с ней разобщением*. Так как Надя похожа сейчас на свою тень. *И я не преувеличиваю*. Прошу вас поговорить с кем-нибудь из авторитетных людей. И дать мне телеграмму, получив это письмо. Я знаю, вы и в Москве беспомощны. *Но все-таки это Москва*. И этим все сказано.

На Надю же сейчас нельзя возлагать никакого бремени. Ее активность сама собою прекращается.

Жду вашего ответа: предварительной ориентировочной телеграммы. Ваш О. Мандельштам.

P. S. Еще сегодня я просил Шуру ускорить Надин отъезд и выезд В<еры> Як<овлевны>. Но после этого узнал о *постоянном* повышении температуры — и в связи с общей слабостью Нади понял, что ехать ей *нельзя*.

Эта *непоследовательность* не должна снижать в ваших глазах серьезность моих сообщений. Здоровье Нади, вернее ее болезнь, весьма и весьма запущена, потому что все кажется: ничего нельзя сделать (она же *все* и делает?!). Но сейчас надо сделать для нее буквально невозможное.

О. Э. Мандельштам — Н. Я. Мандельштам
<№ 5. 22 апреля 1937 г., Воронеж>

Родная Надинька!

Это второе мое письмо. Я, конечно, дурак — не так ли? — но я не понимаю, чего ты ждешь в Москве. Ну и пусть не понимаю. А если ты сидишь в Москве,

значит, нужно. Этот раз твой отъезд переношу трудно, но спокойнее. Мама твоя очень помогает — всем своим существом, вплоть до раздражающих моментов. Все это отрезвляет и прикрепляет к жизни. Мы не ссоримся. Я очень молчалив и ничего не могу поделать, хотя знаю, что ей это неприятно. Много времени на воздухе. Хожу один возле дома. Стихи мои, наверное, гораздо хуже прежних. Ты не скрывай. Беда не велика. Перескочим через них. Будем жить — так и стихи будут. Здоровье мое хорошо, если бы не одышка. Но это настолько серьезно, что я могу т о л ь к о с тобой и при тебе. Вторая поездка меня очень смущает. А при тебе и одышка гораздо легче. Впрочем, от воздуха облегчение несомненное. Читать почти не могу. Всякая книга неприятна. И читать могу только при тебе. Вопрос ясен: можем ли мы быть вместе? Остальное, по-моему, неважно. Никто не заходит. И Наташа была всего 2 раза.

Снова я равнодушен ко всему, кроме твоего приезда. Выясни свою болезнь. Как можно тщательнее. Неделя кажется мне огромным сроком. Писем твоих нет. Голос твой звучит так, будто из недели выйдут две и т. д.

Не считай моего письма упадочным.

Просто ты уехала и я притих. Все, что мы с тобой говорили, правильно. Мы совсем не слабые люди. И в очень трудную минуту сумеем поступить так, как нужно. Не рассчитывай на телефон. Москвы почти не дают. Каждый звонок — случайность. В случае заминки — телеграфируй несколько слов. Шуре скажи: «То, что он не ответил на мое письмо, непоправимо — может больше не тревожиться». Обязательно точно передай.

Ну до свиданья, мой родной друг. Жду тебя, Люблю тебя.

Твой Ося. Няня.

О. Э. Мандельштам — Н. Я. Мандельштам
<№ 6. 26 апреля 1937 г., Воронеж>

26 апр.

Надик здравствуй!

Мои новости: утром купаться ходил. От петуха раму вставили. Мама уступила мне заварку чая и обещала не трогать электр<ическую> машину, которая в великой опасности. Трещит и пахнет разноцветным жареным. Подметку мне армянин гвоздиком подбил. Держится. Не верь, когда хвалят гладкие стишки. Хвалитель у них мелкий. Сады у нас зеленеют. Очень хорош — через задворки — соседний. Я там много брожу. Вообще стал сильный ходок. Небольшие маршруты гуляю один. Внешность — послекурортная. С деньгами: осталось 40 р. Долгов нет. Пел<агее> Гер<асимовне> дал вперед 30 р. Девочка Рая пришла с жалобной запиской. Ей — 5 р. Из 4 телефонов — 3 срочные. Утром — всегда срочные. Вот почему мало денег. Да еще прачке 5 р. Да сапожнику 4 р. Да признаюсь у Эмминой мамы взял вначале 15 р.— так и не отдал. Вот это плохо.

Надик, ты кроме дел в Москве живи. Смотри картины. Все что я хочу видеть — ты смотри. Даже в театр для курьеза пойди. Не скучай. Так или иначе чтоб приехала освеженная. Ты что написала: «здесь» и зачеркнула. Кто что — здесь, т<о> е<сть> в Москве?

Вчера снова водил маму в концерт. Она сидела в ложе бенуара и была горда. Удивлялась, что так легко дали контрамарку. Последние дни она совсем спокойна и уютна.

Извел бутылку одеколона (с мамой вместе). Ячмень в сухом виде остался. Глаза здоровые (если без очков). Теперь нет пыли. А то висели над степью космические тучи. Мама сегодня чинила брюки. Интересно и безобразно. Прошу тебя ничем не обольщаться. За подарки спасибо. Целую мою родненькую и жду ее.

Ося.

Шурика целую. Ему подарок чтоб — от меня. Спроси его наедине. Он скажет — что.

Мама кричит: «Вы мне надоели» и рвется одна опускать письмо. Я стремлюсь за ней.

О. Э. Мандельштам — Н. Я. Мандельштам
<№ 7. 28 апреля 1937 г., Воронеж>

Надик, дитенок мой!

Что письмо это тебе скажет? Его утром принесут или вечером найдешь? Так доброго утра, ангел мой, и покойной ночи и целую тебя сонную, уставшую или вымытую, свеженькую, деловитую, вдохновенно убегающую по таким хитрым, умным, хорошим делам. Я завидую всем, кто тебя видит. Ты моя Москва и Рим и маленький Давид. Я тебя наизусть знаю и ты всегда новая и всегда слышу тебя, радость. Ау? Надинька!

А у нас тишь да гладь. И только я тихо киплю. Мне весело. Я жду тебя. Я ничего не хочу, кроме тебя.

Я тебе петуха-красавца покажу, который восклицает 300 раз от 4 до 6 утра. И котенок Пушок всюду бегает. И вербочки зеленые.

Подметка чуть отстает уже на гвоздиках. Но дня 3 прохожу. Долгов у нас нет. Мы не растратчики. Только телефон много съел. Продержимся до 2-го мая. Вчера я гулял с Наташей в парке. Очень далеко забрались, дальше того павильона. Оттого подметка отвалилась.

Я видел на улице «дядю Леню», который воскрес и задыхаясь бегает. Я ему давал медиц<инские> советы, как товарищ по болезни.

На самом же деле я сейчас на редкость здоров и готов к жизни. Мы ее начнем, куда бы и где бы ни бросила судьба. Сейчас я буду сильнее стихов. Довольно им помыкать нами. Давай-ка взбунтуемся! Тогда-то стихи запляшут по нашей дудке и пусть их никто не смеет хвалить. Целую твои умные, ясные глаза, твой старенький молоденький лобик. Мама временами остроумна. Ей начинает нравиться наша жизнь. Какой ужас! Надик, приезжай к нам и не отпустим маму. Целую детку мою и жду.

Няня.

Ты не обидишься, что лобик стареньким назвал?

О. Э. Мандельштам — Н. Я. Мандельштам
<№ 8. ...апреля 1937 г., Воронеж>

Родная доченька Надик,

Сейчас пришли твои сто рублей. А у нас все на 1 мая и уже куплено. Новость: курица клюнула маму в щеку и поцарапала. Чуть-чуть. Сегодня я сам стоял в бакалейной очереди, а маму усадил на улице на скамейку.

Утром отправил тебе выписку из статьи О. Кретовой в Коммуне от 23 апреля и заявление мое Ставскому в Союз Пис<ателей> по поводу воронежцев.

На всякий случай посылаю в адрес Евг<ения> Як<овлевича> вторую выписку и сокращенное заявление в Союз Сов<етских> Пис<ателей>.

Не знаю, как быть с обувью? Спрошу тебя. Будущее меня не смущает.

Приезжай не позже 6-го.

Можно и без денег.

С о в е р ш е н н о в с е р а в н о.

Бесконечно тебя жду.

Твой Ося.

О. Э. Мандельштам — Н. Я. Мандельштам
<№ 9. 2 мая 1937 г., Воронеж>

Родная Надинька!

Прости, что пишу на обороте твоих списков. Сохрани листки и привези. Для общезначимости пришлось приписать Наташе старшего брата и сестру, а также постулировать характер будущего мужа. Но то, что я ее уговариваю выйти замуж — это вполне реально.

Как видишь, я занимаюсь вздором и далек от мрачных мыслей. Впрочем, день на день не похож. Сегодня утром мы с мамой пошли искать туфли на улицу Сити. (Syty street)? Так? Я купил страшные синие — 25 р. К ним я хотел купить зеленые носки (при коричневых брюках), но мама не позволила. При этом старик приказчик поговорил со мной о музыке (концертный знакомец).

Неужели нашлись любители на «Солдата»? Я хочу поблагодарить лично этих добряков. У нас испортился штепсель от машинки и Адр<иан> Фед<орович> приделал к ней сложную висюльку, которая тоже портится. Но свет вообще отсыхает и я пишу при лампе и свече.

Родненькая, прости, что я болтаю, когда ты накануне напряженья и т. д. Мне кажется, что мы должны перестать *ждать*. Эта способность у нас иссякла. Все, что угодно, кроме ожиданья. Нам с тобой ничего не страшно. (Свет зажегся.). Мы вместе бесконечно и это до такой степени растет, так грозно растет и так явно, что не боится *ничего*. Целую тебя, мой вечный и ясный друг. Увижу тебя скоро, увижу и обниму.

Твой муж. Няня.

О. Э. Мандельштам — Н. Я. Мандельштам
<№ 10. 4 мая 1937 г., Воронеж>

Надик родной!

Приезжай поскорей. Дышать без тебя трудно. Весна не в радость. Приезжай скорей. Сегодня пришли два твоих письма от 29 и 30. У тебя сразу трое гостей. Почти как дома. Казалось, что я тоже? Да? И что ругаю Эмму. Ты меня дураком не ругай: я все понимаю — только очень глупый. Детка моя, ты минуты лишней не останешься, в крайнем случае еще поедешь(?) *Нет, не поедешь!* Неопределенно ты сидеть не будешь. Если переговоры примут бесформенный характер. Мне кажется, то, что можно и хотят — сделают *сразу*.

Вчера ночью я сбежал от мамы, как испанка от старой дуэньи. В 12 ч. в окно постучали Наташа и ее Борис. Мама спала. Я тайно выкрался и пошли в Бристоль. Борис поставил на троих одну свиную котлету, три апельсина и бутылку Бордо. Я принес маме апельсин и положил под подушку. Она проснулась и сказала: Я не маленькая. Она *не заметила*, что я уходил. Только что пришло письмо от Рудакова. Разобрал его с колоссальным трудом. Он пишет (кажется?), что стихи неровные и что передать это можно только в разговоре. Большое новое идет от стихов о русской поэзии? Да? Сейчас был в книжном магазине — большом. Там изумительные «Металлы Сассанидов» Эрмитажа. 50 р. Добрая продавщица мне отложила. Как видишь, я сумасшедший дурак. А эти блюдечки персов мы все-таки купим. Такие уж мы уроды. Деточка, приезжай скорей — Няня без тебя задыхается. Он больше не может мотаться и ждать. Ау? Надик? Ау? скорей.

Няня.

О. Э Мандельштам — Н. Я. Мандельштам
<№ 11. 4 мая 1937 г., Воронеж>

Второе письмо

Надик солнышко!

Только пришел домой и сочинил безделицу. Ее прилагаю. Горько и пусто мне сочинять без тебя. Мама — равнодушна к «квакушам», «Наташу» хвалит, «черемуху» промолчала.

Дней 10 назад я поссорился с хозяйкой (я кричал о петухе в пространство: она приняла пафос на свой счет) (очень деликатно, но все же она говорила кислые слова) из-за петуха. Все это забыто. Деликатность удивительная. Денег не брала. Терпенье сверх меры.

По поводу же нападенья курицы на маму. Никакой царапины серьезной нет. Шрам заживает. Чорт знает какой вздор пишу. Гоголь такого не выдумает.

Солнышко мое, если тебя неудача постигнет, умоляю тебя, приезжай веселая. Помни, что нам с тобой отчаиваться стыдно. Кто его знает, что будет? Что-нибудь... Переживем... Вот как, дитя мое.

И еще умоляю, если задержишься: не отказывай себе. Не балуй нас. Целую тебя, мою родную.

Няня твоя.

О. Э. Мандельштам — Н. Я. Мандельштам
<№ 12. 7 мая 1937 г., Воронеж>

Надик, дитя мое родненькое!

Вчера пришло твое письмо от 4-го, сегодня от 2-го. Детка, да тебе там делать нечего. У тебя Москва пустая? Куда ты тычешься? А я совсем скис. И стихи побросал. И места себе не нахожу. Телефон взяли сегодня вечером под радио, а то бы услышал голос твой. Не хочу новостей. Хочу Надин голос. Последние дни я почти свободно выхожу один, изумляя воронежцев своей одинокой фигурой. Вчера раскачался даже к Наташе. Только в трамвае № 3 чуть-чуть испугался. На сватовские стихи Наташа говорит, что они «что-то знакомое — вроде Лермонтова», то есть вторичны и литература. Маленький парк ценит. А «железо» — это и есть железо. Она работает сейчас по 10 часов и почти не заходит. Мы с мамой абсолютно одни. Мы да кошка с сыном. Мама разучилась со мной ссориться. Царапина от куриной лапы почти исчезла. Мама постирала мне синюю рубашку и твое бельишко. На персов я только облизываюсь. Ничему хорошему не верю. Так лучше. А твоя звездочка — чу-чу — очень как хороша. Все больше. Надик, привези мою прозу. Если будем жить — выучи меня англичанам. 75 р. пришли сегодня. Прошлый раз телеграфист пил у нас чай. Надик, от письма легче: начинаю болтать и улыбаться.

Я жду тебя, моя жена, моя дочка, мой друг. Скорей, скорей.

Твой Няня.

Сейчас пойду *сам* опущу письмо около «Коммунны».

О. Э. Мандельштам — В. П. Ставскому
<№ 13. Июнь 1937 г., Москва>

Уважаемый тов. Ставский!

Вынужден вам сообщить, что на запрос о моем здоровьи вы получили от аппарата Литфонда *неверные* сведения.

Характеристика: «средне-тяжелый хронический больной» не передает состояния.

По существу это значит «*не безнадежный*» — и только.

Эти сведения резко противоречат письменным справкам *пяти* врачей от Литфонда и районной городской амбулатории.

Прилагаю подлинные документы и ставлю вопрос: хочу жить и работать; стоит ли сделать минимум реального для моего восстановления?

Если не теперь — то когда?

О. Мандельштам

P.S. Фактически по медицинской линии Литфонда произошло следующее: меня обследовали (в течение трех недель), причем врачи нашли *тяжело* больным и — постановили воздержаться от лечебной помощи.

Даже ряд исследований, предписанных проф<ессором> Роменковой (терапевт) не был произведен. Окончательный диагноз не поставлен. Меры к лечению не указаны. В лечебной помощи отказано.

О. Э. Мандельштам — Б. С. Кузину
<№ 14. 26 февраля 1938 г., Москва>

26.II.1938

Дорогой Борис Сергеевич!

Хочу написать Вам настоящее письмо — и не могу. Все на ходу. Устал. Все жду чего-то. Не гневайтесь. Пишите сами и простите мою немоту. Очень устал. Это пройдет. Скучаю по вас.

О.М.

О. Э. Мандельштам — В. П. Ставскому
<№ 15. Начало марта 1938 г.>

Уважаемый тов. Ставский!

Сейчас т. Луппол объявил мне, что никакой работы в Госиздате для меня *в течение года нет* и не предвидится.

Предложение, сделанное мне редактором, т<аким> о<бразом> снято, хотя Луппол подтвердил: «мы давно хотим издать эту книгу».

Провал работы для меня очень тяжелый удар, т. к. снимает всякий смысл лечения. Впереди опять разруха. Жду Вашего содействия — ответа.

О. Мандельштам

О. Э. Мандельштам — Б. С. Кузину

<№ 16. 10 марта 1938 г., Саматиха>

10.III.1938.

Дорогой Борис Сергеевич!

Вчера я схватил бубен из реквизита Дома отдыха и, потрясая им и бия в него, плясал у себя в комнате, так на меня повлияла новая обстановка. «Имею право бить в бубен с бубенцами». В старой русской бане сосновая ванна.

Глушь такая, что хочется определить широту и долготу.

Сборы были огромные. Очень трогательное расставание с калининскими хозяевами.

С собой груда книг. М<ежду> пр<очим> весь Хлебников. Еще не знаю, что с собой делать. Как будто еще очень молод. Здесь должно произойти превращение энергии в другое качество. «Общественный ремонт здоровья» — значит от меня чего-то доброго ждут, верят в меня. Этим я смущен и обрадован. Ставскому я говорил, что буду бороться в поэзии за музыку зиждущую. По мне небывалое доверие ко всем подлинным участникам нашей жизни и волна встречного доверия идет ко мне. Впереди еще очень много корявости и нелепости,— но ничего, ничего не страшно! Чуть-чуть не сделался переводчиком. Давали дневник Гонкуров. Потом раздумали. Ничего пока не дали.

Любопытно: как только вы написали о Дворжаке, купил в Калинине пласт <инку>. Слав<янские>танцы № 1 и № 8 — действительно прелесть. Бетховен<ская> обработка народных тем, богатство ключей, умное веселье и щедрость.

Шостакович — Леонид Андреев. Здесь гремит его 5-я Симфония. Нудное запугивание. Полька Жизни Челов<ека>. Не приемлю. Не мысль. Не математика. Не добро. Пусть искусство: не приемлю. Здравствуйте же и до свидания.

Еще поговорим.

О.М.

О. Э. Мандельштам — А. Э. Мандельштаму и Н. Я. Мандельштам

<№ 17. Октябрь 1938, Владивосток>

Дорогой Шура!

Я нахожусь — Владивосток, СВИТЛ, 11-й барак. Получил 5 лет за к. р. д. по решению ОСО. Из Москвы, из Бутырок этап выехал 9 сентября, приехали 12 октября. Здоровье очень слабое, истощен до крайности, исхудал, неузнаваем почти, но посылать вещи, продукты и деньги не знаю, есть ли смысл. Попробуйте все-таки. Очень мерзну без вещей.

Родная Наденька, не знаю, жива ли ты, голубка моя. Ты, Шура, напиши о Наде мне сейчас же. Здесь транзитный пункт. В Колыму меня не взяли. Возможна зимовка.

Родные мои, целую вас.

Ося.

Шурочка, пишу еще. Последние дни я ходил на работу, и это подняло настроение.

Из лагеря нашего, как транзитного, отправляют в постоянные. Я очевидно попал в «отсев», и надо готовиться к зимовке.

И я прошу: пошлите мне радиограмму и деньги телеграфом.

Н. Я. Мандельштам — О. Э. Мандельштаму

<№ 18.> 22 октября 1938 г., Москва

Ося, родной, далекий друг! Милый мой, нет слов для этого письма, которое ты, может, никогда не прочтешь. Я пишу его в пространство. Может, ты вернешься, а меня уже не будет. Тогда это будет последняя память.

Осюша — наша детская с тобой жизнь — какое это было счастье. Наши ссоры, наши перебранки, наши игры и наша любовь. Теперь я даже на небо не смотрю. Кому показать, если увижу тучу?

Ты помнишь, как мы притаскивали в наши бедные бродячие дома-кибитки наши нищенские пиры? Помнишь, как хорош хлеб, когда он достался чудом и его едят вдвоем? И последняя зима в Воронеже, наша счастливая нищета и стихи. Я помню, мы шли из бани, купив не то яйца, не то сосиски. Ехал воз с сеном. Было еще холодно, и я мерзла в своей куртке (так ли нам предстоит мерзнуть: я знаю, как тебе холодно). И я запомнила этот день: я ясно до боли поняла, что эта зима, эти дни, эти беды — это лучшее и последнее счастье, которое выпало на нашу долю.

Каждая мысль о тебе. Каждая слеза и каждая улыбка — тебе. Я благословляю каждый день и каждый час нашей горькой жизни, мой друг, мой спутник, мой слепой поводырь...

Мы как слепые щенята тыкались друг в друга, и нам было хорошо. И твоя бедная горячечная голова и все безумие, с которым мы прожигали наши дни. Какое это было счастье — и как мы всегда знали, что именно это счастье.

Жизнь долга. Как долго и трудно погибать одному — одной. Для нас ли — неразлучных — эта участь? Мы ли — щенята, дети — ты ли — ангел — ее заслужил? И дальше идет все. Я не знаю ничего. Но я знаю все, и каждый день твой и час, как в бреду, — мне очевиден и ясен.

Ты приходил ко мне каждую ночь во сне, и я все спрашивала, что случилось, и ты не отвечал.

Последний сон: я покупаю в грязном буфете грязной гостиницы какую-то еду. Со мной были какие-то совсем чужие люди, и, купив, я поняла, что не знаю, где ты.

Проснувшись сказала Шуре: Ося умер. Не знаю, жив ли ты, но с того дня я потеряла твой след. Не знаю, где ты. Услышишь ли ты меня. Знаешь ли, как люблю. Я не успела тебе сказать, как я тебя люблю. Я не умею сказать и сейчас. Я только говорю: тебе, тебе... Ты всегда со мной, и я — дикая и злая, которая никогда не умела просто заплакать,— я плачу, я плачу, я плачу.

Это я — Надя. Где ты?

Прощай. Надя.

* * *

Мандельштам никогда не вел «серьезной» переписки, «с расчетом» на заключительные тома собрания сочинений. Его эпистолярия — домашнее, семейное, дружеское дело. Среди писем, сохранившихся в архиве поэта, большинство адресовано жене.

Мемуаристы дружно пишут о неразлучности Осипа Эмильевича и Надежды Яковлевны, но это скорее впечатление, нежели реальность. На деле им нередко приходилось жить порознь. Во второй половине 20-х годов — из-за вялого туберкулеза Надежды Яковлевны, на месяцы «загонявшего» ее в крымские пансионы. Подолгу отсутствовала Надежда Яковлевна и в Воронеже — проверка «тайников» со стихами, поиски хоть какой-нибудь работы, лечение и борьба за брошенную квартиру требовали ее присутствия в Москве. В такие недели Мандельштам не находил себе места и писал ей иной раз и дважды в день, чуть ли не ежедневно бегал на переговорный пункт, «прозванивая» львиную долю своих скудных средств. Его письма жене — это не «эпистолярный роман» и не лирический дневник, это описание каждодневных забот и происшествий, удач и неудач, «московские» наставления и просьбы, это попытка продолжить существование вместе с любимым человеком, невзирая на разлуку. Это проявление человеческого единения на той высокой стадии, когда между любовью и жизнью уже нет границы, нет рубежа.

...Воронеж, весна тридцать шестого года. 13 апреля, возвращаясь из театра домой, Мандельштам упал на улице без чувств: очередной сердечный приступ. 27 мая состоялся консилиум при 1-ой поликлинике. О нем пишет Надежда Яковлевна в письме Пастернаку, кажется, никогда еще даже не цитировавшемся

(оно сохранилось в копии С. Б. Рудакова): «<...> О. Э. признан нетрудоспособным и направлен в Комиссию по инвалидности. Будет признан инвалидом. Эта комиссия должна была иметь медицинский, лечебный характер. Но на самом деле это было издевательством. Мне не ответили ни на один вопрос мед. характера, чтобы не взять на себя обязательств. Мне предложили в случае сердечных припадков обратиться к детскому врачу, который прыскает камфару. И рекомендовали регулярно ездить в психиатрическую проверять состояние. Это очень любезно. Дело в том, что все эти врачи в отдельности говорили о наличии склероза сосудов мозга и о необходимости немедленного лечения, режима и т. д. Фактически О. Э. без медицинской помощи. Кажется, медицина только страхуется. Частные врачи не хотят такого пациента. <...> Через неделю О. Э. будет признан инвалидом. Это почетное звание. Он может спокойно умирать. Так полагается инвалидам. Он будет получать 8 р. 63 коп. инвалидного пособия. Он может торговать папиросами — инвалидное право. А Союз писателей честно<нрзб.> рекомендует М. зарабатывать на собственное лечение. **И выезд из области отказан.** Врачи молчат, потому что в области нет лечебных заведений нужного типа. Все очень прилично. При всеобщей пассивности — вполне сознательной и твердой — Осю обрекают на смерть...»

16 июня правление Воронежского отделения ССП «слушало» заявление Н. Мандельштам о «полной нетрудоспособности» О. Мандельштама и «отсутствии у него средств к существованию». Решение правления: «Поручить зам. пред. ССП т. Кретовой сообщить Н. Мандельштам о том, что отделение ССП не правомочно решать вопросы о пенсиях, поэтому Мандельштам надлежит обратиться в правление ССП СССР и Литфонд СССР, переслав в их адрес все необходимые документы и заключение медицинской комиссии. Принять к сведению информацию т. Кретовой, что о положении Мандельштама сообщено тт. Щербакову и Марченко воздушной почтой и телеграфом». В эти дни умирал М. Горький и Мандельштам позвонил С. Н. Стоичеву (председателю правления местного ССП), попросив «в дни тревоги за Горького снять мандельштамовский вопрос».

Мандельштаму пошли навстречу. «Мандельштамовский вопрос» был снят, да так основательно, что с 1 августа он в театре более не служил, не стало работы и у жены, так что непонятно было, где и на что жить осенью. Об этом — в открывающем настоящую публикацию письме Н. Я. Мандельштам Нине Николаевне Грин, вдове А. Грина. Письмо послано из Задонска, маленького городка под Воронежем, где в то лето на деньги, присланные Пастернаком и Ахматовой, и гонорар за перевод поэмы В. Пшавела «Гоготур и Апшина» удалось снять жилье. В начале сентября Мандельштамы вернулись в Воронеж. Из комнаты в квартире со всеми удобствами в «итээровском» доме по улице Энгельса, где они жили, той же осенью им пришлось перебраться в последнее свое в Воронеже местожительство — по ул. 27 февраля, дом 50, кв. 1. Там была комната в крошечном одноэтажном доме, принадлежавшем портнихе местного театра (с нею жила старушка-мать и сын-второклассник Вадим). Удобства на дворе, печка. В комнате два небольших окна — во двор и на улицу, точнее, на площадку вокруг огромного тополя. Окно было низким, на полметра от земли, и весной Мандельштама изводил петух — казалось, он кукарекает прямо в ухо.

Зима 1936—1937 гг. была чрезвычайно тяжела. Но Мандельштам ответил на все испытания мощным взрывом поэтической энергии. Все эти зимние, снежные месяцы — с декабря по март — не только мучительная, но и счастливая пора напряженного и радостного труда. Именно тогда были созданы вторая и третья «воронежские тетради» — «Стихи о неизвестном солдате» и многие другие.

23-го апреля в городской газете «Коммуна» выходит огромный подвал под девизом: «К 5-летию постановления ЦК ВКП(б) о перестройке литературно-художественных организаций». Подписанная уже известной нам О. Кретовой статья называлась «За литературу, созвучную эпохе!». После перечисления успехов и достижений местных писателей в ней говорилось: «В течение последних лет с областной писательской организацией пытались сблизиться и оказать свое влияние троцкисты и другие классово-враждебные люди: Стефен, Айч, О. Мандельштам. Но они были разоблачены писательской организацией»... А «разоблаченный троцкист» в эти дни — писал и правил стихи: «Я к губам подношу эту зелень — Эту клейкую клятву листов...»

О статье Кретовой Мандельштам узнал только через неделю! И этот факт говорит о степени его изоляции более всяких признаний. В тот же день он отправил жене для передачи председателю ССП Ставскому свое заявление-протест «против безответственного обращения с моим именем Воронежского обл. отд. Союза» — «но если Ставский найдет, что не стоит поднимать вопроса по вздорному поводу, я соглашусь. Я не склочник».

Бедный Осип Эмильевич! Он и не подозревал, конечно, что ищет защиты у своего будущего палача. Не пройдет и года, как Владимир Петрович Ставский (Кирпичников) — так сказать, наследник Горького по руководству советскими писателями, обратится к наркому Ежову с просьбой защитить их, советских писателей, от разыгрывающего из себя «гения» и «страдальца», а на самом деле автора похабных антисоветских агиток в прошлом и лишенных особой ценности нынешних стихов: «Еще раз прошу Вас помочь решить этот вопрос об О. Мандельштаме. С коммунистическим приветом В. Ставский».

В мае 1937 года пришел черед прощаться с Воронежем. Впереди у поэта оставалось полтора года жизни — полтора года дыхания, полтора года зрения и осязания, полтора года творчества. Москва... Савелово... Калинин, наезды в Москву и Ленинград... Саматиха...

А потом — 2-го мая 1938 года — арест, Лубянка, упрощенный допрос, переполненные Бутырки, скотный вагон, разъезд «Вторая речка» прямо у океана и завшивленные бараки пересыльного лагеря.

И — в октябре 1938 года — последнее в жизни письмо, письмо домой, брату: «Ты, Шура, напиши о Наде мне сейчас же». Но ничего он уже не узнал о своей Наде, о своем «вечном и ясном друге»... В архиве И. М. Семенко сохранилось описание этого письма. «Два неровно обрезанных листа желтой оберточной бумаги, приблизительно в 1/4 листа. Написано простым карандашом. Конверт самодельный, из той же бумаги. Чернильный карандаш почти стерт. Адрес: Москва <пропуск в описании.— П. Н.> Александру Эмильевичу Мандельштаму. Два штампа «доплатить» (конверт без марки). Штамп «Владивосток 30-11-38» и «Москва 13-12-38». Но написано оно было скорее всего в октябре. И кто знает — не в тот ли день или ночь — 22 октября, когда, откликаясь на далекий, но явственный зов, на таких же «двух листках дрянной бумаги» написала и Надежда Яковлевна свое последнее письмо мужу? Написала, да так и не отправила, отложила до грядущей встречи, в которой она никогда не сомневалась...

* * *

Письма О. Э. Мандельштама жене, ее брату — Е. Я. Хазину и матери — В. Я. Хазиной, а также письмо В. П. Ставскому 1937 г. печатаются по фотокопиям оригиналов из архива поэта (подлинники находятся в библиотеке Принстонского университета в США). Письмо Н. Я. Мандельштам Н. Н. Грин дается по архиву А. С. Грина (ЦГАЛИ, ф. 127, оп. 2, ед. хр. 49), письма О. Э. Мандельштама Б. С. Кузину— по журналу «Вопросы истории естествознания и техники», 1987, № 3 (публ. М. Давыдова и А. Огурцова), письмо 1938 г. В. П. Ставскому — по архиву Союза советских писателей (ЦГАЛИ, ф. 631, оп. 15, ед. хр. 294(2), л. 113). Письмо О. Э. Мандельштама из лагеря впервые в СССР было опубликовано в «Новом мире», 1987, № 10 (публ. Е. П. Зенкевич). Последнее письмо Н. Я. Мандельштам заключает ее «Вторую книгу» (Париж, 1972; Москва, 1990). Датировки некоторых писем уточнены. Слова, подчеркнутые в письме один раз, даются разрядкой, два и более раз — жирным шрифтом.

Подготовка текстов С. Василенко и Ю. Фрейдина (№№ 2—5, 7—13) и П. Нерлера (№№ 1, 6, 14—18). Послесловие П. Нерлера

Публицистика

Б. Раушенбах

РЕЛИГИЯ И НРАВСТВЕННОСТЬ

Сегодня вопросы религии, ее места в современном обществе, ее роли в нем, ее поразительной «живучести» привлекают всеобщее внимание и заставляют по-новому взглянуть на нашу историю. Почти семьдесят лет религиозное мировоззрение подвергалось в нашей стране ожесточенным атакам. Бесчисленные пропагандисты доказывали научную несостоятельность религии, ее вредность, ее неизбежную гибель. Религию называли «пережитком» (это слово вошло даже в старый устав партии), показывая тем самым, что конец ее близок, что она умрет вместе с последними заблуждающимися — дряхлыми старушками.

Правда, сначала воинствующие безбожники, а затем сменившие их научные атеисты, бодро рапортуя о своих успехах, прекрасно понимали, что пропаганда, которую они ведут, не достигает цели. Поэтому стали применять и применяли до последнего времени более действенные меры в отношении исповедующих религию.

В 20-е и 30-е годы ссылали в лагеря и расстреливали ни в чем не виноватых христианских священнослужителей и просто верующих (мусульманам и буддистам приходилось не легче), закрывали и разрушали церкви (как при этом добивались, чтобы акты такого вандализма совершались якобы по требованию населения,— хорошо известно). Публично на площадях сжигали иконы (то есть произведения искусства, восстановить которые невозможно). Искусствоведов, протестовавших против этого разгула невежества, отправляли «на перевоспитание» в лагеря (пример тому — судьба замечательного реставратора П. Д. Барановского).

После войны, особенно после «хрущевской оттепели», несколько смягчились формы государственного преследования религии — не стало расстрелов и костров. Но по-прежнему насильно закрывали церкви, религиозным общинам без каких-либо оснований отказывали в регистрации, а следовательно, запрещали их; людям мешали исполнять религиозные обряды (например, родителей, крестивших ребенка, сурово «прорабатывали» по месту службы); ввели (в отличие от ФРГ в ханжески замаскированной форме) запреты на профессии — например, учителем (даже математики) не мог быть верующий. Саму же Церковь лишили возможности делать то, что требует ее учение,— творить милосердие. По остроумному замечанию одного современного архиерея, мы были единственной страной, в которой закон запрещал творить добро. Если ко всему сказанному добавить, что любая форма проповеди религиозных представлений вне стен церковных храмов преследовалась в уголовном порядке, то, казалось бы, победа «научного» атеизма была обеспечена. Но едва лишь люди получили свободу, как стало очевидным, что расстрелы, костры, разрушение церквей, преследование религии и верующих, повсеместная пропаганда атеизма в школе, высшей школе, бесчисленных университетах марксизма-ленинизма, в многочисленных книгах и брошюрах (правда, обычно на редкость безграмотных) так ничего и не дали: церковные общины растут как грибы после дождя — возник дефицит церковных зданий, священников, религиозной литературы.

Все это наводит на мысль, что религия имеет какие-то очень глубокие корни и не является «заблуждением», с которым легко может справиться наука. Чтобы обсудить возникающие в этой связи проблемы с научных позиций, обра-

тимся к интенсивно изучаемой сегодня функциональной асимметрии головного мозга человека. Оказалось, что левое полушарие обеспечивает главным образом рациональное мышление, а правое — образное восприятие мира. Принадлежность того или иного человека к «физикам» или «лирикам» зависит, по-видимому, и от того, какое из полушарий у него доминирует. Конечно, это деление не абсолютно. Такие гении, как Леонардо да Винчи и Гете, например, достигли выдающихся успехов и в точных науках, где необходимо строго рациональное мышление, и в искусствах, требующих от художника особой эмоциональности и развитого образного мышления. Не только гениям мировой культуры свойственна такая гармония, она может проявляться и у обычных людей. Но, как правило, один из типов мышления все же доминирует — идет ли речь о выдающихся деятелях науки и культуры или о тех, кто не наделен особыми талантами.

Наглядный образ взаимодействия логической и внелогической части нашего сознания можно найти у Гомера. Мне уже приходилось пользоваться этим ярким примером. В «Илиаде» Гектор говорит об ожидающей его трагической судьбе:

> «...Твердо я ведаю сам, убеждаясь и мыслью, и сердцем,
> Будет некогда день, и погибнет священная Троя...»

Для нас важно, что Гектор ведает и мыслью (основываясь на рациональном мышлении), и «сердцем» (опираясь на образные предчувствия). Для дальнейшей античной традиции характерно разделение «мнения», то есть того, что получено посредством чувств, и «знания», имеющего своим источником разум. Для целостного же восприятия мира одинаково свойственны и то, и другое, и пренебрежение одним из них пагубно как для личности, так и для общества.

Религию так же, как искусство, будем относить к той сфере сознания, которую Гектор назвал «сердцем»,— условимся называть ее внелогическим знанием. Оно не опирается на рационально построенные цепочки рассуждений, а возникает сразу. В качестве примера внелогического знания можно привести чувство красоты. Увидев красивый пейзаж, человек з н а е т, что пейзаж этот красив. Это именно знание, ведь оно определяет поведение. Человек, например, откажется возводить здесь какие-либо сооружения, если считает, что они испортят пейзаж.

Может быть, наиболее убедительный пример такого знания дает история космонавтики. Как известно, при старте установленный на ракете космический аппарат для защиты от атмосферных воздействий закрыт головным обтекателем. Поэтому при подъеме ракеты космонавт видит только приборную доску. По выходе ракеты из атмосферы этот обтекатель сбрасывается и космонавт видит в иллюминаторы Землю. Первыми словами Гагарина после этого сброса были: «Красота-то какая!» — слова, не предусмотренные никакими инструкциями.

Внелогическое знание связано, конечно, не только с созерцанием природы. Чувство красоты (иногда говорят о чувстве прекрасного) — необходимый элемент восприятия картин, поэзии, музыки. Здесь уместно отметить особенность такого восприятия — обычно его надо воспитывать. Но воспитание не может быть сведено к обучению каким-то рациональным приемам. Главное — развить ту часть нашей способности понимать мир, которую относят к эмоционально-образному, а не логическому восприятию. К внелогической сфере человеческого сознания принадлежат и такие определяющие поведение чувства, как милосердие, любовь к ближнему, нравственное чувство.

Религия тоже тесно связана с внелогической сферой сознания, она тоже участвует в образовании внелогического знания о мире (и отсюда в определении поведения человека). Однако это положение требует некоторых пояснений. Религия вовсе не ограничивается познанием мира, спектр ее задач много шире, и это хорошо известно. Когда говорят о внелогическом как основе религии, то этим фактически утверждают примат в ней внелогического над рациональным. Лучше всего это утверждение иллюстрируется, пожалуй, полным провалом всех попыток доказать бытие Бога с помощью рационально-логических рассуждений. Внелогическое знание о Боге предшествует, таким образом, богословию. Поэтому, говоря о религии, я буду прежде всего иметь в виду ее внелогическую сущность.

Примат внелогического можно проиллюстрировать, обратившись к поэзии. Поэтическое творчество не сводится к изложению мыслей ритмически и в рифму. Главное в нем — поэтическое чувство, художественный образ, которые невозможно истолковать в терминах рациональной логики. Но это вовсе не означает, что при изучении художественного творчества нельзя прибегать к формально-логическому анализу текста, даже с привлечением компьютеров. Надо только всегда понимать, что рациональной логике отведена в поэзии подчиненная роль. Утверждение, что в поэзии главное не формальные правила стихосложения, а поэтическое чувство, наводит на мысль, что и в религии, в ее основе, лежит внелогическое религиозное чувство. Г. К. Честертон в написанной им биографии Франциска Ассизского очень тонко передал внелогическую сущность глубоного религиозного чувства: «...вера... подобна не теории, а влюбленности».

Чтобы сделать более понятными последующие рассуждения, приведу один пример. В нашей стране за долгие годы поощрения атеистической деятельности и многообразных ущемлений религии появилось много семей, в которых по меньшей мере три поколения жили вне церкви в твердой убежденности, что религия — пережиток прошлого, который умрет по мере распространения научных знаний. Поэтому религиозность представлялась (не только на официальном уровне, но и в семье) признаком недостаточной культуры, недостаточности образования, чем-то почти постыдным. У членов таких семей не возникало даже мысли посетить церковь хотя бы из любопытства.

В одной из таких семей молодой человек, принадлежавший к третьему поколению атеистов, мягко говоря, сбился с пути — бросил институт, пьянствовал, безобразничал, опускался все ниже. Родственники отчаялись повлиять на него. И вот однажды он сообщил, что крестился и, как христианин, начинает новую жизнь. Его слова посчитали дурной выходкой, но молодой человек действительно совершенно изменился — перестал пить, порвал со своими дружками, устроился на работу...

Возникает вопрос о причинах такой метаморфозы, тем более, что известно много случаев неожиданного обращения потомственных атеистов к религии. Можно предположить, что этому молодому человеку с детства было свойственно религиозное чувство, сущности которого он не понимал да и не мог понять в атеистическом окружении. Не имея возможности удовлетворить это чувство, он постоянно испытывал неудовлетворенность жизнью. Эта неудовлетворенность бросала его в сомнительные компании, где он пытался найти «смысл жизни», но не находил его ни там, ни в повседневности. Ему не хватало веры в Бога, чтобы утолить жажду, порожденную религиозным чувством, которое владело им с детства. Об этой вере он не мог услышать ни дома, ни в школе, ни в институте, ни от своих собутыльников. Ему очень повезло, что он встретил человека, понявшего его и указавшего путь к спасению.

Этот и аналогичные случаи свидетельствуют о том, что потребность в религиозной жизни может возникать до всякой веры и как бы «сама собой». Здесь вновь уместна аналогия с поэзией. Некоторые люди рождаются поэтами и всю жизнь (иногда неосознанно) стремятся стать поэтами. Не всем это удается, но каждый из них будет буквально расцветать, соприкасаясь с поэзией. Мы часто говорим о человеке, что у него «большие способности к...» (музыке, математике и т. д.), но почти никогда не говорим о способности к религиозной жизни. На Западе, где религия не преследовалась, прекрасно знают, что есть люди, которые не мыслят жизни без ежедневного контакта с церковью (это обладающие «способностью»), и есть многие, которые считают себя верующими, ходят в церковь, но скорее следуя традиции, чем внутреннему чувству.

Наблюдения эти приводят к мысли, что религиозное чувство (как основа веры), подобно другим способностям, может передаваться генетически. Поэтому точно так же, как великий поэт может родиться в семье, где мало интересуются литературой, глубоко верующий может родиться в семье атеистов. Если религиозное чувство передается генетически, если существует «ген религиозности», то это свидетельствует о «полезности» религии, поскольку только полезное закреплялось в ходе биосоциальной эволюции человечества. Обратившись к заре человечества, мы убеждаемся в том, что «атеистических» племен не было. Все, что известно из этнографии и археологии, говорит о повсеместном распространении разнообразных религиозных представлений. Создается впечатление, что примитивная религиозность давала исповедующим ее племенам преимущества в борьбе за существование сравнительно с «атеистическими» племенами, в результате которой те (если они вообще были) исчезли с лица Земли. Но в этом случае «ген религиозности» был полезен и должен был передаваться последующим поколениям.

В чем причина примитивной религиозности? Обычно говорят о том, что, не умея объяснить явлений природы, часто испытывая перед ними страх, первобытные люди в конце концов давали естественным явлениям фантастические объяснения и пытались с помощью магии воздействовать на некоторые важные для них стороны жизни (магические обряды перед охотой и т. п.). Все это безусловно справедливо, но какая польза может быть извлечена первобытным племенем из всего этого? А если все это только бесполезное суеверие, то зачем такая бесполезная деятельность возникала повсюду и поддерживалась в течение многих тысячелетий? Ведь не только отдельный человек, но и сообщество людей (племя) обладают известным практическим здравым смыслом, и все бесполезное в конце концов отмирает.

Обычно объяснения примитивной религиозности носят логический характер: первобытному человеку приписывают стремление к научному (псевдонаучному) объяснению происходящего в окружающем его мире. В то же время существует внелогическое знание, и поэтому важно оценить: не является ли внелогическое основным в первобытной религии? Множество фактов подтверждает такое предположение.

На заре своей истории человек не выделял себя из природы, ощущал себя ее частью, причем частью не только своего непосредственного окружения, но и всей Вселенной с ее звездами (это не преувеличение — сегодня, например, хорошо известно, какое большое влияние оказывает на земную жизнь изменение солнечной активности). Внелогическое чувство помогало на внелогическом же уровне находить оптимальное для данных условий поведение. Как животные чувствуют изменение погоды, суровость или мягкость наступающей зимы, близость стихийного бедствия и используют эту информацию для выживания, так и особо чувствительные к внешним обстоятельствам люди могли быть полезными в этом смысле для племени. Важно еще раз подчеркнуть, что такие люди не рассуждали, наблюдая окружающее, а просто ощущали себя причастными к процессам, идущим во Вселенной, к Высшим силам, определяющим такие процессы, и могли использовать свое внелогическое знание на пользу племени. Вполне можно представить себе, как руководитель племени неожиданно для всех (и для себя) приказывал немедленно покинуть место постоянного пребывания (и это оказывалось потом на самом деле нужным) или иными внелогическими указаниями помогал выживанию племени. Нет сомнения, что это было знание — по меньшей мере аналогичное свойственному животным, — а не самообман. Частью этого ощущения причастности ко всему была и способность ощущать состояние соплеменников. На этой основе расцвело первобытное врачевание, совершенство которого начинает сегодня изумлять врачей. Конечно, и тут успеха могли достигнуть лишь люди, отличающиеся особой чувствительностью. Известно, что сейчас на Востоке опытные народные целители отбирают детей, способных в будущем стать их последователями, и делают это на внелогическом уровне. Отбирающий не прибегает ни к экзаменам, ни к каким-либо тестам, он просто чувствует, что из мальчишки будет толк. Самое поразительное для современного европейца то, что ошибок не бывает. Сказанное отнюдь не охватывает все стороны намеченной здесь проблемы — проблемы роли внелогического знания в возникновении религии. Проблема эта требует дальнейшего изучения.

Особо чувствительные к внешним обстоятельствам люди были полезны племени, так как они увеличивали вероятность его нормального существования и выживания при разного рода бедствиях. Безусловная польза, которую они приносили, привела к тому, что их способности надо было генетически передавать

следующим поколениям. Эта наследственная передача своих необычных способностей была выше условно названа «геном религиозности». Как видно из приведенных соображений, сущность этого «гена» сводится к внелогическому ощущению своей причастности к идущим во Вселенной процессам — процессам, не поддающимся логическому анализу, во многом неясным, на которые влияют некие Высшие силы, но тем не менее реальным и определяющим нашу жизнь.

Когда мы говорим о религиозном чувстве, то, по сути, имеем в виду нечто аналогичное. Человек, которым владеет это чувство, прежде всего испытывает протест против засилья логического знания и пренебрежения знанием внелогическим. Он не просто допускает существование внелогического знания, а убежден в его первостепенной важности. Более того, такой человек, как и его далекий предок, ощущает свою сопричастность идущим во Вселенной процессам, ощущает не имеющие логического обоснования, а потому непостижимые Высшие силы (управляющие Вселенной) как объективную реальность.

Можно указать на ряд известных фактов, которые приобретают новые черты в свете приведенных рассуждений.

Прежде всего полезно напомнить, что в фундаменте религии лежит Откровение. Между тем внелогическое знание и не может возникнуть иначе, совершенно независимо от того, религиозное оно или нет. Вспомним пример с пейзажем, при первом же взгляде на который человек приходит к выводу, что он красив, не опираясь при этом на цепочку логических умозаключений. Следовательно, если принять, что в основе религиозного чувства лежит внелогическое знание, то религия и должна основываться на Откровении. Возникающее вслед за этим и опирающееся на логику богословие — лишь следствие.

С внелогическими истоками религиозного чувства связано и то, что иногда полуграмотный человек ближе к религиозной истине, чем многомудрый ученый. Это тоже казалось многим абсурдом. Однако никого не удивляет, что простой крестьянский парень стал великим поэтом и лучше понимал душу поэзии, чем иные ученые-филологи. Внелогическое знание невозможно постичь, основываясь на рациональной логике. Логическое исследование позволяет обнаружить существование внелогического знания, классифицировать и внешне описать, но не проникнуть в него. Для этого надо использовать, условно говоря, не левое (логическое), а правое полушарие головного мозга.

Опора религиозного чувства на правое полушарие мозга, которое «ответственно» и за чувство прекрасного, хорошо объясняет характер православного богослужения. Как известно, желательно совершать его в величественных храмах, богато украшенных росписями и иконами, при торжественном пении, зажженных свечах и воскурении благовоний клиром в красивых одеяниях. Недаром П. А. Флоренский назвал богослужение «синтезом искусств». Но ведь этот «синтез искусств» воздействует, как и всякое искусство, на образно-эмоциональную часть нашего сознания, то есть именно на то полушарие головного мозга, в котором коренится и религиозное чувство. Такое возбуждение мозга должно способствовать усилению и религиозных переживаний. Поэтому высокохудожественный характер храмового действа действительно полезен при богослужении и используется вовсе не для того, чтобы привлечь «темные массы» в церковь, как иногда думают.

Религиозное чувство было определено как внелогическое ощущение своей сопричастности идущим во Вселенной процессам, на которые влияют некие Высшие силы. Если это так, то, чтобы усилить ощущение сопричастности к Высшему, полезно исключить все, что от этого отвлекает. Здесь одна из причин стремления части монашествующих уходить «в пустынь», оставаться один на один со Вселенной. Так, об одном из валаамских старцев рассказывают, что он любил уединяться в лес, окружающий скит и там, любуясь в безмолвии красотою матери-природы, по его словам, «от твари познавал Творца». Из этих слов видно, что старец через слияние с природой (если угодно — со Вселенной) усиливал религиозное внелогическое чувство.

Совершенно очевидно, что саму религию нельзя свести к феномену лишь внелогического компонента сознания. Рациональное обоснование религии опирается на священное Писание, священное Предание, многочисленные высказывания отцов и учителей Церкви и труды богословов. Именно здесь, в споре с богословами, могут возникнуть и атеистические убеждения, и новые варианты религии (относимые ортодоксами к ересям). Однако в контексте рассматриваемой проблемы постоянного возобновления религиозного чувства у части нарождающихся поколений важно именно внелогическое религиозное чувство.

Следовало бы сказать и о многократно упоминавшихся Высших силах. Тут возможны два решения — либо они существуют, либо нет, а некие еще не познанные мировые законы, реально влияющие на жизнь, фиксируются нашим сознанием в качестве проявления Высших сил. При решении поставленного вопроса возникает принципиальная трудность: поскольку Высшие силы воспринимаются внелогической частью нашего сознания, то эти ощущения (подобно чувству красоты) не поддаются логической проверке. Следовательно, наука (логика) решить подобный вопрос в принципе не в состоянии. Происходит, если придать поставленной задаче упрощенную наглядность, следующее: наука ищет в «своем» левом полушарии мозга Бога и не находит его там, так как его присутствие ощущает другое, правое полушарие, где «живет» эмоционально-образная часть нашего сознания. В свете сказанного становятся понятными известные слова Лапласа о том, что наука не нуждается в гипотезе существования Бога.

Здесь уместно вспомнить и великого Канта, который показал невозможность логического (научного) доказательства бытия Бога или логического опровержения веры в Бога. По ехидному замечанию булгаковского Воланда, Кант тут же придумал свое доказательство. Это не совсем так. Великий философ просто отметил связь Бога с нравственностью, ничего не доказывая (именно поэтому многие богословы считают рассуждения Канта неубедительными). С моей точки зрения, Кант и здесь проявил свою гениальность, утверждая, что основы религиозности лежат не там, где наука и логика, а там, где лежит внелогическое знание, в частности нравственность. Можно лишь поражаться его предвидению.

Как же решают эту проблему для себя выдающиеся ученые естественнонаучного профиля сегодня? Большинство из них мало интересуются ею, практически они атеисты, поскольку у них отсутствует «ген религиозности». Они, конечно, понимают, что являются частью Вселенной, но понимают, а не чувствуют, а это разные вещи. Некоторые ученые, унаследовавшие этот ген, могут быть глубоко верующими, и, как показывает опыт, их религиозность ничуть не мешает им делать выдающиеся открытия в области математики или физики — достаточно назвать Планка. Наконец, существует третья, довольно многочисленная группа ученых, для которых вопрос о Высших силах приобрел своеобразную форму.

Эту группу ученых вроде бы можно отнести к атеистам: они не примыкают ни к одной из конфессий, их нельзя встретить ни в церкви, ни в мечети. Может быть, именно множественность и архаичная обрядность конфессий в какой-то мере и смущают их. Но, размышляя о Вселенной и ее судьбах, они не могут согласиться с тем, что она развивается, следуя слепым и безразличным ко всему «железным» законам материального мира; что жизнь на Земле возникла случайно, в силу того, что на этой планете случайно оказались нужный температурный режим и нужные химические элементы; что и дальнейшая эволюция Вселенной и жизнь в ней будут результатом игры случайностей, не имеющих никакого смысла, никакой цели. Они считают, что мироздание осмысленно. В свое время я назвал это вежливой формой религиозности в материалистическом мире. Чтобы меня не упрекнули в излишнем фантазировании, приведу высказывание по этому поводу академика А. Д. Сахарова, человека предельно правдивого, честного и смелого, из его книги «Воспоминания»:

«...я не могу представить себе Вселенную и человеческую жизнь без какого-то осмысляющего их начала, без источника духовной «теплоты», лежащего вне материи и ее законов. Вероятно, такое чувство можно назвать религиозным».

Что же следует из всего сказанного? Прежде всего то, что религия — отнюдь не плод заблуждения. Что верующие не жертвы «темноты» или «пережитков», а вполне нормальные люди, относительное число которых не будет уменьшаться со

временем. Может быть, нелишне еще раз указать на то, что глубоко верующие люди, ощущая на внелогическом уровне свою органическую связь с идущими во Вселенной процессами, не просто верят в существование Бога, а знают, что он есть, почти физически ощущают его присутствие, и в их глазах «научные атеисты» представляются людьми недалекими, на пропагандистские усилия которых не следует обращать внимание, поскольку они отрицают очевидное. Атеисты скорее всего будут придерживаться точно такого же мнения о верующих. Все это совершенно естественно, это два разных восприятия Вселенной и идущих в ней процессов, но не повод для взаимной вражды.

Кто же из них прав? Уже говорилось, что научный (логический) анализ на такой вопрос ответить не может. Сегодня пытаются найти нужный ответ не на прямом, а на косвенном пути. Атеисты, предположив, что Бога нет, проследив затем процесс становления религиозных представлений, их естественные причины, историю развития, приходят к выводу, что этого вполне достаточно для объяснения феномена религиозности и подтверждения их атеистических взглядов. Верующие, не сомневающиеся в том, что Бог существует, проследив процесс становления религиозных представлений у первобытных племен, историю развития религии, учтя естественные причины формирования особенностей религиозных представлений, приходят к выводу, что все происходило по воле Бога. Очевидно, что в обоих случаях совершается одна и та же логическая ошибка: то, что было вначале принято за аксиому, подтверждается в конце. Это, конечно, не путь для убедительного доказательства. Так что и тут нет ответа на поставленный вопрос.

В конце концов приходится констатировать, что доказать, в строгом смысле этого слова, как атеист, так и человек религиозный друг другу ничего не могут. Один, основываясь на внелогических ощущениях, принимает за истину существование Бога, другой принимает за истину противоположное утверждение. И тут, и там вера, а не знание. Я убежден, что и приведенное высказывание академика Сахарова не есть следствие анализа им уравнений современной физики, а внелогическая, интуитивная уверенность его в том, что должна существовать некая высокая гармония во Вселенной не только в смысле физической ее структуры, но в осмысленности всего происходящего.

Что касается численности верующих, то здесь наблюдается интересная картина. По моим (вероятно, не очень точным) оценкам, людей, отмеченных тем, что было названо «геном религиозности», где-то 10—15 процентов населения нашей страны. Примерно столько же истинно верующих и на Западе, где религия не подвергалась ожесточенному преследованию. С такой оценкой согласился один пастор из Франкфурта-на-Майне, с которым мы обсуждали феномен малочисленности посещающих его храм (по большим церковным праздникам их значительно больше). Разница между положением религии в нашей стране и на Западе проистекает из того, что остальные 85—90 процентов населения не следуют зову сердца, а поступают, «как принято». На Западе религиозность и посещение церкви — норма, а у нас еще недавно — занятие опасное.

Не следует, конечно, излишне упрощать дело. Если, как на Западе, принято посещать церковь, если людей систематически обучают и наставляют в религиозном духе, то религиозность воспитывается (как воспитывается способность понимать классическую музыку). Пусть человек не из таких, кто не может и дня прожить, не побывав в храме, но он будет искренне ценить религиозные истины, пытаться следовать учению Церкви и в этом смысле он — человек верующий. Так же и у нас. Поскольку атеизм пропагандировался всюду, а церковная проповедь была запрещена, то были воспитаны поколения, как метко заметил один искусствовед, «дремучих атеистов». Атеизм стал признаком образованности (ведь он проповедовался во всех школах, его обосновывали люди, обладавшие научными степенями и званиями). Настоящим атеистом (не «дремучим») можно назвать лишь того, кто подробно знаком с религиозным учением, посещал церковь, слушал религиозные проповеди и в конце концов не принял религии или отошел от нее. На Западе такие атеисты существуют, у нас их практически нет. Сейчас в стране все меняется, не исключено, что многие предпочтут религию атеизму.

Одно маленькое замечание. Если в процессе биосоциальной эволюции у людей образовался «ген религиозности», то «гена атеизма» образоваться не могло. Атеизм не есть присутствие чего-то — это «отсутствие». Религия — прежде всего переживание, и для такого переживания ничего, кроме самой религии, не нужно. Атеизм — отсутствие такого переживания. А «отсутствие» не может иметь гена.

* * *

Теперь о проблеме нравственного поведения человека. Эта проблема тоже оказывается связанной с асимметрией мозга, с тем, что в нем вырабатывается и логическое, и внелогическое знание и эти два вида знания не конкурируют, а взаимно дополняют друг друга. Что будет, если мы начнем действовать, опираясь только на логику? Результаты научных исследований, полученные с помощью рациональных приемов мышления, истинны или ложны независимо от соображений морали. Таблицу умножения может успешно применять как очень хороший человек для добрых и полезных дел, так и последний негодяй в своих преступных целях. Таким образом, выводы рациональной науки не содержат в себе нравственного начала. Но для людей нравственность имеет жизненно важное значение. Представления же о нравственности, тем более «нравственное чувство», возникли задолго до науки — из образного, внелогического постижения мира.

Поведение человека в окружающем мире опирается на знание о нем. Это знание формируется как бы в двух взаимосвязанных сферах — одной, где решающее слово имеет логика, и другой, где господствуют чувства: сострадание, любовь к ближнему, религиозное чувство, поэтическое и т. п. Формируют ли эти чувства знание, пусть даже интуитивное, но знание? Да, формируют. Действительно, нередко при знакомстве с человеком даже у ребенка сразу, без каких-либо явных рациональных оснований, возникает симпатия или антипатия к нему. Это чувство становится первым (пусть иногда ошибочным) интуитивным знанием о человеке, которое в значительной мере определяет наше поведение.

У гармонично развитых людей оба источника знания — и логического, и внелогического — находятся в известном равновесии и определяют поведение. В современном обществе объем и значение рационального, логического знания непрерывно растут. Люди все чаще ищут оптимальные решения стоящих перед ними задач, причем понятие оптимальности имеет обычно строго рациональный смысл. К примеру, как при наименьших затратах возвести то или иное сооружение, каким путем предприятие может получить максимальную прибыль и т. п. Помимо сказанного, надо иметь в виду, что быстрое развитие науки и техники показало мощь и эффективность рационального знания и породило естественное в этих условиях ощущение того, что на основе рационального знания в конце концов можно объяснить все происходящее в мире и решить все задачи и проблемы, стоящие перед человечеством. Эта уверенность наиболее наглядно отразилась в школьных программах: детям преподают математику, физику, химию, астрономию, биологию и аналогичные дисциплины, а внелогическому знанию уделяют смехотворно мало времени — часы, отведенные пению и рисованию. Даже при изучении литературы упор делается на логическую часть (разбор идейной направленности произведения), а не на развитие художественного вкуса учащихся.

Именно такие условия приводят к тому, что логическая, рациональная составляющая нашего знания о мире нужна постоянно, она все время используется и наращивается, внимание человека приковано прежде всего к ней, а внелогическое знание оттесняется на второй план. Нравственность становится чем-то второстепенным, и это все более и более беспокоит человеческое сообщество. Не тревожно ли в самом деле, что характеристики «удачливый бизнесмен», «хороший организатор производства» оказываются порой важнее, чем оценка «порядочный человек»?

Сегодня, в период триумфа естественнонаучного знания, впечатляющих открытий в физике, астрономии, биологии и других науках, дающих рациональное объяснение жизни Вселенной, возникла грандиозная задача создания научной карти-

ны мира и на ее основе научного мировоззрения. Многие считают, что решение этой сверхзадачи облагодетельствует человечество. Однако такое утверждение представляется весьма сомнительным, ведь в этом случае мировоззрение будет односторонним, а поэтому ущербным.

Человечеству нужно целостное мировоззрение, в фундаменте которого лежит как научная картина мира, так и вненаучное (внелогическое, образное) восприятие его. Мир следует постигать (повторю Гомера) и мыслью, и сердцем. Лишь совокупность научной и «сердечной» картины мира дает достойное человека отображение мира в его сознании и может быть надежной основой поведения.

Поражающая воображение нынешняя аморальность — свидетельство того, что второй из этих источников почти никем не принимается во внимание. Нечто подобное происходит и на Западе (может, в несколько ином виде). С моей точки зрения, это следствие опьяняющих результатов научно-технического прогресса, порожденной им наивной веры во всемогущество науки.

Иногда говорят, что человек, как птица в полете, нуждается в двух крыльях: одно крыло — наука, другое — нравственность; что биологическое наименование «человек разумный» следовало бы дополнить термином «человек моральный».

Поразительно, но многие считают, будто поэтическое и нравственное чувство могут дополнять научное знание, а вот наука и религия несовместимы. Это утверждение так часто повторялось, что большинство у нас полагает его истиной, не требующей доказательств, в то время как на самом деле оно ошибочно. Говоря о целостном, гармоничном мировоззрении, мы ни в коем случае не должны исключать из этой целостности религию. Другое дело, что у какого-то конкретного человека религиозное чувство не может быть развито даже воспитанием. Это совершенно нормально, ведь существуют же люди, абсолютно равнодушные к музыке; такого рода исключения лишь подтверждают правило.

Вернемся к вопросу об усилении нравственного начала в современной жизни. Это стало настоятельной потребностью и у нас, и на Западе, однако пути обретения нравственностью принадлежащего ей по праву места далеко не ясны.

В последнее время часто говорят в этой связи о необходимости гуманизации современной жизни, имея в виду, как я понимаю, несколько потеснить «рациональную», технократическую мотивацию, дав место и духовности в формировании поведения как отдельного человека, так и общества в целом. Усиления духовного начала многие надеются достичь на пути гуманитаризации, обращения к бесценным памятникам отечественной и мировой культуры. Знакомство с историей Отчизны, с ее героическими страницами, с деятельностью выдающихся соотечественников, для которых высокие (далекие от сиюминутных выгод) цели определяли смысл жизни,— все это, безусловно, должно способствовать перестройке сознания в желаемом направлении.

Трудно переоценить роль памятников истории и культуры, в которых овеществлено прошлое Отечества. Нелишне, быть может, заметить здесь, что «живые» памятники дают много больше «мертвых». Ходить по новому зданию Ленинградского университета совсем не то, что идти по длинному коридору здания старого, стены которого помнят Менделеева. Очень важно, чтобы старое здание было «живым», то есть оставалось университетом. Точно так же «живой» храм дает много больше «мертвого». Когда в нем во время богослужения стоит даже не религиозный человек, он невольно начинает чувствовать себя звеном в цепи, уходящей в далекое прошлое, он невольно начинает оценивать себя — достоин ли он своих предков, которые возвели этот храм, составили эту службу. Это совсем не то, что под холодными сводами пустого собора услышать от экскурсовода, что на стене слева видны фрески знаменитого художника, и быстро перейти в следующее помещение.

Не меньше дает и русская литература с ее поисками нравственных идеалов. Достаточно вспомнить Ф. М. Достоевского или Л. Н. Толстого. Обо всем этом много раз писали те, кто озабочен засилием близорукого практицизма во всех сферах жизни. Однако если бы гуманитарное образование, чтение классиков были достаточным условием для воспитания нравственности, то наши писатели были бы людьми идеальной нравственности. К сожалению, история советской литературы

решительно опровергает такое предположение. Все, что говорилось,— условие полезное, но недостаточное.

Гуманитаризация лишь тогда оправдает возлагаемые на нее надежды, когда будет опираться на прочный фундамент с детства усвоенных моральных принципов. В прошлом азы нравственности ребенок постигал еще в семье, которая играла огромную роль в жизни всех ее членов. Теперь положение изменилось. Нередко отец и мать работают, дети после занятий в школе — на «продленке», и у каждого свои интересы, часто весьма различные. К тому же задушевные беседы нередко заменяются совместным сидением перед телевизором. Первоначальные представления о нравственности ребенок получает в лучшем случае из наставлений родителей, а не из наблюдения их жизни и естественного желания подражать им. Но предположим, что ребенок принимает участие в разговорах взрослых или слушает их. Что он может узнать? Сколь ни печально в этом сознаться, даже в «благополучных» семьях нередко можно услышать рассуждения на тему «как достать». И ребенок усваивает простую истину, что честность в реальной жизни скорее помеха, чем добродетель. Что где-то нужно переплатить, что вездесущий «дядя Вася» всегда готов продать вам краденое (какие-то дефицитные детали, запчасти и другие нужные вещи, которых в продаже просто не бывает), а иногда и философское обобщение родителей: «кругом жулики, и без них прожить нельзя». Неудивительно, что вскоре он сам попросит отца принести что-то с работы (хорошую бумагу, пару каких-то болтиков), не подозревая даже, что провоцирует его на нечестный поступок. Разве можно в таких условиях воспитать настоящую нравственность с помощью одного гуманитарного образования?

Положительную роль играли в прошлом и нормы поведения, которые определялись необходимостью блюсти сословную честь. Взять хотя бы дворянство. Неписаный кодекс дворянской чести человек усваивал с детства, наблюдая поведение взрослых и слушая их разговоры и оценки событий. В случае, когда дворянина, например, офицера, обстоятельства вынуждали нарушить этот неписаный кодекс (хотя бы не уплатить в срок карточный долг), нередко единственным выходом для него было самоубийство. Как видим, нарушение норм сословной морали не только вызывало осуждение, но и грозило значительно более серьезными последствиями.

Другие, но тоже достаточно строгие нормы сословной морали существовали и у купечества, и у фабрикантов: «честное купецкое слово» было не пустым понятием. Можно было и схитрить, и «обвести вокруг пальца» конкурента, но лишь «в пределах правил», а не аморальными поступками. Совсем недавно советский директор совместного с одной западной фирмой предприятия рассказал мне следующее. Обсуждая со своим зарубежным коллегой способы завоевания мирового рынка, он предложил, пользуясь своими возможностями, на некоторое время установить цены на изделия заметно ниже мировых. Это должно было, по его мнению, «выбить конкурентов из седла». Помрачневший коллега сказал, что это аморально. Предложение более не обсуждалось. В чем тут дело? Ответ прост: аморально поступить можно, но после этого ни один бизнесмен не захочет иметь с тобою ничего общего. Может быть, стреляться и не придется, но карьера в деловом мире будет кончена. Так сословная мораль помогает хорошей работе.

Здесь невольно хочется сравнить этого западного делового человека с нашими отечественными в условиях командно-административной системы. У нас аморальность стала почти необходимым элементом системы. Вот типичный пример. Директору крупного предприятия «спускают» заведомо невыполнимое задание. Директор может отказаться, но тогда его сразу уволят. Если он согласится, то со временем начальство может потерять интерес к заданию (и тогда проблема снимется сама); к тому же есть возможность представить срыв плана как вину смежников: это всегда убедительно — ведь часть из них тоже получила нереальные задания. Вывод: надо согласиться (то есть соврать). Появился даже специфически-директорский фольклор: при социализме легче бороться «за», чем «против». Неудивительно, что такой уровень деловой морали приводит к постоянным производственным дефицитам, «долгострою» и т. п. Иначе и не может быть, если систематическое вранье приучило всех не выполнять своих обещаний, кстати, не только на производстве, но, как следствие, и в учреждениях. Хрестоматийный пример:

бюрократ из местного Совета, ежегодно обещающий отремонтировать дом (зная, что это нереально) и ремонта не производящий. Скорее всего тот уровень жизни, до которого мы дошли, в немалой степени следствие катастрофического падения деловой морали. Система повсеместного вранья делает неизбежной «двойную мораль» — одну для «внешнего употребления», другую — для себя, а это зачастую ведет к деградации личности.

Страна переходит к рыночной системе экономики. Дело трудное, готовятся новые законы, изыскиваются наилучшие формы экономической деятельности. Но, может быть, самым трудным будет внедрение деловой морали, условно говоря,— «честного купецкого слова».

Не только у привилегированных слоев, но и у крестьян, и у рабочих была сословная мораль. Крестьянин не мог нарушить неписаных законов крестьянской общины, рабочий — законов своего класса. Говоря о рабочих, я не имею в виду классовой солидарности и связанных с нею моральных принципов — они широко известны. Но, кроме того, у настоящего мастера своего дела было развито чувство профессиональной гордости за выполняемую работу, чувство рабочей чести. Сейчас положение, к сожалению, совсем иное.

Качество нашей продукции столь низко, что продать на мировых рынках почти ничего нельзя. Причину крайне низкого качества видят в нарушениях технологической дисциплины на предприятиях. Но ведь технологию нарушают люди, и прежде всего рабочие. Вот типичный пример аморального поведения. Стоящий у технологической установки оператор, который должен отслеживать температуру с точностью до одного градуса, считает возможным отойти, поболтать с товарищем и тем временем упустить температурный режим, поскольку «этого никто не заметит». Человек с развитым чувством ответственности ведет себя, как требуется, не только тогда, когда на него смотрят, но и тогда, когда «этого никто не заметит». Быть может, утверждение в рабочей среде высокой производственной морали будет тоже одной из самых трудных задач перестройки.

Рассмотренные здесь проблемы нравственности, ослабления нравственных начал, которые дети получают в семьях, а также падения того, что условно было названо сословной моралью, свидетельствуют о тяжелой болезни, охватившей наше общество. Снижение нравственного уровня проявляется не только в росте преступности, антиобщественном поведении некоторых групп населения, но, что для многих, возможно, неожиданно, сказывается и на экономике. Это тем более требует решительных шагов в направлении, ведущем к нравственно здоровому обществу.

Исходную систему элементов нравственности, которая даст «всходы» в деловой, рабочей, общественной и семейной морали, очевидно, следует закладывать с детства. Именно поэтому хорошее семейное воспитание крайне необходимо, но для этого надо вернуть семье ее прежнее значение. В послереволюционные годы постепенно сложился уродливый облик «передовой советской семьи»; немалая вина здесь и публицистики, литературы. В такой «образцовой» семье отец обязательно приходит с работы, когда дети уже спят, жена тоже целиком погружена в производственные и общественные дела. При этом существовало убеждение, что о детях на все сто процентов заботится государство. Но даже если бы государство и заботилось о детях в тысячу раз больше, чем сегодня, ничто не может заменить им общения с внимательными и любящими родителями, особенно в такой тонкой сфере, как воспитание нравственности. Важны не поучения, а личный пример родителей, их высоконравственное поведение. Мне совершенно ясно, насколько трудно этого добиться в нашем обществе, охваченном экономическими и социальными неурядицами, но что-то менять, и менять кардинально нужно. Это очень серьезно, так как менять придется весь образ жизни. В какой-то мере можно взять пример с США, где возник своеобразный культ семьи, где постоянное общение детей и родителей считается не только само собой разумеющимся, но и приятным.

Если обратиться к истории нашей страны, то можно убедиться, что большую роль в воспитании нравственности играла в свое время и Церковь, причем это воспитание начиналось с детства, еще в первых классах школы. Чему же учили детей? Многие сегодня думают, что на этих уроках на детей напускали очень вредный «религиозный дурман». Нет ничего ошибочнее подобного взгляда. Важнейшим элементом религиозного воспитания было воспитание нравственности. В самых младших классах нравственному поведению обучали на простых и наглядных примерах, взятых из Священного Писания, в старших толковали смысл десяти ветхозаветных Заповедей и девяти новозаветных Заповедей Блаженств, евангельской проповеди, Посланий апостолов и т. д.

Одной из главных составных проповеди нравственности была проповедь всеобщей любви, причем обращена была она не к логической части сознания (мол, веди себя хорошо, и тебе повезет), а к образно-эмоциональной (твое поведение должно опираться не на себялюбие, а на сострадание и милосердие). В основе этой любви должна лежать любовь к стране, природе, к своим ближним и, что, конечно, трудно, к людям тебе неприятным, даже врагам. Как современна эта проповедь в мире, которому грозит экологическая катастрофа, в мире разделенных и враждующих людей! Как созвучна она современному стремлению следовать общечеловеческим ценностям, строить общий дом для всего человечества!

Человеку непредвзятому христианское учение представляется удивительно актуальным. Это, впрочем, не так уж неожиданно, ведь мы живем в стране в основном христианской культуры и испытываем влияние христианства совершенно независимо от того, кем себя считаем — атеистами или верующими. Взять хотя бы такой объединяющий людей принцип, как интернационализм. Мы не устаем сегодня напоминать о нем и стараемся следовать ему. Но мало кто знает, что этот принцип (в те годы весьма революционный) был провозглашен апостолом Павлом в «Послании к римлянам», а часто называемое принципом социализма утверждение «кто не работает — тот не ест» тоже принадлежит апостолу Павлу; его можно найти в его «Втором послании к фессалоникийцам».

Воспитание нравственности нельзя свести к прослушиванию курса лекций, или систематическим занятиям в школе, или чтению соответствующей литературы. Это немыслимо по той же причине, по которой нельзя пройти по натянутой проволоке, прослушав соответствующий курс лекций. Лекции, конечно, полезны, но научиться можно, только начав тренироваться и набив себе, условно говоря, изрядно шишек. Абсолютно необходимо наряду с постижением теории начинать учиться вести нравственную жизнь. Далеко не все будет сразу получаться, тут тоже неизбежны «шишки». Реальная повседневность всегда сложнее красивых схем и далеко не все наши поступки можно отнести к вполне нравственным. В этом случае человек, стремящийся к нравственной жизни, должен испытывать искреннее огорчение по поводу того, что не справился с возникшей ситуацией.

Полученные знания следует укреплять систематической «тренировкой», и Церковь добивалась этого не только проповедями в храме, но и таинством покаяния. Верующий должен был регулярно исповедоваться в своих грехах, причем не только в безнравственных поступках, но даже и в мыслях о них. Важно отметить, что исповедь происходила без свидетелей и священник обязан был хранить ее в тайне. Таким образом создавались условия для предельной правдивости кающегося, без чего истинное воспитание вряд ли возможно. Священник не только выслушивал кающегося, но давал ему советы, наставлял, стремясь исключить повторение приведших к покаянию поступков; при этом он использовал опыт, накопленный духовенством за многие столетия. Когда кающийся беседует со священником, он считает того посредником между собою и Богом, то есть высокоавторитетным лицом. Нетрудно представить себе, сколь эффективна эта система, если исповедь и покаяние становятся нормой повседневной жизни и продолжаются от отрочества до конца жизни.

Откровенная беседа с высокоавторитетным лицом без свидетелей и, как было принято говорить, от сердца к сердцу,— важнейший путь к воспитанию вообще и нравственности в особенности. Это обстоятельство хорошо усвоено не только христианством, но и другими религиями и этическими учениями, где в постоянной паре, задушевно беседуя, выступают ученик и Учитель. Такое бывает и в повседневной жизни. В здоровой семье с любимой всеми матерью откровенные, без свидетелей, беседы ее с дочерью не только полезны, но крайне необходимы.

Что можно противопоставить сегодня когда-то традиционной системе воспитания и поддержания нравственности? По сути — ничего.

В школе воспитание нравственности ведется вроде бы факультативно. Ученики не должны, как раньше, в течение многих лет отвечать на уроках на вопросы о нравственности. По окончании школы в ответ на обвинение в аморальности они вполне могут сказать словами известной песенки: «Это мы не проходили, это нам не задавали!» Конечно, хороший учитель может обсудить на каком-то уроке, особенно на уроке литературы, моральную проблему. Еще больше дает пример высоконравственного поведения любимого учителя. Можно, конечно, пригласить в школу и лектора. Однако всего этого слишком мало. Особенно если учесть, что многие поколения учились в школе не любви, а ненависти: мое поколение — ненависти к классовым врагам внутри страны и к мировой буржуазии, а более поздние — к американскому империализму и его пособникам в стране. (Сейчас многие из этих «пособников» являются гордостью не только страны, но и всего человечества.) Не это ли один из источников той злобы, которую мы с печалью, а иногда с ужасом наблюдаем в нашем обществе?

Что касается поддержания нравственности в «народных массах», то различные собрания и заседания дают очень мало. Неким подобием исповеди пытались сделать самоотчеты на многолюдных собраниях. Однако если на исповеди идет речь о грехах, то самоотчеты стали способом самовосхваления и лишь в конце полагалось посвятить несколько ритуальных слов самокритике. Да и многочисленность равнодушных слушателей исключала всякое искреннее покаяние. Другим методом «воспитательной работы» было обсуждение аморальных поступков. Но это уже не покаяние, а суд. Иногда на такой суд выносились вопросы, которые в цивилизованном обществе публично не обсуждаются. Тогда судилище превращалось в школу аморальности, причем наиболее убедительные образцы аморальности демонстрировали те, кто соглашался выступить в роли судей.

Неудивительно, что такой плачевный уровень деловой, производственной, общественной, а иногда и семейной морали, да еще при отсутствии эффективной проповеди нравственности, опасно деформировал поведение людей. И очень многие, совершая безнравственный поступок, испытывают скорее радость, чем угрызения совести (например «несун», безнаказанно укравший что-либо на производстве). Уголовная хроника дает иногда поразительные иллюстрации нравственной деградации общества. Недавно в прессе было сообщено об аресте вооруженной банды грабителей. Поразителен ее состав: экономист, военнослужащий, начальник отдела министерства, инженер престижной организации и т. д.

Многие наши идеологи утверждали, что все уладится само собой по мере продвижения к коммунизму, тем более что атеизму «органически присуща» высокая нравственность. Все это оказалось пустой болтовней. Мне не приходилось слышать конструктивных предложений, о которых я бы решился сказать, что с их помощью может быть решена проблема нравственного воспитания общества. У меня тоже нет таких предложений. Очевидно, однако, что излечить общество без здоровой экономики, которая исключит вранье и воровство, невозможно. Экономика страдает от аморальности, а один из источников аморальности — больная экономика. И эту взаимосвязь нужно понимать.

В воспитании нравственности свою роль может сыграть и Церковь со своими многовековыми традициями — по сути, сегодня единственная организация, имеющая огромный опыт и безусловные успехи в этом деле. Ее благотворное влияние, вероятно, распространится не только на верующих, но и на более широкие круги нашего общества.

Критика

В сегодняшней критике сложились две достаточно определенные и во многом противоположные точки зрения на современное состояние русской литературы, историю ее развития в прошлом и перспективы будущего. Мы предлагаем вниманию читателей статьи М. Эпштейна и И. Дедкова, выражающие эти позиции.

Михаил Эпштейн

ПОСЛЕ БУДУЩЕГО. О НОВОМ СОЗНАНИИ В ЛИТЕРАТУРЕ

1. От лишнего человека — к лишнему миру

Минувший год — с лета 1989 по лето 1990 — никак не умещается в промежуток одного года. И не только потому, что на нем сменяются десятилетия, раскрывая простор для обобщений и предсказаний. В точке минувшего года меняются местами наше прошлое и будущее. Основная проблема, поставленная этим годом, уже не социальная или политическая (они производны), а эсхатологическая: как жить после собственного будущего, или, если угодно, после собственной смерти?

Вдруг обнаружилось, что коммунизм в нашей стране уже был построен, причем в точно обещанные сроки, примерно к 1980 году. Весь возможный и достаточный коммунизм — «иного не дано». Последующие десять лет были попыткой избавиться от этого гнетущего факта, отодвигая торжество коммунизма куда-то подальше, чтобы сохранить для себя хоть какую-то историческую перспективу. «Реальный социализм», «развитой социализм», «ускорение» и, дольше всего, «перестройка». Так обозначали себя эти стадии затянувшегося конца.

И вот сквозь учащенное дыхание подступающего удушья вдруг стало ясно, что конец уже наступил. Историческую перспективу прорвало, и нас вынесло в какой-то запредел. На высшем витке развития мы врезались в тыл всему человечеству. Общинно-племенной строй в чаще одичавшей цивилизации. И все тот же вопрос: как приручить, одомашнить эту взбесившуюся цивилизацию, это предумышленное варварство?

И опять подступает тошнота социальной озабоченности: Что делать? На этот вопрос, заданный **демократическим литератором** (Чернышевским), опережающий ответ дан писателем народным — Пушкиным, в любимом его приговоре (с ударением на «при», а не «воре»): **«делать нечего»**. (Знатокам стоит сосчитать, сколько раз это присловье встречается хотя бы в одной «Капитанской дочке».) Все пытались половчее сообразить, что нужно делать, и только Пушкин заведомо устранил этот ложный вопрос, показав, что человек становится воисти-

ну собой и духовно мужает, когда **делать нечего.** Тогда, выскочив из капкана истории-биографии, он оказывается в странном, топологически вывернутом пространстве, где нет предстоящего горизонта, нет левого и правого, переднего и заднего. Полное отчаяние заставляет его вновь ощутить вкус чая — того самого, который распивает подпольный человек на останках всех хрустальных дворцов будущего, когда и свету уже не остается на свете. Дальше открывается уже эсхатологически чистый запредел: безвкусие, бесцветие, беззвучие мира, свернутого как свиток. Слово беспамятствует среди прозрачных могил.

Статья Виктора Ерофеева «Поминки по советской литературе» («ЛГ», № 27, 1990 г.) выдержана еще оптимистически, в жанре веселого поминального слова. Но ныне следует признать, что колокол звонит по всем оставшимся жить, слово «советский» в своей мрачной, совьей, загробной символике не уходит из лексикона, а распространяется вглубь и вширь, учреждения власти и площадные нравы становятся не менее, а все более «советскими». И не вопреки, а благодаря этому растет чувство обступающей могилы и нового всенародного бесстыдства на празднике мертвецов: «Бобок!», «бобок!», «бобок!»,— несется отовсюду. Всех охватывает чувство последнего безобразия, когда не просто люди изощряются в безумствах и безнадежности, но — «проходит образ мира сего» (по слову апостола Павла), или (как шутят на московских улицах) происходит апокалипсис в одной отдельно взятой стране.

Вот почему, размышляя о литературе последнего времени, хочется задержаться именно на категории «последнего». Вполне может статься, что время истории вновь сомкнется волнами вокруг нынешнего запредела,— но почва этого вечного острова по имени Патмос ныне обитаема как никогда, охватывая шестую часть земли... «Последнее» нельзя помещать в разряд времени: оно — после времени, и остается — последним, даже если после него история возобновляет течение свое. Новая литература является последней не по сроку возникновения, но по строю, по запредельной сути своей. Именно эта литература, лишенная признаков времени, воспринимается сейчас как подлинно современная.

Прежде всего в ней нет никакой привязанности к образу мира сего и попыток его воссоздать. Последним образом мировой истории был Антихрист — к нему-то и тяготеет вся так называемая антитоталитарная проза, выдержанная в координатах исторического времени и пространства. В произведениях Гроссмана, Бека, Дудинцева, Рыбакова и их менее известных последователей речь идет именно об Антихристе, о солдатах и маршалах его воинства, о страданиях и жертвах. Однако на Антихристе история заканчивается, вступая в область истончающихся структур и тающей реальности,— исчерпывается и лиро-эпическая образность, служившая сначала для восславления, а затем для разоблачения Антихриста. Литература утрачивает образность вместе с реальностью, которую училась отображать,— и в этом первое отличие литературы «последней» от прежней, честно реалистической. Последняя литература бесчестна и произвольна, она, как Протей, может почти все и, как Нарцисс, хочет лишь самое себя.

Другое отличие — невозможность работать в жанре «анти»: антитоталитарном, антиутопическом, антикоммунистическом, антивоенном и т. д. Все эти реальности настолько остались в прошедшей истории, что отношение к ним скорее выражается словечком «пост», чем «анти»: **постутопия, посткоммунизм, постистория.** К тому же этой литературе, очутившейся в запределе — без верха и без низа, без левого и правого,— чужда какая-либо направленность «за» или «против». Это усталая литература, которая хотела б «навеки так заснуть» — ни о чем не жалея, ничего не желая.

Наконец, последняя литература вообще не имеет фона, которому была бы контрастна. Даже апокалипсис в ней — вовсе не тревожное, катастрофическое умонастроение, которым пробуждают совесть заспавшегося поколения или возвещают грозное будущее нераскаянному народу. Нынешний Патмос лишен всякого пафоса и похож скорее на чаепитие у Чехова, чем Достоевского. Черный юмор, абсурд, сюрреальный акт, футуристический шок — все это когда-то восставало **против:** среды, сытости, разума, благополучия... В нашей последней литературе запредел сродни равнодушию — настолько все равно запредельно в этом невозможнейшем из миров.

Еще недавно, в духе классических традиций, русская советская литература была озабочена трагедией лишних людей, чуждых миру полезной социальной однородности,— такова магистральная тема лучших писателей, от Юрия Олеши до Андрея Битова. Но Кавалеровы и Одоевцевы, эти обедневшие потомки Онегиных и Печориных, совсем уже вывелись в советском мире. Не потому, что он их освоил и употребил на пользу себе, как еще недавно можно было опасаться,— нет, сам окружающий мир сделался настолько лишним, что лишность из личной черты стала уже чертой всеобщего безразличия. Невозможно выделиться и облагородиться этой лишностью среди неприкаянных вещей, неокупаемых денег, неприспособленных жилищ, непроезжих дорог... Лишние люди стоят в очередях и сбиваются в стаи, но от этого не укореняются в бытии — напротив, само оно становится призрачно-безлюдным.

Сомнамбулизм — последняя фаза развития этого типа. «От нас осталась только видимость нас» (молодая писательница Валерия Нарбикова, чья повесть так и называется «Видимость нас»). Сомнамбулы — едва ли не преобладающие персонажи последней литературы: лица, не успевшие ничего совершить и обдумать, сразу же тонущие в апокалипсическом тумане. Вспомним рассказы Татьяны Толстой: «Петерс», «Круг», «Река Оккервиль» — о судьбах не просто не удавшихся, но выпавших со счета — тут неудача, пожалуй, была бы еще наградой и чином. Порой эти люди агрессивны, добиваются, хлопочут, обзаводятся,— но притом ухитряются как-то отсутствовать в этой жизни: троньте их за плечо, потрясите хорошенько — не заметят. Словно бы вся их активность — от лунных чар, а на земле они давно уже спят, блаженно или тревожно. «... Ночь дует в спящее лицо» — это про лицо бегущего человека (Т. Толстая, «Сомнамбула в тумане»). Таков теперешний наш бег по бездорожью, это страшное противовольное ускорение — не силою ног, а как бы обрывом почвы, влечением предстоящих пустот. «Неужели он не добежит до света?» Какой свет здесь подразумевается, после зги и черного провала, не нужно и пояснять. Умирающему грезится воскресение.

Точно так же изменился и «низовой», народный тип нашей неприкаянности, который часто оттенялся интеллигентным,— но и сам выразительно оттенял его. Я имею в виду наших чудаков, ведущих происхождение от тургеневского Калиныча, лесковского «очарованного странника», а недавно воплотившихся в шукшинских «чудиков». Нельзя назвать их, по Герцену, «умными» ненужностями,— но скорее «наивными». Некий сдвиг ума, неприспособленного к умелому существованию большинства и вызывающего роение каких-то непонятных и летучих сущностей: «а зачем государство?», «а почему тройку-Россию правит мертвая душа?», «а почему люди на «здрасьте» не отвечают?». Этакая милая, искренняя сумасшедшинка, в которой сентиментально-гуманистическая надежда на «обнимитесь, миллионы» уживается с юродивым вывертом ценностей и стремлением побольней ущипнуть ближнего для его же душевной пользы и лукавого поучения.

И вот этот поучительный чудак тоже как-то выветрился из нашей словесности, обернувшись сперва задушевными циниками Юза Алешковского, живчиками умирающего, но еще склонного к размножению социального организма, а затем... Сравнивая, например, персонажей Шукшина и Евгения Попова, объявленного лет пятнадцать назад его молодым продолжателем по линии сибирского ухарства и дремучей свежести мысли, видишь, как знакомый нам тип на лету преображается в чудака с буквы «м». Лукавинка застывает на разгоряченном лице «такого парня» раздрызганной гримасой общественного кретина.

Мы еще недооценили и недоисследовали это властное явление мудака в нашей литературе 80-х годов, которое сопоставимо с ролью чудака в 60-е. Чудак — сам по себе, он выпадает из ячеек общественного разума, обещая будущее их обновление. Чудак — индивидуальное отклонение от слишком зауженных норм социальной жизни, герой нашей искренней, исповедальной, взыскующей

прозы и поэзии 60-х — начала 70-х годов, с ее официально одобренным или полуодобренным нонконформизмом, романтическим пощипываньем в глазах от таежного дыма и затаенной думы. Мудак тоже глубокомыслен порой до ломоты в мозгах и тоже отклоняется от норм здравомыслия, но это свойство не индивида, а коллективного существа, свернувшего с колеи разума и истории. Чудак — личностный вызов всеобщему здравомыслию, мудак — стертый облик общественного безумия. Мудак-дачник по секрету расскажет вам в электричке, что в подвале у него хранится угольный мешок, в котором то ли был повешен Геббельс, то ли расстрелян Бухарин. Мудак-вития верит в невидимый излучатель, которым по миру распространяются психофизические волны сионизма, и требует международной правовой охраны от микроволнового вмешательства в умы сограждан. Мудак-человеколюбец берет на перевоспитание в свой дом великовозрастного дебила и затем сетует, что жена сделала аборт от первой любви его воспылавшего питомца.

Не будем пересказывать эти найденные и затерянные сюжеты, подобных много можно найти у Евгения Попова, Виктора Ерофеева, Вячеслава Пьецуха — и во всех сюжетах чудачество выродилось из милой лукавинки в шутку самого Лукавого. Мудак одержим собственной значимостью как общественного лица, это бред всеобщего, из которого вынут стержень индивидуального существования. Ни лишних людей, ни очарованных странников не остается в мире, который стал лишним и посторонним самому себе.

2. Противостояние стилей

Мы рассмотрели эволюцию некоторых литературных типов — но что происходит со стилями и мировоззрениями?

Часто нынешнюю литературную ситуацию сводят к противостоянию двух станов: «правых» и «левых», «почвенников» и «западников», «самобытников» и «либералов». Этот конфликт стал раскаляться еще с середины 60-х годов, но в последнее время достиг ослепительного накала гражданской войны. Вся эта полемика настолько на виду, что не нуждается в комментариях. «Гражданская озабоченность», «долг перед народом», «боль за страну», «признание вины», «честная проза», «правда истории», «выбор пути» — эти термины используются боевыми критиками как справа, так и слева и кажутся вполне достаточными для понимания творчества писателей, которые принадлежат к одному типу морализирующей словесности и непримиримо противостоят именно в его рамках.

Между тем сам этот «шестидесятнический» подход к литературе как общественной трибуне и нравственной проповеди оказывается внешним для нового поколения, пришедшего к зрелости в 80-е годы. Не то чтобы оно высокомерно становилось над схваткой — но примыкая к либералам в политике, оно отчуждено от их «душеполезной» и «жизнеподобной» эстетики едва ли не больше, чем от «деревенщиков» и «народофилов» с их наивными опытами мифологизации народного быта и векового уклада.

Внутри восьмидесятников есть свои размежевания, которые мало заметны широкой читающей публике, поскольку лишены морально-политического оттенка. Выделяются два полюса или предела, к которым так или иначе тяготеют писатели «новой волны». Один полюс — метареализм: искусство метафизических прозрений, устремленное к реальностям высшего порядка, которые требуют духовного восхождения и мистической интуиции художника. Вспомним пушкинского «Пророка», воистину пророческого для этого нового склада мышления: у человека вырывается его чувствительное сердце и празднословный язык — орудия субъективности. Огненный угль и жало змеи, вставленные взамен,— признаки дегуманизации в существе поэта, которые позволяют ему возвыситься над сентиментальным самовыражением и свидетельствовать о Духе, не сводимом в антропоморфный облик.

Ты развернешься в расширенном сердце страданья,
дикий шиповник,
о,
ранящий сад мирозданья!
Дикий шиповник идет как садовник суровый,
Тот, кто тебя назовет, переспорит Иова.
Я же молчу, исчезая в уме из любимого взгляда,
глаз не спуская
и рук не снимая с ограды.
Дикий шиповник идет как садовник суровый,
не знающий страха,
С розой пунцовой,
со спрятанной раной участья под дикой рубахой.

Стихотворение Ольги Седаковой «Дикий шиповник» — одна из эмблем новой поэзии, которая религиозна не в знаках выраженного вероисповедания, а в интенсивности самого акта веры, раскрывающего в каждом явлении предел сверхзначимости и чудо преображения. Дикий шиповник — это образ всего ожесточенного мироздания, в котором глубже всего уязвляется невинность: но ее-то тернистый путь ведет к заповедному саду, страдание — к спасению. Переспорить Иова может только еще более невинный и еще более страждущий. Так в дикорастущем кусте раскрывается природа заглохшего, одичавшего вселенского сада и одновременно — высшая природа Садовника, Спасителя, чье страдание возделывает этот сад и превращает «спрятанную рану» в «пунцовую розу».

Такова эта поэзия духовных структур мироздания, просвечивающих ныне сквозь истонченную ткань истории. Уже нет необходимости, как в эпоху символистов, отчаянно нажимать на значения неких избранных слов и возводить их в нездешние символы: щедрость здешнего существованья и наличного словаря такова, что позволяет отсылать к иным мирам, не отстраняя этот, не прореживая его, но сгущая в цветах и созвучиях. Или это зрелость самого времени, вплотную подступившего к жатве смыслов, когда Бог по обетованию станет все во всем — и уже не потребует храмового уединения и отдельной молитвы?

Другое движение, или другой предел современных движений, принято обозначать как концептуализм. Словесные знаки здесь не устремляются к полноте значений, но, напротив, обнаруживают свою сущностную пустоту, свободу от означаемых. Концептуализм, зародившись как художественное направление на Западе в конце 60-х годов, приобрел вторую родину в советской России 70-х — 80-х, где идеологическое сознание к тому времени выродилось в богатейший набор пустых фикций и выпотрошенных схем.

Концептуализм, представленный работами И. Кабакова, Д. Пригова, Л. Рубинштейна, Т. Кибирова, М. Сухотина, А. Бартова, не ограничился игрой со знаками советской цивилизации, хотя они и подали ему пример языковой пустоты, который стал распространяться на языки других эпох и культур. Так, прозаик Владимир Сорокин создает некое клише русского психологического и реалистического романа 19-го века — огромное по объему сочинение, которое так и называется «Роман». Его могли бы сочинить Тургенев, Гончаров, Лев Толстой и Чехов, вместе взятые, если бы они когда-нибудь обрели черты единого творческого лица — «русского писателя 19-го века». Тем не менее такая обобщенная реальность: «русский роман 19-го века» — существует, по крайней мере в сознании читателей и исследователей, и писатель-концептуалист взялся восстановить ее в виде самостоятельного текста. Творческий синтез при этом опирается на предварительный, если хотите, литературоведческий анализ, вычленяющий общие свойства многих русских романов, их концептуальное ядро. Для чего такое явно вторичное продуцирование текстов по уже известным языковым моделям? В том-то и дело, что роман Сорокина читается как произведение о языке, существующем самостоятельно, независимо от той реальности, которая описывается в нем. Сознание читателя скользит по ряду означающих: так описывается природа, так — усадьба, так — выражение лица молодой влюбленной барышни

и т. д. Эффект совершенно другой, чем при чтении Толстого или Тургенева, знаки которых более или менее прозрачны и направляют нас к означаемым, чтобы вызвать определенные чувства, мысли, побуждения. Концептуализм отслаивает знаки от означаемых и демонстрирует мнимость и призрачность этих последних.

Но при всем том, что концептуализм открещивается от какой бы то ни было значимости и «содержательности» в искусстве, он тоже знаменует собой его последний, эсхатологический смысл. В мире наступает такая немота и чистота, что знаки перестают что-либо означать, выметаются словно мусор из опустевшей сокровищницы искусства. Намеренное косноязычие или чужеязычие концептуалистов, как бы стирающих смысл произнесенных слов или заключающих их в кавычки,— это выявление «запредела». Если метареализм — поэзия положительно запредельного, которое может быть явлено как Эдем, то концептуализм — поэзия отрицательно запредельного, которое может быть обозначено как Нирвана. Но общий признак обоих направлений — именно направленность к запредельному, что резко отличает их от предшествующих течений нашей словесности, приверженных исторически текучей, «текущей» реальности.

В прозе крайности метареализма и концептуализма опосредуются гротескно-расколотой манерой письма, которую находим, например, у Виктора Ерофеева в романе «Русская красавица» и рассказах. Для него архетипы, выловленные со дна русской истории, оказываются на поверку расхожими схемами и полем иронических языковых игр, тогда как пошлые стереотипы советской повседневности вдруг вырастают в глубину и сплетаются с проекциями других эпох в емком мифообразующем многоязычии.

Таким образом, выстраивается параллелограм сил, действующих в современной литературе. Либерально-националистическая конфронтация образует одну ось, на которой держится вся современная публицистика и литература морально-исторического пафоса. Но этому противостоянию, в свою очередь, противостоит совсем другое противостояние — между писателями языковых игр и непреходящих смыслов, между концептуализмом и метареализмом. Проблематика этих двух осевых коллизий, направленность их внутренних споров оказываются настолько разноплоскостны, что и открытый конфликт между ними не часто возникает. «Почвенники» автоматически зачисляют всех метареалистов и концептуалистов в противники, обличают их именно как либералов, по моральной и гражданской линии. Либералы же не приемлют ни концептуалистов, ни метареалистов по причине отсутствия у них моральной устремленности и приверженности письма текущим идейно-общественным баталиям. Со своей стороны, метареалисты и концептуалисты, человечески приверженные скорее либеральным ценностям, не видят в них почти ничего, чем могли бы вдохновляться и чему стали бы служить своим творчеством.

3. Циклическое развитие литературы

Вся эта игра взаимных неприятий и просто непониманий, конечно, не сегодня придумана — она вписывается в законы и циклы развития русской литературы и только внутри них может быть постигнута. При всей уникальности современного этапа про него можно сказать: «Все было встарь, все повторится снова, и сладок нам лишь узнаванья миг». Попробуем задержаться на этом сладком миге узнаванья — и перед нами выстроится своего рода таблица периодических элементов русской литературы.

С чего начиналась она в свой новый период, так сказать, очнувшись от средневековья, когда и литературой-то собственно не была, сливаясь с разнообразными служебными видами словесности (бытовой, поучительной, научной, иравоописательной и т. д.). Новая русская литература начинается с социального и гражданственного служенья, которое в первый ее период, в 18-м веке, обозначается как классицизм. Кантемир своими сатирами, Ломоносов своими одами, Фонвизин своими комедиями, Радищев своей революционной проповедью — все они служат делу государства, благу отечества, воспитанию достойных его сынов. Литература развернута по горизонтали, обращаясь к сознанию читателя-гражданина, просвещая его образцами сословных добродетелей и пороков.

Но вот в русской литературе в центре становится отдельная личность, ее чувствования и запросы, ее слезы и умиление. Так обозначился сентиментализм, подорвавший господство социальных норм и критериев. Ломоносовский период русской литературы сменяется карамзинским, общественная горизонталь сжимается до точки — индивида, обращенного на себя.

Следующая фаза — религиозная, означенная романтическим направлением и именем Жуковского. Из точки вновь вырастает линия, но обращенная уже не в социальную плоскость, а в метафизическую вертикаль. Индивид обнаруживает свое родство со сверхиндивидуальным, запредельным, абсолютным. Поэзия становится мифотворчеством, откровением свыше, выражением невыразимого, томлением по Идеалу, созиданием Храма.

И вот искусство замыкается на себе, на выявлении собственной меры и силы. Вертикаль сжимается, но уж не в точку, а в круг: искусство существует не ради восхождения к внеположному абсолюту, оно есть абсолют само в себе: язык, говорящий о возможностях языка. В русской литературе это — явление Пушкина и созданной им школы «гармонической точности». Другие задачи искусства — служение обществу или нравственности — отменяются. «Поэзия выше нравственности или совсем другое дело», художник — сам свой высший суд. По точному замечанию Белинского, главный пафос творчества Пушкина — художественность: то, что раньше воспринималось как средство, становится самоцелью.

На Пушкине завершается первый цикл развития русской литературы, которая от горизонтали, через точку и вертикаль, возвращается к кругу, к самой себе, к литературности как таковой.

Далее начинается новый цикл — с провозглашения все тех же идей социальности и в напряженной полемике с предыдущими «школами»: романтической и эстетической. Белинский высмеивает эпигонов романтизма; а Писарев поднимает уже руку и на Пушкина. Первая фаза нового цикла — «натуральная школа» во главе с Гоголем, истолкованная как «беспощадное обнажение язв социальной действительности». И дальше — физиологический очерк, обличительный роман, «реализм» и «нигилизм», революционно-демократическая критика, служение критерию практической пользы, восстановление радищевско-фонвизинской, социально-просветительской направленности в литературе.

Вместе с тем социальная функция искусства не удовлетворяет крупнейших писателей, и уже в раннем творчестве Толстого и Достоевского начинает преобладать морально-психологическая установка: не типы, а личности, «диалектика души» и «свежесть нравственного чувства» (Чернышевский о Толстом). Так восстанавливается сентиментальная фаза уже во втором цикле литературного развития, отмеченная явным влиянием Шиллера на Достоевского и Руссо на Толстого. Собственно, все творчество Толстого до самого конца оставалось моральным по своему пафосу, осуществляло задачу прямого эмоционального воздействия и «заражения читателя чувствами писателя». И большинство русских писателей второй половины 19-го века так или иначе решало ту же задачу: воспитания души, нравственного просветления, воздействия на совесть — от позднего Некрасова и Надсона с их революционно-народническим морализмом до Чехова, Гаршина и Короленко с их морализмом индивидуально-гуманистическим.

Но уже через творчество Достоевского русская литература переходит в следующую свою фазу — религиозную, где мир строится по вертикали, состоит из высей и бездн. Окончательно религиозное служение литературы утверждается у Владимира Соловьева и его последователей — в русском символизме, который прямо вдохновляется наследием романтизма (как Блок — Жуковским). Слово становится намеком и посвящением в тайну высших миров, искусство — теургией, то есть преображением бытия по образу Божьему, и в этом же русле движется все художественно-философское мышление начала века, от Мережковского до Бердяева и Флоренского, от Андрея Белого до Вячеслава Иванова.

Однако и этому циклу суждено было замкнуться на эстетической фазе. Участившиеся критические выпады против символизма имели в виду, что последний развоплощает и мистифицирует искусство, превращает его в миф и тайнопись, тогда как задача — вернуть его к волшебной пластике, к слову как таковому. Эта задача по-разному решалась в постсимволистских течениях: акмеизме, футуризме, имажинизме, но все они исходили из самоценности художественного видения. «Прекрасная ясность», «самовитое слово», «языкотворчество», «форма как организм», «образ как самоцель» — все это на новом витке возвращало литературу к работе над собственным языком, и тому же способствовала формальная школа в литературоведении: осмысление искусства как приема.

Так, пройдя через те же четыре фазы: социальную, моральную, религиозную, эстетическую,— завершился второй цикл в развитии русской литературы.

Третий цикл вмещается в советскую эпоху и совпадает с ее границами. Но кажется, что если бы даже не было ни большевизма, ни Октября, литература все равно бы вступила в очередной цикл с горизонтали — с постановки социальных задач и провозглашения социального заказа. Пролетарская культура, классовость, партийность, социальное лицо писателя... Ведь так уже складывался этот циклический зачин и в 18-ом, и в 19-ом веке — почему бы 20-му быть исключением? Не было бы убийства непослушных писателей, но были бы убийственные приговоры произведениям, которые отклоняются от горизонтали и соскальзывают в предыдущие фазы развития, в круг или вертикаль. Характерно, что первая фаза нового цикла беспощадна к двум последним фазам предыдущего (религиозной и эстетической), объединяя их суммарно как «декадентство»,— и покровительствует двум первым (социальной и моральной), зачисляя их в «классическое наследие». Гоголь и Толстой почитаются, Владимир Соловьев и Николай Гумилев развенчиваются или замалчиваются. Социальная фаза тянется долго, с середины 20-х до середины 50-х годов, и вполне закономерно, что по аналогии с начальной фазой первого цикла критик (А. Синявский) обозначил ее как «социалистический классицизм», хотя и «социалистический реализм» ничуть не хуже — по аналогии с начальной фазой второго цикла. Вряд ли стоит перечислять корифеев этого периода: вслед за Горьким и Маяковским они еще во всех учебниках числятся — и вполне заслуженно — «классиками советской литературы».

Но вот с середины 50-х годов, с оттепели, утеплившей души и размягчившей сердца, начинается вторая фаза — и трудно подобрать ей лучшее название, чем социалистический сентиментализм. Опять критика жестких классицистических канонов, отказ от «социологизма», ставшего «вульгарным» — в пользу моральных подходов по «душе» и по «совести». В центре внимания — неповторимая человеческая личность. «Людей неинтересных в мире нет» — кредо одного из зачинателей этого нового сентиментализма Евгения Евтушенко, сравнимое по значению лишь с бессмертным карамзинским: «и крестьянки любить умеют». Снова образы «маленьких людей», портных и чулочниц, вместо полководцев и ратоборцев. Главное требование к литературе — искренность, личная взволнованность, исповедальность. Главное направление — «нравственные поиски», дошедшие чуть ли не до середины 80-х, впрочем, уже без надежды на обретения. Вознесенский, Окуджава, Аксенов, Битов, Ю. Казаков, Ю. Трифонов — все они формировались на этом главном направлении, независимо от разброса последующих путей. «Эстрадная поэзия», «исповедальная проза», «городская проза», «городской романс» — таковы были знаки и вехи «сентиментального воспитания» в нашей словесности 50-х — 60-х годов. И здесь же как второй, возмужалый период того же движения, пришедший на смену юной мечтательности,— суровая солженицынская проповедь нравственного очищения: «жить не по лжи»... Твардовский, «Новый мир», поэтика горькой правды и мучимой совести...

Но дальше движется литература и по какому-то неведомому закону опять переходит из моральной стадии в религиозную, над точкой суверенного нравственного индивида надстраивает метафизическую вертикаль. Конец «пражской весны» и «Нового мира», быть может, хронологически наиболее внятно обозначили этот переход, сказавшийся прежде всего у самого Солженицына, в его личном переходе от «нравственного социализма» к христианству. Нравственность исчерпалась как суверенная сила, гуманистический порыв и как «совесть без Бога».

В этой метафизической фазе нашей словесности выделяется несколько периодов. Самый ранний — «тихая поэзия» и «деревенская проза», с их первым чувством смирения, отрешения от «я», приникнанием к вековому укладу. Но эта религиозность еще наивного, ветхого, почти языческого образца, с культом земли, природы, национальных корней, если с православием — то скорее как обрядоверием, народно-бытовой традицией. Потом пришел черед мифологизма, уже не столь морально связанного и проповеднического, свободно играющего безднами и кручами духа, экзотикой восточных религий и эзотерикой таинственных будней — перевоплощениями, оборотнями, демоническими наваждениями, провалами в колодцы времен и пространств. В поэзии укрепился Юрий Кузнецов, в прозе — Анатолий Ким и Юрий Мамлеев, с их «фантастическим реализмом». Тот же путь от морального задания ранних вещей к метафизической перегрузке поздних проделал Ч. Айтматов.

Наконец, третий, и культурно наиболее проработанный пласт этого неоромантического движения образует то, что выше названо метареализмом: поэзия и проза Ольги Седаковой, Виктора Кривулина, Ивана Жданова, Елены Шварц, а также по-разному им близких Татьяны Толстой и Михаила Кураева. У них не столько пьянство и пестрота мифа, сколько трезвение и напряженное вглядывание в прозрачные прообразы вещей, восхождение по лестницам культурных параллелей, проникание в свернутые зародыши культур, их предвечные архетипы. Конфликт сверхреальности с реальностью может быть иронически заострен, как у Толстой, или гностически размыт, как у Жданова,— но в обоих случаях напрашиваются аналогии с двумя другими «вертикальными» эпохами русской литературы — романтизмом и символизмом.

И дальше, как уже подсказывает опыт, литература «закругляется», вступает в последнюю фазу — эстетическую, становясь энциклопедией возможностей литературы, собранием знаков и скрещением языков. Наступает эпоха концептуализма.

Впрочем, эстетическую фазу нельзя сводить к одному лишь концептуализму — это ее «низовой» пласт, тогда как существует и «верхний», не анти-, а собственно эстетический. Рядом с футуризмом существовал акмеизм. Так и завершающая фаза нынешнего цикла включает прозу и поэзию как бы чисто феноменальную, очищенную не только от социально-морально-религиозных заданий, но и от концептуальных минус-содержаний. В величайшую добродетель художника возводится чувственность: зрение, слух, осязание, то есть все то, что возвращает эстетику к самой себе как дисциплине чувственности (в прямом значении слова «эстетика»). Мир Бродского, в лучших его стихах, идеально поверхностен — это глубина, вывернутая наружу, так что метафизику от физики и физиологии не отделяет ни один гран вещества, ни один шаг ввысь или вдаль.

Этот феноменализм, поэтика чистого присутствия вещи на радужке глаза и на кончике пальцев, развит в прозе Саши Соколова и Сергея Юрьенена, в поэзии Алексея Парщикова и Ильи Кутика. Что вообще свойственно феноменализму — так это превращение слова в термин-метафору, привлекательную сухой визуальной точностью и отгороженную как от метареалистического «наплыва» значений, так и концептуального их «слива». Феноменализм развертывается как бы в средней зоне между мифом и пародией, между метафизической серьезностью и языковым озорством,— на поверхности, лежащей между глубиной вещи и смеховым вывертом этой глубины.

Пожалуй, в литературе зарубежья эта эстетическая середина представлена более полновесно, чем на родине, где она оттесняется крайностями метареализма и концептуализма, мистического энтузиазма и «нигилистического» гротеска. Вообще эмиграция — внешняя или внутренняя — очень способствует представлению предметов как феноменов, задняя содержательная природа которых сокрыта и подернута мглой, как покинутая родина. Провозвестником такого поразительно глубокого поверхностного письма выступил Набоков, который воспринимается сейчас в России как свежайшая новость и главный писатель истекших лет после своей кончины. И в целом зарубежье, отдалившись в пространстве, чрезвычайно успешно

опаздывало по фазам времени и словно бы на протяжении семидесяти лет, от Бунина до Соколова, готовилось к завершающей, эстетической фазе, к слиянию с основным руслом не где-нибудь, а именно в устье, перед впадением... в цикл следующий и еще неизвестный.

Можно, впрочем, догадываться, что и четвертый цикл начнется с фазы ошеломительно социальной, предчувствия которой уже нарастают в недрах «гласности», хотя могли бы осуществиться и без нее, без всяких толчков извне. Литература, исчерпав кружную и самодостаточную эстетическую модель, опять бросается на волю и растерзание горизонтали — таков ее удел. Что делать? Делать нечего.

Итак, тот четырехугольник сил, который был рассмотрен в предыдущей главе, теперь проясняется как предначертанное русской литературе соприсутствие и соперничество разных фаз ее развития: морально-гуманистической, национально-языческой, религиозно-метафизической и эстетически-концептуальной.

4. Арьергард

Теперь понятны становятся сетования некоторых литературных критиков, что литературный процесс в последнее время исчезает: вроде бы появляются новые произведения, но они не образуют процесса, самостоятельной динамики. Прежде всего, какой может быть литературный процесс в условиях одновременного вхождения в литературу четырех евангелистов, Петра Чаадаева, Василия Розанова, Джеймса Джойса, Александра Солженицына и тридцатилетних неоконцептуалистов? Вместо процесса в привычном понимании, т. е. линейной последовательности событий, перед нами некое пространство, со многими входами и выходами: Набоков приходит, Фадеев уходит, кто-то, вошедший через один вход, теперь входит через другой, как, например, Горький или Твардовский. Все разновременное совершается одновременно, и трудно вытянуть из этого гудящего многотысячного улья одну восковую нить.

К тому же, литературный процесс уходит из литературы — в нелитературу: в политику, философию, религию, вообще культуру. Это раньше литература, как совмещенный санузел или коммунальная квартира, сосредоточивала в себе все миссии, все отправления — была сокровенным поприщем для всех родов деятельности. Теперь все они, почуяв свободу, выходят из состава литературы, занимают собственные жилые помещения и распределяют сферы влияния. Что же остается литературе, которая уже больше не политика, не религия, не философия? Ей остается язык, некий минимум и последний плацдарм, на котором она оговаривает условия своей капитуляции.

Так вырисовывается самое современное из литературных явлений последнего времени — его можно обозначить как арьергард. Почти вся молодая возникающая словесность сознательно или бессознательно относится к арьергарду. С любителями классификаций (к которым принадлежит и сам автор) можно условиться, что арьергард — это последняя разновидность в последней фазе последнего цикла нашего литературного развития. Эстетическая фаза, проходя через пласты феноменализма и концептуализма, выходит теперь в арьергард всякого искусства, где оно держится на последнем минимуме,— прежде чем распасться и уступить более грубым и свежим силам новой социализации.

Что такое арьергард как тип последнего мироощущения? Современная эстетика в равной степени устала и «реалистически» совпадать с реальностью, и «авангардно» опережать ее. Реальность оказывается где-то впереди, бурно меняющейся по своим историческим законам, а литература движется сзади, все подмечая и подметая на своем пути, но уже в виде исторического мусора, распадающихся пластов реальности. Искусство нашего века начиналось авангардом, кончается — арьергардом. Авангард усиленно выдвигал новую форму, технический прием, жестко упорядочивал материал в заданные конструкции, отменял прошлое из любви к будущему: так было, когда век рвался вперед хищными бросками. Теперь, на грани

издыхания, он ценит искусство аморфности, не требовательного эксперимента, а всеприемлющего и безотказного дна, последней урчащей воронки, куда спускаются переваренные экскременты прежних величавых форм и грандиозных идей.

Последний предел и запредел, эсхатология вещества и сознания, метафизика мусора — вот что выходит на первое место в искусстве. И этим определяется не только выбор темы, но и сложение стиля, предельно расслабленного, обмякшего, бескостного. В эсхатологической перспективе почетнее — и эстетически продуктивнее — быть не первым, а последним, не провозглашать, а доборматывать, не вести, а плестись. Тот, кто окажется последним, займет место Истины, место Конца.

Проза арьергарда не поддается жанровым определениям. Это просто проза, поток письма, в который можно войти и дважды и трижды, ничего не узнавая вокруг — как будто с каждой фразы она начинается сначала. Прочитаем Валерию Нарбикову «Равновесие света дневных и ночных звезд» и «Видимость нас», Игоря Герба «Жертвоприношение коня», Руслана Марсовича «Призма — кино»... Исчезает не только сюжет, как признак истаявшей истории, но и тот костяк членораздельного целого, который раньше назывался композицией и который графически резко рисовался в концептуализме. Арьергардная вещь может начаться и закончиться чем угодно, и одинаково долго тянется во всех направлениях — континуум невесомости. Очень трудно приводить образчики новой прозы, потому что выбор цитаты уже включает целесообразность, и нужно пролистать много страниц, чтобы именно нецелесообразность была воспринята. Вот — описание самоубийства:

«Когда темнеет, наполняется ванна для Марата, для брата, для свата. Когда облачишься в красное и сыграешь угрюмо на скрипке руки,— хлорочная тепленькая вода понесет тебя из бассейна в бассейн, из реки в море. «Море ждет, а мы совсем не там». Боязно, когда чаши похожи и дрожат краями — не хочется пить. Если только можно — отчаянье крошит стекло чаши в руке — и ничего больше не сделано для бессмертия» (Руслан Марсович). Когда речи удается ничего не сказать, слова освобождаются от плена значений. Для арьергарда остается самый простой путь ассоциаций — по смежности, метонимический. Где ванна, там и хлорочная вода, где бассейн, там уже и море. Где вода, там чаша, стекло. Где стекло, там осколок, боль, а значит — шанс на бессмертие. Задача текста — деконструкция языка, постановка слова в такой контекст, чтобы оно размывалось другими словами, избавлялось от всяких значений: переносных, метафорических, символических и даже просто словарных. «И название предмета сходит, как прошлогодний снег с предмета, уходит в землю, впадает в Черное море, вот для чего так много языков, вот для чего чтобы дать название предмету на сотне, тыще языков, чтобы названия (языки) взаимно исключали друг друга и предмет опять остался без названия...» (В. Нарбикова, «Видимость нас»).

После идеологической сверхэксплуатации от слова еще оставался семантический скелет, «концепт», но и он вскоре превращается в могильную пыль — десемантизируется окончательно. Движение от концептуализма к арьергарду — отступление в тыл литературы, к ее могилам и пепелищам: вместо принаряженных скелетов — горстки серого праха. Твердое состояние смерти сменяется распылением посмертия.

В прозе Руслана Марсовича, во всяком случае, в том экземпляре, который мне попался, не были пронумерованы страницы, и эта оплошность, кажется, выдает тайный замысел автора — отказаться от всякого замысла, подать читателю свежеперетасованную колоду карт, чтобы никто не мог заподозрить его в шулерском умысле. С точки зрения арьергардной стилистики, пронумерованная страница — все равно что меченая карта: заранее известно, куда ее надо подсунуть. И такого рода шулерством была вся прежняя литература, в которой листки раздавались читателю по намеченному плану. Жизнь растасовывалась опытной рукой, в порядке «сюжета» и «композиции», чтобы автор мог переиграть читателя и внушить ему свою иерархию ценностей, свой «новый порядок».

Литература арьергарда больше всего боится именно этого умысла, который железной рукой загонял бы читателя к счастью верного понимания, к счастью великой идеи. Даже принадлежность к определенному жанру или порядок страниц могут восприниматься как охранные вышки эстетического Гулага, где заключенные

распределены по зонам и щеголяют с номером на спине. Над новейшей прозой, разбитой на сотни мутно брезжущих призм, бродит призрак посткоммунизма: позвоночник истории — сюжет — распался на множество позвонков, как в стихотворении «Век» Мандельштама. Конец Века. Вместо твердолапого и жестоковыйного хищника — нежные мураши, мельтешащие в разные стороны, с легкими, взлохмаченными пушинками смысла в каждой фразе.

Вместе с гибелью «научного» и «государственного» коммунизма происходит возрождение его как мистической ереси, этакого расплава тел и душ в тысячелетнем царстве стертых границ и неустановленных владений. От дисциплины насилия остается только утопия слияния, наименьшего напряжения воли в разваливающихся структурах общества и сознания. В этом смысле арьергард — это последний остаток коммунизма как энтропийной жажды растворения всего во всем, пылевое облако, поднявшееся над обессиленной землей.

В современном художественном сознании, как и в обществе, ускоренно происходит децентрализация, устранение больших несущих конструкций: жанровых, сюжетных, идейных. Особенность этой «литературы без свойств» уясняется из сравнения с центрированной и эксцентрической словесностью. Центрированная проза нашего времени, прежде всего солженицынская (но также гроссмановская, владимовская...), имеет определенный голос и позицию автора, который, как демиург, создает ее рассекающим мечом Слова. Все слова — автологичны, употребляются в прямом и выпрямленном значении, без всяких подмен, маскировок, обманных смещений. «Жить не по лжи», «Одно слово правды весь мир перевесит».

По контрасту с этой центральной прозой, во внутреннем споре с ней развилась проза эксцентрическая, которая как будто все время выходит из-под власти центра и вольно играет с ним — как у Синявского, Аксенова, Юза Алешковского, Венедикта Ерофеева, Виктора Ерофеева. Смысл, точно шарик, перекидывается от слова к слову перед запыхавшимся читателем, который с упоением пытается его поймать. Первая — сама серьезность и правдолюбие, вторая — игра, феерия, карнавал.

Но вот возникла и на исходе 80-х стала распространяться третья проза, уже не эксцентрическая, а децентрализованная. У нее еще нет громких имен, хотя Саша Соколов может считаться ее наставником. Если эксцентрика все время играет с утаенным и отброшенным центром: «говорю одно, а говорится другое», то децентрализованная проза вообще лишена такого структурообразующего места, где укреплялась бы даже минус-позиция, анти-концепция. Между словами нет упругих отталкиваний или страстных влечений. Нет подчиненности, иерархии, директивы, и даже утрачена культура товарищеской взаимовыручки. Точки можно было бы ставить не только между фразами, но между словами — настолько они безразличны друг другу. «Когда. Темнеет. Наполняется. Ванна. Для Марата. Для брата. Для свата». Метонимия водит предметы по окружности, не притязая на место центра. Пробираешься по задворкам и закоулкам, заранее зная, что в городе текста нет центра, что весь он состоит из окраин. «Нечто говорю, а ничего не говорится».

У арьергардной словесности есть надежное средство против увлеченности идеей, против тотальности любого стиля и воззрения: многозначительная скука, отбирающая самые второстепенные слова и рассеивающая множество второстепенных значений. Это рассеянная проза, лишенная серьезности первой и азарта второй — ни к чему не зовущая, никуда не отсылающая: даже к мнимостям, пустотам.

Арьергардный стиль без особых усилий автора является обычно вполне хорошим. В нем нет косноязычных оплошностей, несуразиц, неудачно подобранных слов, так как нет и правил, по которым нужно правильно подбирать слова. Концептуализм был минусовым, но еще не нулевым письмом, за ним угадывалась нарушаемая норма — вот почему он воспринимался как косноязычие, глумление над правильным, литературным языком. Если авангард стремится взорвать систему правил, то арьергард избавляется от них менее энергическим способом — возводя в правило каждое словоупотребление. Поэтому арьергарду все удается, он не совершает ошибок, как безошибочными являются правила самого языка: орфографии, морфологии, синтаксиса.

Литература просит убежища у языка, старается не говорить больше, чем говорит сам язык, когда молчит говорящий на нем,— и потому делается пустынно великой и свободной. Такую литературу трудно отличить от самого языка, который может высказать все и поэтому сам от себя никогда ничего не говорит. Арьергард — это речь великого немого, языка, во всем объеме его немоты. Это молчание — лучшее и глубочайшее, что можно расслышать в арьергарде: уже не отслоенное от слов, как невыразимое, а растворенное в них, как невыразительное.

5. Наше «Послебудущее» и западный постмодернизм

И последний вопрос, которого нельзя избежать: как соотносится это «послебудущее» современной русской литературы с тем, что на Западе называют постмодернизмом? Казалось, мы безнадежно отстали от развития западной литературы, соразмерно проходящей в XX веке все стадии модернизма! Какой может быть постмодернизм, если и модернизм-то усвоен лишь в ранних его начинаниях, в кратком предреволюционном отрезке 20-го века?

Плохо умея жить в ладу с современностью, мы, однако, ничуть не отстаем там, где время притормаживает ход, оборачиваясь безвременьем, предвременьем или послевременьем. Вот и постмодернизм нам, почти не успевшим вкусить модернизма, оказывается чем-то очень родствен и давно предназначен.

То, что существовало под именем «советской литературы», особенно в 30-е — 50-е годы, явно было выключено из современности 20-го века, было домодернистским, отчасти даже доклассическим явлением. Поэт выступал скорее как аэд или рапсод доисторических времен, выпевавший не себя, а то, что было в сознании и на устах у всех. Надличностные структуры откровенно формировали смысл и стиль, думали и говорили писателем. Невозможен был модернистский разрыв с традицией, приватизация стиля и разложение «большого социального канона», выгораживание единоличных участков в коллективном хозяйстве общенародного языка и обобществленной духовной собственности.

Процесс стремительного перехода от домодернистского к постмодернистскому сознанию — на том же самом материале «развитого социализма» — совершился у нас в основном в 70-е годы, во время безвременья. И в 80-е годы основные посылки художественного сознания оказались у нас вполне постмодернистскими, быть может, даже более крайне и последовательно, чем на Западе.

Разве, например, «симулакры», то есть предельно правдоподобные подобия, у которых отсутствует подлинник, не стали создаваться нашей культурой гораздо раньше и в больших количествах, чем на Западе? Как, например, быть с фигурой Брежнева, олицетворяющей «деловой, конструктивный подход» и «поступательное развитие зрелого социализма»? В отличие от сталинской фигуры, зловеще модернистской, кафкианской, Брежнев — типичный симулакр: постмодернистский поверхностный объект, некий даже гиперреалистический объект, за которым не стоит никакая реальность. Да ведь и задолго до того, как западная видеотехника начала в изобилии производить доподлинные образы отсутствующей действительности, эта задача уже решалась нашей идеологией, прессой, статистикой, подсчитывавшей до сотых долей процента никогда не собранный урожай.

Потемкинская деревня — вот наше предвосхищение постмодернизма, иллюзия, произведенная по всем правилам реалитета. Конечно, потребовалась определенная техника сознания, чтобы воспринимать эти подобия не как ложь, отступающую от реальности, а как единственно данную нам реальность — идеологического (у нас) или видеологического (на Западе) образа жизни. Но уже в 70-е и тем более в 80-е годы мы почти разучились реагировать на объекты брежневского или черненковского типа как на ложь — скорее, они скрашивали нам унылое существование, в них заключалась пародия — не на какой-то другой объект, а на самих себя.

Точно так же пресловутая «цитатность» постмодернизма, который оперирует готовыми клише и стилями из других эпох, была предвосхищена цитатностью на-

шего социалистического обихода, где все высказывания — закавыченные или незакавыченные, выражали «чье-то» мнение, исходили как бы из неких авторитетных или враждебных инстанций, существовали в модусе «так следует говорить».

Точно так же и с деконструкцией, которая в анализе любого осмысленного текста доходит до демонстрации его неосмысленности. Ни читатель, ни даже сам автор не могут объяснить, что же конкретно значит то или иное слово, выражение, целый текст — так много они значат, что противоречат себе, упраздняют собственную значимость. Вихрь слов несет с собой пустую воронку смысла. Эту работу деконструкции языка также в огромных масштабах успела провести социалистическая эпоха, представив наглядные ее результаты: мириады текстов, заведомо деконструированных (не в последующем анализе, а в самом процессе создания), то есть имеющих видимость смысла, но лишенных его при попытке определить.

Наконец, отчуждение, выстраданное и заклейменное всеми писателями модернистской эпохи. Постмодернизм уже не ощущает его как гнет и проклятье, потому что тот идеальный «субъект» или «индивид», от которого якобы был отчужден окружающий мир, оказался мифической конструкцией. Постмодернистская среда настолько выровнена, культурно пестра и однородна (одно не противоречит другому), что отчуждение вообще перестает ощущаться как боль и разрыв. Оно осваивается до такой степени, что между своим и чужим исчезает знак различия, зрелая личность состоит из сверхличностных и внеличностных составляющих. Но именно такой мыслилась и переживалась среда социальной однородности в нашей стране, пока модернисты-диссиденты 60-х годов не объявили ее чуждой, обезличенной, угрожающей. Художественное осознание 80-х годов избавилось и от этого индивидуалистического предрассудка: ни один лирический герой сейчас не возопиет против социального гнета и унижения, как в стихах наших поэтов-шестидесятников, потому что исчез сам лирический герой. Он заменен неким энциклопедическим всечувствилищем, которое либо свободно проходит сквозь пространства разных эпох и культур и поэтому не чувствует себя стесненно в своем исторически тесном пространстве (метареализм); либо само образовано из тех же полуфольклорных «общих мест» и банальностей, которые образуют окружающую среду,— и потому не хочет и не может ей противостоять (концептуализм). В любом случае советский постмодернизм лишен трагического надрыва и абсурдистского вопля, свойственного модерну (и особенно экзистенциализму как последней и крайней его разновидности). Постмодерн оптимистичен по крайней мере в том, что все свое уже отчуждено ровно настолько, насколько все чуждое присвоено.

Признаки западного постмодернизма в точности подтверждаются опытом нашей литературы. Нельзя согласиться с исследователями (советскими и зарубежными), которые ограничивают постмодернизм лишь полем действия «позднего капитализма», «мультинациональных монополий», «компьютерной цивилизации», «шизофренией постиндустриального общества», и т. д. Постмодернизм — явление гораздо более широкого масштаба, возникающее на основе как тотальных технологий, так и тотальных идеологий. Торжество самоценных идей, имитирующих и отменяющих действительность, способствовало постмодернистскому складу ментальности не меньше, чем господство видеокоммуникаций, создающих также свернутый в себе мир остановленного времени.

Разница в том, что русская и советская цивилизация логоцентричны, тогда как западная отдает приоритет молчащим ценностям золота и изображения. Но слова способны так же непроницаемо покрыть реальность и создать непрерывную цепь означающих в отсутствие означаемых, как и телевизионные изображения. Вот почему идеология в нашей стране вполне закономерно уступила место не чему-либо иному, а **гласности**, которая гораздо успешнее заговаривает действительность и заворачивает ее в пелену слов, чем бедноватая словесным запасом идеология.

Настоящей литературе в эпоху гласности остается, пожалуй, один путь — высказанного молчания или умолчанного слова. Выбалтывать секреты, чтобы не разглашать тайны. Утаивать смысл слова в миг его произнесения. Хранить литературу на дне языка, в его безбрежном молчании. Такова нынешняя поэтика сокрытия поэзии. Таково наше послебудущее — быть может, самый радикальный из всех наличных вариантов постмодернизма.

Игорь Дедков

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

1. Чаепитие у классиков

Возможно, рассудил я, знатоки, и не считая, знают, сколь часто и какие присловия попадаются в «Капитанской дочке». Мне же придется повесть перечитать, чтобы обнаружить и прочувствовать «опережающий ответ» «народного писателя» Пушкина «демократическому литератору» Чернышевскому. Но едва успел я взяться за пушкинский том, как в памяти всплыло: «Делать нечего: бояре, Потужив о государе И царице молодой...» И следом — давным-давно, в школьную пору, учанное наизусть: «Савельич был прав. Делать было нечего. Снег так и валил. Около кибитки подымался сугроб...»

Ловко, подумал я, делать нечего, Эпштейн-то прав! И в самом-то деле явится на общественную сцену этот долгогривый семинарист, книжный червь саратовский, угрюмый рационалист со своей «социальной озабоченностью», задурит ясные молодые головы дурацким вопросом, взбаламутит поколения, а ответ-то уже готов, ждет-дожидается, и нужно лишь угомониться невесть куда повлекшимся народам, а также отдельным гражданам, чтобы его обнаружить и постичь.

Что делать? — спрашиваете.

Делать нечего,— отвечено.

Оказывается, Пушкин «заведомо устранил этот ложный вопрос», наперед устранил и, значит, для нас, сирых, тоже старался, «показав, что человек становится собой и духовно мужает, когда д е л а т ь н е ч е г о».

В первый миг это «нечего» кажется каким-то спасительным озарением. Чем-то бесконечно родным. «Как жизнь? — Ничего.— А что делать-то? — Делать нечего». Свобода, воля, покой, мудрость времени и отечества... Но потом спохватываешься: а не поглядеть ли получше — как там, у Пушкина?

А у Пушкина так: наши славные бояре, потужив о государе и царице молодой,— д е л а т ь н е ч е г о! — в спальню к ней вошли толпой, объявили царску волю — ей и сыну злую долю...

Ну а дальше,— кто того не знает! — посадили мать с сыном в бочку, закупорили, засмолили и пустили,— опять же д е л а т ь н е ч е г о! — в море-окиян по цареву-де указу...

И еще у Пушкина — в «Капитанской дочке» — так: «Делать было нечего», поднялся буран, лошади стали, и надо было терпеть и ждать; и в другой раз — «делать было нечего», когда юный Гринев проигрался в карты, и пришлось ему не то требовать, не то клянчить денег у Савельича — тошно, а куда денешься... И еще раз: «Делать нечего,— скажет Маша Миронова Пете Гриневу,— будьте хоть вы счастливы...» Покоримся, скажет она ему, «воле божией», выхода у нас нет...

Не рассуждая, не усомнившись, исполнить «царскую волю» — это и есть, наверное, духовное мужание? Накричать на старого Савельича — это, должно быть, и есть становление человека?

«Делать нечего» — у Пушкина, да и вообще в русском языке,— то же самое, что деваться некуда и надо покориться, смириться; от чего-то скрепя сердце отказаться, что-то не очень желательное принять. Но есть и другой оттенок, полагающий предел терпению и означающий готовность на что-то решиться, что-то в себе пересилить и, наконец, вмешаться, ввязаться...

В «Капитанской дочке» это присловье исчезает из речи героев повести и автора, когда терпеть долее и бездействовать становится невозможно, и Гриневу предстоит что-то делать, чтобы защитить свою честь, спасти Машу и т. д. Тогда-то и только тогда, осмелюсь заметить, является в нем духовное мужество, и становится в нем человек.

Думаю, что «делать нечего», вырванное из пушкинского контекста и долженствующее вместить все социальные разочарования последующего времени, вряд ли может быть сочтено пушкинским «опережающим» ответом, пушкинским устранением «ложного вопроса».

Скорее всего, это ответ автора статьи, но действительно в значительной мере несамостоятельный, зависимый и как бы репринтный, очень характерный для нашего репринтного времени, бурно воспроизводящего забытые, затоптанные или просто старые идеи.

Помню, как на излете 60-х, в горькую пору очередного крушения общественных иллюзий, меня поразили слова Василия Розанова (воспроизвожу их по памяти):

— Что делать? — спрашивает кто-то. Должно быть, возбужденный, прогрессивный студент.

— Как что делать? — отвечаю.— Летом — варить варенье, зимой — пить чай с вареньем.

Розановские слова что-то неожиданно переменяли в ощущении и понимании жизни, в усвоенной иерархии ее ценностей. Они остужали пыл. Они успокаивали. Они напоминали о благе плавного, уравновешенного, отстраненного, независимого существования. О благе неучастия.

Но из Розанова точно так же, как из Пушкина, не следовало, что вопрос был задан «ложный».

Как проста наша духовная история, если поверить Эпштейну! Помните? «В с е (разрядка моя.— И. Д.) пытались п о л о в ч е е сообразить, что нужно делать, и т о л ь к о Пушкин з а в е д о м о устранил всю ложность этого вопроса». Достаточно ему было сказать, что делать, дескать, нечего, бояре...

Все,— и только один...

Я, конечно, понимаю, что автор выражается фигурально, и «все» — это, разумеется, далеко не все, и «только» — не совсем «только», и полюбившееся присловье у Пушкина вовсе не сводится по своему разнообразному смыслу к желанному для автора философическому итогу. Но такая свободная фигуральность оборачивается несвободой для всякого, кто попытался бы оспаривать ее правомерность. Несвобода эта выражается хотя бы в том, что оппонент вынужден делать то, от чего автор себя избавил: вынужден приводить доказательства, а это, как известно, утяжеляет полемику.

Ну как, например, мог я не заметить небрежно-беглого замечания критика о тех, кто «половчее» соображал, и не представить себе при этом встающих за теми словами подразумеваемых реальных исторических «ловкачей»? Помнится, такие «ловкачи» водились в нашем отечестве и при Пушкине, то есть д о «демократического литератора» Чернышевского, и в рабочих тетрадях поэта почему-то снова и снова возникали их живые профили, набросанные сострадающей дружеской рукой. «Половчее» — это ведь про рылеевых, пестелей, белинских, чернышевских, добролюбовых, писаревых, михайловских, а также, должно быть, про желябовых, каляевых, савинковых, про плехановых, лениных, троцких, да и вообще про всю эту большевистскую, меньшевистскую, эсеровскую поросль начала века... Но с не меньшим основанием можно вообразить и несравненно более широкий круг лиц — во всех российских сословиях и по всей глубине российского земского пространства,— познавших тяжесть того «ложного вопроса», мучительно искавших на него честный ответ и подчинивших свое существование, свой повседневный труд тому ответу.

Может быть, «половчее сообразить» — это все-таки про более близкие к нам, прямо-таки недавние времена с их повышенным чувством самосохранения, с их рекордами приспособленчества и корыстолюбия, с их занудной «взвешенностью» и непрерывной ложью, с их самым популярным ответом на наскучивший вопрос: делаем, что велят?!

Любопытно, что якобы пушкинское «делать нечего» предлагается, как ответ и выбор, именно сейчас. Именно сейчас предлагается стоять перед судьбой с покорно опущенными руками.

Духовное мужание, выходит, заключается в том, чтобы, «выскочив из капкана истории-биографии», оказаться в странно вывернутом пространстве, «где нет предстоящего горизонта, нет левого и правого, переднего и заднего» и где можно «вновь ощутить вкус чая», распиваемого подпольным человеком Достоевского «на останках всех хрустальных дворцов будущего». Дальше — «беззвучие мира, свернутого как свиток».

Таково окончательное разочарование и окончательное прозрение. Когда в некоем эсхатологическом смысле «делать нечего» и все дружно умывают руки, то ближайшая перспектива может предстать и такой, вполне апокалипсической. Но, слава богу, это еще вопрос — духовное ли мужество нужно или что-то совсем другое, чтобы испробовать вкус чая подпольного человека? Помните: «Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить».

Нужно, говорят нам, «полное отчаяние». Оно как бы и есть мужание, оно и заставит. Делать-то все равно нечего. И тогда, хотите или нет, а напьетесь того чая...

И при этом — никакой «тошноты социальной озабоченности».

Как рукой снимет.

Свобода. Все ваши хрустальные дворцы рухнули, пропадом пошли, а я вот чай пью... Свет провалился, а пью...

Исходя из невеселых наблюдений над современностью («чувство обступающей могилы и нового всенародного бесстыдства»), автор полагает, что безумное чаепитие уже близко.

Может быть, думаю я, он запамятовал (или никогда не живал там?) про Страну чудес, где возле одного дома под деревом всегда был накрыт стол и не прекращалось чаепитие. Заметив, что на часах — всегда! — время чая, Алиса догадливо спросила: «Поэтому здесь и накрыто к чаю?» «Да,— ответили ей.— Здесь всегда пора пить чай. Мы не успеваем даже посуду вымыть!» «И просто пересаживаетесь, да?» — продолжала догадываться Алиса. «Совершенно верно».— ответили ей.— «Выпьем чашку и пересядем к следующей». «А когда дойдете до конца, тогда что?» — рискнула спросить Алиса. Ответа не последовало, и тему разговора пришлось сменить.

Я бы тоже рад переменить тему, сочтя, что эсхатологический вопрос Алисы ближе к жизни, где безумные и трагические чаепития в порядке вещей, ближе, чем самые мрачные предсказания Эпштейна, я рад бы обратиться к главному предмету статьи — «новому сознанию в литературе», но кажется мне, что о нем-то и идет с самого начала речь, в него-то мы и втягиваемся незаметно, хотя о собственно литературе, особенно нынешней, еще не сказано и полслова...

Она нам как бы обещана, а пока предлагается понять, в каких новых отношениях она находится с новой действительностью. Старый вопрос про «что делать», как нам объяснили, ложен, и с ним, во всяком случае, с привычным его пониманием, покончено. Временем выдвинуты новые, почти невероятные вопросы: «как жить после собственного будущего, или, если угодно, после собственной смерти?»

Звучит страшновато, особенно поначалу. Но и поначалу — небессмысленно.

Получается, что мы, наше общество, наше сознание, пережили самих себя, даже свои планы, свои мечты,— т о г о н е в е д а я! — и в какие-то несколько месяцев 90-го года, в кратчайший исторический миг нас вдруг вынесло за свои собственные пределы, и мы вдруг поняли, что весь «возможный и достаточный коммунизм» уже был, отгрохотал, коммунистический цикл развития закончился, наше прекрасное ослепительное будущее уже отсверкало, то есть кануло, исчезло, умерло, а оно ведь точно было нашим и ничьим другим, а мы-то тем не менее живы, еще как живы, и надо как-то жить дальше... Дальше, то есть после...

Так я объяснил себе эти вопросы, которые, конечно, хороши в своем метафорическом качестве, но слишком легко дается это «после», слишком поспешно прощание и отпевание... Прощание с живым и отпевание живого.

Можно счесть «реальный социализм», «развитой социализм» и «перестройку» стадиями «затянувшегося конца», можно расслышать «учащенное дыхание подступающего удушья» и т. п., можно вообразить еще что-нибудь в том же роде, уже не про хрестоматийных «лишних людей», а про весь наш грешный российский «лишний мир», заплутавший на задворках цивилизации, но при этом, может быть, стоит хотя бы чуть-чуть отчетливее помнить-чувствовать, что за нашими абстракциями и метафорами — жизнь, люди, страна?

Или поверим, что кто-то в реальной действительности в самом деле переходил из одной стадии затянувшегося конца в другую стадию конца, из «реального» в «развитой» и т. д.?

Если же все словесные призраки этого типа не имели отношения ни к нормальной литературе, ни к нормальному самоощущению народа, то зачем обозначать ими то, что в строгом смысле обозначено ими быть не может? Или с призраками легче справиться?

Критику удалось, если не совсем отделить, то хотя бы отдалить себя от предмета описания. Будто он не входил в его состав, будто не знал по себе, по всем своим ближним и дальним, что, как бы ни именовали себя «стадии», как бы ни усердствовала пропаганда, хронометр жизни отстукивает какое-то свое, независимое время, какую-то свою хронику событий. И там — никаких хрустальных дворцов, никакого «достаточного коммунизма», никакого «зрелого» социализма, никакого лучезарного будущего, и, значит, нет никакого «после».

Разница, выходит, в том, что одни говорят: он (коммунизм, социализм) был да весь вышел. Другие говорят: не было и нет, и речь не о том. О чем же? А речь о том, что рановато хороните... Даже коммунизм, освистанный и проклинаемый. Не говоря уже о другом, о главном,— о том, что существование и труд народа, его духовное бытие никаким партийно-государственным сверхусилием не могут быть сведены к воплощению и бытованию какой-либо одной идеи. Кризис общественного устройства и государственной идеологии, даже ее благополучная кончина вовсе не означают, что мы все, подданные этого государства, враз оказались в некоем запредельном пространстве — по ту сторону совести и ответственности, все дорогое потеряв, все святое прокляв и утешившись чаем «подпольного человека»...

Но, может быть, не стоит сильно перечить? Сказано же ясно: новое время дает «простор для обобщений и предсказаний». А какие обобщения-предсказания без полной свободы воображения? И если воображение рисует, то зачем же скрывать? Итак, говорят нам, «конец уже наступил», развалины, запредел, «апокалипсис в одной отдельно взятой стране», и вообще — время «последнего». Нет, нет, ничего вульгарного и приземленного, бытовые припоминания (очереди, талоны, сахар, курево и т. п.) оставим при себе. Например, «последней» может быть литература, но не потому, что она последняя по времени, а потому что — «после времени» и лишена «признаков времени» и вообще таковая — «по запредельной сути своей».

Оказывается, отношение к суровым, но изрядно наскучившим реальностям прошлого выражается ныне посредством словечка «пост»: «постутопия, посткоммунизм, постистория». И никак не выражается посредством словечка «анти», потому что, слава Богу, с тоталитаризмом, утопизмом, коммунизмом, милитаризмом покончено. Неинтересный, отживший предмет. Наконец-то литература освободилась от гражданских и социальных обязанностей и повинностей, от пресловутого чувства долга и прочей сентиментальной чепухи и рабских привычек. Литература как бы вышла в открытый космос, а внизу — никакой земли. И при этом ничего из оставленного позади и внизу, кажется, не жалко. Только смешно, что все это было,— липло, мешало, терзало, забивало голову,— вся эта бестолочь бесконечной борьбы,

самообмана, утопических лозунгов, исторического самолюбования и чванства.

«Конец истории?» — так назвал свою знаменитую статью 1989 года американский профессор Френсис Фукуяма, возвестив о «неоспоримой» мировой победе «экономического и политического либерализма»[1] над коммунистической и прочими альтернативами. Михаил Эпштейн, определив наше домашнее и всеобщее время как постисторическое и разместив его «после» изжитого будущего, обошелся без знака вопроса. Видимо, он посчитал дело окончательно решенным. Да и жанр таков — что за прозрения и пророчества, если они разбавлены вопрошающей интонацией?

Но, как известно, победу от поражения бывает трудно отличить. И Френсис Фукуяма, энергично описав «грандиозное поражение» коммунистических претензий, неожиданно заключил статью такими словами: «Конец истории печален. Борьба за признание, готовность рисковать жизнью ради чисто абстрактной цели, идеологическая борьба, требующая отваги, воображения и идеализма,— вместо всего этого,— экономический расчет, бесконечные технические проблемы, забота об экологии и удовлетворение изощренных запросов потребителя. В постисторический период нет ни искусства, ни философии; есть лишь тщательно оберегаемый музей человеческой истории. Я ощущаю в самом себе и замечаю в окружающих ностальгию по тому времени, когда история существовала (...) Быть может, именно эта перспектива многовековой скуки вынудит историю взять еще один, новый старт?»

Нет оснований сказать, что текст М. Эпштейна беспечален. Он даже эсхатологичен: апокалипсис, Антихрист, «последнее мироощущение», «последняя литература», «последний смысл»... По временам он напоминает некоторые прорицания А. Проханова, особенно насчет последних аккордов «апокалипсической симфонии», которые вот-вот грянут над дурными российскими головами, вразумляя дальних потомков заблудших мятежников Февраля — Октября семнадцатого года. Отвлеченно-поэтические пророчества М. Эпштейна и конкретно-политические А. Проханова мало где пересекаются, но их роднит жанр, во всяком случае, его сегодняшняя, здесь, у нас, внутри советской словесности, возрожденная форма, словно бы требующая, раньше всего, красоты и значительности говорения в ущерб обычной человеческой печали и братско-сыновнему пониманию всех драм и трагедий народной жизни. Не знаю, с чем это связано; может быть, с известной отрешенностью, отвлеченностью умственного склада, или же, простите, с «господским», высокомерным характером, время от времени вдруг проступающим в нашей литературе. Вспомним хотя бы ее легкомысленные самоназначения в народные спасители, водители, носители и воплотители народной совести... Впрочем, это рассуждение, благодаря знакомому имени Проханова, уводит довольно далеко от Эпштейна, поскольку он не повинен в упомянутых забавах и вообще более многих занят собственно литературой, ее игровой ипостасью и автономией. Но, может быть, оно здесь и уместно, потому что все равно возникает вопрос: пророчествующие пророчествуют, прозревающие прозревают, а какой очистительной силой, каким страданием и болью, какой справедливостью они посланы, от кого, за кого, во имя чье?

«И я сказал: вот я, пошли меня» (Ис., 6, 8), но прежде было признание («я человек с нечистыми устами»,— Ис., 6, 5), и шестикрылый Серафим, и с жертвенника горящий уголь, и его прикосновение к тем устам...

И был послан...

Иоанн Богослов, один из подразумеваемых первоисточников провидческого вдохновения автора статьи (мир как «свиток» и т. д.), в каком-то высшем смысле тоже п о с л а н на остров Патмос, хотя, по преданию, туда сослан и работал там на шахтах. Там и было ему откровение, снятие покрова с неизвестного будущего.

Теперь с откровением проще: «жанр» человеческой жизни, ее предельного духовного напряжения, экстаза и подвига стал расхожим литературным жанром, и вот нам уже предлагают вообразить остров Патмос, охвативший собой шестую часть суши, столь нам знакомую. Но, говорят нам, нынешний Патмос «лишен всякого пафоса», и, хотя волны истории грозят над ним сомкнуться, он «похож скорее на чаепитие у Чехова, чем у Достоевского».

Нет, это не нам в жизни вслед за Розановым предлагают поменьше волноваться и пить чай; это так — очень легко — уживается с Патмосом и апокалипсисом новая последняя литература, предпочитая истерике и надрыву некий «запредел», близкий к равнодушию... Когда-то на классических чаепитиях — у Розальских, у тургеневских Кирсановых, у Прозоровых и т. д.,— жизнь топорщилась, насмешничала, дерзила, восставала против заведенного обихода и миропорядка. Теперь же, делать нечего, товарищи, делать нечего, господа, и «усталая литература» хотела бы на том чеховском чаепитии навеки заснуть, «ни о чем не жалея, ничего не желая».

Умучилась, бедная, бледная.

Но если она, нареченная «последней»,— после истории, после будущего,— ни о чем не жалеет, жалеть ли нам ее?

Далекий американец, оглядываясь на уходящий, «побежденный» мир и предчувствуя впереди «многовековую скуку», находит, о чем пожалеть, и чему опечалиться.

[1] См.: «Вопросы философии», 1990, № 3.

Нам — ничего не жалко. Нам бы побыстрей справить поминки — по собственной истории, по вчерашним идеям и идеалам, по нашей литературе.

Праздничное чаепитие куда-то сильно спешащей похоронной ликвидационной комиссии.

Дело Виктора Ерофеева (см. «Поминки по советской литературе») продолжает Михаил Эпштейн (советская литература «после собственной смерти»).

Они, конечно, шутят, они просто весело расстаются с кошмарами соцреализма и коммунистической идейности. Возможно, они слышали чересчур много умильно-восторженного об успехах самой передовой в мире литературы, и теперь в них срабатывает некогда задержанный рефлекс отторжения и сарказма.

Боже, как умильно щебечет о своем младенце Наташа Прозорова! Он и особенный, и необыкновенный, и все понимает... Штабс-капитан Соленый, явившийся к чаепитию, не выдерживает: «Если бы этот ребенок был мой, то я изжарил бы его на сковородке и съел бы».

В «последней» литературе, если я правильно понял, тот же «черный юмор, абсурд, сюрреальный акт» уже никого не шокирует, и Наташа Прозорова в смятении уже не закроет лица руками, успев привыкнуть к новым свободным нормам человеческих отношений.

Не закроем лица и мы.

Я понимаю: «новая», «альтернативная», «последняя» литература требует себе места в эстетической и прочей иерархии. «Необыкновенный ребенок» вызывает у нее идиосинкразию. Она нуждается в том, чтобы ей расчистили подобающее ей место.

2. *После чаепития. После «нового» сознания и «новой литературы»*

Расчищать место очень просто. Виктор Ерофеев показал, как это делается. Михаил Эпштейн продолжил. Нужно забыть побольше имен, книг, литературных героев, сделав вид, что их как бы не было и никто ничего не помнит. Этакая братская могила с осиновым колом, а на колу — опознавательная табличка: «советская литература». Уже само слово «советский» неизбежно должно отпугивать невинных прохожих своей «мрачной, совьей, загробной символикой». В самом деле, почему бы, расчищаясь, не покончить заодно и с некоторыми надоевшими словами, приладив им на шею камень потяжелее? Чем больше вокруг всего виноватого — слов, людей, книг,— тем как-то легче на душе, не правда ли? Или мы, как изворотливые змеи, хотим сбросить кожу и надеемся, что фокус удастся? Осип Мандельштам, возможно, шутил, когда писал: «Попробуйте меня от века оторвать.— Ручаюсь вам, себе свернете шею!» А может, и не думал шутить, чувствуя, как жестока и сурово-прочна эта связь — до мучительного — всей кровеносной системой — сращения со всем, что есть и было... С буддийским московским летом тридцать первого года... С нескладным пиджаком «эпохи Москвошвея»... С разночинцами, которые для того ли свои рассохлые «топтали сапоги, чтоб я теперь их предал?»

Нас хотят убедить, что старую кожу можно с себя счистить и обновиться. Рассохлые сапоги скоро будут приобщены к делу по обвинению их владельцев в наших несчастиях. Нам станет еще легче, потому что, чем больше виноватых во времени и пространстве, тем меньше виноваты мы сами. Тем больше мы ни при чем.

Старая опостылевшая кожа — старая лишняя советская литература — наскучивший лишний советский мир с его «непроезжими дорогами», «неприспособленными жилищами», вечными очередями... Чем отвлеченнее мысль и воображение, чем свободнее душа от привязанности,— от сращенности,— с этой горькой и бедной реальностью, тем легче судить да рядить, тем бестрепетнее выстраивается изничтожающая насмешливая логика тотального отрицания. Живая упрямая конкретность — литературных фактов, исторических хроник, человеческих судеб — мешает ей, препятствует, тащит к земле, нарушает ее эффектную стройность и эпатирующий блеск. А раз так — сбросить этот балласт, эти сырые тяжелые мешки, вот оно — поднебесье и запределье!

Я понимаю: здравый смысл скучен. Иногда его даже полезно держать взаперти, но не в такие времена, как сейчас. (Разумеется, я говорю не о государстве, которое может десятилетиями держать здравый смысл народа в подполье). Кстати, «концептуализм» в своей глубине исходит из здравого смысла, из его столкновения с идеологическим абсурдом, с опустошенными, обесчещенными, автоматическими словами. Но сегодня здравый смысл, помимо прочего,— это конкретность любого явления, возвращающая нам теряемое представление о многосложности и неоднородности жизни, о ее упорном неподпадении под бойкую и жесткую классификацию, под бравую и скороспешную сортировку. Кажется, историческая конкретность, ее знание и переживание,— единственное, что может серьезно противостоять нарастающему энтузиазму нового, — противоположного! — схематиз-

ма, нового тенденциозного упрощения всего и вся: будь то самодержавие, революция, война, судьбы интеллигенции, пути литературы и искусства, общественная психология...

Когда-то, посреди Семнадцатого, если вспомнить о чаепитиях, Лев Шестов, ставя чайник на спиртовку, спрашивал: «Революция или чай пить?»

И Василий Розанов спрашивал... И Алексей Ремизов — о том же: «Революция или чай пить?» [1]

Значит, был такой вопрос. Был! А иначе — сидели бы себе без всяких пустых вопросов (никакой революции!), пили бы чай и эволюционировали бы спокойно вместе со столом, чашками и спиртовкой от неприспособленных жилищ и непроезжих дорог к приспособленным и проезжим...

Был вопрос и волнует по сей день. Как бы сделать так, чтобы и то, и это было и чтобы чашки даже не задребезжали... А еще лучше, чтобы — был вопрос, был! и понять это! — и чтобы теперь его не стало, и просто бы отныне, всего натерпевшись, набедовавшись, чай пить и в самом деле эволюционировать чуть-чуть быстрее.

(Меня тревожит, что где-то выше я неясно написал про чаепитие у Л. Кэрролла. Мне показалось, что пересаживание за тем вечно накрытым столом очень похоже на нашу жизнь; как мы ни пересаживались, очередной чай таил в себе новую горечь, и нередко она была близка к той последней горечи чая «подпольного человека»...)

Да, я думаю, что критик упростил и обеднил картину нашей современной литературы и ее недавнего прошлого. Ее сложная и богатая конкретность ему мешала. Он отстранил ее, найдя ее главный порок в приверженности к «исторически текучей, «текущей» реальности». Он дал нам понять, что устал от этой приверженности и непреходящей «социальной озабоченности». И что устал не только он или какие-нибудь другие критики и читатели, но что устала сама литература. Он изобразил эту ситуацию как закономерную и типовую для той части литературы, которая все еще почитает своим богом пресловутую реальность.

Любя классификацию, автор выбрал из всего множества литературных героев 60—80-х годов две классические типовые фигуры: лишнего человека и чудака. Он прекрасно описал превращение благородного лишнего человека в некую сомнамбулическую безличность посреди мира, который сам едва ли не лишен. И не менее прекрасно историческое преображение «очарованного странника» в шукшинского «чудика», а затем в «чудака с буквы «м». Тем самым он как бы зафиксировал неуклонную деградацию реальности, ее худосочность и эстетическую непроизводительность. Но при этом явно отказался от классификации других литературных героев, принадлежащих как бы иной действительности и способных противостоять деградации, упадку, бессмыслице и общественной покорности.

М. Эпштейн знает таких героев не хуже меня; они есть у Ф. Абрамова и В. Быкова, Ю. Трифонова и В. Семина, Г. Владимова и Ф. Горенштейна, у В. Богомолова и Ч. Айтматова, у В. Астафьева и В. Распутина. Он их просто опустил и, думаю, не потому, что в них меньше художественной силы,— она-то только и может идти в счет! — чем в книгах названных им писателей помоложе. Он опустил их за их неподчиненностью избранной им концепции. За их духовное и нравственное сопротивление реальности, которой они сами же сформированы, принадлежат и, сознавая это, все-таки признают своей, а не чужой и лишней. За их принадлежность к «морализирующей словесности» с ее «душеполезной» и «жизнеподобной» эстетикой.

Что ж, может, и вправду «одна заря сменить другую спешит...» И это так естественно и отрадно. И некоторые новые имена уже известны и на слуху, а некоторые, уже не вполне новые, хорошо читаемы и — о, ужас! — мысленно уже причисляемы со своими «капитанами дикштейнами» и «прекрасностями жизни», если и не к «морализирующей словесности», то все же к тому старому испытанному литературному направлению, для которого нет земного бога выше реальности, выше жизни — текучей, текущей, летящей, лядащей,— и вместе с тем единственной и прекрасной. Но, может быть, причисляемые причисляемы по недоразумению, и вообще же скучно, когда свободного художника куда-то причисляют, к чему-то прислоняют, энергично добирают сотым до сотни... Особенно скучно, когда смолоду приписывают к какому-нибудь потрепанному полку бывших «соцреалистов» и хвалят за образцовое равнение... Нетрудно понять, как велико в таких случаях чувство отталкивания и даже брезгливости. И как хочется быть совсем иным, не повязанным никакой реальностью, которую непременно нужно лелеять и улучшать. Или фабриковать, как делали и делают до сих пор ревностные служители какой-нибудь одной всеохватывающей и всеобъясняющей идеи... Вот и настает миг, когда всякая социальная реальность кажется сомнительной и недостойной, если чего и заслуживающей, так пренебрежения и преодоления. И какого преодоления! Оказывается, новые литературные направления («метареализм» и «концептуализм») отличаются от «предшествующих течений нашей словесности» своей направленностью «к запредельному». Если «метареализм» — поэзия «положительно запредельного», то «концептуализм» — поэзия «отрицательно запре-

[1] См. Алексей Ремизов. В розовом блеске. М., 1990.

дельного», а это приближает нас соответственно к Эдему или Нирване. Действительно, это похоже на выход в открытый космос, когда от земли может остаться в душе лишь призрачно тонкий след. Новая, запредельная, сплошь и неделимо развернутая реальность, описанная автором с привлекательным эффектом своего отрешенного от себя в ней соприсутствия и соконструирования, такова, что лирическое «я» в ней «уступает место лирическому «оно», лишенному всякой субъективности, как слабости, и способному обнаружить и подтвердить теоцентрическое строение мира. Субъективность, как сентиментальность, как разного рода «морально-политические оттенки», как поверхностная гуманность, отвергается, потому что препятствует постижению духовных ценностей «высшего порядка», достаточно далеких от суетных треволнений человека. Наверное, даже неважно, насколько реальные литературные факты поддаются подобному истолкованию. Оно — со своим собственным футурологическим сюжетом вокруг «после» и «запредела» — живет само по себе и вполне может провоцировать на соответствие и подражание. Пока же, читая т. н. «метареалистов» и «концептуалистов», нетрудно заметить, что выведенный для них общий концептуальный знаменатель приближается к чрезвычайно малой, почти ускользающей величине. И, по-моему, это неплохо: знак несводимости — знак жизни, знак присутствия поэтических индивидуальностей, их свободы. И обратно: легкая сводимость к той или другой общности и однородности (например, к монотонной, почти надындивидуальной иронии у «концептуалистов») становится знаком ограниченности и остановки. Но, кажется, критик старается не замечать ни этого обнадеживающего несходства, ни этого тревожного хорового единообразия. Он увлечен, сомнения ему чужды, он превосходно чувствует себя среди легких, прекрасных, послушных отвлеченностей: их можно определять, переопределять, перепереопределять, сталкивать, и разводить, и настолько наполнять свежим, играющим смыслом, что порою уже не понять, то ли они — отражение чего-то земного, реального, то ли сами уже по себе — реальней, вообразимей реального...

И все же я думаю, что Ольга Седакова, Виктор Кривулин, Лев Рубинштейн и все остальные их товарищи, названные и не названные в статье, реальнее «измов», к которым приписаны, как к новым победоносным полкам.

«Метареалист Имярек по вашему вызову явился!..»

Видимо, дело обстоит не так. Явилось — вразброс по журналам, газетам, альманахам — «младшее литературное поколение», еще в восемьдесят четвертом осознавшее себя «зияющим», «погибшим», «замолчанным», жертвой «серого террора», когда «литературная смерть в форме абсолютного замалчивания (в отличие от традиционных разоблачений, всенародных обсуждений и постановлений) впервые была применена так последовательно». На вопрос: «Что делать?» — оно отвечало: «Давайте не погибать» [1].

Оно зияло, потому что было ни с теми, ни с другими. С теми — сталинскими наследниками и выучениками — оно не имело ничего общего. Другим — «либералам и прогрессистам» — оно не могло простить их встроенности в «официальное общество», их поглощенности моралью и эстетикой чересчур очевидного противостояния: «свет и тьма, поэт и мещанин, новое и косное, ленинизм и сталинизм». И те, и другие были слишком заняты собой, своей борьбой и своей литературой, и эта занятость казалась им исчерпывающей и всеохватной — до парадокса: в глазах и тех, и других «не идеи, не политические взгляды, не что иное — а *одаренность* сама по себе оказалась *политически нежелательным* явлением» (Ольга Седакова). На основе разных политик, но нежелательным, идущим вразрез, нарушающим приличия, не подпадающим под правила. Не хватило органов зрения и слуха, не хватило допущения, что возможны и уже есть какие-то другие степени эстетической и духовной свободы.

Теперь, в новых условиях, мысль о «погибшести» отменена как преждевременная и устаревшая. «Быть может, с точки зрения внутреннего напряжения и свободы скорее уж другие, более благополучные поколения советского искусства окажутся «погибшими» в сравнении с «глухими временами» (Ольга Седакова). Быть может, быть может... Печальная, однако, в своей неновости мысль: не мы погибшие, вы погибшие, они погибшие, они проигравшие...

Идея альтернативности применительно к литературе вдруг вывертывается, особенно у М. Эпштейна и В. Ерофеева, как идея очередной несвободы, очередного предписания и устава. Вместо одного и одних — другое и другие, и эти другие несомненно ближе к Богу, к Истине, к Красоте (про Красоту теперь, правда, слышно мало), к чему-нибудь еще, столь же хорошему и надежному.

Представленная нам смена «погибших», «отживших», «отставших» на «победивших», «прозревших», презревших «пошлые стереотипы» повседневности, вписана в «периодическую таблицу» русской литературы, в ее циклы и фазы, то есть узаконена.

Если одну понятийную сетку, набрасываемую на факты и явления, сменяет другая, восприятие и знание обновляются, и начинает казаться, что вот обнару-

[1] Ольга Седакова. О погибшем литературном поколении — памяти Лени Губанова. «Волга», 1990. № 6.

жен новый порядок вещей. Но тут думаешь: а так ли уж хочется этого порядка?

Когда-то Аполлон Григорьев писал о судьбе всякой теории, пережившей своих «пламенных поборников» и «сочувствие массы»: против нее начинается «реакция жизни». Но реакция поначалу сама знает лишь то, чего она не хочет, и много хуже то, чего желает. Потому-то на место реакции отрицания должен прийти «свободный продукт жизни» или то, что Григорьев называет «верованием». Верование «обыкновенно растет незаметно, выходит наружу тихо, зреет в уединении, но самым первым своим появлением уже оскорбляет и раздражает как теорию, то есть то, что жило и отжило, так и реакцию, то есть то, что мечтает жить на основании резкой противоположности своей отжившему».

В литературе, по Григорьеву, тот же закон: реакция отрицания возникает и проходит, чтобы когда-нибудь снова возникнуть, но глубинное развитие не знает разрывов и как бы подхватывается, чтобы продолжаться.

В новых или «замолчанных» явлениях литературы, в ее «новом» сознании М. Эпштейн акцентировал и по-своему опоэтизировал силу реакции, отторжения, протеста, насмешки, аффектированную ставку на свою резкую противоположность тому, что есть и было.

Допустим, концептуализм «отслаивает знаки от означаемых и демонстрирует мнимость и призрачность этих последних».

Виктор Ерофеев, допустим, обнаруживает в «архетипах», «выловленных со дна русской истории», «расхожие схемы» и повод для «иронических языковых игр».

Наконец, искусство «арьергарда», которым — объявлено! — закончится XX век, явит собой «последний предел и запредел, эсхатологию вещества и сознания, метафизику мусора», доборматывание художника, плетущегося в хвосте исторической процессии.

То впереди на лихом коне, то с сердцем Данко, разбрызгивая искры, то «разведчиками будущего», застрельщиками и запевалами, а теперь — позади всех, и последнему из последних обещано «место Истины, место Конца».

Итак, все наоборот. Только наоборот. Шиворот-навыворот. Оставьте ваши святые места для поклонения дуракам. Как писал Венидикт Ерофеев: «Пускай вы изумруды, а мы наоборот. Вы пройдете, надо полагать, а мы пребудем. Изумруды канут на самое дно, а мы поплывем — в меру подлые, в меру вонючие, — мы поплывем».

Отчаянием побивается чья-то фанаберия, сомнительное, а может быть, и всякое благополучие. Распоследние, — а вот вам! — поплывем и пребудем! Но даже такой талантливый «запредел», вмещающий лучшие помыслы других квалифицированных «запредельцев», не может убедить в никчемности и призрачности остальной реальности. «Параллельное» кино и «некрореализм», изображающие трупы и манипуляции с экскрементами, также не способны доказать, что реальность пуста и лучшего не заслуживает. Вообще очень много усилий, чтобы «отслоить», освободить знаки от «означаемого» и сказать, что оно мнимо, расхоже, вульгарно, фальшиво и т. д.

С новыми временами — новые доводы: действительность теперь всем известна и открыта, тайн нет; бурно развивающаяся реальность уже «где-то впереди», а литература за ней не поспевает. Более того, гласность окутала действительность в пелену слов, и никакой реальности из-под нее не пробиться.

Как ни повернись жизнь, все худо. И с гласностью, и без гласности... А может быть, думаю я, все метафоры какой-то не такой, неподходящей реальности есть метафоры растерянности «нового» литературного сознания, его косвенного признания своей слабости?

В романе Г. Робакидзе «Убиенная душа», насыщенном политикой и моралью, что не помешало его художественной, поэтической силе, есть такое описание реальности: «Всюду царили раздор, измена, донос, недоверие, страх. Вместе с тем было еще нечто такое, что нельзя было назвать ни революцией, ни контрреволюцией, что не ведало ничего ни о кулачестве, ни о пятилетке, ни о плане. Это нечто и знать не хотело ни о Центральном Комитете, ни о генеральном секретаре. Это нечто — человеческое сердце, исполненное огня и Бога. В царившей вокруг тьме вдруг озарялось пламенем сердце, в котором были молитва и радость. На необозримых русских равнинах, в Сибири, на Украине, на Кавказе — всюду рождался Христос или Таммуз, тихо, неприметно живя в каком-нибудь захолустье».

Я не знаю, как назвать такую реальность и выход художника к ней. Или это и есть «свободный продукт» жизни? Роман написан в самом начале 30-х годов, хотя самое время было повторять: «Делать нечего», — и кто-то повторял и спасался.

Не знаю, найдут ли в старой, но только что дошедшей до нас повести Ф. Горенштейна «Зима 53-го года» какой-нибудь «метареализм», конфликт «сверхреальности с реальностью», чтобы ввести в передовой терминологический контекст, но я бы предпочел увидеть там силу традиции и образ гибнущей под обвалом беспощадно тяжелой исторической реальности молодой души, исполненной живого огня, и если не Бога, то чего-то близкого к Нему, воодушевляющего и обязывающего.

Очень долго вслед за Герценом мы считали, что литература в стране, лишенной политических свобод, заменяет собой народное представительство, вынужденно включая в круг своих интересов и забот философию, политику, даже

экономику. М. Эпштейн вводит новое сравнение: литература была, «как совмещенный санузел или коммунальная квартира», где сосредоточивались «все миссии, все отправления». Поскольку в статье есть про «фекальные воды», «метафизику мусора» и разное родственное другое, то этот фельетонно-саркастический образ вполне вписывается в ее образную систему. Остается вопрос: жалеть или не жалеть о совмещенном санузле? Жалости особой незаметно, — потратить столько снисходительной иронии на «социальную озабоченность» и «вульгарный морализм», и еще жалеть! — но и радость какая-то драматическая. Оказывается, остается теперь литературе только ее литературность: «язык, некий минимум и последний плацдарм, на котором она оговаривает условия своей капитуляции». Если — прошу прощения за скучное уточнение — художественный талант и человеческая жизнь входят в этот минимум, — тогда понятно. Но когда сильно понятно, тогда и скучно, и чем больше вы про дар художника, судьбу человека, социальность, про ваш отсталый реализм, тем скучнее и банальнее. Пора бы уже догадаться, что «минимум», «плацдарм» и «капитуляция» — это некий стык между «авангардом» и «арьергардом», где образовалась изрядная мешанина из искусства «последней урчащей воронки, куда спускаются переваренные экскременты прежних величавых форм и грандиозных идей», и еще более передового искусства последнего, разумеется, эсхатологического доборматывания.

Литература арьергарда боится охранных вышек «эстетического Гулага» — вот в чем дело. «Жанр», «композиция», пронумерованные страницы — это же авторское внушение читателю своей иерархии ценностей, своего «нового порядка». Тонкое, тончайшее, щепетильнейшее ощущение свободы! Следуя ему, не мешало бы и критику нарушить порядок страниц, абзацев, логики, да и мне вслед за ним, — так бы и вышли в некую запредельность, только не знаю, в положительную или отрицательную.

К слову сказать, любой «эстетический Гулаг», даже «соцреалистический», — дело добровольное, и потому есть что-то нравственно небезупречное в этом уподоблении.

Слишком легко, думаю я, сбрасывается старая кожа. И нигде не больно, не щемит сердце, не выступает кровь?

Беспощадно расчищается место. Социалистическая эпоха создала «мириады текстов», имеющих лишь видимость смысла... Все «разнообразные элементы» социалистического мышления «предстают как вариации некоего изначального тезиса»...

От этих безоговорочных абстракций, не ведающих никаких сомнений, хочется защищать и спасать конкретность реальной жизни, реальной эпохи, реальной человеческой мысли.

Хочется защищать даже то, что никогда не защищал.

Эту скованную, запуганную речь, эту бедность смысла, эту подавленную, сдавшуюся индивидуальность...

Но вот что хорошо: чем больше думаешь над затеянными поминками по советской литературе, тем лучше понимаешь: не надо ничего и никого защищать, не нужно суетиться, перечисляя имена, книги.

Заслонить, избыть, ниспровергнуть эту литературу в читательском сознании — и в литературно-критическом тоже — может только какая-то другая, художественно и нравственно более сильная литература. И никакие отпевания, никакие торжественные прорицания тут не помогут и ничего не ускорят.

Да и то непонятно, почему, утверждая «соприсутствие и соперничество» разных фаз литературы, нужно одновременно так настойчиво доказывать превосходство «нового» литературного сознания над «старым», сентиментальным, слабонервным, морализующим и т. д.?

Непонятно, зачем столько усилий? Столько перечеркивающих, ниспровергающих, умаляющих, унижающих слов?

Или эстетическое манифестирование всегда беспощадно к предшественникам?

Но тут в предшественниках едва ли не вся русская и советская литература с их социальностью и морализмом.

По силам ли сей замах? По победам ли торжество? По геройству ли героико-трагическая поза?

Я уже спрашивал: а *послан* ли новый провозвестник и пророк? За каких «малых сих», за какую угнетенную жизнь, за какую попранную справедливость и красоту он заступничает? Какая правда за ним? Какую свободу и какой свет он возвещает?

Потом понял: напрасные вопросы. Более того, вредные вопросы. Если и возвещается свобода, то как раз от них. Возвещается беспосланность новой литературы, ее беспредельная автономность, допускающая полный отказ от ответственности.

Время свободы: кто хочет — «доборматывает» и «плетется в хвосте», кто хочет — «провозглашает» и бежит впереди, размахивая свежесшитым флагом цвета «почвы и крови» с императорским вензелем... А кто-то упоенно демонстрирует «язык как он есть» и мнит себя апостолом свободы и правды жизни...

Но муть отстоится: блуд языка останется всего лишь блудом, «фекальные воды» найдут сток за пределами искусства, за патетику «почвы и крови» мы уже расплачиваемся кровью... А монархическая символика уже украшает сцену новых политических игрищ и забав...

Некогда Александр Кугель, блистательный театральный критик, не покинувший родину после Октября, писал: «Катастрофа, поглотившая Россию, при-

готовлена именно беспредельностью и безответственностью — с практической и житейской точки зрения — наших мечтаний и фантасмагорий, нашей игры в театр всечеловечества, вселенства, непротивленства, анархии, нео-христианства и проч. Так как все эти театральные игры нас ровно ни к чему не обязывали и ничего — даже лишней пуговицы — в нашем обиходе не требовали, то почему же не требовать театрально-утопических игр, так сказать, экстрамодерн? И в один прекрасный день доигрались...»

Беспредельность, безответственность, экстрамодерн... Повторяющиеся игры — в жизни ли, в искусстве ли,— и всегда в печальной перспективе — возможность доиграться...

У М. Эпштейна «новая» литература — самодостаточная литературная игра, и в ней играют исключительно за себя. Ни за кого и ни за что. Беспосланность. И делать нечего, если беспосланность. Но стоит ли тогда выдавать такую игру за некое общезначимое событие, прорыв к «чистой» литературе, эстетическое и прочее освобождение?

Одну литературную иерархию, насаждавшуюся с помощью государства и официальной критики, нам предлагают сменить другой, внедряемой под знаком борьбы за творческую свободу и подлинную литературу. Было время — старалось государство, теперь стараются его вольноотпущенники. А смысл тот же: отделить «наших» от «ненаших», «передовых» от «отсталых». Тогда надо было слыть «соцреалистом», теперь — «концептуалистом», «метареалистом», «постмодернистом», «арьергардистом» и т. д. И, как и прежде, никакого «гамбургского счета». Главное — отринуть всех «социально озабоченных»,— и «либералов», и «националистов»,— всех «моралистов» и «политиканов», главное — объявить, что вот она — новая соль земли!

Автор это и проделал: объявил. Расчистил место и объявил. Сбросил старую кожу и объявил. И, прошу прощения, сразу же стал похож на многих храбрых портняжек наших замечательных дней: одним махом они семерых побивахом...

К счастью, наше литературное прошлое не столь ужасно. В нем было достаточно духовного, эстетического и нравственного сопротивления сталинизму. У нас есть, чем гордиться и что наследовать.

Мельком упомянутая М. Эпштейном «центральная проза» действительно существует и не сводится к именам А. Солженицына, В. Гроссмана и Г. Владимова. Она придает основательность и устойчивость всей литературе, обеспечивая преемственность традиций и социально-нравственного поиска.

Рядом со «старым» литературным сознанием «новое» сознание с его беспредельностью и прочими столь же выразительными качествами воспринимается как нечто избыточно и преждевременно суетящееся в тени Предшественников...

Как бы тяжело ни складывалась жизнь страны, я надеюсь, что Михаил Эпштейн поспешил со своим путешествием к Концу, к последнему, позорному чаепитию.

Хоронить живое — ради чего? в укор чему? с каким состоянием души?

Пережив в воображении это путешествие, почему бы не спросить заново: а делать-то что? И что делать литературе в эпоху гласности?

«Утаивать смысл слова в миг его произнесения».

Нет, лучше ответить на вопрос словами поэта-концептуалиста Льва Рубинштейна: «Пойдем дальше».

Как-нибудь переживем «новое сознание» в литературе и пойдем дальше.

Непременно дальше.

Оставив позади «после-будущее» и «после-смерти», и — дальше.

Пойдем дальше.

Главный редактор Г. Я. БАКЛАНОВ.

Адрес редакции: 103863 ГСП, Москва, ул. 25 Октября, 8/1.
Телефоны: главный редактор — 921-24-30, заместители главного редактора — 921-13-81 и 921-08-09, ответственный секретарь — 928-22-78, отдел прозы — 923-72-82, отдел публицистики — 921-14-64, отдел критики и библиографии — 928-29-42, отдел поэзии — 921-59-67, для справок — 924-13-46.

Технический редактор Л. С. Алексеева.

Сдано в набор 05.11.90. Подписано к печати 04.12.90. Формат 70×108 1/16.
Печать высокая. Усл. печ. л. 21,00. Усл. кр.-отт. 21,17. Уч.-изд. л. 23,27.
Тираж 416 000 экз. Заказ № 3033. Цена 1 р. 90 к.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24